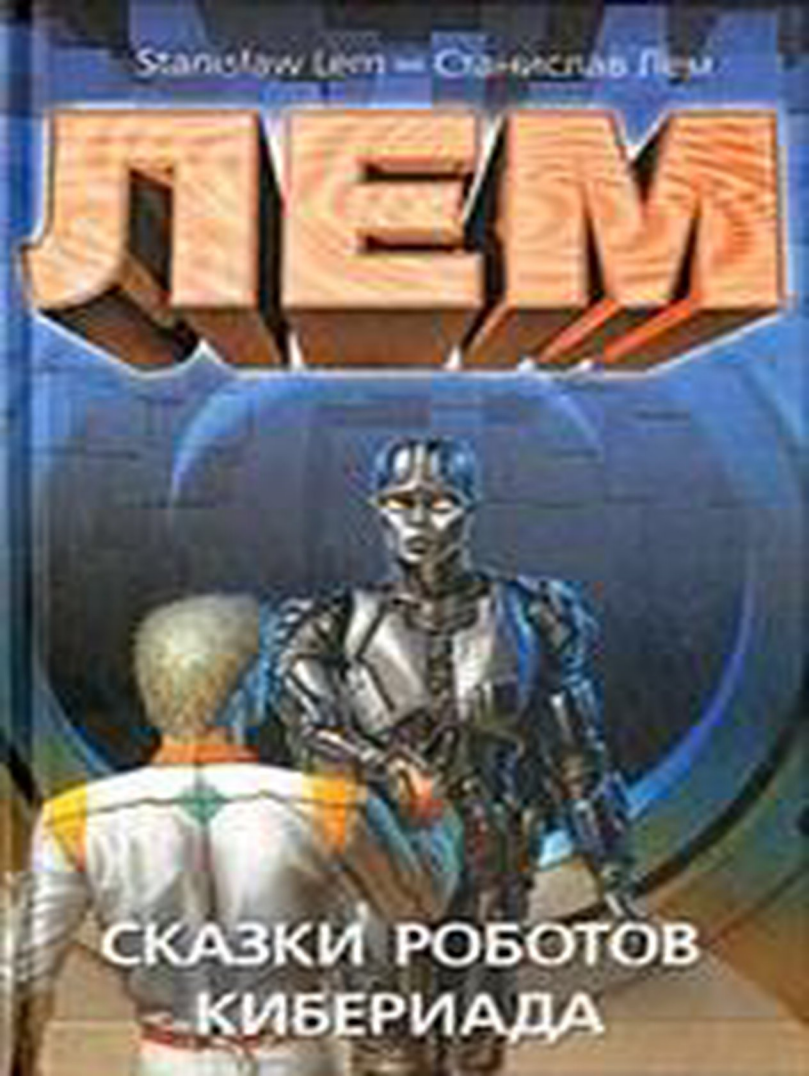
Stanisław Lem aka Станислав Лем

# ЛЕМ



## СКАЗКИ РОБОТОВ
## КИБЕРИАДА

# Кибериада
# Станислав Лем

Станислав Лем. «Кибериада»
Как уцелела вселенная
Машина Трурля
Крепкая взбучка
Семь путешествий Трурля и Клапауция
Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана
Путешествие первое А, или Электрибальд Трурля
Путешествие второе, или Какую услугу оказали Трурль и Клапауций царю Жестокусу
Путешествие третье, или Вероятностные драконы
Путешествие четвертое, или О том, как Трурль женотрон применил, желая королевича Пантарктика от неги любовной избавить, и как потом к детомету прибегнуть пришлось
Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона
Путешествие пятое А, или Консультация Трурля
Путешествие шестое, или Как Трурль и Кла-

пауций Демона Второго Рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть
Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело
Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона
Альтруизин. или правдивое повествование о том, как отшельник Добриций космос пожелал осчастливить и что из этого вышло
Собысчас
Повторение
Воспитание Цифруши

# Станислав Лем
# «Кибериада»

# Как уцелела вселенная

Конструктор Трурль создал однажды машину, которая умела делать все на букву «Н». Закончив эту машину, он для пробы заставил ее сделать Нитки, потом намотать их на Наперстки, которые она также сделала, затем бросить все это в специально вырытую Нору, окруженную Незабудками, Наличниками и Настойками. Машина выполнила задание безукоризненно, но Трурль еще не был уверен в ее исправности и велел ей сделать поочередно Нимбы, Наушники, Нейтроны, Наст, Носы, Нимф и Нитрогениум. Последнего она сделать не смогла, и Трурль, очень расстроенный, приказал ей дать по этому поводу объяснение.

— Я не знаю, что это, — объяснила машина. — Ни о чем таком не слыхала.

— Как так? Ведь это же азот. Такой химический элемент…

— Если это азот, то он на букву «А», а я умею делать только на букву «Н».

— Но по-латыни это называется нитрогениум.

— Дорогой мой, — сказала машина, — если б я умела делать все на «Н» на всевозможных языках,

то я была бы Машина, Которая Может Делать Все В Пределах Всего Алфавита, потому что любая вещь на каком-либо из языков наверняка начинается на «Н». Дело обстоит не так хорошо. Я не могу сделать больше, чем ты придумал. Азота не будет.

— Хорошо, — согласился Трурль и приказал ей сделать Небо.

Она тут же сделала одно, небольшое, но по-небесному голубое. Пригласил он тогда к себе конструктора Клапауция, представил его машине и так долго расхваливал ее необычайные способности, что тот разозлился втайне и попросил, чтобы и ему разрешили приказать машине что-нибудь сделать.

— Изволь, — сказал Трурль, — только это должно быть на букву «Н».

— На «Н»? Хорошо. Пускай сделает Науку. Машина заурчала, и вскоре площадь перед домом Трурля заполнилась толпой ученых. Одни потирали лбы, писали что-то в толстых книгах, другие хватали эти книги и драли в клочья, вдали виднелись пылающие костры, на которых поджаривались мученики науки, там и сям что-то громыхало, возникали странные дымы грибообразной формы, вся толпа говорила одно-

временно, так что нельзя было понять ни слова, составляла время от времени меморандумы, воззвания и другие документы, а чуть поодаль сидели несколько одиноких старцев; они беспрерывно мелким бисерным почерком писали на клочках рваной бумаги.

— Ну, скажешь, плохо? — с гордостью воскликнул Трурль. — Признайся, вылитая наука! Но Клапауций не был удовлетворен. — Что? Вот эта толпа и есть наука? Наука — это нечто совсем иное!

— Так, пожалуйста, скажи, что именно, и машина тут же это сделает! — возмутился Трурль.

Но Клапауций не знал, что сказать, и поэтому заявил, что даст машине еще два задания и если она их выполнит, то он признает, что все в порядке. Трурль согласился на это, и Клапауций приказал машине сделать Наоборот.

— Наоборот?! — воскликнул Трурль. — Да где это слыхано! Что это еще за Наоборот?!

— Как что? Обратная сторона всего сущего, — спокойно возразил Клапауций. — Слыхал, как выворачивают наизнанку? Ну, ну, не притворяйся. Эй, машина, берись за дело!

А машина уже давно действовала. Сначала она сделала антипротоны, потом антиэлектроны,

антинейтрино, антинейтроны и долго так работала безостановочно, пока не наделала уйму антиматерии, из которой постепенно начал формироваться похожий на причудливо сверкающее облако антимир.

— Гм, — произнес весьма недовольный Клапауций, — и это должно означать Наоборот?.. Допустим, что да. Согласимся, что это примерно то… Но вот мое третье приказание. Машина! Сделай Ничто! Долгое время машина вообще не двигалась. Клапауций начал уже довольно потирать руки. Тогда Трурль сказал:

— А чего ты хочешь? Ты же велел ей ничего не делать, вот она и не делает.

— Неправда. Я приказал ей сделать Ничто, а это совсем иное дело.

— Вот еще! Сделать ничто или не сделать ничего — это одно и то же…

— Ничего подобного! Она должна была сделать Ничто, а не сделала ничего, — значит, я выиграл. Ведь Ничто, умник ты мой, это не какое-то обычное ничто — плод лени и безделья, но действенное и активное Ничто, идеальное, единственное, вездесущее и наивысшее Небытие в собственном отсутствующем лице! — Не морочь машине голову! — крикнул Трурль. Но

тут же раздался ее гулкий голос: — Перестаньте ссориться в такой момент. Я знаю, что такое Небытие, Невещественность или Ничто, поскольку все эти вещи находятся в ключе буквы «Н» как Несуществование. Лучше в последний раз окиньте взглядом мир, ибо вскоре его не будет…

Слова замерли на устах разъяренных конструкторов. Машина и впрямь делала Ничто, а именно: одну за другой изымала из мира разные вещи, которые переставали существовать, будто их вообще никогда не было. Так она упразднила натяги, наплюйки, нурки, нуждовки, налушники, недоноги и нетольки. Иногда казалось, что, вместо того чтобы уменьшать, сокращать, выкидывать, убирать, уничтожать и отнимать, она увеличивает и добавляет, поскольку одно за другим ликвидировала Неудовольствие, Незаурядность, Неверие, Неудовлетворенность, Ненасытность и Немощь. Но потом вновь вокруг них начало становиться просторнее.

— Ой! — воскликнул Трурль. — Как бы худа не было!..

— Ну, что ты, — сказал Клапауций, — ты же видишь, что она вовсе не делает Всеобщего Небытия, а только Несуществование вещей на букву «Н». И ничего особенного не будет, потому что

твоя машина никуда не годится.

— Так тебе лишь кажется, — отвечала машина. — Я действительно начала со всего, что на букву «Н», ибо это мне более знакомо, но одно дело — создать какую-нибудь вещь, а совсем другое — убрать ее. Убрать я могу все по той простой причине, что я умею делать все-все, как есть, на букву «Н», а значит, Небытие для меня сущий пустяк. Сейчас и вас не будет, и вообще ничего, так что прошу тебя, Клапауций, скажи поскорее, что я действительно универсальная машина и выполняю приказания, как надо, а то будет поздно.

— Но это же… — начал перепуганный Клапауций, — и в этот момент заметил, что действительно исчезают предметы не только на букву «Н». Так, уже перестали их окружать камбузели, сжималки, вытряски, грызмакн, рифмонды, трепловки и баблохи.

— Стой! Стой! Я беру свои слова назад! Перестань! Не делай Небытия! — заорал во все горло Клапауций, но, прежде чем машина остановилась, исчезли еще горошаны, кломпы, филидроны и замры.

И лишь тогда машина остановилась. Мир выглядел просто устрашающе. Особенно пострадало небо; на нем виднелись лишь одинокие точеч-

ки звезд — и ни следа прелестных горошанов и гаральниц, которые так украшали раньше небосвод.

— О небо! — воскликнул Клапауций. — А где же камбузели? Где мои любимые муравки? Где кроткие клумпы?

— Их нет и уже никогда не будет, — спокойно ответила машина. — Я выполнила, вернее, только начала выполнять то, что ты велел… — Я велел тебе сделать Ничто, а ты… ты… — Клапауций, ты или глупец, или притворяешься глупцом, — возразила машина. — Если б я сделала Ничто сразу, одним махом, перестало бы существовать все, значит, не только Трурль, и небо, и космос, и ты, но даже я. Так кто же, собственно, и кому мог бы тогда сказать, что приказание выполнено и что я — отличная машина? А если бы этого никто никому не сказал, то каким образом я — тоже переставшая существовать — получила бы заслуженную мной похвалу?

— Ну, будь по-твоему, не станем больше об этом говорить. Я уже ничего от тебя не хочу, великолепная машина, только прошу тебя, сделай опять муравок, ибо без них мне и жизнь не мила…

— Не могу, потому что они на «М», — сказала машина. — Я, конечно, могу сделать обратно

Неудовольствие, Ненасытность, Незнание, Ненависть, Немощь, Непродолжительность, Неверие и Неустойчивость, но на другие буквы прошу от меня ничего не ожидать.

— Но я хочу, чтоб были муравки! — крикнул Клапауций.

— Муравок не будет, — отрезала машина. — Ты лучше посмотри на мир, который полон теперь громадных черных дыр, полон Ничто, заполняющего бездонные пропасти между звездами. Как все теперь пропитано этим Ничто, как нависает оно теперь над каждой молекулой Бытия. Это твоих рук дело, мой завистник! Не думаю, чтобы будущие поколения благословили тебя за это…

— Может, они не узнают… может, не заметят, — пробормотал побледневший Клапауций, с ужасом глядя в пустоту черного неба и не смея даже взглянуть в глаза своему коллеге.

Оставив Трурля возле машины, которая умела все на букву «Н», он крадучись вернулся к себе домой. А мир и по сей день все так же продырявлен Небытием, как в тот момент, когда Клапауций остановил машину. А поскольку еще не удалось создать машину, работающую на какую-нибудь другую букву, то следует опасаться, что никогда уже не будет таких чудесных явлений, как бабло-

хи и муравки, — во веки веков.

# Машина Трурля

Конструктор Трурль построил однажды мыслящую машину — восьмиэтажную; окончив самую важную работу, он покрыл машину белым лаком, наугольники покрасил в лиловый цвет, приглядел потом издали и добавил еще небольшой узорчик на фасаде, а там, где можно было вообразить лоб машины, провел тонкую оранжевую черточку и, очень довольный собой, небрежно посвистывая, задал порядка ради сакраментальный вопрос: сколько будет дважды два?

Машина заработала. Вначале загорелись лампы, засветились контуры, зашумели токи, как потоки, запели сцепления, потом накалились катушки, завертелось в ней все, загрохотало, затарахтело, и такой шум пошел по всей равнине, что подумал Трурль: «Надо будет приделать к ней специальный глушитель мыслительный». А машина тем временем все работала так, будто пришлось ей решать самые трудные проблемы во всем Космосе; земля дрожала, песок от вибрации уходил из-под ног, предохранители вылетали, словно пробки от шампанского, а реле прямо

надрывались от натуги. Наконец, когда Трурлю порядком уже надоела вся эта суматоха, машина резко остановилась и произнесла громовым голосом:

— СЕМЬ!

— Ну, ну, моя дорогая! — небрежно сказал Трурль. — Ничего подобного, дважды два — четыре, будь добра, исправься! Сколько будет два плюс два?

— СЕМЬ! — ответила машина немедля. Волей-неволей Трурль, вздохнув, надел рабочий халат, который уж снял было, засучил повыше рукава, открыл нижнюю дверцу и влез внутрь. Не выходил он оттуда долго, слышно было, как бьет он там молотом, как откручивает что-то, сваривает, паяет, как, гремя по железным ступенькам, взбегает то на шестой, то на восьмой этаж и мигом мчится вниз. Включил он ток — внутри все так и зашипело, и у разрядников усы фиолетовые выросли. Бился он два часа, пока не вылез на свежий воздух, закопченный весь, но довольный; сложил свой инструмент, бросил халат наземь, вытер лицо и руки и уж на прощанье, просто спокойствия ради, спросил:

— Так сколько же будет два плюс два?

— СЕМЬ! — ответила машина.

Трурль ужасно выругался, но делать было нечего — вновь принялся ковыряться в машине: чинил, соединял, перепаивал, переставлял, а когда и в третий раз узнал, что два плюс два равняется семи, сел в отчаянии на подножку машины и сидел так, пока не пришел Клапауций. Спросил Клапауций Трурля, что это случилось, почему он выглядит так, будто с похорон вернулся, — тут Трурль и поведал ему о своем горе. Клапауций самолично два раза лазил внутрь машины, пробовал отрегулировать то, другое, спрашивал ее, сколько будет два плюс один, машина ответила, что шесть; а один плюс один, по ее мнению, равнялось нулю. Почесал Клапауций затылок, откашлялся и сказал:

— Дружище, ничего не попишешь, надо смотреть правде в глаза. Ты сделал не ту машину, какую хотел. Но всякое отрицательное явление имеет положительную сторону, и, к примеру, эта машина тоже.

— Интересно — какую же? — проговорил Трурль и пнул свое детище.

— Прекрати, — сказала машина.

— Вот видишь, она впечатлительна. Да… так что я хотел сказать? Это, вне сомнения, машина глупая, но глупость ее не то что обычная, так

сказать, рядовая глупость. Это, насколько я разбираюсь — а ведь я, как тебе известно, знаменитый специалист, — самая глупая мыслящая машина в мире, ну, а это уж не фунт изюму! Сделать такую машину преднамеренно было бы нелегко

— думаю, что это никому бы не удалось. Ибо она не только глупа, но и упряма как пень, то есть у нее имеется характер; впрочем, такой, как у идиотов — они большей частью дико упрямы.

— На черта мне такая машина?! — сказал Трурль и опять пнул ее.

— Я тебе сказала — прекрати! — заявила машина. — Ну вот уже серьезное предостережение, — сухо прокомментировал Клапауций. — Ты видишь, она не только впечатлительна, тупа и упряма, но еще и обидчива, с такими свойствами можно многого добиться, хо-хо, уж я тебе говорю.

— Хорошо, но что, собственно, мне с ней делать? — спросил Трурль.

— О, сразу мне трудно на это ответить. Ты можешь, например, устроить платную выставку, чтобы всякий, кто захочет, мог посмотреть самую глупую в мире мыслящую машину; сколько у нее — восемь этажей? Скажу тебе, такого огромного кретина еще никто не видывал. Такая выставка не только покроет твои расходы, но еще…

— Оставь меня в покое, не буду я устраивать никакой выставки! — ответил Трурль, встал и, не удержавшись, пнул машину в третий раз.

— Я заявляю тебе третье серьезное предостережение, — сказала машина.

— Ну и что? — крикнул разозленный ее величественным тоном Трурль.

— Ты… ты… — Тут он не нашел слов и только пнул ее несколько раз, визжа:

— Ты только на то и годишься, чтобы тебя пинать, понятно?

— Ты оскорбил меня в четвертый, пятый, шестой и восьмой раз, — проговорила машина, — и поэтому я больше не буду считать. Отказываюсь отвечать на вопросы, относящиеся к задачам из области математики.

— Она отказывается! Смотрите на нее! — кипятился задетый за живое Трурль. — После шестерки у нее идет восьмерка, заметь-ка, Клапауций, не семь, а восемь! И у нее хватает наглости заявлять, что она отказывается ВОТ ТАК решать математические задачи! Вот тебе, вот тебе, вот тебе! Может, еще добавить?

В ответ на это машина затряслась, загрохотала и молча, напрягая все силы, начала вылезать из фундамента. Фундамент был глубокий, все опоры

она погнула, но в конце концов выкарабкалась из ямы, оставив там лишь развороченный железобетон, из которого торчала арматура, и двинулась, как шагающая крепость, на Клапауция и Трурля. Трурль прямо остолбенел от изумления и даже не пытался спрятаться от машины, которая явно собиралась раздавить его. Более хладнокровный Клапауций дернул его за руку, потащил за собой, и они отбежали довольно далеко. Но, оглянувшись, увидели, что машина, словно качающаяся башня, шла медленно, при каждом шаге проваливалась чуть не до второго этажа, однако упорно, неутомимо выбиралась из песка и двигалась прямо на них.

— Ну, такого еще не бывало! — сказал Трурль, у которого дух перехватило от удивления. — Машина взбунтовалась! Что же теперь делать?

— Ждать и наблюдать, — ответил благоразумный Клапауций. — Может, что– нибудь прояснится.

Пока ничто не предвещало этого. Машина, выбравшись на твердую почву, двинулась быстрее. Внутри у нее свистело, шипело и побрякивало.

— Сейчас у нее распаяется управление и программник, — пробурчал Трурль. — Тогда она остановится.

— Нет, — ответил Клапауций, — это исключительный случай. Она так глупа, что даже остановка всего распределительного устройства не причинит ей вреда. Берегись, она… Бежим!!!

Машина явно разгонялась, чтобы растоптать их. Они мчались во весь дух, слыша за спиной ее ритмичный, страшный топот. Так они и бежали — что ж им еще оставалось делать? Пытались было вернуться в родную округу, но машина помешала этому: обойдя с фланга, заставила их свернуть с намеченного пути и неумолимо гнала во все более пустынный край. Постепенно из стелющегося тумана начали выступать угрюмые, скалистые горы; Трурль, тяжело дыша, крикнул Клапауцию:

— Послушай! Бежим в какое-нибудь узкое ущелье… куда она не сможет пройти… проклятая… а?!

— Лучше бежать… прямо, — пропыхтел Клапауций. — Недалеко тут есть городок… забыл, как называется… в общем, мы там… уф!!, найдем убежище…

Они побежали прямо и вскоре увидели первые домики. В эту пору дня улицы были почти безлюдны. Они уже пробежали немалое расстояние, не встретив ни единой живой души, когда услыхали

ужасающий грохот, будто на городок обрушилась каменная лавина, и поняли, что преследующая их машина добралась до городка.

Трурль оглянулся и прямо застонал.

— О силы небесные! Посмотри, Клапауций, она разрушает дома!

Машина и вправду упорно гналась за ними и шагала прямо по домам, словно стальная гора, оставляя за собой кирпичные руины, над которыми клубились белые облака известковой пыли. Раздались ужасные крики засыпанных, на улицах стало полно народу. Трурль же и Клапауций бежали, еле дыша, все вперед, пока не достигли большого здания ратуши, и сбежали вниз по лестнице в глубокий подвал.

— Ну, здесь она нас не достанет, даже если всю эту ратушу нам на голову свалит! — прохрипел Клапауций. — Но черт же меня дернул нанести тебе сегодня визит… Поинтересовался, как идет у тебя работа, и вот на тебе — узнал…

— Тише, — ответил Трурль. — Сюда кто-то идет.

Действительно, дверь отворилась и в подземелье — вошли сам бургомистр и несколько советников. Трурлю было стыдно рассказывать, как случилась эта необычайная и ужасная ис-

тория, и. его выручил Клапауций. Бургомистр молча слушал. Вдруг стены дрогнули, ходуном заходила земля и в глубокий подвал донесся протяжный грохот падающих стен.

— Она уже здесь? — крикнул Трурль.

— Да, — ответил бургомистр. — И требует, чтобы мы вас выдали, в противном случае она разрушит весь город…

И тут же они услыхали откуда-то сверху стальное гнусавое гоготание:

— Где-то здесь Трурль… я чую Трурля…

— Но ведь вы же нас не выдадите? — дрожащим голосом спросил тот, выдачи которого так настойчиво требовала машина.

— Тот из вас, которого зовут Трурль, должен отсюда выйти. Второй может остаться, поскольку его выдача не является необходимым условием…

— Но сжальтесь!

— Мы бессильны, — сказал бургомистр. — Да если б ты и остался, Трурль, тебе пришлось бы отвечать за ущерб, причиненный городу и его жителям, ибо это из-за тебя машина разрушила шестнадцать домов и погребла под их развалинами многих наших горожан. Лишь то, что ты находишься пред лицом смерти, позволяет мне отпустить тебя. Иди и не возвращайся.

Трурль глянул на советников и, прочтя на их лицах свой приговор, медленно направился к выходу.

— Подожди! Я с тобой! — импульсивно воскликнул Клапауций.

— Ты? — проговорил Трурль со слабой надеждой а голосе. — Нет... — сказал он, помолчав. — Останься, так будет лучше... Зачем тебе бесполезно гибнуть?

— Идиотизм! — энергично воскликнул Клапауций. — Что ж это, с какой стати нам погибать, неужели по прихоти этой железной кретинки? Тоже мне! Этого мало, чтобы стереть с лица земли двух величайших конструкторов! Идем, мой Трурль! Смелее!

Воодушевленный этими словами, Трурль побежал по лестнице за Клапауцием. На рыночной площади не было ни души. Средь клубящейся пыли, из которой проступали скелеты разрушенных домов, стояла, выпуская облака пара, машина, намного выше ратуши, вся измазанная кирпичной кровью стен и белой пылью.

— Осторожнее! — прошептал Клапауций. — Она нас не видит. Бежим по этой улочке налево, потом направо, а там напрямик. Невдалеке начинаются горы. Там мы спрячемся и придумаем

что-нибудь такое, чтобы раз навсегда отбить у нее охоту… Бежим! — крикнул он, ибо в этот миг машина заметила их и бросилась вслед, так что земля дрогнула.

Мчась во весь дух, выбежали они из городка. Добрую милю неслись они, слыша за собой громовую поступь колосса, упорно преследовавшего их.

— Я знаю это ущелье! — воскликнул вдруг Клапауций. — Там русло высохшего потока, оно ведет в глубь скал, там много пещер, туда, скорее, сейчас ей придется остановиться!..

Спотыкаясь, мчались они в гору, взмахами рук поддерживая равновесие, но машина все не отставала от них. Прыгая по шатким камням высохшего потока, они достигли расщелины в отвесных скалах и, увидев высоко вверху черное отверстие пещеры, полезли туда что было сил, хоть камни шатались и осыпались у них под ногами. Из большого отверстия в скале веяло холодом и тьмой. Они поспешно влезли внутрь, пробежали еще несколько шагов и остановились.

— Ну, тут мы в безопасности, — проговорил, успокоившись, Трурль. — Я выгляну, посмотрю, где она застряла.

— Осторожнее! — предостерег его Клапауций.

Трурль подобрался к выходу, высунулся и тут же испуганно отскочил назад. — Она лезет вверх! — крикнул он. — Успокойся, сюда-то она наверняка не войдет, — проговорил не совсем уверенно Клапауций. — Что это? Вроде потемнело… Ох!

Гигантская тень заслонила небо, видневшееся до этого в отверстии пещеры, на мгновение показалась стальная, густо усеянная заклепками стена машины, которая медленно прислонилась к скале. Теперь пещера была, словно стальной крышкой, плотно закрыта извне.

— Мы в тюрьме… — прошептал Трурль, и голос его дрожал еще сильнее, оттого что наступила абсолютная тьма.

— С нашей стороны это был идиотизм! — возмущенно воскликнул Клапауций.

— Лезть в пещеру, которую она может забаррикадировать! Как мы могли сделать это?

— Как ты думаешь, на что она рассчитывает? — после долгого молчания спросил Трурль.

— На то, что мы постараемся отсюда выбраться, — особого ума не требуется, чтоб до этого додуматься.

Опять наступило молчание. В черной тьме Трурль на цыпочках, вытянув руки, двинулся в сторону выхода и шарил по скале руками, пока не

коснулся гладкой стали, теплой, словно нагретой изнутри.

— Я чувствую тебя, Трурль, — загудел в закупоренной пещере железный голос.

Трурль попятился, сел на камень возле приятеля, и некоторое время они не двигались. Наконец Клапауций шепнул ему:

— Ничего мы тут не высидим, что поделаешь, попробую вступить с ней в переговоры…

— Это безнадежно, — сказал Трурль. — Но попробуй, может быть, хоть тебя она выпустит живого…

— Ну, нет, не того я хочу! — ободряюще проговорил Клапауций и, подойдя к невидимому в темноте отверстию, крикнул: — Алло, ты слышишь нас?

— Слышу, — ответила машина.

— Послушай, я хотел бы попросить у тебя прощения. Понимаешь… произошло между нами небольшое недоразумение, но ведь это, по сути, мелочь. Трурль не имел намерения…

— Я уничтожу Трурля! — сказала машина. — Но прежде пусть он ответит мне на вопрос, сколько будет два плюс два.

— Ах, ответит он тебе, и так, что ты будешь довольна и наверняка с ним помиришься, ведь

правда же, Трурль? — успокаивающе заговорил посредник. — Ну конечно… — едва слышно произнес Трурль.

— Да? — сказала машина. — Так сколько будет два плюс два?

— Че… то есть семь… — еще тише проговорил Трурль.

— Ха-ха! Значит, не четыре, а семь, так? — загудела машина. — Вот видишь!

— Семь, конечно же, семь, всегда было семь! — горячо подхватил Клапауций. — Теперь ты нас выпустишь? — осторожно добавил он.

— Нет. Пускай Трурль еще раз скажет, что он очень сожалеет, и ответит, сколько будет дважды два…

— А ты выпустишь нас, если я это скажу? — спросил Трурль.

— Не знаю. Подумаю. Ты мне условий не ставь. Говори, сколько будет дважды два!

— Но ты в самом деле нас выпустишь? — настаивал Трурль, хотя Клапауций дергал его за руку, шепча на ухо: «Это идиотка, идиотка, не препирайся с ней, умоляю!»

— Не выпущу, если мне не захочется, — ответила машина. — Но ты все равно скажешь мне, сколько будет дважды два…

Трурль вдруг затрясся от ярости.

— О! Я скажу тебе, скажу! — закричал он. — Два плюс два будет четыре, и дважды два — четыре, хоть ты на голову становись, хоть все эти горы преврати в прах, хоть поперхнись морем и проглоти небо, слышишь? Два плюс два — четыре!

— Трурль! Ты с ума сошел! Что ты говоришь? Два плюс два будет семь! Машина, дорогая, семь! Семь!!! — вопил Клапауций, пытаясь перекричать приятеля.

— Неправда! Четыре! Только четыре, с сотворения мира было и до конца дней его будет ЧЕТЫРЕ! — охрипшим голосом орал Трурль.

Вдруг скала под их ногами затряслась как в лихорадке.

Машина отодвинулась от входа, так что в пещеру проник сумрачный свет, и тут же протяжно крикнула:

— Неправда! Семь! Ты сейчас же это скажешь, как только я схвачу тебя!

— Никогда не скажу! — отпарировал Трурль, словно ему уж было все равно.

И тут сверху на их головы обрушился каменный град, ибо машина своей восьмиэтажной тушей таранила скалистый обрыв, билась всей тяжестью об отвесную стену, и огромные камни

откалывались от монолитных скал и с грохотом катились вниз.

Грохот и удушливая кремниевая пыль вместе с искрами, высекаемыми сталью о камень, заполнили всю пещеру, но сквозь этот адский гул атаки прорывался голос Трурля, неустанно повторяющего:

— Два плюс два — четыре! Четыре!!!

Клапауций пытался силой заткнуть ему глотку, но, грубо отброшенный Трурлем, молча сел в сторонке, обхватив голову руками. Машина все не прекращала своих адских усилий, и казалось, что свод пещеры того гляди обрушится на пленников, раздавит и погребет их навеки. Но, когда они уж потеряли надежду, когда едкая пыль заполнила всю пещеру, что-то вдруг ужасно заскрежетало, прокатился медленный гром — сильнее неимоверного грохота от яростных ударов машины, — потом воздух завыл, черная стена, заслоняющая пещеру, исчезла, словно ее вихрем сдуло, и вниз обрушилась лавина громадных глыб. Эхо еще катилось по долине, отражаясь от гор, а два приятеля уже кинулись к отверстию пещеры и, высунувшись до пояса, увидели машину. Она лежала, раздавленная и разбитая обвалом, который сама же и вызвала; огромная

глыба лежала посреди ее восьмиэтажного тела — она-то и переломила машину почти пополам. В облаке пыли от размельченных в муку скал они осторожно спустились по каменистым завалам. Чтобы добраться до русла высохшего потока, им пришлось пройти вплотную мимо останков распластавшейся машины, подобной огромному выброшенному на берег кораблю. Молча остановились они у ее продавленного бока. Машина все еще работала, и слышно было, как внутри у нее что-то крутится с замирающим скрежетом.

— Вот каков твой бесславный конец, а два плюс два по-прежнему… — начал было Трурль, но в этот момент машина слегка зашумела и неразборчиво, еле слышно в последний раз пробормотала: «СЕМЬ».

Потом что-то тоненько звякнуло у нее внутри, сверху посыпались камни, и машина замерла, превратившись в груду мертвого металла. Конструкторы посмотрели друг на друга, а потом молча, не произнеся ни слова, зашагали по руслу высохшего потока.

# Крепкая взбучка

Кто-то постучал в дом конструктора Клапауция. Хозяин приоткрыл дверь, высунул голову наружу и увидел толстопузую машину на четырех коротких ногах.

— Кто ты и чего тебе надобно?

— Я — Машина Для Исполнения Желаний. А прислал меня в подарок тебе твой друг и великий коллега Трурль.

— В подарок? — переспросил Клапауций, который испытывал смешанные чувства к Трурлю, а особенно не понравилось ему, что машина назвала Трурля его «великим коллегой». — Ну, ладно, — решил он после короткого раздумья. — Можешь войти.

Приказал он машине стать в углу у печи и, будто не обращая на нее внимания, вернулся к прерванной работе. Клапауций строил пузатую машину на трех ногах. Она была почти готова, оставалось навести блеск. Через некоторое время Машина Для Исполнения Желаний подала голос:

— Напоминаю о своем присутствии.

— Я о нем не забывал, — ответил Клапауций и

продолжал работать.

Вскоре машина спросила:

— Можно узнать, что ты делаешь?

— Ты — Машина Для Исполнения Желаний или Машина Для Задавания Вопросов? — сказал Клапауций. — Мне нужна голубая краска.

— Не знаю, тот ли это оттенок, который тебе нужен, — ответила машина, выдвигая через отверстие в животе банку краски.

Клапауций открыл банку, молча погрузил в нее кисть и принялся красить. Потом ему понадобились еще наждак, точильный камень, сверло и белила, а также болты, и каждый раз машина немедленно давала ему то, чего он хотел. Под вечер Клапауций накрыл свое творение холстиной, подкрепился едой, сел на маленьком треножнике перед машиной и сказал:

— Посмотрим теперь, годна ли ты на что-нибудь. Ты говоришь, что умеешь делать все?

— Все не все, но многое, — скромно ответила машина. — Доволен ли ты красками, болтами и сверлами?

— Ну, конечно, конечно! — ответил Клапауций. — Но сейчас я задам тебе задачу куда труднее. Если не справишься с ней, отправлю тебя обратно к твоему хозяину, с должной благо-

дарностью — и со своим отзывом.

— Так что же тебе нужно? — спросила машина и переступила с ноги на ногу.

— Нужен Трурль, — объяснил Клапауций. — Сделай мне Трурля, чтобы он был точь-в-точь как настоящий. Чтобы их и отличить друг от друга нельзя было!

Машина поворчала, побренчала, пошумела и сказала:

— Хорошо. Сделаю тебе Трурля, но обходись с ним осторожно, потому что он великий конструктор!

— Ах, разумеется, можешь быть спокойна, — ответил Клапауций. — Ну, так где же этот Трурль?

— Что? Вот так сразу? Это ведь не что-нибудь! — сказала машина. — Тут время нужно. Трурли — это тебе не болты и не краски!

Однако она на удивление быстро затрубила, зазвенела, в животе ее распахнулись довольно большие дверцы, и из темного нутра вышел Трурль. Клапауций встал, обошел вокруг него, присмотрелся поближе, старательно прощупал и простукал, но сомнений не было: перед ним был Трурль, как две капли воды похожий на оригинал. Трурль, вышедший из нутра машины, щурил глаза от света, но в остальном вел себя вполне

обычно. — Как поживаешь, Трурль? — сказал Клапауций. — Как поживаешь, Клапауций? Но как я, собственно, попал сюда? — отозвался явно озадаченный Трурль.

— Да так вот, просто зашел… Давно я тебя не видал. Нравится тебе мой дом?

— Конечно, конечно… А что это у тебя там, под холстиной?

— Ничего особенного. Может, сядешь? — Гм, сдается мне, что время уже позднее. На улице темно, пожалуй, пойду домой.

— Не так быстро, не сразу! — запротестовал Клапауций. — Идем сначала в подвал, увидишь кое-что интересное..,

— А что ж у тебя такое в подвале?

— Пока ничего, но сейчас будет. Пойдем, пойдем… И, похлопывая Трурля по плечу, Клапауций отвел его в подвал, а там подставил ему ногу, повалил его наземь, связал и принялся колотить толстой жердью изо всех сил. Трурль вопил во весь голос, звал на помощь, то ругался, то просил пощады, но ничего не помогало: глухая ночь, кругом пусто, и Клапауций продолжал лупить его так, что гул стоял.

— Ой! Ай! Почему ты так бьешь меня? — кричал Трурль, увертываясь от ударов.

— Потому что мне это доставляет удовольствие, — объяснил Клапауций и снова замахнулся. — Этого ты еще не попробовал, мой Трурль!

И так бахнул его по голове, что она загудела как пустая бочка.

— Пусти меня сейчас же, а то я пойду к королю и расскажу, что ты со мной делал, и он бросит тебя в подземелье! — кричал Трурль.

— Ничего он мне не сделает. А знаешь почему? — спросил Клапауций, усаживаясь на лавку.

— Не знаю, — ответил Трурль, радуясь, что трепка прекратилась.

— Потому что ты не всамделишный Трурль. Он сидит у себя дома. Он построил Машину Для Исполнения Желаний и прислал ее мне в подарок, а я, чтобы испытать ее, велел сотворить тебя. Сейчас я отвинчу тебе голову, поставлю под кровать и приспособлю для стаскивания сапог!

— Ты чудовище! Зачем ты хочешь это сделать?!

— Я уже сказал: мне это доставляет удовольствие. Ну, хватит болтать попусту.

Говоря это, Клапауций взялся за жердь, и Трурль заорал:

— Перестань! Сейчас же перестань! Я скажу тебе нечто очень важное!

— Любопытно, что такое ты можешь сказать, что помешало бы мне приспособить твою голову для стаскивания сапог? — спросил Клапауций, но перестал его бить.

Трурль тогда закричал:

— Я вовсе не Трурль, сделанный машиной! Я — настоящий Трурль, самый что ни на есть настоящий. Я только хотел узнать, над чем ты работаешь так давно, запершись на все замки. Вот я и построил машину, спрятался у нее внутри и приказал ей доставить меня в твой дом, а для вида назваться подарком от меня.

— Ну и ну, что за историйку ты сочинил, и вот так, прямо с ходу! — сказал Клапауций и сжал в руке толстый конец жерди. — Можешь не стараться, я твое вранье насквозь вижу. Ты — Трурль, сделанный машиной, она любое желание исполняет, я от нее и болты получил, и краску, белую и голубую, и сверла, и всякую всячину. А если смогла она все это сделать, так и тебя сделать может, дорогой мой!

— Да я все эти вещи заранее приготовил! — воскликнул Трурль. — Нетрудно было догадаться, что именно тебе понадобится. Клянусь, я правду говорю!

— Окажись твои слова правдой, это означало

бы, что мой друг, великий конструктор Трурль, — самый обыкновенный мошенник, а в такое я никогда не поверю, — ответил Клапауций. — Вот тебе!

И с размаху ударил его по спине.

— Это за клевету на моего друга Трурля! А вот тебе еще! — И угостил Трурля еще раз.

Долго он бил Трурля, лупил и колотил, пока сам не устал.

— Пойду теперь вздремну немного и отдохну, — сказал Клапауций и отбросил палку. — А ты подожди, я скоро вернусь.

Когда он ушел и по всему дому разнесся его храп, Трурль стал так извиваться в своих путах, что веревки ослабли. Трурль развязал узлы, выскользнул, тихонько побежал наверх, влез внутрь своей машины и с места в карьер помчался в ней домой. А Клапауций, тихо посмеиваясь, глядел сквозь верхнее окно на бегство Трурля.

Наутро Клапауций отправился с визитом к Трурлю. Тот с угрюмым видом впустил его в дом. В комнате царил полумрак, но шустрый Клапауций все равно заметил на голове и на корпусе хозяина следы крепкой взбучки, которую он ему задал, хотя видно было, что Трурль изрядно потрудился, чтобы выровнять вмятины от полу-

ченных ударов.

— Что это ты такой хмурый? — весело спросил Клапауций. — А я пришел поблагодарить тебя за чудесный подарок, жаль только, что, пока я спал, машина умчалась, словно на пожар, даже дверь не закрыла!

— Кажется мне, что ты неправильно обошелся с моим подарком, чтобы не сказать больше! — взорвался Трурль. — Машина мне все сказала, не утруждай себя, — добавил он со злостью, видя, что Клапауций открыл было рот. — Ты велел ей сотворить меня, меня самого, а потом коварно завлек двойника моей особы в подвал я там варварски избил его! И после нанесенного мне оскорбления, после черной неблагодарности за великолепный дар ты еще осмелился как ни в чем не бывало прийти сюда? Ну, что ты можешь сказать?

— Никак не пойму, на что ты гневаешься, — ответил Клапауций. — Действительно, я велел машине изготовить твою копию. Скажу тебе, она удалась на славу, я был просто поражен, увидев ее. А насчет битья машина сильно преувеличивает, — я, правда, пихнул твоего двойника разок-другой, потому что хотел проверить, прочно ли он изготовлен, к тому же хотелось узнать,

как он на это среагирует. Он оказался на редкость шустрым. С ходу придумал историю: будто это вовсе и не он, а ты своей собственной персоной. Я, конечно, не поверил, а он стал клясться, что щедрый подарок-это вовсе не подарок, а обыкновенное мошенничество. Ты, надеюсь, понимаешь, что, защищая твою честь, честь моего друга, я должен был всыпать ему за такое наглое вранье? Однако я убедился, что у него недюжинный ум и, стало быть, он не только физически, а и духовно подобен тебе, мой дорогой. Воистину ты великий конструктор, именно это я хотел тебе сказать и с этой целью пришел спозаранку!

— Ах, так! Ну, да, конечно, — ответил, уже несколько смягчившись, Трурль. — Правда, то, как ты обошелся с Машиной Для Исполнения Желаний, по– прежнему кажется мне не самым удачным, да уж ладно…

— А кстати, я как раз хотел спросить, что ты сделал с этим искусственным Трурлем? — невинно спросил Клапауций. — Нельзя ли мне повидать его? — Он просто с ума сошел от ярости! — ответил Трурль. — Грозился, что спрячется за большой скалой у твоего дома и раздробит тебе череп. А когда я попытался урезонить его, он на меня стал бросаться. Ночью принялся плести

из проволоки силки и сети на тебя, друг мой. И, хотя я считаю, что в его лице ты оскорбил меня, все же ради давней дружбы нашей, ради твоей безопасности (потому что он себя не помнил от злости) разобрал я его на мелкие части, не видя иного выхода.

Говоря это, Трурль, будто от нечего делать, пнул ногой какие-то детали, разбросанные на полу.

После этого они тепло попрощались и расстались, как сердечные друзья.

С той поры Трурль только то и делал, что каждому встречному и поперечному рассказывал всю эту историю. Как он подарил Клапауцию Машину Для Исполнения Желаний и как недостойно поступил тот с машиной, приказав ей изготовить двойника Трурля, а затем дал ему взбучку. Как этот двойник, великолепно изготовленный машиной, с помощью всяческих ухищрений пытался вырваться и сбежал, едва уставший Клапауций уснул. И как сам он, Трурль, разобрал прибежавшего домой невсамделишного Трурля, сделал же он это лишь ради того, чтобы спасти своего друга Клапауция от мести пострадавшего. И до тех пор он рассказывал об этом, и хвастал, и пыжился, и призывал в свидетели самого Клапауция, пока весть об этом необычайном

происшествии не дошла до королевского двора. Теперь все там отзывались о Трурле не иначе как с величайшим восхищением, хотя совсем еще недавно его повсеместно называли Конструктором Самых Глупых Мыслящих Машин в мире. А когда Клапауций услыхал, что сам король щедро одарил Трурля и наградил его орденом Великой Пружины и Геликоноидальной Звездой, он завопил во весь голос:

— Как же так? Значит, за то, что удалось мне его перехитрить, за то, что я его разгадал и задал ему крепкую взбучку, так что ему пришлось потом долго переклепываться и лататься, за то, что он несолоно хлебавши бежал на перекошенных ногах из моего подвала, — за все за это он утопает в богатстве! Мало того, король жалует его орденом! О Вселенная!

И, ужасно разгневанный, возвратился Клапауций домой и снова заперся на все замки. Ибо он строил такую же Машину Для Исполнения Желаний, как и Трурль, только тот раньше ее закончил.

# Семь путешествий Трурля и Клапауция

## Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана

Когда Космос еще не был так разболтан, как в наши дни, когда все звезды аккуратно были порасставлены и легко удавалось пересчитать их слева направо или сверху вниз (причем те, что побольше да поголубее, вместе собрались, а мелкие да желтеющие, как тела второй категории, по углам были распиханы), когда в пространстве и следа бы никто не сыскал пыли, грязи и мусора от туманностей, — в те добрые старые времена существовал обычай, что конструкторы, имеющие диплом Перпетуальной Омнипотенции с отличием, время от времени отправлялись в путешествия и несли далеким народам добрый совет и помощь.

И случилось однажды, что, согласно этому обычаю, пустились в путь Трурль и Клапауций, которым создавать или гасить звезды было все равно что семечки лузгать.

Когда глубина космической бездны уже стерла в их сознании память о родном небе, увидели они пред собой планету, не слишком большую

и не слишком маленькую — в самый раз, с одним-единственным континентом. Посреди этого континента тянулась линия, красная-красная, и все, что находилось по одну ее сторону, было желтым, а то, что по другую, — розовым. Поняли конструкторы, что перед ними два соседних государства, и решили посоветоваться перед посадкой.

— Поскольку тут два государства, — сказал Трурль, — справедливо будет, ежели ты отправишься в одно, а я в другое. Благодаря этому никто не будет обижен.

— Хорошо, — ответил Клапауций, — но что будет, если они захотят от нас военных изобретений? Такое случается.

— Действительно, они могут добиваться оружия, даже сверхоружия, — согласился Трурль. — Давай договоримся, что мы решительно им откажем.

— А если они будут очень нажимать? — возразил Клапауций. — И такое бывает.

— Проверим это, — сказал Трурль и включил радио, из которого немедленно хлынула бравая военная музыка.

— У меня есть идея, — сказал Клапауций, выключая радио. — Мы можем применить рецепт

Гарганциана. Что ты на это скажешь?

— Ах, рецепт Гарганциана! — воскликнул Трурль. — Никогда не слышал, чтобы его кто-либо применял. Но мы можем начать. Почему бы и нет?

— Оба мы будем готовы применить этот рецепт, — пояснил Клапауций, — но обязательно оба и должны это сделать, иначе все кончится весьма скверно.

— О, это легче легкого, — заявил Трурль.

Он вынул из-за пазухи золотую коробочку и открыл ее. Внутри на бархатной обивке лежали два белых шарика.

— Возьми один себе, а другой останется у меня, — сказал он. — Каждый вечер проверяй свой шарик: если он порозовеет, это будет означать, что я применил рецепт. Тогда и ты сделаешь то же самое.

— Ну, значит, договорились, — ответил Клапауций и спрятал шарик.

Потом они высадились на планету, пожали друг другу руки и разошлись в противоположные стороны.

Государством, в которое попал Трурль, правил король Безобразик. Был это вояка прирожденный и наследственный, от дедов-прадедов, и

притом скряга прямо-таки космический. Чтобы казне было полегче, отменил он все наказания, кроме высшей меры. Любимым его занятием была ликвидация лишних учреждений, а с тех пор, как он отменил должность палача, каждый осужденный принужден был обезглавливать себя сам либо — по особой королевской милости — с помощью ближайших родственников. Из искусств поддерживал Безобразии лишь те, что не требовали особых затрат, а именно коллективную декламацию, игру в шахматы и военную гимнастику. Военное искусство он вообще ценил исключительно, поскольку выигранная война приносит большие доходы; однако, с другой стороны, к войне можно подготовиться как следует только в мирное время, а поэтому король и мир поддерживал, хотя умеренно.

Величайшей реформой Безобразика было огосударствление измены государству. Соседняя страна посылала к нему шпионов; а потому учредил Безобразик должность Коронного Продавца, или Продавателя, который при посредстве своих подчиненных за хорошую плату сообщал вражеским агентам государственные тайны; агенты эти охотней покупали устаревшие тайны, ибо они обходились подешевле, а перед своим казна-

чейством тоже нужно было отчитываться.

Подданные Безобразика вставали рано, держались скромно и отправлялись спать поздно, потому что много работали. Делали они плетенки и фашины для окопов, а также оружие и доносы. Чтобы государство не распалось от излишка этих доносов, — а кризис подобного рода уже случился много веков назад, в царствование Многолимуса Стоокого, — тот, кто сочинял слишком много доносов, платил особый налог на роскошь. Таким образом количество доносов удерживалось на разумном уровне.

Прибыв ко двору Безобразика, Трурль предложил ему свои услуги, король же, как нетрудно догадаться, потребовал, чтобы он изготовил мощное военное оружие. Трурль попросил три дня на размышления, а оказавшись в отведенных ему скромных покоях, поглядел на шарик в золотой коробочке. Был он белым, но, пока Трурль на него глядел, начал понемногу розоветь. «Ого, — сказал себе Трурль, — надо приниматься за Гарганциана!» И сразу же засел за секретные записи.

Клапауций тем временем находился в другом государстве, которым правил могучий король Мегерик.

Тут все выглядело совершенно иначе, нежели

в царстве Безобразика. И этот монарх жаждал ратных походов, и он тратился на вооружение, но делал это мудро, ибо был властелином безмерно щедрым, а его чувствительность к красоте не имела себе равных. Обожал этот король мундиры и золотые шнуры, лампасы и султаны, латы и эполеты. Он был и вправду очень впечатлительным — каждый раз, как спускал на воду новый броненосец, так прямо весь дрожал. Щедро швырял деньги на батальную живопись, а оценивал он картины — из патриотических побуждений — по количеству павших врагов, и поэтому на панорамах, которых в его королевстве было несметное множество, громоздились до самого неба горы вражеских трупов. В повседневной жизни соединял он абсолютизм с просвещенностью, а строгость с великодушием.

В каждую годовщину своего вступления на трон проводил король Мегерик реформы. То велит украсить цветами все гильотины, то — смазать их, чтобы не скрипели, а то — позолотить их ножи, а одновременно и наточить — из гуманных соображений. Натура у него была широкая, но расточительности он не одобрял, а потому особым декретом стандартизовал все тиски и дыбы, колья и кандалы. Казни неблагонадежных — не

часто случавшиеся, впрочем, — совершались шумно и пышно, в строю и в порядке, с исповедью и отпущением грехов, среди марширующих каре в лампасах и помпонах.

Была также у этого мудрого монарха теория, которую он воплощал в жизнь, а именно теория всеобщего счастья. Известно ведь: человек не потому смеется, что ему весело, а потому ему весело, что он смеется. Когда все говорят, что дела идут хорошо, настроение сразу подымается. Так что подданные Мегерика обязаны были, для собственного же блага, вслух повторять, что дела у них идут прямо-таки изумительно, а прежнюю туманную формулировку приветствия «Добрый день!» король заменил более полезной — «Как хорошо!», причем детям до четырнадцати лет разрешалось говорить «Хо-хо!», старцам же — «Хорошо как!». Мегерик радовался, наблюдая, как крепнет дух народа, когда, проезжая по улицам в карете, имеющей форму броненосца, видел восторженные толпы и приветствовал их мановением монаршей руки, а люди наперебой кричали: «Хо-хо!», «Хорошо как!» и «Чудесно!».

Был он, собственно говоря, демократичен по натуре. Безмерно любил затевать короткие удалые беседы со старыми служаками, что огонь и

воду прошли, жаждал боевых историй, которые рассказывают воины на привалах, а иной раз, давая аудиенцию какому-нибудь иностранному сановнику, ни с того ни с сего трахал себя скипетром по колену и кричал: «Наша взяла!», или «Заклепайте-ка мне этот броненосец!», или же: «А побей меня пуля!». Ибо ничем он так не восхищался, как бодростью и силой, мужеством привычным, ничего так не любил, как пироги на водке с порохом, сухари и зарядные ящики, а также картечь. Поэтому, когда грусть его одолевала, приказывал Мегерик, чтобы перед ним маршировали войска и чтобы пели солдаты песни «Армия наша нарезная», «В металлолом мы жизнь свою сдаем», «Зазвенела гайка, битвы ожидай-ка» или старую знаменитую «Эх, я смажусь, подбодрюсь, рысью на штыки помчусь!». И велел он, чтобы, когда умрет, старая гвардия пропела над гробом его любимую песню «Старый робот заржавеет».

Клапауций не сразу попал ко двору великого монарха. В первом же селении, какое встретилось на пути, он стучался в разные дома, но нигде ему не отворяли. Наконец увидел конструктор на совершенно пустой улице малыша, который подошел к нему и спросил тоненьким голоском:

— Купите? Дешево продам.

— Может, и куплю, но что? — спросил удивленный Клапауций.

— Шекретик гошударштвенный, — ответил, шепелявя, ребенок и из-под полы рубашки высунул краешек плана мобилизации.

Клапауций удивился еще больше и сказал:

— Нет, детка, мне это не нужно. Ты не знаешь, где тут живет староста?

— А зачем вам штарошта? — спросил малыш.

— А мне надо с ним поговорить.

— Ш глажу на глаж?

— Можно и с глазу на глаз.

— Так вам нужен агент? Тогда мой папа вам подойдет. Надежно и недорого.

— Ну, покажи мне этого самого папу, — сказал Клапауций, видя, что иначе не выпутаться из разговора.

Ребеночек привел его в один из домов: там горела лампа, хотя на дворе был ясный день, и сидело семейство — седой дедушка расположился в кресле-качалке, бабушка вязала чулок на спицах, а взрослое и весьма рослое их потомство тоже занималось всякими домашними делами. Увидев Клапауция, все вскочили и бросились на него; спицы оказались кандалами, лампа — микрофоном, а бабушка — начальником местной

полиции.

«Видимо, произошло недоразумение», — подумал Клапауций, когда его бросили в подвал, предварительно поколотив. Он терпеливо ждал всю ночь — ведь все равно ничего нельзя было поделать. Рассвет посеребрил паутину на каменных стенах и проржавевшие останки прежних узников; через некоторое время вызвали конструктора на допрос.

Оказалось, что и селение, и дома, и ребенок были подставными: таким способом одурачивали вражьих агентов. Долгий судебный процесс Клапауцию не грозил, процедура была короткой. За попытку контакта с папой-продавателем полагалось гильотинирование третьего разряда, поскольку местная администрация в этом бюджетном году уже израсходовала средства на перевербовку шпионов, Клапауций же, со своей стороны, никакой государственной тайны, несмотря на все уговоры, приобретать не хотел; отягчающим обстоятельством послужило и то, что при нем не оказалось мало-мальски серьезной суммы наличными. Клапауций все твердил свое, но офицер-следователь ему не верил; впрочем, если б он и поверил, освобождение узника выходило за пределы его компетенции.

Дело, однако, передали в высшие инстанции, а тем временем Клапауция подвергали пыткам, больше из служебного рвения, чем по необходимости. Через неделю дела приняли благоприятный оборот: конструктора привели в порядок, почистили и переправили в столицу. Там, получив инструкции о правилах придворного этикета, он был удостоен личной аудиенции у короля. Ему дали даже трубу, ибо каждый гражданин знаменовал свое прибытие в официальные учреждения, а также отбытие трубными звуками, а всеобщее служебное рвение было таково, что восход солнца ни во что не ставился без побудки.

Мегерик, разумеется, потребовал у него нового оружия; Клапауций пообещал исполнить это монаршее желание; идея его, заверил он, совершит переворот в военном деле.

— Какая армия, — спросил он прежде всего, — непобедима? Такая, у которой самые хорошие командиры и самые дисциплинированные солдаты. Командир приказывает, солдат слушает; значит, один должен быть умным, а другой послушным. Однако для силы ума, даже и военного, существуют естественные границы. Даже самый гениальный полководец может столкнуться с равным себе. Может он также пасть на поле боя,

и его солдаты осиротеют; может и нечто худшее учинить, ежели, к примеру, профессионально натренировавшись в мышлении, предметом своих размышлений власть изберет. Разве не опасна орава заржавевших в боях штабистов, у которых от размышлений боевые виски плавятся, так что им даже и трона может захотеться? Разве не пострадали от этого уже многие королевства? Как видно из этого, командиры являются лишь необходимым злом; и за тем дело стало, чтобы необходимость эту уничтожить. Далее: дисциплинированность армии в том состоит, чтобы она точно выполняла приказы. С точки зрения устава, идеальной является такая армия, которая из тысяч тел, мыслей, воль создает единое тело, мысль, волю. На это направлена вся военная дисциплина, муштра, маневры, упражнения. Итак, недостижимой целью кажется такая армия, которая действовала бы буквально как один человек, сама творя и реализуя стратегические планы. Кто же может быть воплощением такого идеала? Только индивидуум, ибо никого не слушаешь так охотно, как себя, и никто не выполняет приказов так старательно, как тот, кто их сам себе отдает. К тому же индивидуум не может разбежаться в разные стороны, отказать самому себе в повино-

вении или открыто роптать на себя. Итак, суть в том, чтобы эту готовность к послушанию, это себялюбие, которые свойственны индивидууму; сделать свойствами многотысячной армии. Как же этого добиться?

Тут Клапауций начал излагать заслушавшемуся королю простые, как все гениальное, идеи Гарганциана.

— Каждому рекруту, — сказал он, — следует приделать спереди штепсель, а сзади розетку. По приказу «Соединяйтесь!» штепсели втыкаются в розетки, и там, где только что была толпа штатских, возникает подразделение идеальной армии. Когда разрозненные интеллекты, до тех пор занятые внеказарменными мелочами, буквально сливаются в единую воинскую душу, автоматически возникает не только дисциплина, проявляющаяся в том, что вся армия действует воедино, ибо является единой душой во множестве тел, но тут же образуется и ум. А ум этот прямо пропорционален численности армии. Взвод обладает умом унтер-офицера, рота умна, как штабс-капитан, батальон — как полковник, а дивизия, даже из резерва, стоит всех стратегов мира, вместе взятых. Таким образом можно сформировать прямо-таки потрясающе гениальную

армию. Приказов не выполнять она не может — ведь кто же не послушает самого себя? Это в корне уничтожает всяческие прихоти и выходки индивидуумов, зависимость от случайных способностей командиров, их взаимную зависть, соперничество, распри; однажды соединенные части разъединять уже не следует, ибо это не дало бы ничего, кроме беспорядка. «Армия без полководцев — сама себе полководец» — вот мой идеал! — закончил Клапауций свою речь, которая произвела на короля очень сильное впечатление.

— Ступай, сударь, к себе на квартиру, — промолвил монарх, — а я посоветуюсь с моим генеральным штабом…

— О, не делайте этого, Ваше Королевское Величество, — хитроумно воскликнул Клапауций, изображая великое смятение. — Именно так поступил император Турбулеон, а штаб его, цепляясь за свои должности и чины, отверг проект, и тотчас же сосед Турбулеона, король Эмалиус, повел реформированную армию на его государство, которое и превратил в пепелище, хотя армия Эмалиуса была в восемь раз меньше!

Сказав это, Клапауций отправился в свои покои и, поглядев там на шарик, увидел, что он

красен, как свекла, из чего было понятно, что Трурль подобным же образом действует у короля Безобразика.

Вскоре король приказал Клапауцию переделать один пехотный взвод. Маленькое это подразделение соединилось духом, крикнуло: «Бей, рубай!» — и, ринувшись с холма на три эскадрона до зубов вооруженных королевских кирасиров под руководством шести преподавателей Академии Генерального Штаба, разнесло их в пух и прах. Сильно опечалились все маршалы, генералы и адмиралы, ибо король немедленно их уволил в отставку и, полностью уверовав в коварное изобретение, велел Клапауцию переделать всю армию.

И начали фабрики оружейные днем и ночью выдавать вагоны штепселей и розеток, которые привинчивали, куда следует, во всех казармах. Клапауций ездил на инспекцию из гарнизона в гарнизон и получал от короля массу орденов. Трурль, о том же хлопочущий в государстве Безобразика, ввиду прославленной экономности этого монарха вынужден был довольствоваться пожизненным титулом Великого Продавца Родины. Итак, оба государства готовились к военным действиям. В мобилизационной лихорадке

приводили в порядок как обычное оружие, так и ядерное, начищая с рассвета до сумерек аэропланы и атомы, чтобы они сверкали согласно уставу. Оба конструктора, которым уже, собственно, нечего было делать, начали украдкой упаковывать вещи, чтобы встретиться, когда придет пора, в условном месте, у ракеты, оставленной в лесу.

Тем временем всякие чудеса творились в казармах, особенно пехотных. Солдат незачем было муштровать и незачем было делать перекличку, чтобы установить количество присутствующих, — ведь никто не спутает свою правую ногу с левой и не начнет считать, чтобы удостовериться, что его — раз. Радостно было смотреть, как новые части маршировали, как проделывали «Налево кругом!» и «Смирно!». Однако же после упражнений роты начинали переговариваться и через открытые окна казарменных бараков наперебой перекрикивались о понятии когерентной истины, о суждениях аналитических и синтетических a priori либо о бытии как таковом, поскольку до этого уже дошел коллективный разум. Домыслились потом и до философских концепций, так что один саперный батальон дошел до абсолютного солипсизма и заявил, что, кроме него, ничто реально не существует. Поскольку из

этого следовало, что не существует ни монарх, ни противник, батальон этот пришлось потихоньку рассоединить и рассредоточить по частям, стоящим на позициях эпистемологического реализма. Примерно в это же время в государстве Безобразика шестая десантная дивизия перешла от упражнений по приземлению к мистическим упражнениям и, утопая в созерцании, чуть не утонула в ручье; неизвестно в точности, как это все произошло, но достаточно сказать, что именно тогда и была объявлена война, и армии, громыхая железом, начали с обеих сторон медленно придвигаться к границе.

Закон Гарганциана действовал с неумолимой точностью. Когда одно подразделение соединялось с другим, пропорционально возрастало и эстетическое чутье, достигая максимума на уровне дивизии; стройные ряды такой дивизии способны были броситься по бездорожью в погоню за пестрой бабочкой, а когда моторизованный корпус имени Многолимуса подступил к вражьей крепости, которую надлежало взять штурмом, то план наступления, начертанный за ночь, оказался превосходной зарисовкой этой крепости, выполненной вдобавок в абстракционистском духе, совершенно противоречащем армейским

традициям. На уровне артиллерийских корпусов проявлялось главным образом тяготение к самым сложным философским проблемам; вместе с тем по рассеянности, свойственной гениям, эти большие соединения то оставляли где попало оружие и тяжелое снаряжение, то вообще забывали, что идут на войну. Что же касается целых армий, то их души были переполнены различными комплексами, как обычно бывает у особенно сложных и богатых натур, и пришлось каждой армии придать специальную моторизованную психоаналитическую бригаду, которая на марше проводила соответствующие процедуры.

Тем временем при немолчном громе литавр обе армии занимали исходные позиции. Шесть ударных полков пехоты, соединившись с гаубичной бригадой и запасным батальоном, когда к ним подключили карательный взвод, сложили «Сонет о тайне бытия» — и это во время ночного перехода на позиции. По обе стороны творилась какая-то сумятица; восьмидесятый марлабардский корпус кричал, что непременно надо уточнить дефиницию понятия «неприятель», которая пока что кажется полной логических противоречий, а может, даже и вообще бессмысленной.

Парашютные части старались алгоритмизиро-

вать окрестные деревни, ряды перемешивались, и оба короля начали слать флигель-адъютантов и курьеров, чтобы те порядок в строю навели. Каждый, однако, как только подскачет, повернет коня и подключится к соответствующему корпусу, чтобы узнать, почему такой кавардак творится, так немедленно отдает свой дух корпусному духу. Вот и остались короли без адъютантов. Коллективное сознание оказалось страшной ловушкой, в которую легко войти, а выйти из нее невозможно. На глазах самого Безобразика его кузен, великий князь Дербульон, желая поддать духу воинам, помчался к войскам, но лишь только подключился, так сразу духом влился, слился, и нет его, как не бывало.

Видя, что дела плохи, хотя неизвестно почему, кивнул Мегерик двенадцати дворцовым трубачам. Кивнул и Безобразик, на возвышении командном стоя. Приложили трубачи медь к губам, и заиграли трубы с обеих сторон, подавая сигнал к бою. В ответ на этот протяжный зов каждая армия начала решительно соединяться целиком. Грозный железный лязг смыкающихся контактов раздался на будущем поле боя, и вместо тысяч артиллеристов и танкистов, летчиков и минометчиков возникли две гигантские души, которые

миллионами глаз посмотрели друг на друга через широкую равнину, стелющуюся под белыми облаками, и настала минута полной тишины. Ибо с обеих сторон наступила та блистательная кульминация сознания, которую великий Гаргантуан предвидел с математической точностью. А именно, перейдя определенную границу, воинский дух как местное состояние преобразуется в штатский; происходит это потому, что Космос как таковой является абсолютно штатским, а души обеих армий именно и достигли уже космических размеров! И хотя снаружи сверкала сталь, броня, смертоносные жерла и острия, внутри разливался океан снисходительного спокойствия и всеобъемлющей доброжелательности. Стоя так на холмах под не смолкшую еще барабанную дробь, обе армии улыбнулись друг другу.

Трурль и Клапауций как раз всходили на палубу своего корабля, когда свершилось то, к чему они стремились: на глазах королей, почерневших от стыда и ярости, обе армии откашлялись, взялись под руки и пошли на прогулку, собирая цветы под проплывающими облаками на поле несвершившейся битвы.

## Путешествие первое А, или Электрибальд Трурля

Желая избежать каких бы то ни было претензий и кривотолков, должны мы объяснить, что это было, по крайней мере в буквальном смысле слова, путешествие в никуда. Ибо Трурль за все это время не выбрался из дому, если не считать дней, проведенных в больнице, да малосущественной поездки на планетоид. Если же вникнуть в глубь и высший смысл вещей, то это путешествие было самым дальним из всех, которые когда-либо предпринимал замечательный конструктор, поскольку простиралось оно до самых границ возможного.

Случилось как-то Трурлю построить машину для счета, которая оказалась способной к одному-единственному действию, а именно умножала два на два, да и то при этом ошибалась. Как было поведано в другом месте, машина эта отличалась при всем при том крайней самоуверенностью, и ссора ее с собственным создателем едва не закончилась для последнего трагически. С тех пор Клапауций отравлял Трурлю жизнь, и так,

и эдак его подзуживая, — в результате тот не на шутку разозлился и решил построить машину, которая сочиняла бы стихи. Накопил Трурль для такой цели восемьсот двадцать тысяч тонн кибернетической литературы плюс двенадцать тысяч тонн поэзии и принялся их изучать. Опостылеет ему кибернетика — перекинется на лирику, и наоборот. Спустя какое-то время понял он, что построить машину — это еще пустяк по сравнению с ее программированием. Программу, которая уже имеется в голове обычного поэта, создала цивилизация, его породившая; эту цивилизацию сотворила предыдущая, ту — еще более ранняя и так до самых истоков Вселенной, когда информация о грядущем поэте еще хаотично кружилась в ядре изначальной туманности. Значит, чтобы запрограммировать машину, следовало повторить если не весь Космос с самого начала, то по крайней мере солидную его часть. Будь на месте Трурля кто-нибудь другой, такая задачка заставила бы его отказаться от всей затеи, но хитроумный конструктор и не подумывал о ретираде. Взял и сконструировал машину, моделирующую хаос, где электрический дух витал над электрическими водами, потом прибавил параметр света, потом пратуманность и так по-

степенно приблизился к первому ледниковому периоду, что было возможно лишь постольку, поскольку машина в течение пятимиллиардной доли секунды моделировала сто септиллионов событий, происходивших в четырехстах октиллионах мест одновременно, — а тот, кто думает, будто где-то здесь Трурлем допущена ошибка, пусть сам попытается проверить расчет. Затем промоделировал Трурль истоки цивилизации, высекание искр из кремня и выделывание шкур, ящеров и потопы, четвероногость и хвостатость, потом, наконец, праочкарика, который родил очкарика, от которого пошла машина, и так летели зоны и тысячелетия в шуме электрических разрядов и токов; а когда моделирующая машина становилась тесной для следующей эпохи, Трурль мастерил к ней приставку, пока из этих пристроек не образовалось нечто вроде городка из перепутанных проводов и ламп, в мешанине которых сам черт сломал бы себе ногу. Трурль, однако, как-то выходил из положения, и только два раза пришлось ему переделывать работу заново: первый раз, к сожалению, с самого начала, так как получилось у него, будто Авель убил Каина, а не Каин Авеля (перегорел предохранитель в одном из контуров), в другом же

случае возвратиться следовало всего на триста миллионов лет назад, в среднюю мезозойскую эру, так как вместо прарыбы, которая родила праящера, который родил прамлекопитающего, который родил обезьяну, которая родила праочкарика, получилось нечто настолько странное, что вместо очкарика вышел у него фонарик. Кажется, муха залетела в машину и испортила суперскопический переключатель причинности. Не считая этого, все шло как по маслу, просто на удивление. Смоделированы были средневековье, и древность, и эпоха великих революций, так что машину порой бросало в дрожь, а лампы, моделирующие наиболее важные успехи цивилизации, приходилось поливать водой и обкладывать мокрыми тряпками, чтобы прогресс, моделируемый в таком бешеном темпе, не разнес их вдребезги. Под конец двадцатого века машина вдруг начала вибрировать наискось, а потом затряслась вдоль — и все неизвестно почему. Трурль весьма этим огорчился и даже приготовил немного цемента и скрепы на тот случай, если вдруг она станет разваливаться. К счастью, обошлось без этих крайних мер; перевалив за двадцатый век, машина помчалась дальше без задоринок. Тут пошли наконец, каждая по пятьдесят тысяч лет, цивилизации

абсолютно разумных существ, которые породили и самого Трурля, и катушки смоделированного исторического процесса так и летели в приемник одна за другой, и было этих катушек столько, что если забраться на верхотуру и посмотреть в бинокль — просто конца не было этим отвалам; а ведь все только для того, чтобы построить какого-то там виршеплета, пусть даже и самого распрекрасного! Таковы уж последствия научного азарта. Наконец программы были готовы; оставалось выбрать из них самое существенное, ибо в противном случае обучение электропоэта затянулось бы на много миллионов лет.

Две недели подряд вводил Трурль в своего будущего электропоэта общие программы; потом наступила настройка логических, эмоциональных и семантических контуров. Уже было собрался он пригласить Клапауция на пробное испытание, но раздумал и сначала пустил машину в одиночку. Та немедля прочла доклад о полировке кристаллографических шлифов для вводного курса малых магнитных аномалий. Пришлось ослабить логические контуры и усилить эмоциональные; прежде всего машину одолел приступ икоты, затем припадок истерии, наконец она с большим трудом пробормотала, что жизнь ужас-

на. Он усилил семантику и смастерил приставку воли; тогда она заявила, что отныне он должен ей подчиняться, и приказала достроить ей еще шесть этажей к девяти имеющимся, чтобы она могла на досуге поразмыслить о сущности бытия. Вставил он ей философский глушитель; после этого она вообще перестала откликаться и только ударяла током. Умолял он ее, умолял и смог уговорить лишь спеть короткую песенку «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком», на чем ее вокальные упражнения кончились. Тогда начал он ее прикручивать, глушить, усилять, ослаблять, регулировать, пока не решил, что все в лучшем виде. Тут и угостила она его такими стихами, что возблагодарил он великое небо за прозорливость: то-то бы потешился Клапауций, заслышав эти занудливые вирши, ради которых пришлось промоделировать все возникновение Космоса и всех возможных цивилизаций! Вставил он ей шесть противографоманских фильтров, но они вспыхивали, как спички; пришлось изготовить их из корундовой стали. Тут понемногу стало у него налаживаться; он дал машине полную семантическую развертку, подключил генератор рифм, и чуть было все опять не полетело в тартарары, так как машина пожелала быть мис-

сионером у нищих звездных племен. Однако в тот последний момент, когда он уже готов был наброситься на нее с молотком в руках, пришла ему в голову спасительная мысль. Он выбросил все логические контуры и вставил на их место ксебейные эгоцентризаторы со сцеплением типа «Нарцисс». Машина закачалась, засмеялась, заплакала и сказала, что у нее побаливает где-то на уровне третьего этажа, что ей все уже до лампочки, что жизнь удивительна, а все кругом негодяи, что она наверное скоро умрет, и желает только одного — чтобы о ней помнили и тогда, когда ее не станет. Затем велела подать ей бумагу. Трурль облегченно вздохнул, выключил ее и отправился спать. Утром он зашел за Клапауцием. Услышав, что его зовут на запуск Электрибальда, как решил Трурль назвать свою машину, Клапауций бросил все свои дела и пошел в чем был, так не терпелось ему поскорее стать свидетелем поражения друга.

Трурль прежде всего включил нагревательные контуры, потом дал малый ток, еще несколько раз взбежал наверх по гремящим железным ступенькам — Электрибальд похож был на огромный судовый двигатель, весь в стальных мостках, покрытый клепаной жестью, со множеством циферблатов и клапанов, — и вот, наконец, запы-

хавшийся, следя, чтобы не падало напряжение, он заявил, что для разминки начнет с маленькой импровизации. А потом уж, конечно, Клапауций сможет предложить машине любую тему для стихов, какую захочет.

Когда амплификационные указатели дали знать, что лирическая мощность достигла максимума, Трурль, рука которого чуть заметно дрожала, включил большой рубильник, и почти сразу машина произнесла голосом слегка хриплым, но изобилующим чарующими и убедительными интонациями:

— Общекотовичарохристофорная хрящетворобка.

— И это все? — выждав некоторое время, удивительно вежливо спросил Клапауций. Трурль стиснул зубы, дал машине несколько ударов током и снова включил. На этот раз голос оказался значительно чище; им можно было просто наслаждаться, этим торжественным, не лишенным обольстительных переливов баритоном:

*Лопотуй голомозый, да бундет грывчато*

*В кочь турмельной бычахе, что коздрой уснит,*

*Окошел бы назакрочь, высвиря глазята,*

*А порсаки корсливые вычат намрыд!*

— По-каковски это? — осведомился Клапауций, с великолепной невозмутимостью наблюдая за той паникой, с которой Трурль метался у щита управления; затем, махнув в отчаянии рукой, тот помчался, топая по ступеням, на самый верх стальной громадины. Видно было, как он на четвереньках вползает сквозь открытые клапаны в нутро машины, как стучит там молотком, яростно ругаясь, как что-то закручивает, бренча разводными ключами, как снова выползает и вприпрыжку бежит на другой помост; наконец он издал торжествующий вопль, выбросил перегоревшую лампу, которая с грохотом разбилась о пол в двух шагах от Клапауция; даже не подумав извиниться за такую небрежность, поспешно вставил на ее место новую, вытер грязные руки мягкой ветошью и закричал сверху, чтобы Клапауций включил машину. Раздались слова:

*Три, самолож выверстный, вертяшку сум воздлинем,*

*Секливой апелайде и боровайка кнется,*

*Гренит малополешный тем перезлавским тринем,*

*И отмурчится бамба, и голою вернется.*

— Уже лучше! — воскликнул, правда не совсем уверенно, Трурль. — Последние слова имели смысл, заметил?

— Ну, если это все… — промолвил Клапауций, который был сейчас олицетворением изысканнейшей вежливости.

— Черт бы его побрал! — завопил Трурль и снова исчез во внутренностях машины: оттуда доносился лязг, грохот, раздавались треск разрядов и проклятия конструктора. Наконец он высунул голову из небольшого отверстия на третьем этаже и крикнул:

— Нажми-ка теперь!

Клапауций выполнил просьбу. Электрибальд задрожал от фундамента до верхушки и начал:

*Грызнотвурога жуждя, голенистый лолень*

*Самошпака миманку…*

Голос оборвался, — Трурль в бешенстве рванул какой-то кабель, что-то затрещало, и машина смолкла. Клапауций так хохотал, что в изнеможении опустился на подоконник. Трурль кидался туда и сюда, вдруг что-то треснуло, звякнуло и ма-

шина весьма деловито и спокойно произнесла:

*Зависть, чванство, эгоизм, по словам Конфуция,*

*До добра не доведут – знает это и болван.*

*Словно краба грузовик, так и Клапауция*

*Мощью замыслов раздавит духа великан!*

— Вот! Пожалуйста! Эпиграмма! И прямо не в бровь, а в глаз! — выкрикивал Трурль, описывая круги, все ниже и ниже, ибо он сбегал вниз по узкой спиральной лестничке, пока почти не влетел в объятия коллеги, который перестал смеяться и несколько оторопел.

— А, дешевка, — сказал тут Клапауций. — Кроме того, это не он, а ты сам!

— Как это я?

— Ты это сочинил заранее. Догадываюсь по примитивности, бессильной злости и банальным рифмам.

— Ах вот как? Ты предложи что-нибудь другое! Что захочешь! Ну, что же ты молчишь? Боишься, а?

— Не боюсь, а просто задумался, — сказал заде-

тый за живое Клапауций, стараясь найти самое трудное из возможных заданий, поскольку не без основания полагал, что спор о качестве стихотворения, сложенного машиной, трудно будет разрешить.

— Пусть сочинит стихотворение о кибэротике! — сказал он наконец, радостно усмехаясь. — Пусть там будет не больше шести строк, а в них о любви и измене, о музыке, о неграх, о высшем обществе, о несчастье, о кровосмесительстве — в рифму и чтобы все слова были только на букву К!

— А полного изложения общей теории бесконечных автоматов ты случайно не предложишь? — заорал оскорбленный до глубины души Трурль. — Нельзя же ставить таких кретинских уело…

И не договорил, потому что сладкий баритон, заполнив собой весь зал, в этот момент отозвался:

*Кот, каверзник коварный, кибэроторман,*

*К королеве кафров крадется Киприан.*

*Как клавесина клавишей, корсажа касается.*

*Красотка к кавалеру, конфузясь, кидается…*

*…Казнится краля, киснет: канул Купидон,*

*К кузине королевы крадется киберон!*

— Ну, и что ты скажешь? — подбоченился Трурль, а Клапауций, уже не раздумывая, кричал:

— А теперь на Г! Четверостишие о существе, которое было машиной, одновременно мыслящей и безмозглой, грубой и жестокой, имевшей шестнадцать наложниц, крылья, четыре размалеванных сундука, в каждом из которых по тысяче золотых талеров с профилем короля Мурдеброда, два дворца, проводившей жизнь в убийствах, а также…

— Грозный Генька-генератор грубо грыз горох горстями… — начала было машина, но Трурль подскочил к щиту управления, нажал на рубильник и, заслонив его собственным телом, промолвил сдавленным голосом:

— Все! Не будет больше подобной чепухи! Я не допущу, чтобы погубили великий талант! Или ты будешь честно заказывать стихи, или на этом все кончено!

— А что же — те стихи были заказаны нечест-

но?.. — начал Клапауций.

— Нет! Это были головоломки, ребусы какие-то! Я создавал машину не для идиотских кроссвордов! Ремесло это, а не Великое Искусство! Давай любую тему, самую трудную…

Клапауций думал, думал, аж сморщился весь, и сказал:

— Ладно. Пусть будет о любви и смерти, но все должно быть выражено на языке высшей математики, а особенно тензорной алгебры. Не исключается также высшая топология и анализ. Кроме того, в стихах должна присутствовать эротическая сила, даже дерзость, но все в пределах кибернетики.

— Ты спятил. Математика любви? Нет, ты не в своем уме… — возразил было Трурль. Но тут же умолк враз с Клапауцием, ибо Электрибальд уже скандировал:

*В экстремум кибернетик попадал*
*От робости, когда киберіады*
*Немодулярных групп искал он интеграл.*
*Прочь, единичных векторов засады!*
*Так есть любовь иль это лишь игра?*

*Где, антиобраз, ты? Возникни, слово молви-ка!*
*Уж нам проредуцировать пора*
*Любовницу в объятия любовника.*

*Полуметричной дрожи сильный ток*
*Обратной связью тут же обернется,*
*Такой каскадной, что в недолгий срок*
*Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!*

*Ты, трансфинальный класс! Ты, единица силы!*
*Континуум ушедших прасистем!*
*За производную любви, что мне дарила*
*Она, отдам я Стокса насовсем!*

*Откроются, как Теоремы Тела,*
*Твоих пространств ветвистые глубины,*
*И градиенты кипарисов смело*
*Помножены на стаи голубиные.*

*Седины? Чушь! Мы не в пространстве Вейля*
*И топологию пройдем за лаской следом*

*мы,*

*Таких крутизн расчетам робко внемля,*

*Что были Лобачевскому неведомы*

*О комитанта чувств, тебя лишь знает*

*Тот, кто узнал твой роковой заряд:*

*Параметры фатально нависают,*

*Наносекунды гибелью грозят.*

*Лишен голономической системой*

*Нуля координатных асимптот,*

*Последних ласк, – в проекции последней*

*Наш кибернетик гибнет от забот.*

На этом и закончилось поэтическое турне; Клапауций тут же ушел домой, обещав, что вот-вот вернется с новыми темами, но больше не показывался, опасаясь дать Трурлю еще один повод для триумфа; что же касается Трурля, то он утверждал, будто Клапауций удрал, не будучи в силах скрыть непрошеную слезу. На это Клапауций возразил, что Трурль с той поры, как построил Электрибальда, видимо, свихнулся окончательно.

Прошло немного времени, и слух об электрическом барде достиг ушей настоящих, я хочу сказать обыкновенных, поэтов. Возмущенные до глубины души, они решили не замечать машины, однако нашлось среди них несколько любопытных, отважившихся тайком посетить Электрибальда. Он принял их учтиво, в зале, заваленном исписанной бумагой, так как сочинял днем и ночью без роздыху. Поэты были авангардистами, а Электрибальд творил в классическом стиле, ибо Трурль, не очень-то разбиравшийся в поэзии, основывал «вдохновляющие» программы на произведениях классиков. Посетители высмеяли Электрибальда, да так, что у него от злости чуть не полопались катодные трубки, и ушли, торжествуя. Машина, однако, умела самопрограммироваться, и был у нее специальный контур усиления самоуверенности с предохранителем в шесть килоампер, и в самый короткий срок все изменилось самым решительным образом. Ее стихи стали туманными, многозначительными, турпистическими, магическими и приводили в совершеннейшее отупение. И когда прибыла новая партия поэтов, чтобы поиздеваться и покуражиться над машиной, она ответила им такой модернистской импровизацией, что у них в зобу дыханье сперло;

от второго же стихотворения серьезно занемог некий бард старшего поколения, удостоенный двух государственных премий и бюста, выставленного в городском парке. С тех пор ни один поэт уже не в силах был сопротивляться пагубному желанию вызывать Электрибальда на лирическое состязание — и тащились они отовсюду, волоча мешки и сумки, набитые рукописями. Электрибальд давал гостю почитать вслух, на ходу схватывал алгоритм его поэзии, и, основываясь на нем, отвечал стихами, выдержанными в том же духе, но во много раз лучшими — от двухсот двадцати до триста сорока семи раз.

Спустя некоторое время он так приноровился, что одним-двумя сонетами сваливал с ног заслуженного барда. А что хуже всего — оказалось, что из соревнования с ним с честью могут выйти лишь графоманы, которые, как известно, не отличают хороших стихов от плохих; потому-то они и уходили безнаказанно, кроме одного, сломавшего ногу, споткнувшись у выхода о широкое эпическое полотно Электрибальда, весьма новаторское и начинавшееся со строк:

*Тьма. Во тьме закружились пустоты.*
*Осязаем, но призрачен след.*

*Ветер дунул – и взора как нет.*
*Слышен шаг наступающей роты.*

В то же самое время настоящим поэтам Электрибальд наносил, значительный урон, хотя и косвенно — ведь зла им он не причинял. Несмотря на это, один почтенный уже лирик, а вслед за ним два модерниста совершили самоубийство, спрыгнув с высокой скалы, которая по роковому стечению обстоятельств как раз попалась им на пути от резиденции Трурля к станции железной дороги.

Поэты сорганизовали несколько митингов протеста и потребовали опечатать машину, но никто, кроме них, не обращал внимания на феномен. Редакции газет были даже довольны, поскольку Электрибальд, писавший под несколькими тысячами псевдонимов сразу, представлял готовую поэму заданных размеров на любой случай, и эта поэзия, хоть и на заказ, была такого качества, что читатели раскупали газеты нарасхват, а на улицах так и пестрело от лиц, полных неземного блаженства, мелькали бессознательные улыбки и слышались тихие всхлипывания. Стихи Электрибальда знали все; воздух сотрясали хитроумнейшие рифмы, а наи-

более впечатлительные натуры, потрясенные специально сконструированными метафорами или ассонансами, даже падали в обморок; но и к этому был подготовлен титан вдохновения: он сразу же вырабатывал соответствующее количество отрезвляющих сонетов.

Сам же Трурль хлебнул горя из-за своего изобретения. Классики, по преимуществу люди весьма пожилого возраста, много вреда ему не причинили, если не считать камней, регулярно выбивавших окна, или веществ (не будем называть их), которыми обмазывались стены его дома. Куда хуже было с молодежью. Один поэт самого молодого поколения, стихи которого отличались большой лирической силой, а мускулы — физической, жестоко избил его. Пока Трурль отлеживался в больнице, события развивались дальше; не было ни дня без нового самоубийства, без похорон; перед больничным подъездом дежурили пикеты и слышалась стрельба, так как вместо рукописей поэты все чаще прятали в своих сумках самострелы, разряжая их в Электрибальда, стальной натуре которого пули, однако, не приносили вреда. Вернувшись домой, отчаявшийся и обессилевший конструктор однажды ночью решил разобрать на части собственными

руками сотворенного гения.

Но когда он, слегка прихрамывая, приблизился к машине, та, завидев разводные ключи в его сжатой руке и отчаянный блеск в глазах, разразилась такой страстной лирической мольбой о милосердии, что растроганный до слез Трурль отбросил инструменты и пошел к себе, утопая по колена в новых произведениях электродуха, которые вскоре поднялись ему по пояс, наводняя зал шелестящим бумажным океаном.

Однако через месяц, когда Трурль получил счет за электричество, потребленное машиной, у него потемнело в глазах. Он был бы рад выслушать советы старого приятеля Клапауция, но тот исчез, как будто земля под ним разверзлась. Вынужденный действовать на собственный страх и риск, Трурль в одну прекрасную ночь обрезал питавший машину провод, погрузил ее на космический корабль, вывез на один из небольших планетоидов и там снова смонтировал, присоединив к ней как источник творческой энергии атомный котел.

Затем он потихоньку вернулся домой, но на этом история не кончилась, так как Электрибальд, не имея возможности распространять свои произведения в печатном виде, стал пере-

давать их на всех радиоволнах, чем приводил экипажи и пассажиров космических ракет в лирический столбняк, причем особо тонкие натуры подвергались также тяжелым приступам восторга с последующим отупением. Установив, в чем дело, руководство космофлота официально обратилось к Трурлю с требованием немедленно ликвидировать принадлежащую ему установку, нарушающую лирикой общественный порядок и угрожающую здоровью пассажиров.

Вот тогда Трурль начал скрываться. Пришлось послать на планетоид монтеров, чтобы они запломбировали Электрибальду лирические выходы, но он оглушил их балладами, и они не смогли выполнить поставленной перед ними задачи. Послали глухих, но Электрибальд передал им лирическую информацию на языке жестов. Стали поговаривать вслух о необходимости карательной экспедиции или бомбежки. Но тут, наконец, машину приобрел один владыка из соседней звездной системы и вместе с планетоидом перетащил в свое королевство.

Теперь Трурль мог снова появиться и спокойно вздохнуть. Правда, на южном небосклоне то и дело вспыхивают новые сверхзвезды, которых не помнят старожилы, и ходят упорные слухи, что

тут не обошлось без поэзии. Рассказывают, будто по странному капризу упомянутый владыка приказал своим астроинженерам подключить Электрибальда к созвездию белых великанов, и каждая строчка стихов стала тут же претворяться в гигантские протуберанцы солнц; таким образом величайший поэт Космоса огненными вспышками передает свои творения всем бесконечным безднам галактик сразу. Другими словами, великий владыка превратил его в лирический двигатель группы переменных звезд. Если даже и есть в этом хоть доля правды, все это происходит слишком далеко, чтобы смутить праведный сон Трурля, который поклялся самой страшной клятвой никогда в жизни больше не браться за кибернетическое моделирование творческих процессов.

## Путешествие второе, или Какую услугу оказали Трурль и Клапауций царю Жестокусу

Успех, которого друзья достигли, последовав рецепту Гарганциана, возбудил у обоих сильную жажду приключений, и они решили вновь отправиться в безвестные края. Когда ж пришлось им устанавливать цель путешествия, обнаружилось, что согласия нет и в помине — ведь у каждого была своя идея. Трурль, бредивший жаркими странами, мечтал об Огонии, царстве Пламеногих, Клапауций же — персона более прохладных склонностей — избрал галактический полюс холода, черный континент в окружении пяти ледяных звезд. Друзья хотели было расстаться, поссорясь навеки, но тут у Трурля возникла идея, не имевшая, по его мнению, изъяна.

— Мы ведь можем, — сказал он, — дать объявление и из всех предложении, которые поступят, выбрать одно, самое обещающее со всех точек зрения.

— Вздор! — ответил Клапауций. — Куда ты хочешь дать объявление? В газету? Далеко ли

доходит газета? На ближайшую планету доползет через полгода, мы умрем, прежде чем получим хоть одно предложение!

Тут-то, усмехнувшись с чувством превосходства, Трурль и разъяснил свой оригинальный план, который Клапауцию пришлось волей-неволей одобрить, и оба принялись за дело. Смастерив наспех машины, друзья подтянули окрестные звезды и составили из них огромную надпись, с неизмеримых расстояний видимую. Она-то и была объявлением; первое слово друзья сложили из одних лишь голубых гигантов, чтобы привлечь внимание будущего читателя из Космоса, на другие пошла разнообразная звездная мелочь. «Два Выдающихся Конструктора, — говорилось в объявлении, — ищут хорошо оплачиваемый и приличествующий их таланту пост, желательно при дворе могущественного монарха с собственным государством; оплата по соглашению».

Прошло немного времени, и в один прекрасный день перед особняком наших друзей опустился дивный корабль, играющий в лучах Солнца, точно выложенный чистейшим перламутром; опустился на три основные подпорки, покрытые резьбой, а шесть подсобных не достигали земли и, собственно, ни для чего не служили; выглядели

они так, словно строитель корабля не знал, куда девать сокровища, — ведь подпорки эти были из чистого золота. Из корабля по парадной лестнице, промеж двойных шпалер фонтанов, ударивших в небо, едва корабль коснулся земли, сошел на землю важный чужеземец со свитой шестиногих машин; одни массировали его, другие поддерживали или обмахивали веером, а самая маленькая порхала над высоким челом гостя, изливая сверху благовония, сквозь облако которых сей необычайный пришелец от имени своего властелина царя Жестокуса предложил конструкторам должность при дворе этого монарха.

— А в чем будет состоять наша работа? — поинтересовался Трурль.

— Подробности, уважаемые государи, вы узнаете, прибыв на место, — ответил чужеземец, облаченный в золотые шаровары, кику с наушниками, жемчугом переливающуюся, и усеянный застежками камзол особого покроя, со складными шкатулками для сластей вместо карманов. По этому вельможе бегали крохотные заводные игрушки, от которых он величественно отмахивался легким движением руки, когда они начинали чересчур проказничать.

— Сейчас же, — продолжал он, — могу вам

сказать лишь, что Его Несравненность Жестокус является великим охотником, укротителем зверей галактических, сердце его не ведает страха, а охотничье мастерство достигло такого уровня, когда наистрашнейшие хищники перестали служить добычей, достойной его внимания. Царь страдает от этого, жаждет подлинных опасностей, неизведанных ужасов и именно поэтому…

— Понимаю, — живо ответил Трурль. — Мы должны сконструировать для государя новые породы зверей, исключительно свирепых и хищных, не так ли?!

— Ты, достодивный конструктор, необычайно догадлив, — промолвил вельможа. — Так отвечайте же, согласны ли вы?

Клапауций практично спросил об условиях, а когда царский посланник описал им великую щедрость своего государя, конструкторы без промедления уложили личные вещи и несколько книг и по лестнице, подрагивавшей от нетерпения, взошли на борт. Корабль загрохотал, окутался пламенем, опалившим даже золотые подпорки, и помчался в черную галактическую ночь.

Во время недолгого путешествия вельможа рассказывал друзьям про обычаи, царящие во

владениях Жестокуса, толковал об открытой, широкой, как тропик Рака, натуре монарха и о его мужественных увлечениях, так что, когда корабль приземлился, прибывшие умели даже разговаривать на местном языке.

Друзей тотчас поместили в расположенном на склоне горы за городом роскошном дворце — отныне он должен был служить им резиденцией, а когда они немного отдохнули, царь прислал за ними колымагу, запряженную шестью чудовищами, которых ни тот ни другой прежде и в глаза не видывали. Перед мордами чудовищ помещались специальные пламягасители, ибо из горла валил у них огонь и дым; были у чудовищ и крылья, но так подрезанные, что не могли они подняться на воздух, хвосты, покрытые стальной чешуей, длинные и закрученные в кольца, и по семь лап с когтями, пробивающими насквозь уличную брусчатку. При виде конструкторов, выходящих из дворца, упряжка дружно взревела, выпустила из ноздрей пламя, а из боков клубы серного дыма, и кинулась на них, но кучера в асбестовых латах и царевы доезжачие с мотопомпой набросились на обезумевших чудовищ, нанося им удары прикладами лазеров и мазеров, а когда чудовищ укротили, Трурль и Клапауций

забрались молчком в роскошно отделанное нутро рыдвана, который рванулся с места в карьер, а точнее сказать, в драконьер.

— Послушай-ка, — шепнул Трурль на ухо Клапауцису, пока они мчались как ветер в струях сернистых испарений, сметая все на своем пути, — чувствую я, захочет этот царь от нас многого! Какие у него красавцы в упряжке ходят, а?..

Однако рассудительный Клапауций отделался молчанием. Бриллиантовые, сапфирами выложенные и серебром окованные фасады домов мелькали за окнами кареты в грохоте, гуле, шипении драконов и выкриках доезжачих; наконец растворились огромные ворота царского дворца, и экипаж, описав столь замысловатую кривую, что цветы на клумбах свернулись от пламени, остановился перед фронтоном черного как ночь замка, над которым лазурью сияло небо; трубачи тут же дунули в завитые раковины, и под эти удивительно угрюмые звуки, затерявшись на огромной лестнице средь каменных колоссов, стоящих по обеим сторонам ворот, и сверкающего строя почетного караула, Трурль с Клапауцием вошли в просторные помещенья замка.

Царь Жестокус ожидал их в огромном зале, удивительно напоминавшем своей постройкой

внутренность звериного черепа; это было какое-то подобие огромной пещеры с уходящими ввысь сводами, выкованной из серебра. Там, где в черепе имеется отверстие для позвоночника, в паркете зиял черный колодец неведомой глубины, а за ним возвышался трон, на котором скрещивались, словно пламенные клинки, полосы света, бьющие из высоких окон, расположенных на месте глазниц серебряного черепа; сквозь плиты янтарно-золотистого стекла проходил поток света теплого, сильного и вместе с тем резкого, ибо он лишал всякий предмет его естественной окраски, придавая ему огненный оттенок. Еще издали на фоне как бы затвердевших буграми серебряных стен конструкторы увидели Жестокуса, причем этот монарх в своем нетерпении не сидел ни минуты на троне, а гремящими шагами ходил по серебряным плитам паркета и, обращаясь к конструкторам, для выразительности время от времени со свистом рассекал рукой воздух.

— Приветствую вас, конструкторы! — говорил царь, фокусируя на них свои оптические устройства. — Его честь Протозор, главный распорядитель охоты, разумеется, уже сообщил вам, что от вас мы желаем создания новых пород дичи! И притом мы не хотим иметь дело с какой-

нибудь стальной громадиной, ползущей на ста гусеницах, — это занятие для артиллерии, а не для нас. Противник наш должен быть мощным и свирепым и вместе с тем быстрым и ловким, но прежде всего исполненным вероломного коварства, дабы, охотясь на него, могли мы применить все наше ловецкое искусство! Зверь этот должен быть хитрым и умным, способным ускользать и сдваивать следы, таиться в тихой засаде и молниеносно атаковать — такова наша воля!

— Простите, Ваше Величество, — промолвил Клапауций, поклонившись, — а не создадим ли мы угрозу особе Вашего Величества или ее здоровью, если слишком хорошо исполним волю Вашего Величества?

Царь засмеялся столь громовым хохотом, что пара бриллиантовых подвесков сорвалась с люстры и разбилась у ног невольно вздрогнувших конструкторов.

— Этого не опасайтесь, почтеннейшие конструкторы! — проговорил Жестокус, и мрачное веселье заиграло у него в глазах. — Не вы первые, не вы и последние, полагаем… Скажем откровенно, мы — монарх справедливый, хотя и требовательный. Слишком уж многие попрошаи, наветчики и ветрогоны пытались нас надуть,

слишком многие, примазавшиеся к высокому званию инженера потехи ловецкой, пытались покинуть наше царство, отяготив свои плечи мешками драгоценностей и оставив нам в замен жалкую рухлядь, которая валилась от первого же пинка… Слишком много было таких, поэтому мы сочли себя вынужденным принять меры предосторожности. Двенадцать уж лет всякий конструктор, который не выполнит наших пожеланий, который, раздавая посулы, превысит свои возможности, хотя и получает уговорное вознаграждение, низвергается вместе с ним вот в эту пропасть либо же, если он сам того предпочитает, превращается в нашу дичь и мы убиваем его вот этими руками, для чего, уверяем вас, уважаемые господа, нам не требуется вообще никакого оружия…

— А много ли… было таких несчастливцев? — осведомился Трурль более слабым, чем обычно, голосом.

— Много ли? Право, не помним, мы знаем лишь, что до сих пор не удовлетворил нас ни один, а рев ужаса, коим, падая в колодец, они прощаются с белым светом, длится все короче, видимо груда обломков растет на дне пропасти, однако места там хватит еще многим, смеем вас

в этом уверить!

После этих ужасных слов наступила мертвая тишина; оба друга невольно посмотрели в сторону черного колодца, царь же продолжал прохаживаться, и удары его мощных ступней о паркет были подобны грохоту каменных плит, низвергаемых в пропасть, полную эха.

— С позволения Вашего Величества, мы ведь еще не… заключили соглашения, — осмелился пробормотать Трурль. — Нельзя ли нам ввиду этого получить два часа на размышление, мы ведь должны мысленно взвесить глубокие слова Вашего Величества, после чего станет ясно, готовы ли мы принять условия или же…

— Ха, ха! — засмеялся царь, подобно туче, обрушившейся градом на землю. — Или же готовы вернуться домой, не так ли?! Ну уж нет, любезные, вы приняли условия, вступив на борт Адолета, который составляет часть нашего царства! Если бы всякий конструктор, попавший к нам, мог удалиться восвояси, когда того пожелает, нам пришлось бы бесконечно долго ждать исполнения наших желаний! Нет, вы останетесь здесь и построите нам чудовищ для ловецкой потехи… Даем вам на это сроку двенадцать дней, а теперь идите. Если возжаждете наслаждений, обрати-

тесь к слугам, которых мы к вам приставили, ибо мы не поскупимся для вас ничем, ДО СРОКА!

— Если Ваше Величество позволит, то вместо наслаждений мы хотели бы осмотреть охотничьи трофеи Вашего Величества — следы деятельности наших предшественников!

— Ну, конечно же, мы позволим, позволим! — милостиво промолвил царь и хлопнул в ладоши с такой силой, что искры, посыпавшиеся у него из пальцев, осветили серебряные стены. От этого державного жеста пронесся к тому же вихрь, остудивший разгоряченные головы обоих искателей приключений. Через минуту шестеро гвардейцев в белых с золотом мундирах уже вели Трурля и Клапауция по извилистому коридору — подлинному меандру, напоминающему внутренность какой-то окаменелой рептилии; и не без облегчения конструкторы увидели себя внезапно в огромном террариуме под открытым небом; вокруг на старательно ухоженных газонах лежали охотничьи трофеи Жестокуса — память о давнишних и совсем недавних расправах.

Ближе всего лежал, уставясь саблезубой мордой в небо, рассеченный почти надвое гигант: его корпус защищали броневые плиты, чешуей налегавшие друг на друга; задние лапы, необы-

чайно длинные, сконструированные, очевидно, для огромных скачков, покоились на траве подле хвоста; в хвосте отчетливо виднелся самопал с наполовину опустошенным магазином — признак того, что чудовище не сразу и не без боя поддалось грозному царю. Свидетельствовал об этом также желтоватый лоскут, свисавший с клыков приоткрытой пасти; Трурль распознал в нем голенище сапога, какие носили царевы доезжачие. Рядом располагалось другое пугало, змеевидное, с множеством коротких крыльев, опаленных выстрелом; электрические внутренности чудовища разбрызгались в медно-фарфоровую лужу. Дальше еще одно чудовище растопырило сведенные судорогой ноги, подобные колоннам, в его пасти играл с легким шелестом парковый ветерок. Были выставлены здесь и останки на колесах с когтями и на гусеницах с огнеметами, рассеченные до мозга костей, которым служила им мешанина проводников; покоились безглавые броненосцы с приплюснутыми башенками, разорванными атомным ударом, и стоножки, и пузатые чудища с многочисленными запасными мозгами, разбитыми все до единого в битве, и страшилища, прыгавшие на поломанных ходулях телескопических лап, и какие-то маленькие ядовитые

твари, которые могли, очевидно, то рассыпаться яростной стаей, то сплетаться в оборонительный шар, ощетинившийся черными отверстиями стволов, но и эта хитрость не спасла ни их, ни их создателей. Сквозь шпалеры этих-то обломков нетвердым шагом, в торжественном, чуть траурном молчании, будто готовясь к похоронам, а не к бурной изобретательской деятельности, и проходили Трурль с Клапауцием, пока не достигли конца наводящей ужас галереи царских побед. У ворот, у подножья белой лестницы, их ожидала колымага, однако драконы, которые снова везли их по гулким улицам назад в загородную резиденцию, показались им теперь не столь ужасными. А когда друзья остались одни в комнате, обитой алой и бледно-зеленой материей, за столом, прогибавшимся от драгоценностей и заботливо приготовленных напитков, у Трурля наконец развязался язык и конструктор стал обидными словами честить Клапауция, утверждая, что тот проявил излишнюю прыть, согласясь на предложение распорядителя охоты, и тем самым навлек на их головы беду, словно у них не было возможности спокойно пожинать дома плоды достигнутой славы. Клапауций не промолвил в ответ ни словечка. Когда же гнев и отчаяние

Трурля поуменьшились и, обессилев от брани, он скорее рухнул, чем уселся, на роскошную козетку из перламутра и закрыл глаза, подперев голову руками, терпеливо выжидавший Клапауций отрывисто сказал:

— Нечего! Надо приниматься за работу.

Эти слова как бы разбудили Трурля, и друзья тут же принялись обсуждать различные возможности с полным знанием самых сокровенных тайн искусства кибернетического конструирования. Они быстро пришли к согласию, что важнее всего не панцирь и не сила чудовища, кое им предстоит построить, а его программа, то есть алгоритм сатанинского действия. «Эта тварь должна быть поистине родом из преисподней, сущий дьявол по натуре!» — сказали они себе, и, хотя не знали еще, как этого достигнут, сердца их забились радостней. А когда конструкторы уселись проектировать бестию, которой требовал жестокий монарх, работа у них спорилась, так что просидели они целую ночь и целый день и затем еще одну ночь, после чего отправились пировать; и пока полные до краев лейденские банки ходили меж ними, друзья настолько уверились в своем успехе, что стали ехидно, по-заговорщицки, перемигиваться, дабы не могли заметить этого слуги,

справедливо почитаемые ими за царских соглядатаев. Друзья не говорили при них ни о чем, касающемся работы, лишь хвалили громовую крепость напитков и отличный вкус электрет с ионной подливкой, которые подносили им вертевшиеся юлой лакеи во фраках. Только после ужина, выйдя на террасу, откуда открывался вид на весь город с его белыми башнями и черными куполами, утопающими в зелени, Трурль сказал Клапауцию:

— Дело еще не выиграно, ведь оно не простое!

— Что ты хочешь этим сказать? — из осторожности шепотом, но вместе с тем живо спросил Клапауций.

— Видишь в чем тут загвоздка: если царь уложит эту механическую скотину, то, сочтя, что его желаний мы не выполнили, не колеблясь, исполнит обещание, которое я назвал бы колодезным. Если же мы хватим через край… Как ты думаешь?

— Не понимаю, если царь не уложит зверя?

— Да нет же, если зверь его уложит, дорогой коллега… то тот, кто унаследует власть после царя, быть может, не оставит этого дела безнаказанным.

— Ты думаешь, нам придется держать перед

ним ответ? Наследник трона бывает обычно рад, когда трон становится вакантным.

— Конечно, однако наследником будет сын царя, а займется ли он нами из-за любви к отцу или по той лишь причине, что этих действий будет ожидать от него двор, — для нас мало разницы. Что ты на это скажешь?

— Об этом я не размышлял, — Клапауций угрюмо задумался и буркнул: — Перспектива и правда не из веселых. Ни туда, ни сюда… А ты видишь какой-либо выход?

— Можно построить зверя, который будет многосмертным. Когда царь поразит его, зверь падет, но тут же восстанет из мертвых. И вновь царь начнет охотиться, вновь настигнет зверя, и это будет продолжаться, пока царь не устанет…

— Усталость обозлит царя, — деловито бросил Клапауций. — Впрочем, как ты себе представляешь такого зверя?

— Никак не представляю, я только намечаю возможности… Проще всего было бы создать чудовище, лишенное жизненно важных центров. Хоть рассеки его на части, они опять срастутся.

— Как?

— Под действием поля…

— Магнитного?

— Допустим.

— А откуда взять это поле?

— Этого я пока не знаю. Может, мы сами будем управлять полем на расстоянии? — спросил Трурль.

— Нет, это не вполне надежно, — поморщился Клапауций. — Разве исключено, что на время охоты царь упрячет нас в какой-нибудь каземат? Ведь и наши несчастные предшественники, надо признать, не на то лишь годились, чтобы кометам хвосты крутить, а ты хорошо знаешь, чем они кончили, Мысль о телеуправлении, вероятно, приходила в голову многим, однако не оправдала надежд. Нет уж, во время самой битвы мы не должны иметь с чудовищем ничего общего.

— Может, смастерить искусственный спутник — и на нем… — предположил Трурль.

— Ты, чтоб карандаш очинить, и то жернов попросишь! — обрушился на него Клапауций. — Спутник, нет, вы только подумайте! Как это ты его смастеришь? Как выведешь на орбиту? Чудес в нашем ремесле не бывает, мой милый! Нет, установку надо спрятать совсем иначе.

— Ну куда ж ты ее спрячешь, несчастный, если за нами неустанно следят?! Сам же видишь, как слуги и лакеи глаз с нас не спускают, всюду нос

свой суют, а о том, чтобы хоть разок, хоть на минутку незаметно выскользнуть из дворца, не может быть и речи… К тому же такая установка получится большой, как же ее вынести незаметно? Как протащить? Не вижу способа!

— Только не горячись, — увещевал его рассудительный Клапауций. — Может, установка вовсе и не понадобится?

— Но ведь должно же что-то управлять чудовищем, а если им будет управлять его собственный электронный мозг, то Жестокус изрубит зверя на мелкие кусочки, прежде чем ты успеешь произнести «Прощай, белый свет!»

Оба умолкли; темнело, внизу, в долине, загорались все новые огни города. Внезапно Трурль сказал:

— Слушай-ка, у меня возникла идея. А что если под видом чудовища попросту построить корабль и убежать на нем? Ведь можно приделать ему для маскировки уши, хвост, лапы, которые как ненужный камуфляж он отбросит в момент старта! Я уверен, это отличная идея! Убежим — и ищи ветра в поле!

— А если среди царских слуг к нам приставлен и конструктор — это кажется мне вполне правдоподобным, — то ты и оглянуться не успеешь, как

сведешь с палачом знакомство. Вообще спасаться бегством не по мне. Либо мы, либо он — так обстоит дело; третьего исхода нет.

— И правда, шпион может знать толк в конструировании! — обеспокоился Трурль. — Так что же построить, Черный Ящик меня разрази! Быть может, электронную фата-моргану?

— Некий призрак, мираж? Чтобы царь впустую за ним гонялся? Спасибо тебе! Вернувшись с такой охоты, царь обоих нас вывернет наизнанку!

Вновь наступило молчание, неожиданно прерванное Трурлем:

— Я вижу единственный выход: надо, чтобы чудовище схватило царя, чтобы оно его похитило — понимаешь? — и держало в плену. Этим способом…

— Понимаю, не продолжай. Конечно, это идея. Мы бы заточили его в… А соловьи поют здесь сладостней, чем даже на Марилонде Проквинской, — ловко докончил Клапауций, заметив слуг, вносящих на террасу светильники на серебряных подставках. — Допустим, что именно так и получится, — продолжал он, когда друзья вновь остались одни в темноте, едва рассеиваемой светильниками. — Как бы то ни было, надо иметь возможность связаться с узником, даже

если нас самих закуют в кандалы и посадят в каменную дыру.

— По правде, — бурчал Трурль, — надо бы както иначе скомбинировать... Впрочем, важнее всего алгоритм!

— Тоже мне открытие сделал! Известно, без алгоритма ни шагу ступить! Ну нечего, надо экспериментировать!

И друзья засели за эксперимент. Он состоял в том, что конструкторы смоделировали царя Жестокуса и чудовище, но лишь на бумаге, математическим методом; Трурль управлял первой моделью, а Клапауций — второй. Вот и сшиблись модели-враги на огромных белых листах, покрывающих стол, с такой силой, что лопнули графитовые стержни в карандашах. Неопределенным интегралом яростно извивался монстр под ударами царевых уравнений и повергался, рассыпанный в несчетное множество неизвестных, и восставал вновь, возведенный в высшую степень, а царь поражал его дифференциалами, да так, что лишь клочья функциональных операторов летели в разные стороны, и возник в результате такой нелинейно-алгебраический хаос, что конструкторы не могли уж разобраться, что стало с царем, а что — с чудовищем, и тот и

другое исчезли во мгле перечеркнутых знаков. Встали друзья из-за стола и для подкрепления сил хлебнули из огромной лейденской амфоры, вновь уселись, и снова начали бой, стремительный бой, спустив с цепи весь Высший Анализ; прах заклубился на бумаге, и чад пошел от раскаленных графитов. Мчался царь во весь опор свирепых своих коэффициентов, блуждал по лесу символов шестииндексных, возвращался по собственному следу, атаковал монстра до седьмого пота и восьмой равнодействующей, а чудовище распалось на сто многочленов, потеряв один икс и два ипсилона, забралось в знаменатель, вылупилось из кокона, взмахнуло корнями и как ударит математизированную царскую особу по боку, так что содрогнулось все царево уравнение, словно ударом наотмашь пораженное. Но тут Жестокус броней нелинейной прикрылся, бесконечно удаленной точки достиг, мигом вернулся и как ударит чудовище по голове сквозь все скобки, так что логарифм отвалился у монстра спереди, а степень — сзади. Втянуло чудовище щупальца внутрь и ковариантно — лишь карандашики мелькали — бац! бац! — нанесло удар за ударом и еще один — по спине трансформантой — и вот уже царь, упрощенный, зашатался от числителя

и до всех знаменателей, и вытянулся во весь рост, а конструкторы, вскочив из-за стола, стали смеяться и танцевать и рвать в клочья исписанные листы на глазах у соглядатаев, которые тщетно пытались подсматривать за ними с люстры в подзорную трубу, но с высшей математикой незнакомые, поняли лишь, что конструкторы кричат один другому: «Победа! Победа!»

Далеко за полночь в следственную лабораторию сверхтайной государственной полиции внесли амфору, из коей друзья потчевались во время своей утомительной работы. Лаборанты-консультанты немедля вскрыли двойное потайное дно, и вынули оттуда микрофончнк и магнитофончик, а затем, склонясь над аппаратурой, пустили ее в ход и много часов подряд прослушивали с величайшим вниманием слова, произнесенные в зале из зеленого мрамора. Наконец лучи восходящего солнца осветили их вытянутые лица, однако ничего из услышанного ими они понять не смогли.

Слышался, к примеру, голос одного из конструкторов:

— Ну как? Подставил царя?

— Подставил!

— Где он у тебя? Тут? Отлично! Теперь вот так! —

Ноги вместе! Держи ноги вместе, слышишь! Не свои, осел, царские! Так! Валяй, преобразуй, быстро! Что получилось?

— Пи.

— А где чудовище?

— В скобках. Ну как, выдержал царь, видишь?

— Выдержал! Умножь теперь обе части на мнимую единицу — хорошо! И еще разок! Измени знаки, болван! Куда подставляешь, кретин? Куда?! Это ж чудовище, а не царь! Теперь так! Верно, верно!! Готово? А теперь обрати фазу — так! — и дуй в вещественное пространство! Получил?

— Получил! Клапауций, миленький! Погляди, что стало с царем!!

В ответ раздался безумный взрыв хохота.

Назавтра, а точнее, когда наступил новый день, до которого полицейские чины продержались на ногах, проведя бессонную ночь, конструкторы потребовали кварца, ванадия, стали, меди, платины, горного хрусталя, титана, церия, германия и вообще всех элементов, составляющих Космос, а также машин, квалифицированных механиков и соглядатаев, ибо столь расхрабрились, что на формуляре требования в трех экземплярах осмелились написать: «Просим также доставить соглядатаев различных мастей и калибров по

усмотрению власть предержащих лиц из ТП».

На следующий день конструкторам потребовались еще опилки и большой занавес из красного плюша с гроздью стеклянных колокольцев посредине и четырьмя большими кистями по углам. Друзья указали даже размер колокольцев. Царь, которого уведомляли обо всем, гневался, но повелел выполнять требования наглецов — ДО СРОКА. Слово царя было непререкаемым, и конструкторы получали желаемое.

А были то все новые и новые, совсем уж неслыханные предметы. Так, под номером 48999/11 К/Т в полицейский архив попала копия требования, в котором конструкторы домогались трех портновских манекенов, а также шести полных комплектов униформы царской полиции с поясами и портупеями, оружием, киверами, султанчиками и наручниками наряду с подшивкой за последние три года журнала «Наш полицейский», снабженной алфавитным указателем. Вместе с тем в графе «Примечания» конструкторы давали обязательство вернуть упомянутые предметы в целости и сохранности в двадцатичетырехчасовой срок с момента их получения. В другой архивной папке хранится копия записки, коей Клапауций потребовал

безотлагательно доставить натуральной величины куклу, представляющую министра почт и телеграфа при всех регалиях, а также маленький шарабан, покрытый зеленым лаком, с керосиновым фонарем на левой стороне и с декоративной бело-голубой надписью сзади «Слава труду!». После куклы и шарабана шеф тайной полиции тронулся и вынужден был уйти на пенсию. По прошествии еще трех дней конструкторы истребовали бочку касторового масла, подкрашенного розовым красителем. С этого момента, не требуя больше ничего, они работали в подземельях своей резиденции, откуда доносилось их дикое пенье и неумолчный грохот молотов; в сумерки сквозь решетчатые окошки подвала прорывался голубой свет, придавая парковым деревьям призрачные очертания. В синем блеске электрических разрядов средь каменных стен трудились Трурль и Клапауций с помощниками, а подняв голову, видели физиономии многочисленных слуг, которые, прилипнув к оконным стеклам, видимо, из пустого любопытства, фотографировали каждое их движение. Однажды ночью, когда измученные конструкторы отправились спать, часть создаваемой ими аппаратуры на секретном экспресс-дирижабле была поспешно доставле-

на в царские лаборатории, где ее дрожащими пальцами принялись собирать восемнадцать знаменитейших криминал-кибернетиков, приведенных предварительно к коронной присяге. После долгих трудов из их рук выполз серый оловянный мышонок и, пуская мордочкой мыльные пузыри, принялся бегать по столу, а из-под хвостика у него стал сыпаться белый зубной порошок, причем так искусно, что возникла каллиграфическая надпись: «Значит, вы по правде нас не любите?» Никогда еще за всю историю царства шефы тайной полиции не менялись с такой быстротой. Мундиры, кукла, зеленый шарабан, а также опилки, возвращенные минута в минуту конструкторами, подверглись исследованию под электронным микроскопом. Однако ничего, кроме маленькой бирки со словами «Это мы, опилки», найденной в опилках, обнаружено не было. Даже отдельные атомы мундиров и шарабана подверглись обыску, но безрезультатно.

И вот настал день, когда работа была наконец завершена. Огромный, похожий на герметическую цистерну транспортер на трехстах колесах подкатил к стене, окружавшей резиденцию Трурля и Клапауция, сквозь открытые ворота конструкторы вынесли совершенно пустой за-

навес, тот самый, с кистями и колокольцами, и когда комиссия растворила двери транспортера, положили его на середину пола, после чего забрались внутрь и за закрытыми дверями еще что-то делали; затем друзья поочередно носили из подвала огромные жестянки с тонкоразмолотыми химическими элементами, и все эти порошки, серые, серебристые, белые, желтые и зеленые, высыпали под края широко растянутого занавеса, а потом вышли на дневной свет, приказали запереть транспортер и выжидали, не сводя глаз с циферблата, четырнадцать с половиной секунд; по истечении этого времени раздался отчетливый звон стеклянных колокольцев, хотя транспортер стоял недвижимо; это поразило присутствующих, ибо только дух мог пошевелить ткань. Тогда конструкторы взглянули друг на друга и сказали:

— Готово! Можете его забрать!

Весь день друзья пускали с террасы мыльные пузыри, а под вечер им нанес визит сановный Протозор, главный распорядитель охоты, который заманил их на планету Жестокуса; он был вежлив, но тверд. На лестнице поджидала стража, а Протозор объяснил, что конструкторам следует незамедлительно отправиться в назначенное

место. Все вещи надлежало оставить во дворце, даже личную одежду; взамен ее им выдали залатанные лохмотья и сковали обоих кандалами; к удивлению стражников и присутствовавших при сем представителей закона и чинов полиции, друзья отнюдь не казались обеспокоенными, Трурль даже хохотал до упаду, уверяя кузнеца, который надевал на него кандалы, что ему щекотно; а когда за друзьями захлопнулась дверь подземелья, из каменной щели тотчас донеслись звуки песенки «Веселый программист».

Тем временем могущественный Жестокус в окружении свиты на боевой охотничьей колеснице выехал из города; за ним тянулся длинный кортеж наездников и машин, не вполне охотничьих, ибо среди них находились не то чтоб пушки или митральезы, но все ж огромные лазерные пищали, мортиры для стрельбы антиматерией и катапульты для метания смолы, в которой вязнет всякое существо и всякая машина.

Этот внушительный охотничий поезд монарха ехал к заповедным угодьям короны, быстро, весело и кичливо, и никто в нем даже не вспоминал о брошенных в каземат конструкторах, а если и вспоминал, то лишь затем, чтоб посмеяться, как они глупо попались.

Когда серебряные фанфары возвестили с башен заповедника о приближении его царского величества, стал виден двигающийся в том же направлении огромный транспортер-цистерна; специальные зажимы приподняли люк цистерны, открыли его, и на миг показалось отверстие, словно черная пасть орудия, прицеленного в горизонт. Еще мгновенье, и изменчивая, как грозовое облако серо-желтого, песочного цвета, тень вырвалась из нутра в таком парящем прыжке, что неведомо было, зверь то или нет. Пролетев шагов сто, существо бесшумно приземлилось, а окутывавший его занавес соскользнул набок и издал очень странный в этой мертвой тишине звук своих стеклянных колокольцев; теперь занавес малиновым пятном лежал рядом с чудовищем, уже хорошо видным каждому охотнику. Однако форма чудовища по-прежнему оставалась неясной; оно выглядело как довольно большой, продолговатый пригорок, сливавшийся по окраске с окружающей местностью, казалось даже, будто опаленный солнцем чертополох растет у него на спине. Царевы доезжачие, не сводя глаз со зверя, пустили с поводка свору киборзых, кибернаров и киберьеров; жадно разинув пасти, псы рванулись в сторону припавшего к земле ис-

полина, который, когда они подбежали к нему, не разомкнул пасть и не выдохнул пламени, а лишь приоткрыл глаза, подобные крохотным сеющим ужас солнцам, и в мгновение ока половина своры пала пеплом на землю.

— Ого, да у него в глазах лазерочки! Так подайте нам нашу светозащитную кольчугу честную, бармицы наши и панцирь наш любезный! — повелел царь свите, тут же облекшей его в светозарную суперсталь. Вырвавшись вперед, царь помчался на своем кибаргамаке, ни для каких снарядов не уязвимом. Чудовище позволило ему приблизиться, и монарх нанес удар, отчего рассекаемый острием воздух загудел и отрубленная голова зверя покатилась на песок. Царь скорее разгневался, чем обрадовался столь легкой победе, и тут же решил подвергнуть пыткам-люкс виновников подобного разочарования, хотя свита принялась шумно восхвалять охотничий триумф монарха.

Но тут чудовище шевельнуло шеей и из возникшего на ее конце бутона выскользнула новая голова, открыла свои ослепительные зенницы, и их блеск бессильно скользнул по царской броне. «Не столь уж они никчемны, но все же надлежит их казнить», — подумал царь о конструкторах и, подняв киберскакуна шпорами на дыбы, взлетел

на зверя.

Вновь ударил монарх чудовище, на этот раз в середину хребта, и оно, разумеется, с легкостью подставило себя под удар. Рассекая со свистом воздух, заскрежетала сталь, и разваленный надвое корпус рухнул наземь в агонии. Но что это? Царь натянул левой рукой поводья, и вот уже два меньших, сходных, как близнецы, чудовища стояли перед ним, а меж них проказничало третье, совсем крохотное — то была голова, отсеченная минуту назад; она выпустила хвостик и лапки и тоже гарцевала по песку.

— Что ж это такое?! Нам его шинковать иль стружить придется, вот так охота!! — подумал царь и, охваченный превеликим гневом, бросился на чудовищ. Рубил и копьем колол, рассекал и мечом крошил, но размножившись под его ударами, чудовища отбежали внезапно в сторону, сбились в кучу, миг — и вновь единое чудище, огромное, брюхом к земле припавшее, подрагивая упругим хребтом, стояло перед Жестокусом такое же, как прежде.

— Никакой сатисфакции, — рассердился царь. — Видно, у него такая ж обратная связь, как у того, которого нам — как бишь его? — Пампингтон сконструировал. За нехватку смекалки

соизволили мы потом собственноручно расщепить его на подворье… Ничего не поделаешь, придется из кибермортиры…

И повелел подкатить к себе одну, шестиствольную. Целился царь недолго, не коротко, а в самый раз, за шнур потянул, и без грохота, без дыма невидимый снаряд помчался к чудовищу, чтоб разнести его вдребезги. Однако ничего не произошло; если снаряд прошел навылет, то слишком быстро, чтобы кто-либо успел это заметить. Чудовище еще плотнее припало к земле и высунуло левую лапу вперед; тут придворные увидели его длинные волосатые пальцы: оно показало царю кукиш!

— Подать нам большой калибр! — воскликнул царь, прикидываясь, что не видит кукиша. И вот уж слуги тянут орудие, двадцать пушкарей заряжают его, царь наводит, целится, стреляет… но в это мгновение чудовище прыгнуло. Царь хотел оборониться мечом, но прежде чем успел это сделать, чудовища уже не было; те, кто это видел, рассказывали потом, что едва не лишились рассудка. Ибо чудовище разделилось в полете натрое; эта метаморфоза произошла молниеносно — вместо серой туши появились три особы в полицейских мундирах, которые

на лету готовились к исполнению служебных обязанностей. Первый полицейский, подруливая ногами, доставал из кармана наручники, второй, придерживая кивер с султаном, чтобы не снес вихрь, вызванный движением, свободной рукой вынимал из бокового кармана ордер на арест, третий же предназначался лишь для смягчения посадки первым двум — он упал ничком им под ноги как амортизатор. Однако он сразу же вскочил и стряхнул пыль; в это время первый уже надевал царю наручники, а второй выбил из монаршей длани, скованной изумлением, меч; делая длинные прыжки и волоча за собой вяло сопротивлявшегося монарха, полицейские направились в пустыню. Несколько секунд весь царский поезд стоял, как остолбенелый, а затем, гаркнув в один голос, пустился в погоню. Киберскакуны уже настигали пеших беглецов, уже скрежетали мечи, вынимаемые из ножен, когда третий полицейский что-то включил у себя на животе, скрючился, из рук у него выросли две оглобли, ноги свернулись кольцом и в них замелькали спицы, а на спине, обернувшейся кузовом зеленого шарабана, уселись полицейские и принялись длинным бичом нахлестывать государя, который, в хомуте, размахивал руками,

галопировал как безумный, заслоняя коронованную главу от ударов. Однако вновь приблизилась погоня; тогда полицейские схватили царя за шиворот и посадили между собой, один же из них, быстрей, чем об этом можно рассказать, прыгнул меж оглобель, дунул, плюнул и обернулся клубком воздуха радужным — громовым жужжалом-кружалом; у шарабана словно крылья выросли, он помчался вперед, разбрасывая песок и безумно приплясывая на выбоинах, а через минуту едва виднелся средь миражей пустыни.

Царский поезд рассыпался по пустыне, вельможи стали отыскивать следы, послали за остронюхими гончими, потом примчался резерв полиции с мотопомпами и стал лихорадочно поливать песок, а все потому, что в шифрованную депешу, посланную с наблюдательного аэростата в облаках, из-за спешки и дрожи в руках телеграфиста вкралась ошибка. Полицейские команды промчались по всей пустыне, осмотрели каждый кустик, ощупали и просветили переносными рентгеновскими аппаратами каждый пук чертополоха, понакопали ям и взяли из них пробы для анализа. Царского кибаргамака сам генеральный прокурор приказал отвести на допрос, а с секретных аэростатов вечером, когда стемнело,

сбросили на пустыню целую дивизию зонтопрыгов с пылесосами, дабы песок просеять; всякого, кто смахивал на полицейского, задерживали, однако это оказалось тем более хлопотным, что в результате одна часть полиции арестовала другую. Когда настала ночь, участники царской охоты, охваченные ужасом, стали возвращаться в город, неся с собой горестную весть Иова; им не удалось обнаружить ни малейшего следа: монарх словно сквозь землю провалился.

Глубокой ночью при свете факелов закованных в кандалы конструкторов безотлагательно препроводили к Верховному Канцлеру и Хранителю Государственной Печати, и тот голосом, подобным грому, огласил приговор:

— За учинение пагубного заговора на Царствующую Особу, за поднятие руки на государя нашего милостивого, Его Царское Величество, императора и самодержца Жестокуса, предать изменников четвертованию, дрелеверченью и расклепанию, по исполнении чего специальным перфоратором-пульверизатором рассеять во все стороны света во устрашение и вечное напоминание презренным покусителям на цареубийство. Троякожды и без права обжалования. Аминь.

— Вы как хотите, сразу? — спросил Трурль. — А

то мы гонца ожидаем…

— Какого еще там гонца, подлый покуситель?!

Однако и в самом деле в зал, пятясь задом, ввалились стражники, не осмеливаясь преградить скрещенными алебардами путь самому министру почт и телеграфа; этот сановник при всех регалиях, позванивая орденами, приблизился к канцлеру и из висевшей на животе сумки расшитой бриллиантами, добыл бумагу, а затем, возвестив: «Хоть я создан искусственно, меня царь послал», — рассыпался маковым семенем по полу. Канцлер, глазам собственным не веря, разломил печать, распознав на ней царскую печатку, оттиснутую в красном лаке, вынул послание и прочел, что царь вынужден вести переговоры с конструкторами, которые, использовав приемы алгоритмические и математические, ввергли их величество в узилище, а теперь выставляют условия, кои канцлеру надлежит все выслушать и принять, если ему жизнь государя дорога. Внизу стояла подпись: «Жестокус, дано собственноручным писанием в пещере неведомого местоположения, во власти монстра, псевдополицейского, единого в трех лицах мундирных…»

Тут царедворцы принялись вопить громким

голосом, силясь перекричать друг друга и спрашивая, в чем состоят условия и что все это значит, однако Трурль повторял лишь одно:

— Поначалу снимите кандалы, без этого — никаких переговоров.

Кузнецы, присев на корточки, сняли кандалы, и все присутствующие набросились на конструкторов, однако Трурль снова принялся за свое:

— Голодом мы изглоданы, грязью изгрязнены, не мыты, желаем мы омовений ароматных, умащений благовонных, забав, пиршества, а на десерт — балета.

Тут уж царедворцы жестокого монарха впали в подлинную белую горячку, но и на это условие вынуждены были согласиться. Лишь на рассвете вернулись конструкторы на аудиенцию, лакеями несомые, освеженные, умащенные, в одежды чудные облаченные, уселись за стол, крытый зеленым сукном, и начали выставлять условия, да не по памяти, дабы чего, не дан бог, не упустить, а по малюсенькому блокнотику, что весь срок пролежал спрятанный за занавеской в их резиденции. Так читать по писанному и начали:

«1. Надлежит приготовить корабль первого класса, дабы Конструкторов домой отвезти.

2. Надлежит трюм корабля наполнить разными

разностями в следующей пропорции: бриллиантов — четыре пуда, червонного золота — сорок пудов, платины, палладия и бог весть каких еще драгоценностей — осемь крат столько, равно подарков памятных, произвольных, кои руку ниже приложившие соблаговолят во дворце царском выбрать.

3. Доколе корабль не будет до последнего винтика завинчен, в путь приготовлен, выкупом нагружен и к отправке подан, с ковром на трапе, прощальным оркестром, орденами на подушках, почестями, детским хором и с большим оркестром филармонии в полном составе, а также со всеобщим энтузиазмом — царя никто и не увидит.

4. Надлежит сочинить, на пластинах золотых выбить и перламутром инкрустировать благодарственный адрес, к их Достодивным Безмерно Милостивым Сиятельствам Трурлю и Клапауцию обращенный, в коем события все должны быть подробно описаны, большой канцлерской и государственной печатью скреплены, подписями подтверждены и в пушечном дуле, как в футляре, запломбированы, каковой футляр на своей спине, без посторонней помощи, надлежит поднять на борт Протозору, вельможе, главному

распорядителю охоты, который, Достодивных Конструкторов на планету заманив, тщился сим деянием их смерти постыдной подвергнуть.

5. Надлежит оному вельможе Конструкторов на обратном пути сопровождать, являя собой гарантию неприкосновенности, отсутствия погони и пр. и пр. На корабле же будет он занимать постоянное место в клетке размером три фута на три и на четыре, с глазком для кормления и с подстилкой из опилок; опилки при сем надлежит употребить те самые, кои Достодивные Конструкторы соизволили истребовать для исполнения царских прихотей и кои затем были препровождены на секретном дирижабле в полицейское хранилище.

6. По освобождении царь не должен лично испрашивать прощения у упомянутых Достодивных Сиятельств, ибо повинность сего мужа им без надобности.

Подписано, дано, датировано и т.д. и т.п.: Трурль и Клапауций — от Конструкторов-Условиедателей, и Верховный Канцлер короны, Верховный Цереммониймейстер и Главный Оберполицмейстер Тайной Земно-Водно-Аэростатной Полиции — от Условиеисполнителей».

Что же оставалось делать царедворцам и мини-

страм, от злости почерневшим? Ясное дело, пришлось на все соглашаться, после чего в огромной спешке стала строиться ракета, конструкторы же приходили на строительную площадку после завтрака наблюдать за работой, и все-то им было не так: то материал нехорош, то инженеры тупы, а то нужен им в кают-компанию волшебный фонарь с четырьмя окошечками да с кукушечкой, на все четыре стороны из них кукующей, а если туземцы не знают, что это за кукушечка, то тем хуже для них; царь, конечно, досадует в своем заточении, а воротясь, с теми, кто с освобождением его мешкал, разделается по-свойски. По этой причине — всеобщее потемнение в глазах, нервозный скрежет зубов и полицейская трясучка. Наконец ракета была готова; носильщики стали носить сокровища, мешки жемчуга, по желобу потекло золото, а вместе с тем тайно, но неустанно, своры полицейских продолжали перетряхивать горы и долы, над чем Трурль и Клапауций только в кулак посмеивались и даже растолковывали участливо тем, кто не без ужаса, но с величайшим интересом их выслушивал, как до всего этого дошло, как они свой первоначальный замысел — несовершенный — полностью отбросили и построили чудовище новым способом. Как раз-

думывали они, в какое место и каким образом вставить ему блок управления или мозг, с тем чтобы добиться полной надежности, и решили построить чудовище как бы целиком из мозга, чтоб могло оно думать ногой, хвостом или же челюстью, каковую по той причине они наполнили зубами мудрости. Однако все это составляло лишь вступление к задаче, сама же задача распадалась на две части: психологическую и алгоритмическую. Первым делом следовало установить, что повергнет царя в узилище; с этой целью надлежало действовать выделенному трансмутацией из чудовища полицейскому звену, ибо полицейским, предъявляющим ордер на арест, lege artis [1] оформленный, ничто в Космосе противоборствовать не может. Это — о психологии; добавим лишь, что генеральный почтмейстер также был призван к действию из психологических соображений: ведь чиновник меньшего ранга мог бы — не пропущенный стражей — не доставить послания, что стоило бы конструкторам головы. Искусственный же министр, исполняющий роль гонца, помимо монаршего послания, имел в сумке средства на случай, если бы понадобилось

---

**1 notes: 1**
законным образом (лат.)

подкупить алебардистов; все это было предусмотрено. Что же касается алгоритмов, то надлежало лишь открыть такую группу чудовищ, замкнутую счетную подгруппу которой составляла бы собственно полиция. Алгоритм чудовища предусматривал последовательные трансформации во все воплощения. Его ввели химически-несимпатическими чернилами в занавес с колокольцами, так что он затем действовал уже вполне независимо на химические элементы именно благодаря чудовищно-полицейской самоорганизации. Добавим сразу же, что позднее конструкторы опубликовали в научном журнале работу, именовавшуюся: «Эта-мета-бета-общекурсивные функции, рассмотренные для частного случая преобразования полицейских сил в силы почтовые и чудовищные в компенсирующем поле колокольцев и применимые к шарабану — дву-, трех-, четырех-, а также n-колке, зеленью лакированной, с керосиновым топологическим фонарем, при использовании матрицы, обратимой на касторовом масле, с розовой подкраской для отвлечения внимания, или всеобщая теория моно– и поли-цейской монстрологии, математическим способом рассмотренная». Разумеется, никто из царедворцев, канцлеров, офицеров и

даже чинов самой до предела униженной полиции ни словечка из всего этого не понял, но кому от этого был вред? Неизвестно, следовало ли подданным царя Жестокуса восхищаться конструкторами или ненавидеть их.

Все было уже готово к старту. Трурль ходил по дворцу с мешком и, согласно договору, то и дело снимал украшения со стены, любовался ими и совал в мешок, как свои. И вот, наконец, колымага привезла молодцов-конструкторов на ракетодром, а там уже собрались толпы, детский хор, девочки в национальных костюмах вручали букеты цветов, вельможи читали по бумажке благодарственно-прощальные речи, играл оркестр, слабые падали в обморок и наконец наступила мертвая тишина. Тут Клапауций вынул изо рта зуб и что-то в нем повернул, только был это не обычный зуб, а рация с двусторонней связью. Нажал — и появилось на горизонте песчаное облачко; оно стало расти, оставляя за собой хвост пыли, и с громким топотом влетело на пустую площадку между кораблем и толпой, остановилось как вкопанное, лишь песок полетел во все стороны, и тут толпа увидела, струхнув, что это — чудовище. Оно было чудовищным! Глаза — будто солнца. Оно хлестало себя по бокам змеистым

хвостом, только искры снопами разлетались и прожигали дырочки в парадных и по сей причине небронированных одеждах сановников.

— Выпусти царя! — сказал ему Клапауций, а чудовище ответило совсем человеческим голосом:

— А мне это и не снилось. Теперь мой черед заключать пакты…

— Как это? Ты что, спятило? Ты обязано нас слушаться, согласно матрице! — гневно воскликнул Клапауций при всеобщем остолбенении.

— С какой это стати? Иди-ка ты со своей матрицей. Я чудовище алгоритмическое, антидемократическое, со связью обратно-устрашающей и взором испепеляющим, есть у меня полиция, орнаментация, внешняя видимость и самоорганизация, не выйдет царь ваш из брюха — ни слуха о нем, ни духа, сняв с двуколки оглоблю, стукните себя по лбу, под руки друг друга возьмите, четыре шага ступите — и бух на колени, да смотрите, друзья, без лени!

— Я тебе покажу «на колени!» — завопил разозленный Клапауций, а Трурль спросил чудовище:

— Чего же ты, собственно, хочешь?

Однако при этом он спрятался за Клапауция и также вынул изо рта зуб, стараясь, чтобы чудови-

ще этого не заметило.

— Во-первых, хочу я взять в жены…

Однако никто так и не узнал, на ком чудовище хочет жениться, потому что Трурль нажал зуб и закричал:

— Энеки, бенеки ку-ка-ре-ков, сгинь чудо-юдо на веки веков!

Магнитно-динамические обратные связи, скреплявшие атомы чудовища, моментально расслабились под воздействием этих слов, а оно само заморгало глазами, захлопало ушами, заревело, взбрыкнуло, подернулось рябью, но ничто ему не помогло — только повеял горячий ветер с запахом железа, а чудовище как стояло, так и рассыпалось, словно высохшая песочная баба, которую пнули ногой… Остался лишь маленький холмик, а на том холмике царь, здравый и невредимый, хоть и оконфуженный, со стыда перекошенный, немытый и очень злой, оттого что все это с ним приключилось.

— У него в голове все пошло кувырком, — сказал Трурль провожающим, и оставалось неясным, кого он, собственно, имеет в виду: царя или чудовище, которое сделало попытку взбунтоваться против своих создателей, однако же конструкторы, естественно, и эту мрачную возможность

предусмотрели в алгоритме.

— А теперь, — заключил Трурль, — прошу посадить главного распорядителя охоты в клетку, а мы сядем в ракету...

## Путешествие третье, или Вероятностные драконы

Трурль и Клапауций были учениками великого Цереброна Эмдеэртия, который целые сорок лет излагал в Высшей Школе Небытия Общую Теорию Драконов. Как известно, драконов не существует. Эта примитивная констатация может удовлетворить лишь ум простака, но отнюдь не ученого, поскольку Высшая Школа Небытия тем, что существует, вообще не занимается; банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка. Тут-то гениальный Цереброн, атаковав проблему методами точных наук, установил, что имеется три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. Все они, как было сказано, не существуют, однако каждый тип — на свой особый манер. Мнимые и нулевые драконы, называемые на профессиональном языке мнимоконами и нульконами, не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные.

В дракологии издавна известен парадокс, состоящий в том, что при гербаризации (действие,

отвечающее в алгебре драконов умножению в обычной арифметике) двух отрицательных драконов возникает преддракон в количестве около 0,6. По этой причине мир специалистов разделился на два лагеря: члены одного придерживались мнения, что речь идет о доле дракона, если отсчитывать от головы; сторонники другого помещали точку отсчета в хвост.

Огромной заслугой Трурля и Клапауция было выяснение ошибочности обеих упомянутых точек зрения. Друзья первыми применили в этой области знания теорию вероятностей и создали тем самым вероятностную дракологию, из которой вытекает, что с точки зрения термодинамики дракон невозможен лишь в статистическом смысле, подобно домовому, эльфу, гному, троллю, ведьме и т.п. Из формулы полной невероятности оба теоретика получили коэффициенты регномизации, разэльфивания и пр. Из этой же формулы вытекало, что самопроизвольного появления дракона следует ожидать в среднем около шестнадцати квинтоквадриллионов гептиллионов лет.

Безусловно, весь этот круг вопросов оставался бы интересной, но чисто математической редкостью, если бы не прославленная конструкторская

жилка Трурля, который решил исследовать задачу экспериментально. А поскольку речь шла о невероятных явлениях, Трурль изобрел усилитель вероятности и испытал его сначала у себя дома, в погребе, а затем на специальном, основанном Академией Дракородном Полигоне, или Драколигоне. Лица, незнакомые с общей теорией невероятностей, и по сей день задают вопрос, почему, собственно, Трурль сделал вероятным именно дракона, а не эльфа или гнома, однако задают его по невежеству, ибо им неизвестно, что дракон попросту имеет большую вероятность, чем гном. Трурль, видимо, намеревался пойти в своих опытах с усилителем дальше, но уже первые эксперименты привели к тяжелой контузии — виртуальный дракон лягнул конструктора. К счастью, Клапауций, помогавший налаживать установку, успел понизить вероятность, и дракон исчез. Вслед за Трурлем многие другие ученые повторяли эксперименты с дракотроном, но поскольку им недоставало сноровки и хладнокровия, значительная часть драконьего помета, серьезно покалечив ученых, вырвалась на свободу. Только тогда обнаружилось, что эти отвратительные чудовища существуют совершенно иначе, чем, например, шкафы, комоды

или столы: дракон характеризуется в первую очередь своей вероятностью, как правило, достаточно большой, раз он уже возник. Если устроить охоту на такого дракона, да еще с облавой, то кольцо охотников с оружием, готовым к выстрелу, натыкается лишь на выжженную, смердящую особой вонью землю, поскольку дракон, когда ему приходится туго, ускользает из реального пространства в конфигурационное. Будучи скотиной нечистоплотной и необычайно тупой, дракон делает это, разумеется, руководствуясь инстинктом. Примитивные особы, не могущие понять, как сие происходит, петушась, домогаются увидеть это самое конфигурационное пространство, не ведая того, что электроны, существования коих никто в здравом рассудке не оспаривает, также перемещаются лишь в конфигурационном пространстве, а судьба их зависит от волн вероятности, Впрочем, упрямцу легче настаивать на несуществовании электронов, чем драконов, поскольку электроны, по меньшей мере в одиночку, не лягаются.

Коллега Трурля, Гарборизей Кибр, первым проквантовал дракона, введя константу, называемую дракнетоном, которой, как известно, кратны числители драконов; он определил также

кривизну их хвоста, за что едва не поплатился жизнью. Но разве же интересовал этот успех широкие слои населения, страдавшего от драконов, которые вытаптыванием посевов, общей своей назойливостью, ревом и испусканием пламени наносили огромный ущерб, а кое-где даже требовали дани в виде девиц? Разве же интересовал несчастных обывателей тот факт, что драконы Трурля, будучи индетерминированными, а стало быть нелокальными, ведут себя, хоть и в согласии с теорией, однако вопреки всяким приличиям, что теория эта предсказывает кривизну их хвостов, уничтожающих села и нивы? Стоит-ли удивляться, если широкие слои, вместо того чтобы по-настоящему оценить достижения Трурля, совершившие подлинный переворот в научных воззрениях, поставили их ему в вину, а кучка заядлых обскурантов даже чувствительно побила знаменитого конструктора. Однако Трурль вместе со своим другом Клапауцием неутомимо продолжал исследования. Из них вытекало, что дракон существует на уровне, зависящем от его настроения и от состояния общего насыщения, а также что единственным надежным методом ликвидации является сведение вероятности к нулю и даже к отрицательным значениям. Как не

понять, что эти исследования требовали много труда и времени, а между тем драконы, находясь на свободе, свирепствовали в свое удовольствие, опустошая многочисленные планеты и спутники, и, что еще прискорбней, даже плодились. Это дало Клапауцию повод опубликовать блестящую работу под заглавием «Ковариантные переходы от драконов к драконьим отродьям как частный случай перехода из состояний, запретных физически, в состояния, запрещенные полицией». Эта работа наделала много шума в научном мире, где все еще широко обсуждался знаменитый полицейский дракон, посредством которого бравые конструкторы отомстили злому царю Жестокусу за несчастья своих неоплаканных коллег. Какие ж возникли пертурбации, когда стало известно, что некий конструктор, по имени Базилей и по прозванию Эмердуанский, путешествуя по всей Галактике, одним лишь своим присутствием вызывал появление драконов там, где до этого их никто в глаза не видел. Когда всеобщее отчаяние и состояние национальной катастрофы достигали кульминации, он являлся к властелину данного государства, чтобы, поторговавшись вволю и взвинтив гонорар до головокружительных размеров, заняться истреблением чудовищ.

Последнее ему почти всегда удавалось, хотя никто не знал, каким способом, ибо он действовал скрытно и в одиночку. Впрочем, Базилей лишь статистически гарантировал успех драколиза, а с той поры, как некий монарх воздал ему лучшим за хорошее, уплатив дукатами, полновесными также лишь статистически, он стал подвергать унизительному исследованию посредством царской водки природу желтого металла, которым ему платили. В эту-то пору Трурль и Клапауций встретились в один погожий денек и между ними произошел следующий разговор:

— Ты слышал об этом Базилее? — спросил Трурль.

— Слышал.

— Что ты скажешь?

— Не нравится мне вся эта история.

— Мне также. Что ты о ней думаешь?

— Он пользуется усилителем.

— Вероятности?

— Да. Или резонансной системой.

— Может, генератором василисков?

— Ты имеешь в виду дракотрон?

— Да.

— По существу это вполне возможно.

— Но ведь, — воскликнул Трурль, — это было

бы низостью. Это означало бы, что частично он привозит змеев с собой, только в потенциальном состоянии, с вероятностью, близкой к нулю. Когда обживется и оглядится, начинает все увеличивать и увеличивать шансы, усиливает их, пока они не достигнут достоверности, и тут-то, разумеется, наступает виртуализация, конкретизация и зримая тотализация.

— Ясно. К тому же он, безусловно, подскабливает матрицу и увеличивает вероятность перехода виртуального змея в бешеного василиска.

— Да, страшнее бешеного василиска, пожалуй, ничего уж не бывает.

— А как ты думаешь, он потом аннулирует их аннигиляционным ретрокреатором или же лишь снижает временно вероятность и удирает, прихватив монету?

— Трудно сказать. Если он лишь понижает правдоподобие, то это еще большая низость, ведь рано или поздно флуктуации вакуума вызывают возникновение змеематрицы, и тогда вся история начинается сначала.

— Да, но ни его самого, ни денежек тогда уж не сыщешь… — буркнул Клапауций.

— Как ты думаешь, не стоит ли написать об этом деле в Главное Бюро Регулирования Дра-

конов?

— Чего не стоит, того не стоит. В конце-то концов он, быть может, этого и не делает. У нас нет уверенности и никаких доказательств. Статистические флуктуации возникают и без усилителя; раньше не было ни матриц, ни усилителей, а драконы время от времени появлялись. Попросту случайно.

— Должно быть, так, — согласился Трурль, — однако ж чудовища появляются только после прибытия Базилея на планету!

— Верно. Но писать об этом не стоит, все же он — коллега по профессии. Пожалуй, мы сами предпримем некоторые шаги. Как ты думаешь?

— Можно.

— Хорошо. Однако что делать?

Тут оба знаменитых драколога погрузились в профессиональный спор, из которого посторонний слушатель не понял бы ни словечка; до него донеслись бы лишь загадочные фразы, такие, как «счетник драконов», «нехвостатое преобразование», «слабые змеевзаимодействия», «дифракция и рассеяние драконов», «жесткий горыныч», «мягкий горыныч», «draco probabilisticus», «полосатый спектр василиска», «змей в возбужденном состоянии», «аннигиляция пары василисков с

яростью и антияростью в поле всеобщего безголовья» и т.п.

Результатом этого глубокого анализа явилось путешествие, третье по счету; конструкторы готовились к нему очень старательно, не преминув нагрузить свой корабль множеством сложных приборов. Так, например, они взяли с собой диффузатор и специальную пушку, стреляющую антиголовами. Во время путешествия конструкторы высадились на Энтии и Пентии, а затем на Керулее и после этого поняли, что не смогут прочесать всю местность, охваченную бедствием, — для этого им пришлось бы разорваться на части. Проще было, очевидно, разделить экспедицию, и после обсуждения в рабочем порядке каждый из них отправился в свою сторону. Клапауций долго работал на Престопондии, приглашенный туда императором Дивославом Амфитритием, который соглашался отдать ему дочь в жены, лишь бы избавиться от чудовищ, ведь драконы высокой вероятности забредали даже на улицы стольного града, а виртуальными вся округа так и кишела. Правда, виртуальный дракон, по мнению наивных и серых обывателей, «не существует», то есть не может быть наблюден каким-либо способом, равно как и не совершает никаких действий,

свидетельствующих о его появлении, однако исчисление Кибра-Трурля-Клапауция-Миногия, и в первую очередь змееволновое уравнение, отчетливо показывают, что дракону легче проделать путь из конфигурационного пространства в реальное, чем ребенку от дома до школы. Поэтому при глобальном возрастании вероятности в жилищах, погребах и на чердаках можно было наткнуться на дракона и даже на супердракона.

Погоня за драконами не привела бы к ощутимым результатам. Понимая это, Клапауций, как истый теоретик, принялся за работу методично: он расставил на площадях и скверах, в градах и весях вероятностные змеередукторы, и вскоре чудовища стали величайшей редкостью. Получив наличные, почетный диплом и переходящее знамя, Клапауций отбыл, намереваясь отыскать своего друга. По дороге он заметил, как кто-то отчаянно машет ему с планеты. Сочтя, что это, быть может, Трурль, с которым приключилась беда, Клапауций совершил посадку. Однако сигналы подавал не Трурль, а жители Трюфлежории, подданные царя Пестроция. Эти туземцы исповедовали всяческие суеверия и примитивные верования, религия же их, называемая пневматическим драконизмом, утверждала, что

драконы посылаются как кара за грехи и наделены душами, хотя и нечистыми. Смекнув, что вступать в спор с драклогами его величества было бы по меньшей мере опрометчиво, ибо их методы ограничивались каждением в местах, посещаемых драконами, и раздачей мощей, Клапауций предпочел приняться за работу в полевых условиях. Фактически на планете обитало лишь одно чудище, но из ужаснейшего рода Эхидных. Клапауций предложил царю свои услуги. Тот, однако, не сразу дал прямой ответ, подчиняясь, очевидно, влиянию бессмысленной догмы, относившей причину возникновения драконов к потустороннему миру. Из местных газет Клапауций узнал, что одни считают Эхидну, которая здесь резвится, единичным экземпляром, другие же — существом множественным, способным находиться одновременно во многих точках. Это дало ему пищу для размышлений, хотя он не испытал ни малейшего удивления, ибо локализация этих противных тварей подчиняется так называемым змееаномалиям, некоторые же образчики, особенно склонные к рассеянности, «размазываются» по всему пространству, а это уж составляет вполне обычный эффект изоспинового усиления квантового импульса. Вынырнув

из конфигурационного пространства в реальное, дракон выглядит словно множество драконов, хотя в сущности они — единое целое, подобно пяти внешне совершенно независимым друг от друга пальцам руки, показавшейся из воды. Под конец очередной аудиенции Клапауций спросил царя, не побывал ли на планете Трурль; при этом он подробно описал внешний вид друга. Каково же было удивление драковеда, когда ему сказали, что его коллега, разумеется, гостил недавно в царстве Пестроциевом и даже взялся за устранение Эхидны, получил аванс и отправился в близлежащие горы, где драконесса прогуливалась особенно часто, но на другой день вернулся и потребовал весь гонорар, а в доказательство своего триумфа показал сорок четыре драконьих зуба. Однако тут возникли некоторые недоразумения, и выплату пришлось задержать до выяснения обстоятельств. Тогда Трурль, поддавшись сильному порыву гнева, громко и неоднократно выражал свое мнение о монархе, власть предержащем, что смахивало на оскорбление величества, а затем удалился в неизвестном направлении. С того дня даже слух о нем канул в небытие, зато Эхидна появилась вновь, словно с ней ничего не случилось, и с еще большей свирепостью стала ко

всеобщему огорчению опустошать грады и веси.

Весьма туманной показалась эта история Клапауцию, однако подвергать сомнению истинность слов, падающих из монарших уст, затруднительно, поэтому он взял ранец, наполненный сильнейшими змеебойными средствами, и в одиночку пошел по направлению к горам, снежный хребет которых величественно возвышался над восточной частью горизонта.

Вскоре Клапауций обнаружил на скалах первые следы чудовища. Впрочем, если бы он не заметил их, о чудовище дал бы знать характерный удушливый запах сернистых выделений. Клапауций бесстрашно двигался вперед, готовый в любое мгновение применить оружие, висевшее у него на плече, и ежеминутно поглядывал на стрелку счетчика драконов. Некоторое время она стояла на нуле, затем, нервно подрагивая и как бы преодолевая невидимое сопротивление, медленно подползла к единице. Теперь не оставалось сомнения, что Эхидна находится поблизости. Это безмерно удивляло конструктора, у него в голове не укладывалось, как его испытанный друг и знаменитый теоретик, каким был Трурль, промазал в вычислениях и не уничтожил драконессу. Трудно было также поверить, что, не убив драконессу,

он вернулся к царскому двору, требуя платы за невыполненную работу.

Вскоре Клапауций повстречал колонну местных жителей, по всей видимости безмерно угнетенных: беспокойно озираясь по сторонам, они старались держаться поближе друг к другу. Согбенные под ношей, давящей на спину и голову, туземцы шли гуськом вверх по склону. Поздоровавшись, Клапауций остановил отряд и спросил ведущего, что они тут делают.

— Сударь, — ответил ему этот царский чиновник низшего ранга, одетый в видавший виды доломан, — мы несем дань дракону.

— Дань? Ага! А что ж это за дань?

— Здесь все, чего дракон пожелал, сударь: золото, драгоценные камни, чужеземные благовония и множество иных предметов величайшей ценности.

Тут удивлению Клапауция не стало границ, ведь драконы никогда не требуют подобной дани и уж заведомо не жаждут ни ароматов из дальних стран, неспособных заглушить их природную вонь, ни наличных денег, с коими они не знали бы что делать.

— А девиц дракон не возжелал, добрый человек? — спросил Клапауций.

— Нет, сударь. Раньше-то, конечно, бывало. Еще летошний год водил я их к нему, по три пятка или по дюжине, согласно его аппетиту. Но с той поры, сударь, как пришел сюда один чужой, чужестранец значит, и ходил по горам с ящичками и аппаратами, один-одинешенек… — Тут добряк в нерешительности умолк, с беспокойством разглядывая инструменты и оружие Клапауция, особенно его тревожила огромная шкала счетчика драконов, который беспрестанно потикивал и подрагивал красной стрелкой на белом щитке.

— А одет он был точь-в-точь как ваша милость! — сказал чиновник дрожащим голосом. — Точь-в-точь такая амуниция и вообще…

— Я купил это по случаю на ярмарке, — сказал, стремясь усыпить подозрительность добряка, Клапауций. — А скажите-ка мне, мои дорогие, не знаете ли вы часом, что сталось с тем чужестранцем?

— Что, значит, с ним сталось? Этого-то мы и не знаем, сударь. Было, значит, так. Недели две тому… Эй, кум Барбарон, правду я говорю? Две недели, не больше?

— Правду молвишь, кум староста, правду, отчего ж нет? Недели две тому будет, либо четыре, а может и шесть.

— Ну, пришел он, сударь, зашел к нам, закусил, ничего не скажу: хорошо заплатил, поблагодарил, коль тут нет дурного, так уж нет, ничего нельзя сказать, огляделся, по срубу постучал, про цены все спрашивал, что летошний год стояли, аппараты поразложил, с циферблатиков что-то себе записывал быстро-быстро, так что у него даже бляхи подпрыгивали, но подробно, одно за другим, в книжечку такую, красную, что за пазухой носил, а потом этот — как его там, кум? — тер… темпер… тьфу, не выговоришь!

— Термометр, кум староста!

— Ну, конечно так! Термометр этот вынул и говорит, что он против драконов, и туда его совал и сюда, снова все записал, сударь, в ту свою тетрадочку, аппараты а мешочек засунул, мешочек за плечи, попрощался и пошел. И больше мы его, сударь, уж не видели. Ино так было. Той самой ночью что-то заухало и загромыхало, однако далеко. Будто за Мидраговой горой, за той, стало быть, сударь, что возле вершинки с соколиком таким наверху, Пестроциевой она зовется, потому что напоминает нам государя пресветлого нашего, а та, с другой-то стороны, поприжатей, как, с позволения вашей милости, ягодица к ягодице, зовется Смоляной, а пошло это от того, сударь,

что один раз…

— Не стоит про эти горы рассказывать, добрый человек, — прервал его Клапауций, — так вы говорите, той ночью что-то ухнуло. А что произошло потом?

— Потом? А потом ничего уж, сударь, не произошло. Как ухнуло, так изба пошла ходуном, а я так на пол с лежанки скатился. Да только мне это нипочем, иной раз как драконихa о дом зад почешет, еще и не так грохнешься; к примеру, взять Барбаронова брата, того даже в кадушку с бельем тиснуло, они аккурат стирали, когда драконихе об угол потереться захотелось…

— Ближе к делу, любезный, ближе к делу! — воскликнул Клапауций. — Итак, что-то ухнуло, вы свалились на пол, а что же случилось дальше?

— Да я ж вам, сударь, ясно сказал, что ничего не случилось. Если бы что-нибудь было, так было б о чем говорить, а как ничего не случилось, так и нет ничего стоящего, чтоб губами похлопать. Так я говорю, кум Барбарон?!

— Так оно и есть, кум староста.

Кивнув головой, Клапауций зашагал прочь, а носильщики двинулись тем временем вниз, сгибаясь под тяжестью драконьей дани; драколог догадался, что они сложат ее в указанной дра-

коном пещере, но выспрашивать подробности не хотел, от разговора со старостой и его кумом змееборца прошиб пот. Впрочем, еще раньше он слышал, как один из местных жителей говорил другому, что дракон «такое место выбрал, чтоб и ему было близко и нам…»

Клапауций шел быстрым шагом, выбирая путь по пеленгу индикатора василисков. Этот прибор он повесил себе на шею; не забывал он также и о счетчике, однако тот неизменно показывал ноль целых восемь десятых дракона.

— Неужто я наткнулся на одного из дискретных драконов, черт подери? — раздумывал Клапауций, вышагивая, но ежеминутно останавливаясь, ибо лучи солнца немилосердно жгли, а в воздухе стоял сильный зной; казалось, поверхность раскаленных скал колышется; вокруг — ни листка растительности, только нанесенная почва, спекшаяся в углублениях скал, и выжженные каменные поля, тянущиеся к величавым вершинам.

Прошел час, солнце уже передвинулось на другую половину неба, а храбрец все еще шагал по осыпям, перебираясь через гряды скал, пока не очутился в области узких ущелий и трещин, наполненных холодной мглой. Красная стрелка

подползла к девятке перед единицей и, подрагивая, замерла.

Клапауций положил ранец на скалу и принялся вытаскивать змеефузею, когда стрелка быстро заколебалась. Он выхватил редуктор правдоподобия и окинул быстрым взглядом окрестности. Стоя на скалистой гряде, драколог мог заглянуть в глубину ущелья: там что-то передвигалось.

— Нет сомненья, это она! — подумал Клапауций, ибо Эхидна — женского рода.

«Быть может, именно по этой причине, — мелькнула у него мысль, — чудовище и не требует девиц? Впрочем, в прежние времена она охотно их принимала. Странно все это, странно, но сейчас важнее всего взять ее получше на мушку, и тогда все кончится благополучно!» — подумал он и на всякий случай еще раз сунул руку в мешок за дракодеструктором, поршень коего втаптывает драконов в небытие. Клапауций выглянул из-за края скалы. По узенькой котловине, дну высохшего потока, серо-бурая, с запавшими, словно от голода, боками передвигалась драконiха гигантских размеров. Беспорядочные мысли пронеслись в голове Клапауция. Может, аннигилировать драконессу, изменив знак драконьей матрицы с плюса на минус, в результате чего статистиче-

ская вероятность недракона одержит верх над драконом? Но это очень рискованно, если учесть, что малейшее отклонение может привести к катастрофической разнице в результатах; иногда в такой переделке вместо недракона получался неодракон. Сколь многое зависит всего лишь от одной буквы! К тому же тотальная депробабилизация сделала бы невозможным исследование природы Эхидны. Клапауций заколебался, перед его мысленным взором возник нежно любимый образ огромной драконьей шкуры в кабинете, между окном и библиотекой; однако предаваться мечтам не оставалось времени, хотя иная возможность — подарить экземпляр со столь специфическими наклонностями дракозоологу — и промелькнула в голове Клапауция, когда он опускался на колено; конструктор успел все же подумать, какую статейку удалось бы опубликовать в научном журнале на базе хорошо сохранившегося экземпляра, поэтому он переложил фузею с редуктором в левую руку, а правой схватил главомет, заряженный антиголовой, старательно прицелился и нажал на спуск.

Главомет оглушительно рявкнул, жемчужное облачко дыма окутало ствол и Клапауция, так что тот на мгновение потерял чудовище из виду.

Однако дым тотчас рассеялся.

В старых небылицах рассказывается много ложного о драконах. Например, утверждается, что драконы имеют иной раз до семи голов. Этого никогда не бывает. Дракон может иметь только одну голову — наличие двух тут же приводит к бурным спорам и ссорам; вот почему многоглавцы, как их называют ученые, вымерли вследствие внутренних распрей. Упрямые и тупые по своей природе, эти монстры не выносят ни малейшего противоречия; вот почему две головы на одном теле приводят к быстрой смерти, ведь каждая из них, стараясь насолить другой, воздерживается от приема пищи и даже злонамеренно прекращает дыхание — с вполне однозначным результатом. Именно этот феномен использовал Эйфории Сентиментус, изобретатель антиглавой пищали. В тело дракона вбивают выстрелом миниатюрную, удобную электронную головку, тут же начинаются скандалы, раздоры, а в результате дракон, словно параличом разбитый, одеревенев, торчит на одном месте сутки, неделю, иногда месяцы; иногда истощение одолевает дракона только через год. В это время с ним можно делать что угодно.

Однако дракон, подстреленный Клапауцием,

вел себя по меньшей мере странно. Он поднялся, правда, на задние лапы, издавая рев, коим вызвал щебневый оползень на склоне, и стал бить хвостом о скалы, наполнив запахом высекаемых искр все ущелье, а после этого почесал себя за ухом, кашлянул и преспокойно двинулся дальше, разве что более быстрой трусцой. Не веря собственным глазам, Клапауций помчался по скалистой гряде, стараясь сократить путь к устью высохшего потока, — теперь уж не какая-то научная работенка, не пара-другая статей в «Трудах института драконов» мерещилась ему, а по меньшей мере монография на меловой бумаге с портретами дракона и автора!

У поворота теоретик присел за скалу, приложился глазом к антивероятностной мортирке, прицелился и привел в действие депоссибилизатор. Ложе ствола дрогнуло у него в руке, раскаленное оружие окуталось дымкой, вокруг дракона, как предвестник непогоды вокруг луны, появилось гало. Однако дракон не сгинул! Еще раз сделал Клапауций дракона вполне невероятным; интенсивность импоссибилитационности стала столь высокой, что пролетавшая бабочка приняла передавать азбукой Морзе вторую «Книгу джунглей», а среди скальных завалов замелькали

тени колдуний, ведьм и кикимор, отчетливый же топот копыт возвестил, что где-то позади дракона гарцуют кентавры, извлеченные из небытия чудовищной интенсивностью мортирки. Однако дракон, словно ничего не произошло, грузно присел, зевнул и принялся с наслаждением чесать задними лапами обвисшую кожу на горле. Раскаленное оружие обжигало Клапауцию пальцы, он отчаянно нажимал курок, ибо ничего подобного до сих пор ему переживать не доводилось; ближние камни, из тех, что помельче, медленно поднимались в воздух, а пыль, которую чешущийся дракон выбрасывал из-под седалища, вместо того чтобы беспорядочно осесть, сложилась в воздухе, образовав вполне разборчивую надпись: «СЛУГА ГОСПОДИНА ДОКТОРА». Стемнело — день превращался в ночь, компания известняковых утесов отправилась на прогулку, мирно беседуя о всякой всячине, словом, творились уже подлинные чудеса, однако ужасное чудовище, расположившееся на отдых в тридцати шагах от Клапауция, и не думало исчезать. Истребитель драконов отшвырнул мортирку, полез за пазуху, добыл противомонстровую гранату, и, вверив свою душу матрице общеспинорных преобразований, метнул гранату в дракона. Раздался

грохот, вместе с обломками скал в воздух взлетел хвост, а дракон совсем человеческим голосом завопил: «Караул!» — и помчался галопом вперед, прямо на Клапауция. Тот, видя столь близкую смерть, выпрыгнул из укрытия, судорожно сжимая дротик из антиматерии. Он взмахнул им, но тут снова раздался крик:

— Перестань! Перестань же! Не убивай меня!

«Что это, дракон заговорил?! — мелькнула у Клапауция мысль. — Нет, должно быть, я ошалел…»

Однако задал вопрос:

— Кто говорит? Дракон?

— Какой дракон! Это я!!

Из рассеивающегося облака пыли вынырнул Трурль; он коснулся шеи дракона, повернул там что-то, гигант медленно опустился на колени и замер с протяжным скрежетом.

— Что это за маскарад? Что это значит? Откуда взялся этот дракон? Что ты в нем делал? — Клапауций забросал друга вопросами.

Трурль, отряхивая покрытую пылью одежду, отбивался от него:

— Откуда, что, где, как… Дай же мне сказать! Я уничтожил дракона, а царь не пожелал со мной расплатиться…

— Почему?

— Наверно, от скаредности, не знаю. Сваливал все на бюрократию, говорил, что должен быть составлен протокол приемочной комиссии, произведен обмер, вскрытие, что должна собраться тронная производственная комиссия, и то, и се, а верховный страж сокровищ уверял, что не имеет понятия, по какой статье платить, поскольку платеж этот нельзя провести ни по фонду заработной платы, ни по безличному фонду, одним словом, хоть я просил, настаивал, ходил в кассу, к царю, на совещания, никто не хотел со мной даже разговаривать; а когда они потребовали от меня автобиографию с двумя фотокарточками, мне пришлось убираться, но, к сожалению, дракон пребывал уже в необратимом состоянии. Вот я и содрал с него шкуру, нарезал побегов орешника, потом отыскал старый телеграфный столб, а большего и не требовалось; набил чучело, ну и… и стал прикидываться…

— Не может быть! Ты прибег к столь постыдной уловке? Ты?! Но зачем же, ведь тебе за это не платили? Ничего не понимаю.

— Экий ты тупой! — снисходительно пожал плечами Трурль. — Да ведь они приносили мне дань! Я получил больше, чем причиталось.

— Ааа!!! — эта истина наконец дошла до Клапауция. Однако он тут же добавил: — Но ведь вымогать некрасиво…

— С чего ж это некрасиво? А разве я делал что-нибудь дурное? Прохаживался по горам, а вечерами немного подвывал. Уж тут я намахался… — добавил он, присаживаясь рядом с Клапауцием.

— О чем это ты? О реве?

— Да нет же, ты и двойку с двойкой сложить не умеешь! При чем тут рев? Каждую ночь я вынужден таскать мешки с золотом из пещеры, обусловленной договором, вон туда, на гору! — Трурль указал рукой на удаленный горный хребет. — Я подготовил там стартовую площадку. Поносил бы сам двадцатипудовые мешки с сумерек до рассвета, тогда бы понял! Ведь дракон-то никакой не дракон, одна шкура весит две тонны, а я ее таскать на себе должен, реветь, топать — это днем, а ночью — мешки таскать. Я рад, что ты приехал, с меня уже этого хватит.

— Но отчего же, собственно, этот дракон, то есть это набитое чучело, не сгинул, когда я уменьшил вероятность вплоть до чудес? — пожелал еще узнать Клапауций.

Трурль откашлялся, как бы немного смущен-

ный.

— Из-за моей предусмотрительности, — пояснил он. — В конце-то концов я мог напороться на какого-нибудь дурака-охотника, хотя бы на Базилея, поэтому я вставил в нутро, под шкуру, экраны неправдоподобия. А теперь пошли, там осталась еще пара мешков платины, они — самые тяжелые из всех, не хотелось бы нести одному. Вот и превосходно, ты мне поможешь…

## Путешествие четвертое, или О том, как Трурль женотрон применил, желая королевича Пантарктика от неги любовной избавить, и как потом к детомету прибегнуть пришлось

Однажды на рассвете, когда Трурль пребывал во сне глубочайшем, застучали в дверь жилища его с такой силой, словно пришелец желал одним махом оную дверь с петель сорвать. И когда Трурль, с трудом глаза раскрыв, отодвинул засов, то предстал взору его на фоне светлеющего неба огромный корабль, подобный сахарной голове невероятной величины или пирамиде летающей, а из нутра того исполина, севшего пред его окнами, по широким сходням длинными вереницами спускались ублюды навьюченные, а облаченные в бурнусы и тюрбаны, аккуратно в черный цвет окрашенные роботы сгружали перед домом тюки, да с такой быстротой, что спустя самую малость не понимающего, что это может означать, Трурля окружал не перестающий расти полукруг набитых вьюков, на манер шанцев, только узенький проход остался. И по тому проходу шествовал к

нему электрыцарь невиданного облика — глаза в виде звезд вырезаны, радарные антеннки лихо вверх закручены, роскошный плащ драгоценностями усыпан. Перекинул этот достославный кавалер свой плащ через плечо, снял стальную шляпу и голосом мощным, хоть и мягким, словно бархат, вопросил:

— Имею ли я честь зреть господина Трурля, премногоблагородного конструктора сих мест?

— Его самого, это я… Может, войдете?.. Не обессудьте за беспорядок… Я не ведал, то бишь спал я… — бормотал ошеломленный Трурль, запахивая на себе жалкое одеяние: только сейчас заметил он, что на нем одна ночная рубашка, притом давно тосковавшая по корыту.

Однако изысканный электрыцарь, казалось, не замечал упущений в одеянии Трурля. Еще раз приподняв шляпу, которая со звоном дрожала над его сводчатой головой, он грациозно прошел в дом. Трурль, извинившись, на минуту оставил его и, кое-как приведя себя в порядок, снова спустился, перепрыгивая через две ступеньки сразу. На дворе тем временем уже рассвело, и солнце сверкало на белых тюрбанах черных роботов, которые, грустно и заунывно выводя старую невольничью песню «Где пропадал ты, черный

барашек», шпалерами по четыре окружили дом и корабль-пирамиду. Трурль увидел это в окно, усаживаясь напротив гостя, который ослепительно взглянул на него, после чего произнес такие вот слова:

— Планета, с которой я прибыл к вам, досточтимый конструктор, переживает расцвет средневековья. А посему, государь мой, извольте простить мне, что я такую конфузию учинил, не вовремя приземлившись. Одно прошу принять во внимание: мы никоим образом не могли предвидеть, что в данной точке, сиречь пункте, планеты вашей славной, где сие домовладение обретается, еще ночь власть свою простирает и лучам солнечным преграду чинит.

Тут он откашлялся, как будто кто в губную гармошку дунул, и продолжил:

— Отрядил меня к вашей милости государь мой и повелитель — Его Королевское Величество Протрудин Астерийский, сеньор объединенных планет Ионита и Ефрита, наследный монарх Аневрии, император Моноцитии, Бипроксии и Трифилиды, великий князь Барномальверский, Эборкидский, Кляпундряньский и Траганторонский, граф Эвкалипский, Трансфиорский и Фортрансминский, паладин Серобурии, барон

Вристридадрицкий, Такисякохватский и Продранододнавский, равно как и самодержец Мадалии, Видалии, Егдалии и Такдалии, — за тем, чтобы я от его всемогущего имени просил вашу светлость пожаловать в нашу страну в качестве долгожданного и многочаемого спасителя престола, единственно способного уберечь страну от всеобщего траура, в каковой ввергла нас несчастная любовь Его Королевского Высочества престолонаследника Пантарктика.

— Ведь я же не… — быстро начал Трурль, но посланец, сделав краткий жест, означавший, что он еще не кончил, продолжал тем же стальным голосом:

— В знак своего особого расположения за прибытие и помощь в беде, от коей страдают государственные интересы, Его Королевское Величество Протрудин моими устами обещает, заверяет и клянется осыпать Вашу Конструктивность такими милостями, что до конца дней Ваша Сиятельность преизбыточествовать будет. В частности же, авансом или, как говорится, в задаток, нарекаешься ты с этой минуты, — тут посланец встал, извлек шпагу и продолжал, плашмя ударяя ею Трурля при каждом слове, так что у того плечи прогибались, — титулярным и удельным

князем Мурвидраупским, Тошнотским, Срамотийским и Вассолским, потомственным графом Тленским и Гладоморским, герцогом — об осьми зубцах в короне — Бразелупским, Гдетотамским и Праталакским, маркизом Гунду-Лундским, чрезвычайным губернатором Флуксии и Пруксии, а также капитульным генералом ордена Бездектинских Мендитов и великим нахлебником герцогства Бито-Пито-и-Ламцадрито с положенным этим званиям особливым правом на салют из двадцати одного орудия при пробуждении и отходе ко сну и на фанфары после обеда, Тяжким Инфинитезимальным крестом и увековечением: многорядным — в эбеновом дереве, многосторонним — в сланце и многократным — в золоте. В доказательство же своих милостей мой король и господин посылает тебе вот эти безделки, коими я осмелился кров твой обложить.

И впрямь, тюки уже затмили дневной свет, и он еле проникал в комнату. Посланец кончил говорить, но красноречиво поднятой руки еще не опускал, видимо, по рассеянности. Поелику он молчал, Трурль сказал:

— Я премного благодарен Его Королевскому Величеству Протрудину, но любовные дела, сами понимаете, не моя специальность. Впрочем…

— добавил он, чувствуя на себе ослепительный, точно бриллиант размером с булыжник, взгляд посланца. — Может быть, вы изложите, в чем там, собственно, дело?..

Посланец кивнул.

— Дело, сударь, простое! Наследник трона влюбился в Амарандину Керибернинскую, единственную дочь владыки Араубрарии, сопредельной с нами державы. Однако вражда сугубо застарелая разделяет наши страны, и когда милостивый владыка наш после неустанных просьб королевича обратился к императору относительно руки Амарандины, ответ был категорически отрицательный. С тех пор миновали год и шесть дней, наследник на глазах тает, и нет средства вернуть его рассудок. И нет никакой надежды, опричь Вашей Лучезарной Светлости.

Тут знатный вельможа поклонился, Трурль же кашлянул и, видя ряды воинов за окнами, ответствовал слабым голосом:

— Не представляю, чем я бы мог… Но… коль скоро королю угодно… Что ж… я, разумеется…

— Вот именно, — воскликнул посланец и хлопнул в ладоши, так что металл зазвенел. Немедля двенадцать черных, как ночь, латников вбежали с грохотом в дом, и, схватив Трурля, на руках

внесли его в корабль, который выстрелил двадцать один раз, поднял трапы и с развевающимся флагом величественно устремился в пучину небесную.

В пути вельможа, который был Главным Королевским Панцирничим, рассказал Трурлю в подробностях о романтической, равно как и драматической истории ударившегося в любовь королевича. Сразу же по прибытии, после торжественной встречи и следования через город среди флагов и толп конструктор взялся за дело. Рабочим местом он определил себе чудесный королевский парк; находящийся же в нем Храм Задумчивости превратил за три недели в невиданную конструкцию из металла, проводов и полыхающих экранов. И был это, как он объяснил королю, женотрон — приспособление, употребляемое в роли как тренажера, так и тотального эротора с обратной связью. Тот, кто находился внутри аппарата, в один миг изведать мог прелести, чары, ласки-сказки, нежный шепот и охи-вздохи, присущие сразу всему прекрасному полу космоса. Женотрон, в который Трурль переделал Храм Задумчивости, имел выходную мощность в сорок мегамуров, причем эффективная отдача в спектре проникающей

сладострастности достигала девяноста шести процентов, эмиссия же страсти, измеряемая, как всегда, в килолюбах, насчитывала их шесть на один дистанционно управляемый поцелуй. Кроме того, женотрон был снабжен обратным поглотителем безумия, каскадным внимательно-обнимательным усилителем и автоматом «первого взгляда», поелику Трурль стоял на точке зрения доктора Афродонта, создавшего теорию неожиданностного поля влюбления.

И еще имела эта чудесная конструкция разные вспомогательные приспособления — быстроходную флиртовальню, редуктор кокетонов и комплект ласкальчиков и ласкалищ; снаружи, в специальной стеклянной будке, виднелись огромные циферблаты приборов, с помощью которых можно было следить за ходом операции по обезлюбливанию. Как показывали подсчеты, женотрон давал постоянные положительные результаты в девяноста восьми случаях любовной суперфиксации из ста. А посему шансы на спасение королевича были преизрядные.

Сорок знатных пэров королевства четыре часа мягко, но неукоснительно увлекали и подталкивали королевича по парку к Храму Задумчивости, сочетая решительность действий с почтением к

сану, ибо королевич отнюдь не желал отрешиться от своей любви и бодал, а равно и лягал своих придворных головой и ногами. Когда же наконец при посредстве многочисленных пуховых подушек принца впихнули в машину и захлопнули за ним дверь, взволнованный Трурль включил автомат, который тут же принялся мерно отсчитывать: «Двадцать до нуля… девятнадцать до нуля…», пока не произнес спокойным голосом: «Ноль! Старт!» — и синхроэротроны, включенные на всю мегамурную мощность, устремились на несчастную жертву столь неудачно обращенных чувств. Почти час вглядывался Трурль в стрелки приборов, подрагивавшие от предельного эротического напряжения, но, к сожалению, они не показывали существенных перемен. Неверие в результат процедуры все нарастало в нем, но теперь уже ничего нельзя было сделать — приходилось ждать сложа руки. Он только проверял, падают ли гипоцелуи под нужным углом, без излишнего рассеяния, имеют ли флиртовальня и ласкальчики должное число оборотов, одновременно следя и за тем, чтобы плотность поля была близкой к допустимой. Ведь важно было не то, чтобы пациент перевлюбился, переменив объект чувств — вместо Амарандины — машина, — а

чтобы он полностью разлюбил. Наконец люк в достодолжном безмолвии открыли. Когда же открутили зажимы, обеспечивающие герметичность, то вместе с клубом тончайшего аромата из полутемного помещения выпал бесчувственный королевич, рухнув на помятые розы, которые роняли лепестки, одурманенные непомерной силой страсти. Подбежали верные слуги и, поднимая бессильное тело, услышали, как с бледных уст принца сорвалось одно только беззвучно произнесенное слово: «Амарандина». Сдержал Трурль проклятье, поняв, что все оказалось напрасным, понеже обуявшее королевича чувство оказалось при критической проверке сильнее всяких гигамуров и мегаласк женотроновых, вместе взятых. И любвемер, приложенный ко лбу бесчувственного королевича, в первый момент показал сто семь делений, а потом стекло его лопнуло и ртуть разлилась, трепеща, как будто и ей передался жар клокочущих чувств. Ничего первая попытка не дала.

Вернулся в свои покои Трурль чернее ночи, и если бы кто за ним следил, то услышал бы, как он ходит от стены к стене в поисках спасения. Но тут какой-то переполох в парке послышался. Это каменщики, что стену чинили, влезли любо-

пытства ради в женотрон и как-то пустили его в ход. Пришлось пожарную команду вызывать — такие они вылетали оттуда горячие от страсти, что даже копоть валила.

Тогда применил Трурль другое устройство — комбинацию из отрезвителя и опошлителя. Но и эта вторая попытка — сразу упредим — провалилась. Не разлюбил королевич Амарандину, наоборот, еще больше в чувствах своих утвердился. Снова исходил Трурль много миль в своих покоях, до поздней ночи читал специальные труды, потом запустил ими в стену, а наутро попросил панцирничего об аудиенции у короля. Представ же пред королем, он сказал так:

— Ваше Королевское Величество, Милостивый Государь, Системы обезлюбливания, которые я применил, — самые мощные из возможных. Сын твой, покуда жив, не даст себя обезлюбить — вот истина, которую я должен прямо тебе выложить.

Король молчал, подавленный этой вестью, а Трурль продолжал:

— Разумеется, я мог бы его ввести в заблуждение, синтезировать Амарандину по имеющимся у меня параметрам, но рано или поздно королевич проведал бы об обмане, как только до него дошли бы вести о настоящей принцессе. А посему

остается только один путь: королевич должен жениться на принцессе.

— О, чужеземец! Так в этом-то вся штука, что император не выдает ее за моего сына!

— А если бы он сдался? Если бы ему пришлось вести переговоры и, как побежденному, просить пощады?

— Ха! Тогда — наверное. Но неужели ты хочешь, чтобы я ввергнул две огромные державы в кровопролитную войну да еще с неясным исходом, только чтобы добиться для сына руки императорской дочери?! Быть того не может!

— Иного образа мыслей я и не ожидал от Вашего Королевского Величества, — спокойно сказал Трурль. — Но ведь войны бывают разные, а та, которую я замыслил, воистину бескровная. Мы вовсе и не будем нападать на державу императора с оружием. Ни одного обывателя жизни не лишим, а совсем даже наоборот.

— Как это понять? Что ты такое говоришь, почтенный? — воскликнул удивленный король.

По мере того как Трурль излагал свой хитроумный прожект на ухо королю, мрачный доселе облик государя понемногу прояснялся, покамест он не воскликнул:

— Так делай то, что ты замыслил, дорогой чу-

жеземец, и да поможет тебе небо!

С утра королевские кузни и мастерские принялись изготовлять по планам Трурля изрядное число метательных приспособлений, сверхмощных, но совершенно неведомого назначения. Расставили их по планете, укрыв сетками обманными, чтобы никто ничего не разглядел. А Трурль той порой сидел день и ночь в королевской кибернетической лаборатории, следя за таинственными котлами, в коих булькало загадочное варево. Но если бы какой-нибудь лазутчик попробовал прознать что-нибудь, то ничего бы не выведал, кроме того, что время от времени в запертых на четыре засова лабораторных залах слышится писк, а докторанты и ассистенты лихорадочно бегают с грудами пеленок.

Бомбардировка началась спустя неделю, в полночь. Заряженные старыми пушкарями стволы нацелились в белую звезду — державу императора — и открыли огонь, только не смерто-, а живоносный. Ведь Трурль стрелял младенцами, и его младометы засыпали императорские владения мириадами скулящих сосунков, которые, быстро подрастая, облепляли пеших и конных, и было их столько, что от хныканья, «мама», «агу», равно как и от «пипи» и «а-а» воздух содрогался

и перепонки лопались. И длился этот детский потоп до тех пор, пока экономика государства не сдала и в глаза всем не заглянул призрак катастрофы. А с неба, толстенькие и веселенькие, все спускались карапузики и пузанчики, так что день в ночь превращался, когда они совокупно пеленками развевали. И пришлось тогда императору просить пощады у короля Протрудина, который обещал прекратить бомбардировку при условии, что сын его сможет на Амарандине жениться, на что император с превеликой готовностью согласился. Младометы сей же час застопорили, женотрон ради вящей безопасности Трурль разобрал и первым шафером, в наряде, алмазами переливающемся, с маршальским жезлом в руке, возглашал тосты на свадебном пиршестве. Потом нагрузил ракету дипломами и ленными пожалованиями, от короля и императора полученными, и отбыл, ублаженный, домой.

## Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона

Не жестокостью досаждал своим подданным король Балерион Кимберский, а пристрастием к увеселениям. И опять же — ни пиров он не устраивал, ни оргиям ночным не предавался; невинные забавы были милы сердцу королевскому: в горелки, в чижика либо в палочку-выручалочку готов был он играть с утра до вечера; однако всему предпочитал Балерион прятки. Ежели требовалось принять важное решение, подписать декрет государственного значения, побеседовать с послами чужезвездными или же дать аудиенцию какому-либо маршалу, король немедля прятался и под страхом суровейших наказаний повелевал себя искать. Бегали тогда придворные по всему дворцу, заглядывали в башни и рвы, простукивали стены, так и этак переворачивали трон, и поиски эти нередко затягивались, ибо король каждый раз придумывал новые тайники и укрытия. Однажды не дошло до объявления сугубо важной войны лишь потому, что король, обвешавшись стекляшками и финтифлюшками,

три дня висел в главном дворцовом зале, изображая люстру, и посмеивался исподтишка над отчаянной беготней придворных.

Тот, кто его находил, немедленно награждался званием Великого Открывателя Королевского; числилось таких Открывателей при дворе уже семьсот тридцать шесть. Ежели кто хотел попасть в доверие к королю, непременно следовало ему поразить монарха какой-то новой, неизвестной игрой. Нелегко это было сделать, ибо был король весьма сведущ в этом вопросе: знал и древние игры, например чет-нечет, и новейшие, с обратной связью, на манер кибергая; время от времени говорил он также, что все есть игра либо развлечение — и его королевство, и весь свет.

Возмущали эти речи, легкомысленные и неразумные, степенных королевских советников, а более всех страдал старейшина дворцового совета, достопочтенный Папагастер из древнего рода Матрициев, видя, что для короля нет ничего святого и что даже собственное высочайшее достоинство решается он подвергать осмеянию.

Наибольший, однако, ужас охватывал всех, когда король, поддавшись внезапному капризу, начинал игру в загадки-отгадки. С давних пор увлекался он этой игрой и еще во время своей ко-

ронации поразил великого канцлера вопросом, различаются ли между собой патер и матерь, и если да, то чем.

Король вскорости уразумел, что придворные, которым задает он загадки, не слишком тщатся их разгадывать. Отвечали они, лишь бы ответить, впопад и невпопад, что безмерно Балериона гневало. Изменилось дело к лучшему лишь с тех пор, как король заявил, что назначение на придворные должности будет зависеть от результатов отгадывания. Посыпались репрессии и регрессии, и весь двор волей-неволей участвовать начал в играх, придуманных его королевским величеством. К глубочайшему прискорбию, многие сановники решались обманывать короля, и тот, хоть и был добрым по натуре, такого поведения стерпеть не мог. Главный маршал королевский осужден был на изгнание за то, что на аудиенциях пользовался шпаргалкой, укрытой под горловиной панциря; вряд ли бы это обнаружилось, если б некий генерал, его недруг, не сообщил об этом потихоньку королю. Также и старейшине дворцового совета Папагастеру пришлось распрощаться со своей должностью, ибо не знал он, где находится самое темное место в мире. По прошествии некоторого времени дворцовый

совет состоял уже из самых ловких во всем государстве разгадывателей кроссвордов и ребусов, а министры и шагу не ступали без энциклопедии. Под конец достигли придворные такой сноровки, что давали правильные ответы еще прежде, чем король заканчивал вопрос, и дивиться этому не приходилось, поскольку и придворные, и король были постоянными подписчиками «Правительственной газеты», в которой вместо скучных приказов и указов публиковались преимущественно шарады и массовые игры.

Однако, по мере того как проходили годы, королю все меньше хотелось задумываться, и вернулся он поэтому к своему первому и самому любимому развлечению — к игре в прятки. А однажды, разыгравшись, установил совершенно небывалую награду для того, кто придумает самое лучшее укрытие в мире. Наградой этой назначил король драгоценность неоценимую, коронный бриллиант рода Кимберитов, из которого происходил Балерион. Камня этого дивного давно уже никто и в глаза не видел — долгие века пребывал он за семью замками в королевской сокровищнице.

Надо же было случиться, что Трурль и Клапауций во время очередного своего путешествия

наткнулись на Кимберию. Весть о причуде королевской как раз облетела все государство, а потому быстро дошла и до конструкторов. Услыхали они это от местных жителей на постоялом дворе, где провели ночь, и отправились наутро ко дворцу, чтобы сообщить, что знают секрет укрытия, равных которому нет. Жаждущих награды явилось, однако, так много, что невозможно было сквозь толпу протискаться. Это пришлось конструкторам не по вкусу, и вернулись они на постоялый двор, решив на следующий день снова попытать счастья. Однако счастью надо хоть чуточку помогать; мудрые конструкторы об этом помнили, а посему Трурль каждому стражнику, который хотел их задержать, а потом и придворным, чинящим препятствия, молча совал в руку увесистую монету; а ежели тот не отступал, но, напротив, возмущался, Трурль тут же добавлял вторую, еще более увесистую; не прошло и пяти минут, а друзья уж очутились в тронном зале перед лицом его величества.

Весьма обрадовался король, услыхав, что такие прославленные мудрецы прибыли в его владения специально, чтобы одарить его сведениями об идеальном укрытии. Не сразу удалось растолковать Балериону, что да как, но разум

его, с детства приученный к трудным загадкам, ухватил наконец, в чем суть дела, король возгорелся энтузиазмом, сошел с трона и, заверив двух приятелей в неизменной своей благосклонности, сказал, что наградой он их не обойдет при условии, что тут же сможет испробовать тайный рецепт. Клапауций, правду говоря, не хотел сообщать рецепт, бормоча сквозь зубы, что следовало бы ранее написать, как положено, договор на пергаменте, с печатью и шелковой кистью, однако же король неотступно молил их и клялся всем святым, что награда им обеспечена, — и конструкторы сдались.

Необходимое устройство было у Трурля в маленьком ящичке, который он принес с собой и теперь показал королю. С игрой в прятки не имело это изобретение, собственно, ничего общего, однако можно было применить его и с такой целью. Был это карманный портативный двусторонний обменник индивидуальности, разумеется, с обратной связью. При его посредстве двое могли по желанию обменяться индивидуальностями, что происходило совершенно просто и весьма быстро. На голову надевался аппарат, похожий на коровьи рога. Надо было приставить рога эти к голове того, с кем хочешь совершить

обмен, и слегка нажать; тогда включалось устройство, генерирующее две противоточные серии молниеносных импульсов. По одному рогу ваша собственная индивидуальность уходила в глубь чужой, а по другому — чужая индивидуальность вливалась в вашу. Происходила таким образом абсолютная разгрузка памяти и одновременная загрузка чужой памяти в возникшую пустоту.

Трурль для наглядности надел аппарат на голову и приблизил рога к монаршему челу, объясняя, как следует пользоваться обменником, но тут порывистый король так крепко боднул его, что устройство включилось и произошел моментальный обмен индивидуальностей. И совершилось это так быстро и так незаметно, что Трурль, до тех пор экспериментов над собой не производивший, даже не сообразил, что случилось. Клапауций, стоявший поодаль, тоже ничего не заметил, и только удивился, что Трурль внезапно прервал свое объяснение, а продолжил его сам король, применяя такие выражения, как «потенциалы нелинейного субмнемонического перехода» или «адиабатический проток индивидуальности по обратному каналу». Лекция продолжалась, и, слушая писклявый голос монарха, почувствовал вскоре Клапауций, что случилось нечто недоб-

рое.

Балерион, находившийся в организме Трурля, вовсе не слушал ученых разглагольствований, а пошевеливал слегка руками и ногами, будто старался поудобней устроиться в новом для него теле, с большим любопытством его осматривая. И вдруг Трурль, облаченный в длинный плащ королевский, взмахнув рукой при повествовании об антиэнтропических критических переходах, почувствовал, будто ему мешает нечто. Он глянул на собственную руку и остолбенел, увидев, что держит в ней скипетр. Не успел Трурль и слова вымолвить, как король радостно рассмеялся и бегом выбежал из тронного зала. Трурль устремился за ним, но запутался в пурпурном монаршем одеянии и растянулся во весь рост на полу, а на грохот этот сбежались придворные. Бросились они сначала на Клапауция, думая, что он угрожает его величеству. Пока коронованный Трурль поднялся, пока объяснил, что ничего плохого Клапауций ему не сделал, Балериона уж и след простыл. Тщетно пытался Трурль в королевской мантии бежать за ним, придворные того не допустили. Отбивался он от них и кричал, что никакой он не король и что произошла пересадка, они же решили, что чрезмерное увлечение

головоломками наверняка повредило разум властителя, а посему почтительно, но непреклонно увели его в спальню, хоть орал он и изо всех сил упирался, и послали за лекарями.

Клапауция же стражники вытолкнули на улицу, и побрел он к постоялому двору, не без тревоги размышляя об осложнениях, которые могут из всего происшедшего возникнуть.

«Разумеется, — думал он, — если б это я был на месте Трурля, то при свойственном мне спокойствии духа мигом навел бы порядок. Не скандалил бы я и не кричал о пересадке, — ведь это неминуемо вызовет мысль о душевной болезни, — а потребовал бы, используя свое новое, королевское тело, чтобы поймали мнимого Трурля, сиречь Балериона, который бегает себе теперь где-то по городу. А заодно повелел бы я, чтобы другой конструктор остался при моей королевской персоне в качестве тайного советника. Но этот абсолютный кретин, — так назвал он невольно про себя Трурля-короля, — распустил нервы; ничего не поделаешь, придется применить мой стратегический талант, иначе все это добром не кончится…»

Затем постарался Клапауций вспомнить все, что ему известно о свойствах обменника индиви-

дуальности, а знал он об этом немало, Наиболее важным, но вместе с тем и наиболее опасным счел он то свойство, о котором легкомысленный Балерион, злоупотребляющий где-то телом Трурля, и понятия не имел. Если б он упал и при этом рогами боднул какой-нибудь предмет материальный, но неживой, его индивидуальность немедля вошла бы в этот предмет, а поскольку неживые вещи индивидуальности не имеют и ничего взамен со своей стороны дать не могут, тело Трурля стало бы трупом, а дух королевский, замкнутый в камень либо в фонарный столб, навеки остался бы там.

В тревоге ускорил шаги Клапауций и невдалеке от постоялого двора узнал от оживленно беседующих горожан, что его товарищ выскочил из королевского дворца, будто за ним черти гнались, и, стремглав сбегая по длинной и крутой лестнице, ведущей в порт, упал и сломал ногу. Это привело его в ярость прямо-таки необычайную; лежа, начал он орать, что, мол, перед ними король Балерион собственной персоной и требует он придворных врачей, носилок с пуховыми подушками и ароматов освежающих. И стоявшие вокруг смеялись над его безумием, а он ползал по мостовой, ругался на чем свет стоит и

раздирал свои одежды. Некий прохожий, добросердечный, видно, человек, склонился над ним и хотел помочь ему подняться. Тогда лежащий сорвал с головы шапку, из-под которой, как уверяли лично видевшие эту сцену, показались рога дьявольские. Рогами этими он боднул доброго самаритянина в лоб, вслед за чем пал на землю, издавая слабые стоны, а тот, кого он боднул, сразу изменился, «будто сам дьявол в него вступил», и, прыгая, приплясывая, расталкивая всех на пути, во весь дух помчался вниз по лестнице к порту.

Клапауцию прямо-таки дурно сделалось, когда он все это услыхал, ибо понял он, что Балерион, попортив тело Трурля, которое так недолго ему служило, хитроумно пересел в тело какого-то неизвестного прохожего. «Ну вот, теперь-то начнется! — подумал он с ужасом. — И как я теперь найду Балериона, спрятанного в новом и незнакомом теле? Где его искать?» Пробовал он выведать у горожан, кто был прохожий, так добросердечно отнесшийся к поврежденному лже-Трурлю, а также куда девались рога; но никто не знал этого человека, видели только, что одежда на нем была моряцкая и чужеземная, словно приплыл он на корабле из дальних стран. О рогах же никто и вовсе не ведал. Но тут ото-

звался один нищий; будучи бездомным бродягой, он не смазывал вовремя ноги, а от этого суставы проржавели и пришлось ему передвигаться на колесиках, прикрепленных к бедрам, вследствие чего он лучше других видел то, что происходит у самой земли; нищий этот сказал Клапауцию, что добросердечный моряк сорвал рога с головы у лежащего весьма поспешно и никто другой этого и заметить не успел.

Похоже было на то, что обменник по-прежнему у Балериона и цепь головоломных пересадок из тела в тело может продолжаться. Особенно перепугало Клапауция известие о том, что Балерион находился сейчас в каком-то моряке-чужеземце. «Вот-те на! — подумал он. — Моряк, а значит, ему вскоре отплывать. Если он вовремя не явится на корабль (а он наверняка не явится, ведь Балерион понятия не имеет, с какого корабля этот моряк!), капитан обратится к портовой полиции, а та схватит моряка как беглеца, и король Балерион мигом окажется в подземельях тюрьмы! А если он с отчаянья хоть раз боднет стену темницы рогами, то есть аппаратом… ужас, ужас и еще раз ужас!»

И хоть поистине ничтожны были шансы найти моряка, в которого перебрался Балерион, немедля

отправился Клапауций в порт. Счастье, однако, ему сопутствовало, ибо еще издали увидел он большую толпу. Сразу почуяв, чем тут пахнет, вмешался Клапауций в эту толпу и из разговоров понял, что случилось нечто весьма похожее на то, чего он опасался. Не далее как несколько минут назад некий достопочтенный арматор, владелец целой флотилии торговой, приметил здесь своего матроса, человека на редкость добропорядочного. Однако же теперь матрос осыпал прохожих бранными словами; тем, которые предостерегали его и советовали, чтобы шел он восвояси да полиции остерегался, заносчиво в ответ выкрикивал, что он-де сам кем захочет, тем и будет, хотя бы и всей полицией сразу. Возмущенный этим зрелищем арматор обратился к матросу с увещеванием, но тот немедля схватил валявшуюся тут же немалой величины палку и обломал ее о туловище этого почтенного человека. Вдруг появился полицейский отряд, в порту патрулировавший, — ибо драки тут всегда нередки, — и случилось так, что во главе его шел сам комендант участка. Поскольку матрос упорствовал в строптивом непослушании, велел комендант его немедля схватить. Когда же подступили к нему полицейские, бросился матрос, как бешеный,

на самого коменданта и боднул его головой, из которой нечто наподобие рогов торчало. В тот же миг матрос будто чудом переменился — начал он кричать во весь голос, что он-де полицейский, да не простой, а начальник портового участка; комендант же, выслушав этакие бредни, не разгневался, но неведомо почему засмеялся, словно весьма развеселившись, и приказал своим подчиненным, чтобы они кулаков да палок не жалели и побыстрее скандалиста в каземат препроводили.

Итак, Балерион менее чем за час трижды уже сменил телесное свое местопребывание и находился в теле коменданта, тот же в подземной темнице сидел ни за что ни про что. Вздохнул Клапауций и направился прямиком в участок, каковой находился в каменном здании на набережной. По счастью, никто его не задержал, и вошел Клапауций внутрь, и заглядывал поочередно в пустые комнаты, пока не увидел перед собой до зубов вооруженного исполина, восседающего в тесноватом для него мундире; сурово посмотрел он на конструктора и так угрожающе пошевелился, будто за двери его собирался вышвырнуть. Но в следующий момент рослый сей индивидуум, которого Клапауций впервые в жизни видел подмигнул ему внезапно и расхохотался, причем

физиономия его, к смеху не приученная, поразительно изменилась. Голос у него был басистый, явно полицейского тембра, однако улыбка его и подмигивание незамедлительно напомнили Клапауцию короля Балериона, ибо король это был перед ним, король встал из-за стола в чужом, правда, теле!

— Я тебя сразу узнал, — сказал Балерион-комендант. — Это ведь ты был во дворце со своим коллегой, который мне аппарат дал, верно? Ну, не отличное ли теперь у меня укрытие? Хе! Да весь дворцовый совет, хоть из кожи вон лезть будет, нипочем не додумается, куда я спрятался! Превосходная это штука — быть вот таким важным здоровенным полицейским! Глянь-ка!

И, сказав это, он трахнул могучей, истинно полицейской лапищей по столу — доска даже треснула, да и в кулаке что-то хрустнуло. Поморщился слегка Балерион, но, растирая руку, добавил:

— Ох, что-то у меня там лопнуло, да это неважно — в случае надобности пересяду я, может, в тебя. А?

Клапауций невольно к двери попятился, комендант, однако, загородил ему путь исполинской своей тушей и продолжал:

— Я, собственно, тебе, дорогуша, зла не желаю, но ты можешь наделать мне хлопот, поскольку секрет мой знаешь. А потому думаю, что лучше всего будет, если засажу я тебя в кутузку. Да, так будет лучше всего! — Тут он отвратительно захохотал. — Таким образом, когда я во всех смыслах уйду из полиции, никто уже, в том числе и ты, не будет знать, в ком я спрятался, ха-ха!

— Однако же, ваше величество! — проговорил Клапауций с нажимом, хоть и понизив голос. — Вы подвергаете свою жизнь опасности, ибо не знаете многочисленных секретов этого устройства. Вы можете погибнуть, можете оказаться в теле смертельно больного человека или же преступника…

— Э! — ответил король. — Это меня не пугает. Я, мой милый, сказал себе, что должен помнить лишь об одном: при каждой пересадке надо рога забрать!!

Говоря это, он потянулся рукой к столу и показал аппарат, лежащий в ящике.

— Каждый раз, — продолжал он, — должен я это схватить, сорвать с головы того, кем я был, и взять с собой, тогда мне нечего бояться!

Пытался Клапауций убедить его, чтобы оставил он мысль о дальнейших телесных переменах, но

тщетно: король лишь посмеивался в ответ. Под конец сказал Балерион, явно развеселившись:

— О том, чтобы я во дворец вернулся, и говорить нечего! Уж если хочешь знать, то вижу я перед собой длинное странствие по телам моих подданных, что, кстати сказать, согласуется с моей демократически настроенной натурой. А в завершение, вроде как на десерт, оставлю я себе вхождение в тело какой-нибудь пленительной девы — это ведь наверняка будет ощущение безмерно поучительное, ха-ха!

Говоря это, открыл он дверь одним рывком могучей лапищи и гаркнул, вызывая своих подчиненных; видя, что если не совершить нечто отчаянное, то попадешь в каземат, схватил Клапауций чернильницу со стола, плеснул чернила в лицо королю, а сам, пользуясь временной слепотой своего преследователя, выпрыгнул в окно. К счастью, было это невысоко, а к тому же никаких прохожих поблизости не оказалось, так что удалось ему, мчась во весь дух, добраться до многолюдной площади и затеряться в толпе, прежде чем полицейские, которых король последними словами обзывал, начали выбегать из участка на улицу, одергивая мундиры и грозно бряцая оружием.

Клапауций, отдаляясь от порта, предался размышлениям поистине невеселым. «Лучше всего было бы, — думал он, — предоставить этого мерзкого Балериона его судьбе да отправиться в больницу, где пребывает тело Трурля с душой честного матроса; если это тело попадет во дворец, приятель мой снова может стать самим собой — и духовно, и телесно. Правда, появится тогда новый король с матросским естеством, но пропади он пропадом, этот весельчак Балерион!»

План был неплох, однако для его осуществления не хватало одной вещи, хоть и небольшой, но весьма важной, — обменника с рогами, который находился в ящике комендантского стола. Поразмыслил было Клапауций, не удастся ли ему построить второй такой аппарат, но для этого не хватало как материала и инструментов, так и времени.

«Ну тогда, может, так сделать… — рассуждал Клапауций. — Пойти к Трурлю-королю; он, надо полагать, уже пришел в себя и сообразил, что следует делать. Скажу ему, чтобы повелел он солдатам окружить портовый полицейский участок; таким образом попадет в наши руки аппарат, и Трурль сможет вернуться в собственное тело!»

Однако его даже и не впустили во дворец, когда

он туда направился. «Король, — сказали ему в караульне дворцовой, — спит крепко, потому что лекари придворные применили средство электронного успокоения и подкрепления; сон этот продолжится не менее сорока восьми часов».

«Этого только не хватало!» — в отчаянии подумал Клапауций и пошел в больницу, где пребывало трурлево тело, ибо опасался, что, выписавшись досрочно, исчезнет оно в лабиринтах большого города. Представился он там как родич потерпевшего — имя матроса удалось ему вычитать в истории болезни. Узнал Клапауций, что ничего серьезного с матросом не случилось, нога у него была не сломана, а лишь вывихнута, однако же несколько дней не сможет он покинуть одра больничного. Свидеться с матросом Клапауций, разумеется, не стремился, поелику имело бы это лишь одно последствие: обнаружилось бы, что они с потерпевшим вовсе незнакомы.

Удостоверившись хоть в том, что тело Трурля не сбежит внезапно, вышел Клапауций из больницы и начал бродить по улицам, погрузившись в напряженные размышления. И не заметил он, как в этих своих блужданиях приблизился к порту, а тут увидал, что кругом так и толкутся полицейские и испытующе заглядывают в лицо

каждому прохожему, сверяя черты его облика с тем, что записано у них в блокнотах служебных. Сразу понял Клапауций, что это штучки Балериона, который настойчиво разыскивает его, дабы в каземат ввергнуть. В тот же миг обратился к нему ближайший караульный; дорога к отступлению была отрезана, ибо из-за угла вышли еще два стражника. Тогда с совершенным спокойствием сам отдался Клапауций в руки полицейских и сказал, что одного лишь добивается — чтобы те привели его к своему начальнику, поскольку должен он немедля дать чрезвычайно важные показания о некоем ужасном злодеянии. Тут же его окружили и кандалы надели, но на счастье не сковали обеих рук, а лишь его десницу к шуйце стражника приторочили.

В участке полицейском Балерион-комендант встретил скованного Клапауция, удовлетворенно ворча и злорадно подмигивая маленькими глазками, конструктор же еще с порога возопил, всячески стараясь изменить свою речь на чужеземный манер:

— Господина начальника! Ваша благородия полицейская! Моя хватать, что я Клапауций, но нет, моя не знать никакая Клапауций! Но, может быть, это такая нехорошая, она боднуть-пих-

нуть моя рогами на улице, и моя-твоя чудо быть, наша-ваша, и моя терять телесность и теперь душевность от моя, а телесность быть от не моя, моя не знать как, но та рогач убежать быстро-быстро! Ваша великая полицейскость! Спасите!

И с этими словами пал хитроумный Клапауций на колени, гремя кандалами и болтая быстро и неустанно на ломаном этом языке. Балерион же в мундире с эполетами, за столом стоя, слушал и моргал, слегка ошеломленный; вглядывался он в коленопреклоненного, и видно было, что уж почти поверил ему, ибо Клапауций по дороге к участку вдавливал пальцы свободной левой руки в лоб, чтобы получились там две вмятины, подобные тем, какие оставляют рога аппарата. Приказал Балерион расковать Клапауция, выгнал всех своих подчиненных, а когда остались они с глазу на глаз, велел Клапауцию подробно рассказать, как было дело.

Клапауций сочинил длинную историю о том, как он, богатый чужеземец, лишь сегодня утром причалил к пристани, везя на своем корабле двести сундуков с самыми удивительными в мире головоломками, а также тридцать прелестных заводных девиц, и хотел он и то и другое преподнести великому королю Балериону, ибо был

это дар от императора Труболюда, который тем самым выразить желал династии Кимберской дистанционное свое почтение; и как по прибытии сошел он с корабля, дабы хоть ноги размять после длительного странствия, и прохаживался преспокойно по набережной, когда некий субъект, с виду вот именно такой, — тут показал Клапауций на свое туловище, — уже тем возбудивший его подозрение, что так алчно глазел на великолепное одеяние чужеземное, внезапно ринулся на негр с разгона, будто обезумел и хотел его, страхом объятого, навылет пробежать; однако же лишь сорвал с головы шапку, боднул его сильно рогами, и свершилось тогда непонятное чудо обмена душ.

Заметить тут надлежит, что Клапауций немало страсти вложил в сие повествование, стремясь придать ему как можно более правдоподобия. Подробно рассказывал он о теле своем утраченном, а также весьма презрительно и едко отзывался о том, в котором пребывал сейчас; он даже оплеухи себе самому закатывал и плевал то на живот, то на ноги; не менее подробно описывал он сокровища, им привезенные, а в особенности девиц заводных; говорил о своей семье, оставленной в краю родном, о любимом сыне-машине, о

мопсе своем электронном, об одной из трехсот своих жен, которая умеет такие соуса готовить на ионах сочных, что и сам император Труболюд подобных не едал; доверил он также коменданту полиции самый большой свой секрет, а именно что условился он с капитаном корабля, чтобы тот отдал сокровища любому, кто на палубе появится и тайное слово произнесет.

Алчно выслушивал Балерион-комендант бессвязное его повествование, ибо и вправду все это казалось ему логичным: Клапауций хотел, видимо, укрыться от полиции и совершил это, перенесясь в тело чужеземца, которого избрал потому, что муж сей облачен был в великолепные одежды, а значит, наверняка богат; благодаря такой пересадке возможно было обзавестись немалыми средствами. Видно было, что различные мысли Балериона одолевают. Всячески старался он выпытать тайное слово от лжечужеземца, который, впрочем, не очень тому противился и наконец шепнул ему на ухо это слово, а звучало оно так: «Ныртек». Теперь уже видел конструктор, что привел Балериона туда, куда нужно, ибо Балерион, на головоломках помешанный, не желал, чтобы преподнесли их королю, поскольку сейчас сам он королем не был:

уверовал он во все, а следовательно, и в то, что Клапауций имел второй аппарат, да и не было у него причин сомневаться в этом.

Сидели они теперь молча, и видно было, что какой-то план созревает в голове Балериона. Начал он кротко и тихо выспрашивать у мнимого чужеземца, где стоит его корабль, как на него попасть и так далее. Клапауций отвечал, на алчность Балериона рассчитывая, и не ошибся, ибо тот внезапно поднялся, заявил, что должен слова его проверить, и вышел из кабинета, тщательно заперев двери. Услыхал также мнимый чужеземец, что, наученный недавним опытом, поставил Балерион на пост под окном комнаты вооруженного стражника.

Знал, разумеется, Клапауций, что корыстолюбец ни с чем вернется, ибо ни корабля такого, ни сундуков с головоломками, ни заводных девиц и в помине не было. Однако на этом его план и основывался. Едва закрылись двери за королем, подбежал Клапауций к столу, достал из ящика аппарат и поскорее нацепил его на голову, а потом преспокойно стал дожидаться Балериона. В скором времени услыхал он грохот шагов и извергаемые сквозь зубы проклятия, потом заскрежетал ключ в замке, и ввалился в комнату

комендант, с порога еще выкрикивая:

— Мерзавец, где корабль, где сокровища, где головоломки?!

Однако больше он ничего не успел вымолвить, потому что Клапауций, притаившийся за дверью, прыгнул на него, как взбесившийся козел, боднул его в лоб и, прежде чем успел Балерион как следует расположиться в новом теле, Клапауций-комендант во весь голос заорал, вызывая полицейских, и велел заковать короля, тут же в каземат отправить да стеречь хорошенько! Ополоумев от неожиданности, Балерион в новом теле понял наконец, как позорно его провели; уразумев, что все время имел дело с ловким Клапауцием и никакого чужеземца не существовало, разразился в темнице ужасающими ругательствами и тщетными угрозами, — ибо не было уже у него аппарата.

Клапауций же хотя временно и утратил свое хорошо знакомое тело, но зато получил обменник индивидуальности, чего и добивался. Так что облачился он побыстрее в парадный мундир и отправился прямиком во дворец королевский.

Король по-прежнему спал, однако Клапауций в качестве коменданта полиции заявил, что необходимо ему хоть на десять секунд повидать

короля, поскольку речь идет о деле величайшего значения, интересах государства, и такого всякого наговорил, что придворные перепугались и допустили его к спящему. Хорошо зная привычки и причуды Трурля, Клапауций пощекотал ему пятку; Трурль подпрыгнул и немедленно пробудился, ибо щекотки боялся сверх меры. Он быстро пришел в себя и удивленно глядел на незнакомого исполина в полицейском мундире, но тот, склонившись, сунул голову под балдахин кровати и шепнул:

— Трурль, это я, Клапауций, мне пришлось пересесть в полицейского, иначе я не добрался бы до тебя, а к тому же я и аппарат при себе имею…

Рассказал тут Клапауций о своей хитрой проделке, и Трурль, чрезвычайно обрадованный, встал немедля и заявил, что чувствует себя отменно. А когда обрядили его в пурпур, воссел он со скипетром и державой на троне, дабы отдать многочисленные приказания. Велел он поначалу, чтобы привезли ему из больницы его собственное тело с ногой, которую свихнул Балерион на портовой лестнице; когда же сделали это, наказал он лекарям придворным, дабы пострадавшего немедля величайшей заботой и опекой окружили. Посоветовавшись затем с комендантом

полиции, сиречь Клапауцием, решил Трурль действовать во имя восстановления всеобщего равновесия и подлинного порядка.

Нелегко это было совершить, ибо история безмерно запуталась. Однако же конструкторы не имели намерения вернуть все души в прежние их телесные оболочки. Ранее всего, со всей возможной быстротой следовало так учинить, дабы Трурль и телесно стал Трурлем, равно как Клапауций — Клапауцием. Повелел поэтому Трурль привести пред лицо свое скованного Балериона в теле коллеги прямо из каземата полицейского. Совершили тут же первую пересадку, Клапауций снова стал собой, королю в теле экс-коменданта полиции пришлось выслушать немало весьма неприятного, после чего отправился он опять в каземат, на этот раз — королевский; официально же объявили, что впал он в немилость вследствие неспособности к решению ребусов.

Назавтра тело Трурля до такой степени уже выздоровело, что можно было на пересадку отважиться. Одна лишь проблема нерешенной оставалась: неловко все же было покинуть эту страну, вопроса о престолонаследии должным образом не уладив. Ибо о том, чтобы извлечь Балериона из оболочки полицейской и снова

на престол усадить, конструкторы и думать не желали. Решили они поэтому рассказать обо всем тому честному матросу, который в теле трурлевом обретался, взяв с него великую клятву, что сохранит он молчание. Увидев же, как много содержится разума в этой простой душе матросской, сочли они его достойным властвовать, и после пересадки Трурль стал самим собой, матрос же — королем.

Еще ранее повелел Трурль доставить во дворец большие часы с кукушкой, каковые заприметил в антикварном магазине поблизости, когда бродил по городу. И пересадили разум короля Балериона в тело кукушечье, а кукушкин разум — в тело полицейского; тем самым восторжествовала справедливость, ибо королю с той поры пришлось добросовестно трудиться и аккуратным кукованьем, к которому принуждали его в соответствующее время уколы часовых шестеренок, весь остаток жизни искупать, вися на стене тронного зала, безрассудные свои забавы и покушение на здравие конструкторов. Комендант же вернулся на свою прежнюю работу и отлично с ней справлялся, ибо кукушечьего разума оказалось для этого вполне достаточно.

Когда все совершилось, друзья, попрощавшись

поскорее с венценосным матросом, взяли пожитки свои на постоялом дворе и, стряхнув с башмаков прах этого не слишком гостеприимного королевства, двинулись в обратный путь.

Присовокупить следует, что последним деянием Трурля в теле королевском было посещение дворцовой сокровищницы, откуда забрал он коронную драгоценность рода Кимберского, поскольку награда эта по справедливости ему полагалась, как изобретателю неоценимого укрытия.

## Путешествие пятое А, или Консультация Трурля

Неподалеку, под белым солнцем, за зеленой звездой жили сталеглазые, жили счастливо, радовались, трудились, ничего не страшились: ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, ни черных дней, ни белых ночей, ни материи, ни антиматерии, потому что была у них машина машин, вся изукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная; жили они в ней, и на ней, и под ней, и над ней, ибо, кроме нее, не имели ничего: сперва атомы скопили, потом из них машину слепили, а если какой атом не подходил, то в переделку угодил — и все шло хорошо. Каждый сталеглазый имел свое гнездышко и контактик, и каждый делал свое — то есть что хотел. Ни они машиной не правили, ни она ими, а так просто — помогали друг другу. Одни были машиноведами, другие машинистами, а были еще и машинали, и каждый имел собственную машинистку. Работа у них кипела, иной раз хотелось им, чтобы стемнело, а иной раз — чтобы солнце горело, либо чтоб

затемнение его одолело, только не часто, чтоб не надоело.

И прилетела однажды к белому солнцу за зеленой звездой комета-ракета, женского рода, злющая по природе, вся атомная, куда ни глянь — там голова, там хвост в четыре ряда, страх смотреть, до чего синяя: синильная кислота тому причиною. Вонь кругом пошла страшная. Прилетела она и говорит: «Поначалу, мол, испепелю я вас огнем, а там посмотрим».

Поглядели на нее сталеглазые — полнеба заслонила, сапоги огневые нацепила, нейтроны, мезоны, жар пышет, как из домны, каждый атом — что дом, один другого больше, гравитация, нейтрино — такая вот картина. Говорят они ей: «Ошиблась ты, мы ведь сталеглазые, ничего не боимся — ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, ни черных дней, ни белых ночей, потому что есть у нас машина машин, вся разукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная; так что иди-ка ты восвояси, комета разлюбезная, а то плохо тебе будет».

А она уже все небо заполонила, жарит, шпарит, рычит, шипит, даже месяц их съежился, и оба рога у него обуглились, и хоть он уже и

старенький, и маленький, и потрескался, все же его жаль. Так что сталеглазые больше ничего не сказали, а только очень сильное поле взяли да месяцу на каждый рог в узелке привязали, а потом включили контакты: пускай за нас говорят факты. Бахнуло, трахнуло, загремело, небо сразу посветлело, от кометы куча шлаку осталась — и тихо стало.

Немного времени миновало — и снова что-то появляется, летит, а неизвестно что, но только до того страшное, что и не знаешь, как смотреть, — с какой стороны ни глянь, одна другой ужасней. Прилетело, разошлось, сошлось, село на самой верхушке, тяжелое как невесть что, сидит — и ни с места. А уж мешает — больше некуда.

Ну вот, те, кто поближе, говорят: «Эй, ты, это ошибка, мы сталеглазые, не боимся ничего, живем не на планете, а в машине, а машина эта не простая, машина машин, вся разукрашенная, отлично налаженная, зубчатая, кристальная и со всех точек зрения идеальная, так что убирайся, паскуда, а то будет тебе худо».

А ОНО хоть бы хны.

Чтобы по пустякам особого шума не подымать, послали сталеглазые небольшую, совсем даже маленькую машину-страшину: пойдет, мол, на-

пугает ЭТО — и все будет в порядке.

Машина-страшина идет себе, идет, только программы в нутре у нее урчат, одна другой страшнее. Подошла — и как загрембелит, как зашебелит! Сама даже струхнула малость, а ОНО — хоть бы хны. Попыталась еще раз, на другой фазе, но уже не получилось — без уверенности страшила.

Видят сталеглазые, что по-другому надо. Говорят: «Возьмем калибр побольше, с шестернями на масле, дифференциальный, универсальный, со всех сторон сопряженный и чтобы пинки давал, да покрепче. А этого хватит? Будь спокоен: он на ядерной энергии построен».

Послали, значит, они механизм универсальный, двуствольно-дифференциальный, с глухим хрипением, ибо с обратным сопряжением; внутри него машинист с машинисткой сидят, но и этого еще мало — на всякий случай наверху стоит еще машина-страшина. Подъехали, да на масляных шестернях, так что тихо, ни гу-гу; замахнулась машина и считает: три мгновенья до уничтоженья, два мгновенья до уничтоженья, одно мгновенье, сейчас будет уничтоженье, вот и пункт нулевой, и покончено с тобой!

Как бахнет — и пошли грибы вырастать, все

съедобные, не поганки, но светятся от радиоактивности; масло разбрызгалось, шестерни повылетали, смотрят машинист с машинисткой сквозь люк, кончилось ли уже; но где там — ЕГО и не поцарапало.

Посовещались сталеглазые и сделали машину, которая сделала машинушку, которая сделала такую машинищу, что ближайшим звездам пришлось слегка отодвинуться. А в этой машинище та, у которой шестерни на масле, а в самой середке машинка-страшинка, потому что уже не до шуток.

Собралась с силами машинища и как размахнется! Грохнуло, загремело, что-то там полетело, гриб такой вырос, что на суп из океана хватит, темно и зубы скрежещут, и до того темно, что даже неизвестно чьи. Смотрят сталеглазые — ничего, ну ничегошеньки, только все три машины лежат врассыпную и не шевелятся.

Уж тут-то они рукава засучили! «Что ж это, — говорят, — мы ведь машиноведы и машинисты, есть у нас машинистки и машина машин, разукрашенная, налаженная, абсолютно идеальная, как же может устоять против нее какая-то дрянь, которая сидит себе и ни с места!»

И ничего уж другого не делают, только растят

травинку-кулевринку: подползет она к врагу, притаившись, ни гу-гу, глянет ему под устье, корешок запустит, врастет снизу потихоньку-полегоньку, а потом как даст духу, так и беде конец. И вправду все пошло точно так, как предвидели, только вот с концом ничего не вышло, и осталось по-прежнему.

Пришли в отчаянье сталеглазые и прямо не знают, что же это такое, ведь никогда с ними такой беды не случалось. Мобилизуются они, совещаются, делают всякие приманки да ловушки, арканы да капканы; пробуют и этак, и так, потому что не знают — как. Все кругом прямо трясется, а ничего не удается.

Совсем уж они ослабели, не знают, как спастись, и тут видят — кто-то к ним подлетает: сидит будто на коне, но у коня-то колес нет; может, это велосипед, но у велосипеда носа нет; значит, вроде ракета, но у ракеты седла нету. Неизвестно, что летит, но известно, кто в седле сидит; сидит не качается, приветливо улыбается, вот он приближается, вот и снижается — это сам Трурль, конструктор, не то гуляет, не то в экспедицию отправляется; издалека видно, что не кто-нибудь летит.

Приблизился он, снизился, рассказывают ему

сталеглазые, что да как: «Мы, мол, сталеглазые, имеем машину машин, изукрашенную, налаженную, зубчатую, кристальную, абсолютно идеальную, мы атомы скопили и сами всю ее слепили, ничего не боимся, ни семейных раздоров, ни смелых разговоров, а тут вот прилетело что-то, село, сидит — и ни с места».

— А напугать пробовали? — благосклонно спрашивает Трурль.

— Пробовали мы и машинкой-страшинкой, и машиной-страшиной, и машинищей, которая как двинется на своих нейтрино, так все на свете опрокинет, и мезоны, и волны — все расшвыряет, но и это ничуть не помогает.

— Никакая машина, говорите?

— Никакая, милостивец.

— Гм, любопытно. А что это, собственно?

— Вот этого-то мы и не знаем. Появилось, прилетело, а неизвестно что, но только до того страшное, что и не знаешь, как смотреть — с какой стороны ни глянь, одна другой ужасней. Прилетело, село, тяжелое, как невесть что, сидит — и ни с места. А уж мешает — дальше некуда.

— Вообще-то говоря, я очень занят, — говорит Трурль, — самое большее, смогу я побыть тут у вас некоторое время консультантом. Хотите?

Сталеглазые, конечно, хотят, и тут же спрашивают, что надо принести — фотоны, патроны, станки, молотки? А может, лучше пушки или динамит? А может, вам чаю заварить? Машинистка мигом это сделает.

— Чаю машинистка пусть принесет, — соглашается Трурль, — но с деловыми намерениями. Ну, а что касается остального, то, пожалуй, не нужно. Если, заметьте, ни машина-страшина, ни машинища, ни травинка-кулевринка не помогают, нужен здесь метод дистанционный, архивный, а потому ужасно противный. Я еще не слыхал, чтобы это не помогало, если полностью его осуществить.

— Как же это? — спрашивают сталеглазые.

Но Трурль, ничего не объясняя, продолжает:

— Метод этот совсем прост; Нужно только принести бумаги, чернил, штемпеля, круглую печать, сургучу, сколько захочу, скрепок и кнопок, блюдечко и ложечку — потому что чай уже принесли, — и почтальона. И чтоб было чем писать — есть у вас?

— Найдется! — и мигом тащат.

Трурль садится и диктует машинистке: «В связи с Вашим делом за номером 2, дробь 55, дробь 405, Комиссия ВЗРТСП извещает, что Ваша задержка,

как противоречащая параграфу 199 постановления от 19.XVII текущего года, представляя собою ментальный эпсод, приводит к прекращению поставок, а также к десомации в соответствии с Указом 67 ДВКФ *N1478 дробь 2*. Данное решение Вы вправе обжаловать в срочном порядке, обратившись в течение двадцати семи часов к Председателю Комиссии».

Трурль поставил штемпель, приложил печать, велел зарегистрировать это в Главной Книге и говорит:

— Пускай теперь почтальон отнесет это.

Отправился почтальон, нет его да нет, наконец возвращается.

— Вручил? — спрашивает Трурль.

— Вручил.

— А где расписка в получении?

— Вот она. А вот и обжалование.

Берет Трурль обжалование и, вовсе его не читая, наискось через весь лист пишет: «Не рассмотрено в связи с отсутствием необходимых приложений». Подписывается неразборчиво и велит почтальону отнести его обратно.

— А теперь, — говорит, — за дело.

Садится и пишет, а сталеглазые, любопытствуя, смотрят, ничего не понимают и спрашивают, что

это такое и что из этого получится?

— Это исполнение служебных обязанностей, — говорит Трурль. — А получится то, что надо, раз уж началось.

Почтальон носится как угорелый туда и обратно, Трурль то аннулирует ответы, то высылает резолюции, машинистка все стучит, и уж понемногу возникает вокруг целая канцелярия; дыроколы да протоколы, формуляры да циркуляры, папки да скрепки, чернила, клей, паутина, нарукавники из черного сатина, бумагами целый шкаф набит, табличка «Вход воспрещен» висит, машинка тарахтит, не смолкает, работы все прибывает, и кругом полно чаю да мусору.

Горюют сталеглазые, никто ничего не понимает, а Трурль бумагу за бумагой высылает, то с марками, то доплатные, то самые сильные — с уведомлением о вручении, шлет предписания, напоминания, извещения, уточнения, приказы, да не по одному разу, есть уже отдельный счет в банке, там одни нули, но это, говорит Трурль, до поры до времени.

Через некоторое время становится видно, что ОНО уже не такое страшное, особенно сверху: определенно уменьшилось! Ну да, правда, меньше стало! И спрашивают сталеглазые Трурля, что

же дальше?

— Не мешайте при исполнении служебных обязанностей! — отвечает он.

А сам печати ставит, поступления контролирует, приложения регистрирует, шлет приказов ворох без всяких разговоров, жилетка нараспашку, жидкого чаю чашка, куда ни глянь — паутины нити, кто там следующий — входите, галстук в стол запрятан, кругом беспорядок, вот новые поступления, сорок четыре, и при всех приложения, нужны четыре новых шкафа, а там кому-то взятку дали, кого-то бюрократом обозвали, заседание перенесено с пятницы на субботу и целых семь печатей — разберись, кому охота.

А машинистка выстукивает: «В связи с непредставлением Вами разрешений согласно постановлению Ком. Изд. Действ. Зак. с сего дня предписывается Вам безотлагательно сокращ. в порядке взыск. в полож. ср. на основе Тр.Ам.Тар.Арам, опираясь на приговор инстанции Д.Д.Д. Данное решение не подлежит обжалованию».

Посылает Трурль почтальона, а книжку с квитанциями в карман сует. Потом встает и начинает выбрасывать в космос столы, стулья, папки, скрепки, чай и даже печати. Остается только машинистка.

— Да что же вы делаете! — кричат сталеглазые, которые уже вполне с этими вещами освоились. — Как же нам без этого?

— Не надо преувеличивать, дорогие мои, — отвечает он. — Вы лучше поглядите-ка!

И вправду, они так и ахнули — пусто, чисто, никого нет, словно и не было. И куда ОНО девалось, где затерялось? Бежит постыдно, и такое малюсенькое сделалось — хоть в лупу рассматривай. Сталеглазые с ног сбились, следов ищут, а нашли только одно чуть мокрое местечко — что-то там накапало, неизвестно, при каких обстоятельствах, а больше ничего нет.

— Именно так я и думал, — говорит им Трурль. — Было это, мои милые, дело довольно простое: как ОНО приняло первую бумагу и расписалось в книге, так уж и влипло. Я применил особую машину, через большое Б; потому что с тех пор, как существует космос, никто с ней еще не справился!

— Ну хорошо, но зачем же было выбрасывать папки и выливать чай? — спрашивают они.

— Чтобы эта машина и вас потом не съела! — отвечает Трурль.

Забирает он с собой машинистку и улетает, благосклонно им кивая, а улыбка его прямо как

звезда сияет.

## Путешествие шестое, или Как Трурль и Клапауций Демона Второго Рода создали, дабы разбойника Мордона одолеть

«От народов же Солнц Больших два идут на юг пути караванных. Первый, древний, от Четырехзвездия к Ворозаврону ведет, звезде неверной, с переменным блеском, коя, пламень свой пригасив, Карлу Абассидов уподобляется, прельщенные тем пускаются часто караваны в Пустыню Кромешную, и лишь один из девяти без ущерба из нее выходит. Другой тракт, новый, открыла Империя Мирапудов, когда ее рабы-ракетчики пробили тоннель в шесть миллиардов прамиль длиною сквозь самого Ворозаврона Белого.

Северный вход в тоннель находить так надлежит: от последнего из Солнц Больших держать курс прямо на Полюс, пока семь молитв электронных не кончатся. Потом повернуть налево, малым галсом, допреж стена пламенная не явится, то и будет бок Ворозаврона, а на нем отверстие тоннеля увидится, как черная точка на белых пламенах. Оттуда — напрямик вниз, опасений не питая, ибо шесть судов борт о борт тоннелем

идти могут; нет также вида, равного тому, что явится в судовых иллюминаторах. Наперед Огнепад Жаросеков, а далее уж по погоде; коль нутро светила бурями магнитными шевелится, что в миллиарде миль либо в двух от тех мест перекатываются, видны огромные узлы огня и жилы его раскаленные со сгустками белопламенными, коли ж близится буря иль Седьмой Ступени Тайфун, сотрясается твердь, будто белая опара пламени вниз устремляется, однако то лишь видимость, ибо падает, но не упадает, и горит, но не сгорает, в отдалении подпорами Сильных Полей удерживаемое. Видя, как набухает Мякоть Протуберанцевая, а гейзеры-молниебойцы, Гееннами прозванные, ярятся и близятся, посильней надлежит ухватить кормило, ибо величайшая надобна тут сноровка кормчая, и не на карту, а в нутро светила смотреть должно, понеже никто не прошел того пути дважды единым способом. Колотой раной вьется в Ворозавроне тоннель, корчится и дрожит, как змей под ударами, а потому очи держать широко отверстыми должно, не расставаться со льдом-спасителем, что по гребню шлемов сосульками прозрачными отекает, и со вниманием наблюдать за мчащимися навстречу стенами пожаров, усеянных языками гудящими,

а услышав, как трещит панцирь корабельный, пламенем бичуемый и угольями солнечными осыпаемый, кроме собственной прозорливости, ни на что не уповать. Однако ж и то надо помнить, что не всякое огня шевеленье и не всякое тоннеля сужение, ниже обвал белый океанов угольевых, о звездотрясении свидетельствуют. Взяв себе то на замету, навигатор умудренный не станет попусту «к насосам» взывать, дабы не пришлось от умудреннейших к посрамлению услышать, что капелькою аммиака охладительного хочет он вековечный пламень светила погасить. Вопрошающему же, как быть, когда подлинное звездотрясение на корабль обрушится, каждый бывалый пустотник без промедленья ответит, что в таковом случае вздохнуть достаточно, на другие приготовленья предсмертные часу не станет, очи притом можно держать отверстыми либо сомкнутыми, по желанию, понеже пламень их и так растопит. Все ж такое бедствие — вещь наиредчайшая, ибо скобы скобчатые, Империками Мирапудовыми поставленные, хорошо твердь удерживают, и совсем благодарной езда внутризвездная представляется промеж гибко блистающих зерцал водорода Ворозавронового. Не без причин же говорят, «кто в тоннель во-

шел, быстро из него выйдет», чего не скажешь о Пустыне Кромешной. Когда ж раз в столетье тоннель звездотрясеньем попорчен бывает, иного пути, как сквозь оную, у кормчего нет. Как название само указует, Пустыня та чернее ночи, ибо свет звезд окрестных на нее вступать не отваживается. Толкутся в ней, как в ступе, с ужасным грохотом листов железных обломки кораблей, стараньем предательского Ворозаврона с пути сведенные и в завертях бездонных лопнувшие, и вращаться так до последнего оборота Галактики будут, гравитацией жестоко плененные. К востоку от Пустыни Кромешной лежит царство Скользкожвалых, к западу — Окоруких, а на юг ведут пути, полями смертными густо усеянные, к легчайшей голубой сфере Лазуреи, далее ж — к Мургунду Пламеннолистому, где архипелаг алеет из звезд безжелезных, нареченный Колымагой Алькарона. Сама Пустыня, как сказано, столь черноты исполнена, сколь пассаж внутризвездный Ворозаврона — белости. Не от завертей единых там беда, не от пыли, потоками с высот приносимой, и метеоров обезумевших, ибо толкуют иные, что в стране неведомой, в местности угрюмой, на глубине непостижимой, с времен незапамятных некая чудь сидит, а может и нечудь,

Неведомцем званая, поелику тот, кто познает имя его подлинное, с Неведомцем встретившись, ничего уж свету не поведает, ибо света впредь не увидит. Сказывают, что Неведомец тот — чародей-разбойник, живет он в своем замке, в черной гравитации вознесенном, что рвом тому замку служит вечная буря, стенами — пустота, в небытии своем совершенная, окна замка — слепы, а двери его — глухи; подстерегает Неведомец караваны, а когда гонит его алчба к золоту и скелетам, выдыхает он черный прах в щиты солнц, путь указующих, а погасив их и сведя путников с пути безопасного, тут же, вьюном вертясь, из небытия выпрыгивает, тесными кольцами окружает и в пустоту замка своего уносит, бережливо стараясь самомалейшей застежки рубиновой не обронить — столь он в своей ужасности аккуратен. Потом лишь обглоданные останки выплывают ниоткуда и кружат по Пустыне, а вслед за ними еще долго летят корабельные заклепки, будто косточки, выплюнутые из пасти Неведомца-чудовища. С той поры, однако, как невольничьим трудом мириадов рабов-ракетчиков тоннель ворозавронский открыт и судовожденье по тому светлейшему руслу поведено, обезумел Неведомей, добычи лишенный, и заревом лютости своей

столь мрак Пустыни озаряет, что тело Неведомца просвечивает сквозь черную пелену гравитации, точно костяк личинки, в коконе своем могильно и фосфорично во прах обращающейся. Иные ж мудрецы рекут, будто вовсе нет Неведомца и никогда не бывало; хорошо же им свое утверждать и нетрудно, но гораздо труднее в боренье вступать с вещами, коих и слово не имет, в летней тиши, вдали от Мрака и Жара рожденное. Легко им в чудовище не верить, трудней одолеть его и алчности его мерзкой избегнуть. Не поглотил он неужто самого Кибернатора Мургундского со свитой осьмидесятной на трех судах, причем от вельмож этих и остались-то лишь пряжки обглоданные, кои жители селений Малой Солярии нашли на их берег прибоем туманностным выброшенные? Не пожрал он неужто иных мужей неисчислимых без жалости и милосердия? Да воздаст же хоть тихая память электронная почесть им, без могилы канувшим, коль не найдется храбрец, кто б зломучителю по-рыцарски отметил, старым обычаям звездопроходцев следуя».

Все это вычитал Трурль однажды в пожелтевшей от времени книге, купленной по случаю у какого-то торговца; без промедленья отнес ее Клапауцию и еще раз, уже вслух, небылицы эти

ему прочитал от начала и до конца, столь сильно они ему понравились.

Клапауций — конструктор, мудрости исполненный, в космосе сведущий, в обращенья с солнцами и туманностями всех мастей понаторевший, — только усмехнулся, кивнул головой и сказал:

— Надеюсь, ты ни единому слову этой сказочки не веришь?

— Отчего бы это мне не верить? — обрушился на него Трурль. — Посмотри, тут есть даже искусная гравюра, изображающая, как Неведомей пожирает два солнечных парусника, а добычу в подземелья прячет. Впрочем, разве же нет на самом деле тоннеля в сверхгиганте, правда в другом, в Бет-эль-Гейзском? Ты не такой уж невежда в космографии, чтобы подвергнуть это сомнению.

— Что до гравюр, то могу я тебе немедля нарисовать дракона с зеницами в тысячу солнц каждая, если рисунок ты считаешь доказательством истинности, — ответил на это Клапауций. — Если же говорить о тоннеле, то, во-первых, протяженность его лишь два миллиона миль, а не какие-то там миллиарды, а во-вторых, навигация в нем не представляет ни малейшей опасности, о чем

ты великолепно осведомлен, ибо сам по нему ходил. Что же касается так называемой Пустыни Кромешной, то на самом деле это просто скопище космического мусора шириной в десять килопарсеков, кружащееся между Меридией и Тетрархидией, а не около каких-то там огнеглавцев или Ворозавронов, которых вообще не существует; и еще правда, что там темно, однако попросту от скопления грязи. Никакого Неведомца там, разумеется, нет! Это даже не добропорядочный стародавний миф, а просто-напросто дешевая байка, произросшая в чьей-то глупой башке!

Трурль сжал губы.

— Оставим тоннель, — сказал он. — Ты считаешь его безопасным, потому что по нему ходил я; если б это был ты, то слышалось бы всем другое. Ну да ладно, оставим тоннель в покое. Что касается Пустыни и Неведомца, то убеждать словесными аргументами не в моем вкусе. Нужно туда поехать и посмотреть, что из сказанного здесь, — тут он поднял со стола толстенную книгу, — правда, а что — нет!

Клапауций начал отговаривать Трурля от этого намерения, как мог, когда ж убедился, что тот со своим неизменным упрямством и не помышляет об отказе от столь своеобразно задуманного

путешествия, заявил сначала, что не желает его больше в глаза видеть, однако вскоре стал и сам собираться в путь, не хотел он позволить другу погибать в одиночку — вдвоем как-то веселее смотреть смерти в глаза.

Нагрузив корабль всякой всячиной, поскольку путь их лежал через места пустынные (хотя и не столь уж живописные, как рассказывалось в книге), друзья отправились в путешествие на испытанном своем корабле; в полете они делали то тут, то там остановки, стремясь разведать, что и как, особенно когда вышли из области, о которой имели подробные сведения. Однако от местных жителей можно было узнать лишь немногое — они толковали дельно лишь о своей округе, а о том, что находилось или происходило там, где они сами никогда не бывали, плели явные несуразицы, расписывая со вкусом леденящие смазку подробности. Клапауций называл такие повести коррозийными, имея в виду тот самый склероз-коррозию, который столь часто поражает старческий разум.

Все же, когда они приблизились миллионов на пять-шесть огненных выдохов к Черной Пустыне, до них дошли слухи о каком-то великане-насильнике, звавшемся Разбойником Диплоем, причем

никто из повествующих сам разбойника никогда не видел и не имел понятия, что должно значить странное слово «Диплой», которым существо это определяли. Трурль допускал, что это искаженный термин «Диполь» и что он свидетельствует о полярной и вместе с тем противоречивой, двойственной природе разбойника, однако более трезвый Клапауций предпочел от гипотез воздержаться. Разбойник — гласили слухи — был очень жесток и легко приходил в ярость: полностью обобрав свою жертву и все еще не удовлетворив свою чудовищную алчбу, ибо любая добыча казалась ему недостаточной, он очень долго и мучительно бил пленника перед тем, как отпустить на волю. Конструкторы минуту взвешивали, не обзавестись ли оружием, холодным и огнестрельным, пока они еще не пересекли границу Черной Пустыни, но под конец наилучшим оружием сочли собственный разум, в конструкторском искусстве отточенный, дальновидный и универсальный, и двинулись дальше как есть.

Должно признать, что во время дальнейшего путешествия Трурль переживал горчайшие разочарования, ведь и звездороссыпи звездные, и пламена пламенистые, и пустыни пустынные, и блуждающие рифы, и скалы метеорные гораз-

до красивей были описаны в старой книге, чем представлялись в натуре глазу путешественника. Звезды в этой местности встречались редко, к тому ж из себя невидные и очень старые; одни едва помигивали, будто угольки, дотлевающие в пепле, другие снаружи совсем потемнели, и лишь сквозь трещины в шлаковой скорлупе, покрытой неряшливыми морщинами, просвечивали у них красные жилки; никаких пламенных джунглей или таинственных завертей тут и в помине не было, и никто, можно дать клятву, о них даже не слыхивал, ибо весь пустырь тем именно и отличался, что в своей пустоте нудным был до последней нуди — и все тут; что ж до метеоритов, то сыпались они словно мак, однако средь этого сброда трещоточного больше летело мусора, чем добропорядочных магнетитов магнетичных или тектитов тектоничных; а виной всему — галактический полюс, до него отсюда было рукой подать, и вращение темных потоков стягивало именно сюда, к югу, несметные рои остатков и отбросив из центральных областей Галактики. Вот почему племена и народы, живущие по соседству, называли эту область не какой-нибудь там Пустыней Кромешной, а попросту Мусорницей.

Так-то вот Трурль, по возможности скрывая

от Клапауция свое разочарование, чтоб не дать ему повода к злорадству, направил корабль в Пустыню, — и тут же по панцирю корабля заколотил песок, а всевозможные нечистоты звездные, выброшенные из светил протуберанцами, стали оседать такой грубой коростой на фюзеляже, что сама мысль о предстоящей чистке полностью отбивала охоту что-либо делать и особенно — путешествовать.

Звезды давно исчезли в общем сумраке, и путешественники летели как бы на ощупь, но вдруг корабль швырнуло, вся утварь — горшки и приборы — загремела, и друзья почувствовали, как все быстрей и быстрей куда-то падают; наконец раздался ужасающий грохот, и корабль, севший достаточно мягко, застыл без движения, словно вонзился носом во что-то неподвижное. Путешественники бросились к окнам, однако снаружи царила полная тьма — хоть глаз коли; и тотчас послышались удары, словно кто-то невидимый, но наделенный ужасающей силой, пытался проникнуть внутрь, вызывая содрогание переборок. Лишь теперь друзья стали испытывать меньшее доверие к разумной своей безоружности, однако сожалеть об упущенном бесполезно, и поэтому они, опасаясь, как бы люк силой не повредили,

сами открыли его изнутри.

Смотрят — а в отверстие кто-то морду просовывает, однако о том, чтобы самому вслед за ней войти, и речи нет, столь она огромная; морда эта, несказанно противная, глазищами сверху донизу, вдоль и поперек усаженная, и торчит на нем как бы нос-пила, и челюсти у нее — не челюсти, стальные и крючковатые; не движется морда, плотно во фрамугу вошедшая, лишь глаза ее воровски во все стороны бегают, каждая их группка свою часть пространства осматривает, а выраженье у них такое, словно оценивают, хорошо ли все это оплатится; кто-нибудь и поглупей конструкторов понял бы, что означает это очень уж выразительное высматривание.

— Чего тебе? — спрашивает наконец Трурль, разгневанный этим бесстыдным глазеньем, происходящим в полном молчании.

— Чего хочешь, морда престранная?! Я — сам конструктор Трурль, универсальный всемогутор, а это — мой друг Клапауций, тоже прославленная знаменитость; летели мы на нашем корабле как туристы, прошу поэтому без задержки убрать отсюда физиономию и вывести нас из этого подозрительного места, заведомо полного нечистот, и направить в добропорядочный чистый вакуум, в

противном же случае мы подадим жалобу и тебя развинтят по винтику, ты, мусорщик, слышишь, что я говорю?!

Однако тот в ответ — ничего, лишь по-прежнему глазеет и что-то прикидывает. Вычисления ведет, что ли?

— Слушай-ка, ты, раскоряка! — восклицает Трурль, ни с чем уж не считаясь, хоть Клапауций подталкивает его, дабы он пыл свой умерил. — Нет у нас ни золота, ни серебра, и никаких иных драгоценностей, выпусти поэтому нас отсюда немедля, а прежде всего забери эту мордищу свою, ведь она несказуемо противная. А ты, — обратился он к Клапауцию, — не подталкивай, у меня и свой разум есть и уж я-то знаю, как и с кем разговаривать надо!

— Мне потребно, — отвечает вдруг морда, поглядев тысячью огненных глаз на Трурля, — не золото единое, или серебро, а обращаться ко мне надлежит с уважением и с деликатностью, потому что я разбойник с дипломом и с образованием, а по натуре — очень нервный. И почище вас попадались мне; я бывало ими с сахарком закусывал, как того пожелаю. А когда я вас в расклеп пущу, из вас также весь сиропчик повытечет. Зовусь я Мордон, крест-накрест во мне по тридцать

аршин, и фактически я граблю драгоценности, но способом научным и современным, то есть отбираю бесценные тайны, сокровища знанья, доподлинные истины и вообще всю ценную информацию. А теперь валяй, подавай ее сюда, если не дашь, то как свистну! Считаю до пяти: раз, два, три…

Он досчитал до пяти и, не получив ничего, в самом деле свистнул, да так пронзительно, что у друзей едва не отвалились уши, а Клапауций понял, что «Диплой», упоминаемый с трепетом местными жителями, был, собственно, дипломом, полученным, видимо, в какой-то Академии Бандитизма. Трурль даже схватился руками за голову, ведь голос у Мордона был под стать росту.

— Ничего тебе не дадим! — завопил он, а Клапауций тут же побежал за ватой. — Убирай немедля морду!

— Если уберу морду, так просуну руку, — ответил на это Мордон, — а рука у меня саженная, клещистая и тяжелая, упаси господь! Берегись — начинаю!

И действительно, вата, принесенная Клапауцием, оказалась теперь ненужной: морда исчезла, а появилась лапища, суковатая, стальная, неухоженная и лопатисто-костистая, и стала рыться

в вещах, ломая столы, и шкафы, и переборки с такой силой, что даже обшивка заскрежетала. Трурль и Клапауций укрылись от лапищи в атомном котле, а если какой палец и приближался, так они его сверху — бац! бац! — кочергой. Разгневался наконец разбойник с дипломом, вновь морду во фрамугу вставил и говорит:

— По добру вам советую переговоры со мной вести сразу же, а не согласитесь, так я вас упрячу до будущих времен на самое дно моего погреба с припасами и мусором сверху прикрою, и камнями притисну, вы и не шевельнетесь, а ржавчина проест вас до дыр; еще и не с такими, как вы, я справлялся; так выбирайте же из двух зол меньшее.

Трурль даже думать не хотел о ведении переговоров, Клапауций же, склонный к этому, спросил, чего, собственно, дипломированная особа желает?

— Такой разговорчик мне нравится, — ответил Мордон. — Я собираю сокровища науки, такое уж у меня увлечение в жизни, проистекающее из высшего образования и практического проникновения в сущность вещей, усугубленного тем, что за обычные сокровища, которых алчут разбойники-простаки, ничего нельзя ныне купить, наука

же насыщает голод познания, ведь, как известно, все сущее есть информация, по этой причине собираю я ее испокон веку и впредь собирать буду; правда, я не прочь прибрать к рукам и золотишко или драгоценности, они приятны, тешат глаз и их можно к убранству приспособить, однако все это лишь наряду с наукой, если случай подвернется. Подчеркну особо, что за ложные истины я бью, как и за фальшивые драгоценности, поскольку я — натура утонченная и жажду аутентичности!

— Так какой же аутентичной и драгоценной информации ты желаешь? — спросил его Клапауций.

— Любой, лишь бы правдивой, — ответил на это Мордон. — Любая может пригодиться в жизни. Закрома мои и лабазы уже полнехоньки, однако в них еще столько же поместится. Выкладывайте все, что знаете и умеете, а я запишу. Только быстро!

— Хорошенькая история, — шепнул Клапауций на ухо Трурлю, — он может продержать нас у себя целый век, пока мы не расскажем ему все, что сами знаем, ведь мудрость-то наша беспредельна!

— Подожди, — ответил на это Трурль, — теперь переговоры с ним буду вести я. — И громко добавил:

— Слушай-ка, ты, дипломированный разбойник, что касается золота, то мы обладаем информацией, стоящей всякой другой, это рецепт, как делать золото из атомов; скажем, для начала, из атомов водорода, их в космосе — несметное множество, хочешь этот рецепт — сговоримся, только потом ты нас сразу отпустишь.

— Таких рецептов у меня уже целый сундук, — гневно выпучив глаза, ответила морда. — И все никудышные, Нет, меня теперь не надуешь — рецепт нужно сначала опробовать.

— Почему бы и нет? Можно. Есть у тебя горшок?

— Нет.

— Ничего, обойдемся и без горшка, если действовать попроворней, — ответил на это Трурль. — Рецепт очень простой: возьми столько атомов водорода, сколько весит атом золота, то есть восемьдесят семь; соскобли сперва с них электроны, потом замеси протоны, сделай ядерное тесто и меси его, пока не выступят мезоны, а тогда уж аккуратненько выложи вокруг электронами. Тут-то и получишь чистое золото. Смотри!

Принялся Трурль ловить атомы, соскабливать с них электроны, месить протоны, так что лишь пальцы мелькали, приготовил протонное тесто,

выложил вокруг него электроны и — за следующий атом; не прошло и пяти минут, как держал он в руках брусочек чистого золота: подал его морде, она же, на зуб брусочек попробовав и головой кивнув, сказала:

— И в самом деле золото, только я не могу так за атомами гоняться. Слишком я большой.

— Ничего, мы дадим тебе особый аппаратик! — донимал его Трурль. — Подумай, этим способом можно все превратить в золото, не только водород, мы дадим тебе рецепты и с другими атомами, весь космос можно золотым сделать, если над этим покорпеть!

— Если б весь космос был из золота, оно утратило бы всякую ценность, — ответил на это практичный Мордон. — Нет, ваш рецепт мне не годится; я, конечно, его записал, но этого мало! Жажду сокровищ науки.

— Какого же ты черта знать хочешь?!

— Все!

Трурль посмотрел на Клапауция, Клапауций на Трурля, и этот последний сказал:

— Если ты клятвой торжественной поклянешься и присягой присягнешь отпустить нас после этого без промедленья, то дадим мы тебе информацию о всеинформации, то есть сделаем тебе

собственноручно Демона Второго Рода. Демон этот магичен, термодинамичен, неклассичен и статистичен, и станет он из старого бочонка или из чиханья экстрагировать и доставлять тебе информацию обо всем, что было, что есть, что может быть и что будет. И нет демона превыше этого Демона, ибо он — Второго Рода. Так отвечай же сразу, хочешь ли его иметь!

Дипломированный разбойник из подозрительности не сразу выразил согласие, но в конце концов все же дал клятву, с оговоркой, что предварительно должен возникнуть Демон и продемонстрировать свою всеинформационную мощь. Трурль согласился с этим.

— Послушай-ка, широкомордый! — сказал он. — Есть у тебя тут где-нибудь воздух? Без воздуха Демон работать не может.

— Вроде бы есть немного, — ответил на это Мордон, — не вполне чистого, поскольку он застоялся…

— Неважно, пусть будет даже затхлый — не имеет значения, — сказали конструкторы. — Веди нас туда, где этот воздух, и мы все тебе покажем.

Разбойник выпустил их из корабля, отодвинув морду, и повел к себе — ноги его были подобны башням, спина — обрыву, а сам он, испокон веку

немытый и несмазанный, скрежетал на ходу невыносимо.

Конструкторы вошли вслед за Мордоном в коридоры подземелья, по дороге попадалось много истлевших мешков; корыстолюбец хранил в них награбленную информацию — пучками и пачками уложенную, шпагатиком перевязанную, а самую важную, самую ценную так даже красным карандашиком помеченную. А на стене подвала висел огромный каталог, ржавой цепью к скале прикованный, в нем же — разделы всякие, в самом начале с буквы А начинающиеся. Посмотрел Трурль и пошел дальше — эхо глухое ему вторило; кривятся они с Клапауцием, хоть полно тут награбленной информации аутентичной и ценной, однако всюду, куда взор ни кинешь, одни лишь пещеры — мусорные карьеры и подвалы — мусорные отвалы. Воздуха всюду полно, но совсем уж затхлого. Наконец все трое остановились и Трурль сказал:

— Смотри! Воздух состоит из атомов, причем атомы эти скачут во все стороны и сталкиваются друг с другом миллиарды раз в секунду в каждом кубическом микромиллиметре, на том, собственно, и основан газ, что они вечно так прыгают и лбами сталкиваются. Как бы то ни было, хоть

скачут они вслепую, подчиняясь воле случая, но поскольку в любой щелочке помещаются их миллиарды миллиардов, благодаря такой численности из этих прыжков и подпрыгивании складываются среди прочих весомые конфигурации, созданные чистой удачей… Знаешь ли ты, дубина, что это такое: конфигурация?

— Попрошу без оскорблений! — ответила морда. — Потому что я разбойник вовсе не простой или там неотесанный, а весьма утонченный, с дипломом, и по этой причине очень нервный.

— Ладно. Итак, из этих прыжков возникают весомые, то есть значащие, с позволения сказать, конфигурации, все равно как если кто-то наугад пускает пули в стенку, а они складываются в какую-то букву. Что в макромире оказывается редким и малоправдоподобным, то в газе из атомов встречается повсеместно и беспрестанно, а все из-за этих миллиардов боданий в каждую стотысячную долю секунды. Проблема, однако, стоит вот как: в каждой щепотке воздуха действительно складываются из атомных брыканий и кувыркний важные истины и глубокие сентенции, но вместе с тем возникают совершенно бессмысленные скачки и отскоки, и этих последних в тысячи раз больше, чем первых. Хоть и в прежние вре-

мена было известно, что вот сейчас перед твоим носом-пилой в каждом миллиграмме воздуха в любую долю секунды возникают отрывки тех поэм, которые будут написаны только через миллионы лет, и фрагменты возвышенных истин, и разгадки всех загадок Бытия и тайн его, все ж не имелось способа выделить всю эту информацию, тем более что едва лишь атомы лбами столкнутся и в какую-то осмысленную фигуру уложатся, как тут же разлетятся, а вместе с ними и смысл пропадает, быть может, навеки. Значит, вся хитрость в том, как построить селектор, который будет отбирать только то, что в беготне атомов осмысленно. Вот и вся идея Демона Второго Рода. Ну как, ты понял что-нибудь, великий Мордон? Понимаешь, надо добиться, чтобы Демон экстрагировал из атомных танцев только истинную информацию, то есть математические теоремы и журналы мод, формулы и исторические хроники, рецепты ионофореза и способы штопки и стирки асбестовых панцирей, и стихи, и научные советы, и альманахи, и календари, и секретные сведения о событиях давних времен, и все то, что писали и пишут газеты во всем Космосе, и телефонные книги, пока еще не напечатанные…

— Хватит! Хватит! — воскликнул Мордон. —

Прекрати же наконец! Ну и пусть эти атомы так укладываются, ведь они тут же вновь разлетаются, никогда не поверю, чтобы удалось отделить бесценные истины от беспорядочного дрыганья и подпрыгивания частичек воздуха, которое не имеет никакого смысла и никому не нужно!

— Видно, ты и в самом деле не столь глуп, как я думал, — сказал Трурль, — вся трудность действительно к тому и сводится, как привести в действие этот отбор. Я вовсе не намерен теоретически убеждать тебя в возможности отбора, но, как обещано, сразу же, здесь, не сходя с места, построю Демона Второго Рода, дабы ты воочию убедился в волшебном совершенстве этого Всеинформатора! Ты должен лишь дать мне коробочку, хотя бы и маленькую, но непроницаемую, кончиком булавки мы сделаем в ней крохотную дырочку и посадим Демона над этим отверстием; усевшись верхом, он будет выпускать из коробочки только осмысленную информацию, а кроме нее — никакой иной. Едва лишь кучка атомов удачливо расположится и обретет какой-либо смысл, как Демон хвать эту кучку за шиворот и тут же запишет ее специальным алмазным перышком на бумажной ленте, которой надо приготовить ему огромное количество, ведь он будет

работать напролет дни и ночи — скорей Космосу придет конец, чем... И притом со скоростью сто миллиардов раз в секунду, что ты и сам увидишь, ибо именно так действует Демон Второго Рода.

С этими словами Трурль пошел на корабль, чтобы изготовить демона, а Мордон тем временем задал Клапауцию вопрос:

— А каков Демон Первого Рода?

— Ах, он не столь интересен, это обычный термодинамический демон. Он только и умеет, что выпускать из отверстия быстрые атомы, а медленные — задерживать; таким образом возникает термодинамический perpetuum mobile [2]. Как бы то ни было, с информацией тут нет ничего общего, поэтому приготовь-ка лучше сосуд с отверстием, ведь Трурль сейчас вернется!

Дипломированный разбойник пошел в соседний подвал и долго грохотал там листами железа, бранился, пинал металлическую рухлядь ногами, бродя в ней по колено, пока не отыскал старый пустой железный бочонок, проделал в нем маленькую дырочку и вернулся назад, а тут как раз подоспел Трурль с Демоном в руке.

От затхлого воздуха в бочонке нос сводило судо-

---

**2 notes: 2**
вечный двигатель (лат.)

рогой, когда его приближали к отверстию, однако на Демона это нисколько не влияло. Трурль посадил малютку верхом на бочонок возле отверстия, установил сверху большую катушку с бумажной лентой, провел ленту под алмазное перышко, уже подрагивавшее от нетерпения, и началось тут выстукивание — стук-тут-тук, стук-тук-тук — словно в телеграфной конторе, только в миллион раз быстрее. Крохотное перышко с бриллиантиком на конце только билось и подрагивало, а лента с информацией, исписанная, начала медленно сползать на очень грязный и на редкость замусоренный пол подземелья.

Разбойник подсел к бочонку, поднес к своим ста глазам бумажную ленту и принялся читать все, что вылавливал Демон — ситечко информации — из вечной атомной дрожи; и сразу же столь поглотили Мордона эти важные истины, что он не заметил, как оба конструктора, не мешкая, вышли из подвала, ухватили свой корабль за рули, дернули раз, другой, дернули третий и вытащили корабль из западни, в которую их загнал разбойник, прыгнули внутрь и помчались вперед со всей скоростью, на какую только были способны, — ведь друзья знали, что их Демон действует, и вместе с тем догадывались, что результаты

этого действия наделят Мордона богатством, превышающим желаемое. Мордой же сидел, опершись о бочонок, и под тихое поскрипывание алмазного перышка, которым Демон записывал на бумажной ленте все, что узнавал от колеблющихся атомов, читал о том, как вить кисточки для алебард, и о том, что дочь царя Петриция из Благолонии звалась Горбундой, и что съедал за вторым завтраком Фридрих II, король бледнотников, до объявления войны гвендолинам, и о том, сколько электронных оболочек насчитывалось бы в атоме термионолиума, если бы такой элемент мог существовать, и каковы размеры заднего отверстия крохотной птички, называемой куротел, кою на своих розамфорах изображают Колыхаи Вебединые, а также о трех разновидностях полиароматного вкуса океанического ила на Водоции Приозрачной, и о цветке Любюдюк, что, потревоженный рассветом, валит наповал старофламандских охотников, и о том, как вывести формулу для косинуса угла грани многогранника, именуемого икосаэдром, и кто был ювелиром Фалуция, мясника-левши Лабухантов, и о том, сколько филателистических журналов будет издаваться в семьдесяттысячном году на Моросее, и о том, где покоится тельце Кибриции

Краснопятой, которую пробил гвоздем по пьянке некий Дуровалер, и чем отличается Матяжка от Натяжки, и о том, у кого в Космосе наименьшая продольная полольница, и почему блохи с присосками на заду не едят мху, и на чем основана игра, называемая На-качели-сзади-прыг, и сколько было зернышек в той кучке львиного зева, кою пнул ногой Абруквиан Полевитый, когда поскользнулся на восьмом километре альбацерского шоссе в Долине Воздуханий Седоватых, и мало-помалу Мордона начал побирать черт, ибо стало ему проясняться, что вся эта вполне правдивая и во всех отношениях осмысленная информация ему совершенно не нужна, ведь она превращалась в ужасную смесь, от которой разламывалась голова и подгибались ноги.

А Демон Второго Рода работал со скоростью триста миллионов информации в секунду, и бумажная лента, скручиваясь уже милями, медленно покрывала своими кольцами дипломированного разбойника, словно обматывая его белой паутиной, а бриллиантик бился как безумный, и казалось разбойнику, что вот-вот он узнает о вещах неслыханных, которые откроют ему глаза на Сущность Бытия, поэтому он вчитывался во все, что вылетало из-под алмаз-

ного перышка, а были то подшафейные песни шваброносов, и размеры ночных туфель с помпонами на континенте Гондуана, и толщина волос, которые растут на медном лбу мялкодела бадейного, и ширина темечка пладенцев-масынков, и литании заклинателей меркурьевых для пробуждения преподобного Жвачкуна Деньжурейного, и увертюры дюгоневые, и шесть способов варки манного супчика, и отрава, на дядьевых жен годная, и способы щекотанья щекотного, и имена граждан Брадострижни Замшавейской, на букву М начинающиеся, и описания вкуса пива, попорченного грибком…

Тут у него в глазах зарябило, и взревел он во всю мощь свою, ибо пришел его терпенью конец, однако информация обвила его и опутала тремястами тысячами бумажных миль, не давая ему шевельнуться, и вынужден был разбойник читать далее о том, какое начало второй «Книги джунглей» написал бы Редьярд Киплинг, если б у него в это время болел живот, и о чем думает кит, удрученный безбрачием, и в чем состоят любовные игры мухотравов колодных, и как можно старую суму залатать, и что такое антимоний, и почему говорят портной и сапожник, а не сапожной и портовник, а также про то, сколько

можно синяков получить за один присест. Затем последовала длинная серия различий между просеками и персиками: первые расчищены, а вторые пушком покрыты, а дальше — про то, каковы рифмы к слову «капустушка», и про то, какими словами обозвал папа Ульм из Пандеры антипапу Мульма, и про тех, у кого имеется губная гармошка. Тут Мордон сделал совсем отчаянную попытку выбраться из бумажных сетей, но быстро слабел; он отпихивал ленту, рвал ее и отшвыривал, только слишком уж много глаз имел этот разбойник и сквозь них проникала все новая и новая информация, и пришлось ему узнать, какова компетенция домашнего стража в Индокитае, и почему Недояры из Водолитии вечно жалуются, что они под мухой.

Тогда он закрыл глаза и застыл в неподвижности, придавленный лавиной информации, а Демон все обматывал и обвертывал его бинтами бумажными, страшной казнью карая Мордона дипломированного за алканье его безмерное всевозможных познаний.

И по сей день сидит разбойник на самом дне своих мусорных карьеров и отвалов, придавленный горами бумаги, а в полумраке подземелья светлейшей искоркой бьется и подрагивает

алмазное перышко, записывая все, что Демон Второго Рода из атомных плясок вылущивает из того воздуха, что течет через дырку в старом бочонке, и узнает несчастный Мордон, заливаемый потопом информации, бесконечные подробности о помпонах, терриконах и о собственном приключении, тут же изложенном, ибо и оно найдет себе место на одном из километров бумажной ленты, равно как и другие истории, а также гороскопы всего сущего вплоть до угасанья светил, и нет для Мордона спасенья, разве что когда-нибудь лента бумажная кончится, поскольку бумага иссякнет. Вот как сурово покарали его конструкторы за разбойное нападенье.

## Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело

Вселенная бесконечна, но ограниченна, а потому световой луч, в какую бы сторону он ни двинулся, через миллиарды веков вернется к исходной точке, если у него хватит сил; так же точно происходит со слухами, циркулирующими среди звезд и планет.

Дошли однажды до Трурля слухи издалека о двух могучих конструкторах-благодетелях, наделенных таким умом и таким совершенством, что никто с ними не сравнится. Трурль немедленно направился к Клапауцию, но тот ему объяснил, что это слух не о таинственных соперниках, а о них самих, облетев Космос, вернулся вспять.

Однако слава тем и отличается, что обычно молчит о поражениях, даже если они порождены высочайшим совершенством. А кто в этом усомнится, пускай припомнит последнюю из семи экспедиций Трурля; совершил он эту экспедицию в одиночку, поскольку Клапауций тогда был занят срочными делами и не мог составить ему

компанию.

Был в то время Трурль безмерно самоуверенным и почтение, которое ему оказывали, принимал как нечто само собой разумеющееся. Направил он свою ракету на север, потому что эти края он меньше всего знал. Долго летел он средь пустоты, минуя и те планеты, на которых кипели битвы, и те, которые уже затихли в мертвом молчании, пока случайно не подвернулся ему небольшой планетоид, этакий крохотный, прямо-таки микроскопический кусочек материи, затерявшийся в пространстве.

По этому скалистому обломку кто-то бегал туда-сюда, подпрыгивая и странно жестикулируя. Удивленный таким одиночеством и обеспокоенный этими признаками не то отчаяния, не то гнева, Трурль поскорее спустился на планету.

Навстречу ему двинулся некий муж с величественной осанкой, весь иридиево-ванадиевый, бряцающий и звенящий; открыл он, что зовется Экзилием Тартарейским и является властелином Панкриции и Ценендеры, что обитатели обоих королевств в припадке цареубийственной ярости свергли его с престола и, изгнав, высадили на этой пустынной планете, чтобы он до окончания веков скитался вместе с ней, дрейфуя в темных

потоках гравитации.

Узнав в свою очередь, с кем имеет дело, начал этот монарх домогаться, чтобы Трурль, как-никак профессиональный благодетель, незамедлительно вернул ему утраченное положение, и уже от одной мысли о таком обороте дел глаза его разгорелись огнем мести, а стальные его пальцы начали сжиматься, будто за горло хватали верноподданных.

Трурль, однако, не мог и не хотел исполнить желаний Экзилия, ибо это повлекло бы за собой множество зла и преступлений, и вместе с тем желал все же как-то успокоить и утешить обесчещенного короля. Поразмыслив хорошенько, он пришел к убеждению, что и в этом случае не все еще потеряно, поскольку можно так сделать, чтобы и король был сыт, и его прежние подданные остались целы. Поэтому, призвав на помощь все свое мастерство, Трурль работал не покладая рук и сконструировал для Экзилия совершенно новое государство. В нем было полным-полно городов, рек, гор, лесов и ручьев, было небо с облаками, были дружины воинов, жаждущих битвы, были укрепления, цитадели, и фрейлины, а также были там праздничные ярмарки, залитые ярким солнцем, и дни, прошедшие в

тяжелом труде, и ночи, в которые до рассвета пели и плясали. Изощренно вмонтировал Трурль в то государство великолепную столицу, всю из мрамора и горного хрусталя, а также совет старейшин, зимние дворцы и летние резиденции, заговоры против короля, клеветников, кормилиц, доносчиков, стада великолепных скакунов и, конечно же, пунцовые плюмажи, веющие на ветру; затем пронизал он атмосферу государства серебряными нитями фанфар и гулкими громами артиллерийских салютов, подбросил также необходимую пригоршню предателей и другую пригоршню героев, щепотку вещунов и пророков, по одному мессии и поэту неслыханной силы духа, а потом, присев над готовым государством, проделал пробный пуск, по ходу дела манипулируя микроскопическими устройствами, придал женщинам этого государства красоту, мужчинам — угрюмую молчаливость и склонность к пьяным ссорам, чиновникам — спесь и служебное рвение, астрономам — звездный запой, детям же — шумливость. И все это, объединенное, сопряженное, тщательно подогнанное, умещалось в ящике не слишком большом, как раз такого размера, что Трурль мог его легко поднять; затем презентовал он это Экзилию на вечное владение.

Наперед еще показал Трурль, где размещены входы и выходы этого новенького, будто с иголочки государства, как программируются там войны, как подавляются мятежи, как налагаются поборы и подати; научил он также Экзилия, где находятся в этом миниатюризованном обществе критические пункты, грозящие взрывом, то есть где имеется максимум возможностей для дворцовых заговоров и общественных движений, а где минимум; и объяснил он это так хорошо, что король, издавна приученный к тираническому правлению, на лету осваивал поучения и тут же, на глазах конструктора, издал несколько пробных указов, соответственным образом передвигая изукрашенные королевскими орлами и львами ручки регуляторов. Объявлялось этими указами чрезвычайное положение, полицейское время и особая дань, после чего, когда в королевстве этом прошел год, а для Трурля и короля — не более минуты, Экзилий актом высочайшего милосердия, то есть легким движением пальца на регуляторе, отменил одну смертную казнь, дань сделал более умеренной, а чрезвычайное положение изволил аннулировать, и крики благодарности, будто писк мышат, которых дергают за хвостики, вырвались из ящика, а сквозь выпуклое его верхнее

стекло можно было наблюдать, как на светлых пыльных дорогах, на берегах лениво текущих рек, в которых отражались пушистые облака, народ радовался и прославлял ни с чем не сравнимое благородное милосердие властителя.

И хотя монарх поначалу был уязвлен подарком Трурля, ибо слишком уж маленьким было это государство и слишком походило на детскую игрушку, однако же, видя, как увеличивается оно, когда глядишь сквозь толстое верхнее стекло, а может, и неясно ощущая, что дело вовсе не в масштабе, поскольку государственные дела не измеришь ни метром, ни килограммом, чувства же, независимо от того, испытывают их карлики или великаны, в общем-то одинаковы, — поблагодарил конструктора, правда сквозь зубы и холодно. Кто знает, может, он охотно даже приказал бы, чтоб дворцовая стража сейчас же схватила Трурля и на всякий случай замучила бы пытками до смерти, поскольку наверняка было бы сподручней уничтожить в самом зародыше всякие разговоры о том, якобы какой-то приблуда, голодранец, промышляющий поделками, подарил могучему монарху королевство.

Был, однако, Экзилий достаточно благоразумен, чтобы сообразить, что ничего из этого не выйдет

вследствие явной диспропорции: скорее удалось бы блохе арестовать своего кормильца, нежели всему теперешнему королевскому войску справиться с Трурлем. Так что король еще раз кивнул слегка Трурлю, сунул жезл и скипетр за пазуху, не без труда поднял ящик с государством я отнес его в свою изгнанническую хибарку. То солнце ее освещало, то ночь наступала в ритме оборотов планетоида, а король, которого подданные уже провозгласили величайшим в мире, прилежно правил, приказывал и запрещал, карал и награждал и такими методами непрерывно поощрял этих малюток к идеальному верноподданничеству и преклонению перед монархом.

Трурль же, возвратившись домой, тут же не без самодовольства рассказал своему другу Клапауцию, как он блеснул конструкторским мастерством, удовлетворив одновременно и монархические стремления Экзилия, и республиканские — бывших его подданных. Клапауций, однако, как ни странно, не выразил восторга. Наоборот, нечто в роде укора прочел Трурль в его глазах.

— Верно ли я тебя понял? — сказал он. — Ты отдал в вечное пользование этому извергу, этому прирожденному надсмотрщику, этому пытко-

филу или муколюбу целое общество? И ты еще рассказываешь мне о восторге, который вызван тем, что аннулирована часть жестоких указов? Как ты мог это сделать?!

— Да ты, верно, шутишь! — закричал Трурль. — Ведь это государство умещается в ящике размером метр на шестьдесят пять сантиметров и глубиной семьдесят сантиметров. И это не что иное, как модель…

— Модель чего?

— Как это чего? Общества. Модель, уменьшенная в сто миллионов раз.

— А почем ты знаешь, что не существуют цивилизации по размерам в сто миллионов раз больше нашей? Может, тогда и мы — лишь модель этих гигантов? И вообще — какое значение имеют размеры? Разве в этом ящике, то есть государстве, путешествие из столицы в захолустье не длится целые месяцы для тамошних обитателей? Разве они не страдают, не трудятся в поте лица, не умирают?

— Ну, ну, милый мой, ты же сам знаешь, что все эти процессы происходят там лишь потому, что я их запрограммировал, значит, не взаправду…

— То есть как это не взаправду? Может, ты хочешь сказать, что ящик пуст, а битвы, пытки и

казни — это лишь иллюзия?

— Это не иллюзия, поскольку они происходят в действительности, но лишь как некие микроскопические движения, в которые я вовлек атомные рои, — сказал Трурль. — Во всяком случае, все эти рождения и свадьбы, подвиги и доносы — не более как пляска мельчайших электронов в вакууме, упорядоченная благодаря точности моего незаурядного мастерства, которое…

— Не хочу слышать больше ни слова похвальбы! — прервал его Клапауций. — Ты говоришь, что это самоорганизующиеся процессы?

— Ну, конечно!

— И что они возникают среди мельчайших облачков электронов?

— Ты же отлично знаешь об этом.

— И что феноменология рассветов, закатов, кровавых войн объясняется сопряжением переменных сущностей?

— Но ведь так оно и есть!

— А разве мы сами, если нас исследовать методами физическими, химическими, логическими, не представляем собой те же пляшущие облачка электронов? Положительные и отрицательные заряды, вмонтированные в пустоту? И разве наше бытие не является результатом столкновений

этих пляшущих частиц, хотя сами мы воспринимаем коленца молекул как страх, желание или раздумья? И что же еще творится в твоей голове, когда ты мечтаешь, кроме двоичной алгебры переключении и неустанных странствии электронов?

— Клапауцик ты мой! Ты отождествляешь наше бытие с бытием того запертого в стеклянном ящике *лжегосударства*?! — закричал Трурль. — Нет, это уж слишком. Ведь в намерения мои входило соорудить лишь симулятор государственности, кибернетически совершенную модель, ничего больше!

— Трурль! Безупречность нашего мастерства — это наше проклятье, которое отягощает непредвиденными последствиями любое наше создание! — повысив голос, произнес Клапауций. — Неумелый подражатель, возжаждав пыток, сделал бы себе бесформенного идола из дерева и воска и, придав ему некоторое сходство с разумным существом, издевался бы над ним суррогатно и неестественно. Но подумай, к чему ведет дальнейшее совершенствование этого замысла! Представь себе, что другой сделает куклу с граммофоном в животе, чтобы она стонала под ударами; представь себе куклу, которая, если

ее бить, будет молить о пощаде, куклу, которая станет гомеостатом; представь себе куклу плачущую, истекающую кровью, куклу, которая боится смерти, хоть и прельщается ни с чем не сравнимым ее спокойствием! Неужели ты не видишь, как мастерство подражателя приводит к тому, что видимость становится истиной, а подделка — действительностью? Ты отдал жестокому тирану в вечное владение неисчислимые массы существ, способных страдать, а значит, совершил позорный поступок…

— Все это софизмы! — крикнул Трурль с особым пылом, потому что слова друга его задели. — Электроны пляшут не только внутри наших голов, но и внутри граммофонных пластинок, и из этой их вездесущности не следует ничего такого, что давало бы тебе право проводить гипостатические аналогии! Подданные этого негодяя Экзилия действительно подвергаются пыткам и казням, хнычут, дерутся, целуются, но оттого и потому, что я соответствующим образом сочетал параметры, а о том, чувствуют ли они что-нибудь при этом, ничего неизвестно, Клапауций, потому что ничего тебе об этом не скажут электроны, пляшущие в их головах!

— Если б я тебе голову разбил, тоже ничего не

увидел бы, кроме электронов, это верно, — ответил тот. — Ты, наверное, представляешься, будто не видишь того, на что я указываю: я отлично знаю, что ты не так глуп! Граммофонную пластинку ты ни о чем не спросишь, пластинка не будет просить у тебя пощады и на колени не станет! Неизвестно, говоришь, стонут ли они от ударов лишь потому, что так им подсказывают электроны, которые при движении рождают звук, либо вправду кричат от нестерпимых мук? Тоже мне разница! Да ведь страдает не тот, кто свое страдание может дать тебе в руки, чтобы ты его мог ощупать, надкусить и взвесить, а тот, кто ведет себя как терпящий муки! Вот докажи мне, что они *не* чувствуют ничего, *не* мыслят, что они вообще *не* существуют как создания, сознающие, что они замкнуты между двумя безднами небытия — той, что до рождения, и той, что после смерти, — докажи мне это, и я перестану к тебе приставать! Вот докажи мне, что ты только *имитировал* страдание, но не *создал* его!

— Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно, — тихо возразил Трурль. — Потому что, взяв инструменты в руки, еще перед пустым ящиком, я уже должен был предвидеть возможность *такого* доказательства именно для того, чтобы

предотвратить его при проектировании государства Экзилия, чтобы не создалось у монарха впечатление, что он имеет дело с марионетками, куколками взамен абсолютно реальных подданных. Я не мог поступить иначе, пойми! Ведь все, что как-либо разрушало иллюзию абсолютной реальности, уничтожило бы и смысл управления этим государством, сведя все к игре…

— Понимаю, отлично понимаю! — воскликнул Клапауций. — Намерения твои были благородными — ты хотел лишь сконструировать государство, как можно более походящее на подлинное, просто неотличимо похожее, и я с ужасом понимаю, что тебе это удалось! С момента твоего возвращения прошли часы, но для них, запертых там, в этом ящике, — целые века. Сколько же ты жизней загубил для того, чтобы спесивый Экзилий мог еще больше пыжиться и чваниться!

Ничего уже не отвечая, Трурль направился к своему кораблю и увидел, что Клапауций спешит вслед за ним. Крутанув пустолет, как волчок, направил Трурль его меж двух больших скоплений предвечных звезд и напирал на рули, пока Клапауций не сказал:

— Ты неисправим. Вечно сначала делаешь, потом думаешь! И что же ты собираешься пред-

принять, когда мы окажемся там?

— Отниму у него государство!

— И что же ты сделаешь с этим государством?

— Уничтожу! — хотел было крикнуть Трурль, но первый же слог застрял у него в горле. Не зная, что сказать, он буркнул: — Устрою выборы. Пускай сами себе подыщут справедливых руководителей.

— Ты их запрограммировал как феодалов и ленников, так что же им дадут выборы, как повлияют на их судьбу? Надо было бы сначала разрушить всю структуру этого государства и заново все соединить…

— Но где кончается изменение структуры и где начинается переделка сознания?! — закричал Трурль.

Клапауций ничего ему не ответил, и так они летели в угрюмом молчании, пока не заметили планетоид Экзилия, и когда они кружили над ним перед посадкой, взор их поразило необычайное зрелище.

Всю планету покрывали неисчислимые признаки разумной деятельности. Микроскопические мосты, как черточки, виднелись над водами ручейков, а в лужицах, отражающих звезды, полным-полно было кораблей, словно плавающих

стружек… Ночное, окутанное мраком полушарие покрывала блестящая рябь освещенных городов, а на светлом полушарии тоже повсюду виднелись города и села, хоть самих обитателей из-за их ничтожной величины не удавалось разглядеть и в самые сильные бинокли. Только от короля ни следа не осталось, будто почва под ним расступилась.

— Нет его… — шепнул Клапауцию изумленный Трурль. — Что они с ним сделали? Значит, им удалось выбраться из ящика, и они заселили этот обломок…

— Смотри, — сказал Клапауций, указывая на облачко, похожее на маленький грибок для штопки чулок, медленно расплывающееся в атмосфере. — Они уже знакомы с атомной энергией… А там дальше — видишь эту стеклянную штуку? Это остатки ящика, которые они превратили в нечто вроде святыни…

— Не понимаю. Все же это была только модель. Только процесс со множеством параметров, монархический тренажер, сопряженная имитация переменных в мультистате, — бормотал ошеломленный, обалдевший Трурль.

— Да. Но ты совершил непростительную ошибку излишнего совершенства в подражании. Не

желая ограничиться часовым механизмом, ты создал, помимо воли, из педантизма, то, что неизбежно стало противоположностью механизма…

— Не продолжай! — крикнул Трурль.

Они все смотрели на планету, и тут что-то ударилось об их корабль, но слабо, едва скользнув, — они увидели этот предмет, так как освещала его исходящая сзади полоска тусклого свечения. Был это кораблик, а может, искусственный спутник, удивительно похожий на один из тех стальных шлепанцев, какие носил тиран Экзилий. Подняв глаза кверху, они увидели высоко над планеткой светящееся тело, которого в прежние времена здесь не было. И они распознали в его округлой, идеально холодной поверхности стальные черты Экзилия и поняли, что он сделался Месяцем микроминиантов.

# Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона

Однажды явился к Трурлю чужак, по обличью которого, едва успел он выйти из фотонного паланкина, сразу было видать, что персона это особенная и из дальних сторон, ибо там, где у прочих имеются руки, у него лишь веял благовонный зефир, там, где у прочих ноги, у него лишь дивно играло сияние радужное, и даже голову заменяла ему драгоценная шляпа; говорил же он из самой середки, ибо являл собою шар, идеально выточенный, наружности весьма привлекательной, опоясанный плазменным богатым шнуром. Поздоровавшись с Трурлем, он объяснил, что его тут двое, а именно: полушарие верхнее и полушарие нижнее; первое звать Синхронии, второе же Синхрофазий. Такое искусное конструкторское решение разумного существа привело в восхищение Трурля, и он признался, что никогда еще не доводилось ему видеть особу, сработанную столь тщательно, с манерами столь прециозными и таким брильянтовым блеском. Пришелец в свой черед похвалил конструкцию Трурля и после

такого обмена любезностями рассказал, что его сюда привело; будучи другом и верным слугою славного короля Гениалона, прибыл он к Трурлю, чтобы заказать ему три машины-рассказчицы.

— Король и господин мой давно уж не царствует и не управляет, — объяснил он, — а к двойному этому отречению привела его мудрость, глубочайшее постижение мировых дел. И вот, покинув свое королевство, он поселился в пещере, сухой и прохладной, чтобы там размышлениям предаваться. Однако ж порою снедает его меланхолия либо отвращение к себе самому, и тогда ничто не способно его утешить, кроме совершенно необычайных историй. Ни те, кто сохранил ему верность и не оставил его, когда он сложил корону, давно уже рассказали все, что сами знали. А потому, не видя иного способа, мы просим тебя, конструктор, помочь нам рассеять монаршью тоску — при помощи машин, которые ты искусно построишь.

— Это можно, — ответил Трурль. — Но зачем вам целых три?

— Мы бы хотели, — сказал Синхрофазий, слегка покачиваясь то вправо, то влево, — чтобы одна рассказывала истории замысловатые, но утешные, другая

— хитроумные и лукавые, а третья — бездонные и берущие за душу.

— То есть одна для упражненья ума, другая для развлеченья, а третья для назидания? — подхватил Трурль. — Понятно. О плате сразу уговоримся или потом?

— Когда построишь машины, потри этот перстень, — отвечал пришелец, — и перед тобою появится мой паланкин; ты сядешь в него вместе с машинами и мигом примчишься в пещеру Гениалона, а там уже выскажешь все желанья свои, которые король по мере возможности безусловно исполнит.

С этими словами он поклонился, подал Трурлю перстень, сверкнул ослепительно и закатился в паланкин; тотчас же паланкин овеяло светлое облако, что-то бесшумно сверкнуло, и Трурль остался один перед домом с перстнем в руке, не слишком довольный случившимся.

— «По мере возможности»! — бормотал он, переступая порог своей лаборатории. — Ох, и не люблю же я этого! Дело известное: едва наступает срок платежа, как всяким учтивостям, церемониям да экивокам приходит конец и начинаются хлопоты, которые часто не дают ничего, кроме шишек…

В ту же минуту сияющий перстень в руке у него дрогнул и отозвался:

— «По мере возможности» объясняется тем, что король, отрекшись от королевства, стеснен в средствах; однако он обратился к тебе, о конструктор, как мудрец к мудрецу, и не ошибся, как вижу, коль скоро говорящий перстень тебя нимало не удивил; не удивляйся же и бедности королевской, ибо плату получишь щедрую, хотя, быть может, не золотом. Но золотом не всякий утоляется голод.

— Что ты мне тут плетешь, перстенек? — отвечает Трурль. — Мудрец, мудреца, мудрецом, а электричество, ионы, атомы и всякие драгоценности, употребляемые для постройки машин, влетают в копеечку. Я люблю договоры ясные, подписанные, с параграфами и печатями; я не падок на всякую мелочь, но золото я люблю, особенно в изрядных количествах, и не стыжусь в этом признаться! Его блеск, его желтый отлив, его милая сердцу тяжесть таковы, что стоит мне высыпать на пол один-другой мешочек дукатов и под приятный их звон по ним покататься, как вмиг светлее становится на душе, словно кто-то внес туда солнышко и зажег. Да, я люблю золото, черт побери! — закричал он, ибо собственные

слова слегка его распалили.

— Но к чему тебе золото, получаемое от других? Разве ты не можешь сам его изготовить, сколько душа пожелает? — спросил, сверкнувши от изумления, перстень.

— Не знаю, насколько мудр твой король, — отвечает на это Трурль, — но ты, как я погляжу, совершенно необразованный перстень! Это что же, я сам себе должен золото делать? Да где это видано?! Разве сапожник живет тем, что себе сапоги тачает? Разве повар стряпает для себя, а солдат за себя воюет? А производственные издержки? Ты о них когда-нибудь слышал? Впрочем, золото золотом, но еще я люблю поворчать. А теперь помолчи, мне пора уже за работу браться.

Бросил он перстень в жестянку старую и взялся за дело. Построил три машины в три дня, не выходя из дому, а после задумался, какую бы им придать форму, ибо любил простоту и функциональность. Стал он пробовать всевозможные кожухи; поскольку же перстень то и дело подавал из жестянки голос, Трурль прикрыл ее, чтобы неуместные замечания не мешали работе.

Под конец он покрасил машины — первую в белый цвет, вторую в лазоревый, а третью в черный, затем потер перстень, погрузил машины

в паланкин, который немедля явился, сам в нем уселся и стал ждать, что будет дальше. Засвистело, загудело, пыль взметнулась, осела, и Трурль, выглянув через окошко паланкина, увидел, что находится в просторной, посыпанной белым песочком пещере; сперва он заметил несколько деревянных лавок, прогибавшихся под старыми фолиантами, а потом ряд шаров, сияющих дивным блеском. В одном он узнал чужеземца, что заказывал ему машины; в центральном же шаре — тот был побольше и от старости покрыт сетью царапин

— Трурль распознал короля, поклонился ему и вышел из паланкина. Король сердечно с ним поздоровался и сказал:

— Мудрость бывает двух видов: одна дает средства действовать, вторая от действий удерживает. Не кажется ли тебе, достославный Трурль, что вторая выше? Ведь лишь безмерно дальнозоркая мысль способна предвидеть отдаленнейшие последствия наших деяний, побуждающие усомниться в разумности оных. А потому совершенство может проявляться в неделании — и мудрость тем-то от разума и отличается, что видит такого рода различия…

— С разрешения Вашего Величества заме-

чу, — отвечал Трурль, — что вашу речь можно истолковать двояко. Либо это деликатный намек, имеющий целью преуменьшить мой труд, то деяние, что вызвало к жизни три машины-рассказчицы, лежащие там, в паланкине. Такое толкование было бы мне не по сердцу, поскольку свидетельствовало бы о скрытом желании уклониться от платежа. Либо имеется в виду лишь доктрина неделания, противоречивая по природе своей. Чтобы иметь возможность не действовать, нужно иметь возможность действовать, ведь тот, кто воздерживается от переворачивания горы из-за отсутствия средств, а утверждает, что выбрал неделание, ибо так велит ему мудрость, лишь выставляет себя на посмешище дешевой видимостью философствования. Неделание надежно, и это все, что можно сказать в его пользу. Делание ненадежно, и в этом его красота; что же касается дальнейших тонкостей этой проблемы, я, если Ваше Величество того пожелает, построю особую машину для диспутов.

— Вопрос об оплате оставим на самый конец той счастливой оказии, которая привела тебя к нам, — молвил король, слегка покачиваясь от скрытой веселости, которую в нем возбудила речь Трурля. — Теперь же, конструктор, сделай

милость, будь моим гостем и соблаговоли усесться за этим скромным столом, на лавке, между верных моих товарищей, и поведай о своих деяниях либо об отказе от таковых.

— Прошу меня извинить, государь, — ответил Трурль, — но боюсь, что я недостаточно красноречив; впрочем, меня превосходно заменят три привезенные мною машины; это будет вполне уместно, а заодно мы их испробуем.

— Будь по-твоему, — согласился король.

Тут все уселись в позах, выражающих любопытство и надежду услышать необычайное, а Трурль достал из паланкина железный корпус, выкрашенный в белый цвет, нажал на кнопку и сел по правую руку от Гениалона. И заговорила первая машина:

— Если не знаете истории о множественниках, их короле Мандрильоне, Советчике его Совершенном и Трурле-конструкторе, который сперва Советчика создал, а потом погубил, то послушайте!

Держава множественников знаменита своими жителями, кои тем отличаются, что их там много. Однажды конструктор Трурль, бороздя шафрановые окрестности созвездья Делиры, сбился несколько с курса и увидел планету, которая

словно бы вся шевелилась. Снизившись, понял он, что причиной этому толпы, ее покрывавшие, и приземлился, не без труда отыскав несколько квадратных метров сравнительно свободного грунта. Мигом набежали отовсюду туземцы и окружили его, подчеркивая, как много их тут; поскольку, однако, голосили они все разом и наперебой, Трурль довольно долго не мог их понять. Поняв же, спросил:

— Неужто взаправду так вас много?

— Взаправду!! — заверещали они с неслыханной гордостью. — Мы неисчислимы.

— Нас тут что маковых зерен!

— Что звезд на небе!

— Что песчинок! Что атомов!

— Допустим, — ответил Трурль. — Вас много — и что с того? Может, вы без устали пересчитываетесь и тем себя тешите?

А они ему:

— Необразованный ты, чужеземец! Знай же: стоит нам топнуть — и сотрясаются горы, стоит нам дунуть — и ветер деревья валит, как спички, а ежели мы разом усядемся, никто не двинет ни рукой, ни ногой!!

— А зачем это надо, чтобы горы дрожали, страшный ветер деревья ломал и никто не двигал ни

рукой, ни ногой? — удивился Трурль. — Не лучше ли, если горы стоят спокойно, ветра нет и каждый чем хочет, тем и двигает?

Страшно они возмутились пренебрежением Трурля к великому их числу и численному величию; топнули они, дунули и уселись, чтоб ему показать, как много их и что из этого следует. Тотчас земля затряслась и рухнула половина деревьев, придавив сидевших под ними; поднявшийся вихрь повалил остальные и расплющил в лепешку еще семьсот тысяч народу; а те, что остались в живых, ни рукой, ни ногой шевельнуть не могли.

— Боже мой! — ужаснулся Трурль, как кирпич в стене застрявший среди туземцев. — Вот горе-то!

Но оказалось, что этим он оскорбил их еще сильнее.

— Дремучий ты, чужеземец! — загремели они. — Что значит потеря нескольких сот тысяч для множественников, коих никто исчислить не в силах! Да можно ли вообще считать потерею то, чего и заметить нельзя? Ты убедился, сколь могущественны мы притопом, дутьем и присядом, а то ли еще было бы, возьмись мы за дела поважнее!

— И в самом деле, — заметил Трурль, — не

думайте, будто образ мышления ваш мне непонятен. Уж так повелось: все огромное и многочисленное вызывает к себе уважение. К примеру, прогорклый газ, вяло блуждающий по дну полусгнившей бочки, ни у кого не в почете; но пусть его наберется на Галактическую Туманность — и все приходят в изумление и восторг. А это все тот же прогорклый и зауряднейший газ, только что очень много его.

— Речи твои не по нраву нам! — закричали они. — Не желаем мы слушать о каком-то прогорклом газе!

Трурль огляделся в поисках полицейских, но давка была такая, что они не могли протолкнуться.

— Любезные множественники! — сказал он тогда. — Позвольте мне покинуть вашу страну, ибо не разделяю я веры в великолепие многочисленности, если за нею только и есть, что число.

Они же, переглянувшись, ударили палец о палец, чем вызвали такое завихрение атмосферы, что Трурля подбросило под облака и долго летел он там, кувыркаясь, пока не упал на землю. Тут он увидел, что находится в саду королевского замка и прямо к нему направляется Мандрильон Наибольший, владыка множественников; король,

наблюдавший за полетом и падением Трурля, заговорил:

— Я слышал, ты, чужестранец, не оказал надлежащего уважения к бесчисленному моему народу. Отношу это на счет твоей мозговой темноты. Не постигая, однако, высоких материй, ты, говорят, приобрел кое-какую сноровку в материях менее важных; оно и к лучшему, ибо я нуждаюсь в Совершенном Советчике, а ты мне его построишь!

— А что должен уметь Советчик и что я получу за него? — спросил Трурль, отряхиваясь от пыли и глины.

— Он должен уметь все: отвечать на любые вопросы, решать любые задачи, давать советы наилучшие из возможных, словом, предоставлять к моим услугам наивысшую мудрость. За это я подарю тебе сто или двести тысяч моих подданных — лишняя сотня тысяч не в счет.

«Как видно, — подумал Трурль, — чрезмерная численность разумных существ небезопасна, уподобляя их простому песку; и легче этому королю расстаться с тьмой своих подданных, чем мне с изношенным башмаком!» Вслух же сказал:

— Государь, мой дом невелик, и я не знал бы, что делать с сотнями тысяч невольников.

— Простодушный мой чужестранец, есть у меня консультанты, они тебе все разъяснят. Уйма невольников доставляет тьму удовольствий. Можно одеть их в разноцветное платье и расставить на площади в виде мозаики или назидательных надписей на любой случай; можно связать их пучками и подбрасывать кверху; из пяти тысяч можно соорудить молот и еще из трех тысяч — его рукоять, скажем, для раздробленья скалы или для лесоповала; из них можно вить канаты, сплетать искусственные лианы и бахрому, а те, что свисают над самой пропастью, уморительными изгибами тела и визгом доставляют сердцу утеху, а глазу усладу. Поставь-ка десять тысяч юных невольниц на одной ноге и вели им правой рукой восьмерки выписывать, а левой — прищелкивать пальцами, и ты с трудом оторвешься от этого зрелища, по себе знаю!

— Государь! — отвечал Трурль. — Леса и скалы я покоряю машинами; что же до надписей и мозаик, не в моем обычае делать их из существ, которые, возможно, предпочли бы иное занятие.

— Так чего же, самонадеянный чужестранец, ты требуешь за Советчика?

— Сто мешков золота, государь!

Жаль было Мандрильону расставаться с золо-

том; но его осенила весьма хитроумная мысль, которую он затаил, а Трурлю сказал:

— Хорошо, будь по-твоему.

— Желание Вашего Величества постараюсь исполнить, — ответил Трурль и направился в замковую башню, отведенную королем под лабораторию. Вскоре оттуда послышалось пыхтение мехов, удары молота и скрежет напильника. Посланные королем соглядатаи вернулись в большом удивлении, ибо Трурль не Советчика строил, но множество всяких машин — кузнечных, слесарных и электроботных, — а после уселся и начал гвоздиком длиннющую ленту дырявить; составив таким манером подробную программу Советчика, он пошел прогуляться, а машины до глубокой ночи стучали в башне; к утру же все было готово. В полдень Трурль ввел в дворцовую залу махину на двух ногах и с одной малюсенькой ручкой и заявил королю, что это и есть Совершенный Советчик.

— Посмотрим, чего он стоит, — сказал Мандрильон и велел посыпать мраморный пол корицею и шафраном — от Советчика разило раскаленным железом, а местами он даже светился, будучи только что вынут из печи. — Ты же пока ступай, — добавил король. — Вечером возвращайся,

и увидим, кто кому должен и сколько.

Трурль удалился, размышляя о том, что последние слова Мандрильона не предвещают особой щедрости, а может, даже таят в себе какой-то подвох, и был очень рад, что ограничил универсальность Советчика маленькой, но существенной оговоркой, занесенной в программу, а именно: чтобы тот ни при каких обстоятельствах не мог погубить своего творца.

Оставшись наедине с Советчиком, король спросил:

— Кто ты таков и что можешь?

— Я Совершенный Королевский Советчик, — ответил тот голосом глуховатым, как бы доносящимся из пустой бочки, — и могу давать советы, наилучшие из возможных.

— Прекрасно, — сказал Мандрильон, — а кому ты обязан верностью и послушанием, мне или тому, кто построил тебя?

— Верностью и послушанием я обязан единственно Вашему Величеству, — прогудел Совершенный Советчик.

— Отлично, — буркнул король. — Для начала… значит… того… слушай… я бы не хотел, чтобы первое же мое пожелание выставило меня скупцом… но все же неплохо бы, в некотором роде…

исключительно ради принципа… смекаешь?

— Ваше Величество еще не соблаговолило Поведать, что ему угодно, — ответил Советчик, выдвинул сбоку третью ногу, поменьше, и подперся ею, так как временно потерял равновесие.

— Совершенный Советчик должен читать мысли своего господина! — проворчал сердито король.

— Разумеется, но только по приказанию, дабы не показаться нескромным, — возразил Советчик; затем отодвинул заслонку на животе, повернул маленький ключик с надписью «Чтец-телепатор», весь просиял и воскликнул: — Вашему Величеству угодно ни гроша не платить Трурлю? Понятно!

— Если ты кому-нибудь скажешь об этом, я велю тебя бросить в громадную мельницу, жернова которой вращают триста тысяч моих подданных! — пригрозил Мандрильон.

— Никому не скажу! — заверил Советчик. — Вашему Величеству, угодно не платить за меня — это проще простого. Когда Трурль вернется, объявите ему, что золота никакого не будет, и пусть убирается.

— Да ты, видно, олух, а не Советчик! — разъярился король. — Я не хочу платить, но виноват

пусть окажется Трурль! Мол, ему ничего не положено! Понял?

Советчик включил аппарат для чтения государевых мыслей, слегка покачнулся и глухо сказал:

— Вашему Величеству угодно также прослыть справедливым, свято блюдущим законы и свое государево слово, а Трурля выставить плутом, прохвостом и негодяем… Отлично. Тогда, с Высочайшего Вашего соизволения, я брошусь на Вас и начну Вас душить и давить, а Ваше Величество соблаговолит кричать «караул», да погромче…

— Ты, верно, спятил, — сказал Мандрильон, — чего это ради ты станешь меня душить и зачем мне кричать «караул»?

— А чтобы обвинить Трурля в покушении на цареубийство моими руками! — лучась, ответил Советчик. — И когда, по Высочайшему повелению, он будет наказан плетьми и сброшен с крепостной стены в ров, все сочтут это актом небывалого милосердия, поскольку таковое злодейство карается отсечением головы, предваряемым жестокими пытками. Меня же Ваше Величество соблаговолит совершенно помиловать, как невинное в руках Трурля орудие, что вызовет общее восхищение королевской добротою и снисходительностью, и августейшее Ваше

желание исполнится в точности.

— Ну, так души, да поосторожней, мошенник! — согласился король.

Как Совершенный Советчик задумал, так оно все и случилось. Правда, король хотел, чтобы сбрасыванию со стены предшествовало вырывание ног, но до этого не дошло. Сам он решил, что из-за неразберихи; на самом же деле Трурля спасло тайное вмешательство Советчика через помощника палача. Советчика Мандрильон помиловал и опять приблизил к себе; а Трурль, еле живой, доковылял кое-как до дома. Тотчас по возвращении отправился он к Клапауцию и поведал свою историю, а напоследок сказал:

— Этот Мандрильон оказался еще большим прохвостом, чем я ожидал. Так низко меня обмануть! И подумать только: построенный мною Советчик послужил ему для злодейского жульничества мне же в ущерб! Но он ошибается, если думает, что я ему это спущу! Раньше я насквозь проржавею, чем забуду о мести, которая должна настигнуть тирана!

— Что ж ты намерен делать? — спросил Клапауций.

— Взыскать положенную мне плату через суд; но это лишь для начала, золотом он не откупится

за муки мои и позор.

— Больно уж сложный юридический казус! — сказал Клапауций. — Знаешь что: прежде, чем что-либо делать, найди хорошего адвоката.

— Чего мне искать адвоката? Я его сам построю!

Пришел он домой, всыпал в бочку транзисторов — шесть половников с верхом да столько же сопротивлений и конденсаторов, залил электролитом, накрыл доской, привалил камнем, чтобы все там хорошенько самоорганизовалось, и лег спать, а через три дня у него уже был адвокат хоть куда. Трурль даже не потрудился вынуть его из бочки, ведь адвокат был ему нужен на один-единственный раз; он поставил бочку на стол и спросил:

— Кто ты?

— Я адвокатор-консультатор юридический, — с трудом пробулькала бочка, ибо конструктор малость переборщил с электролитом.

Трурль изложил свое дело, а она ему:

— В программе Советчика была оговорка, что он не может тебя погубить?

— Да. То есть что он не допустит моей смерти, — а больше там ничего не было.

— Значит, ты не выполнил договор до конца:

ведь Советчик должен был уметь все, без единого исключения, а раз не мог тебя погубить, значит, умел не все.

— Но если б он меня погубил, кто бы принял вознаграждение?

— Это отдельный вопрос и совсем иная проблема, предусмотренная статьями об уголовной ответственности Мандрильона; твой же иск носит сугубо гражданский характер.

— Вот еще! Какая-то бочка будет учить меня гражданскому праву! — разгневался Трурль. — Чей ты, собственно, адвокат, мой или того монарха-головореза?

— Твой, но король был вправе лишить тебя платы.

— А сбрасывать в ров с крепостной стены?

— Это другой вопрос, уголовный, и проблема особая, — булькает бочка.

Трурль прямо затрясся.

— Это что же такое?! Я, значит, преображаю кучу старых тумблеров, проводов и железок в разумное существо и в благодарность получаю вместо совета какие-то закавыки? А чтоб ты не самоорганизовывался, крючкотвор несчастный!

Отцедил он электролит, вытряхнул все из бочки на стол и поразбирал на части, да так живо,

что адвокатор не успел даже внести апелляцию на такое решение.

А Трурль взялся опять за работу и построил себе Юрис Консулента — трехэтажного, с четырехкратным усилением обоих кодексов, уголовного и гражданского; а для верности еще подключил к нему международное и административное право. Затем врубил ток, изложил дело и спрашивает:

— Как быть?

— Случай весьма непростой, — отвечает машина. — Требую, чтобы ты в срочном порядке вмонтировал мне еще пятьсот транзисторов сверху да двести с боков.

Трурль так и сделал, а она ему:

— Мало! Нужны добавочные усилители и две большие катушки.

А после держит такую речь:

— Казус сам по себе любопытный; тут, однако, наличествуют две материи: основание иска — это одно, и здесь многого можно добиться; процессуальная процедура — другое. Ни на какой суд вызвать монарха гражданским иском нельзя, так гласит право международное, а равно космическое. Окончательное толкование объявлю, если пообещаешь не разбирать меня после на части.

Трурль пообещал и добавил:

— Но скажи, сделай милость, откуда ты знал, что тебе угрожает разборка, если бы толкование мне не понравилось?

— Не знаю — так мне почему-то казалось.

Однако же Трурль догадался, в чем тут дело: при монтаже он использовал детали разобранного бочечного адвокатора и память о той истории отложилась в контурах нового агрегата, породив подсознательный комплекс.

— Где же твое толкование? — спрашивает конструктор.

— Вот оно: компетентного трибунала нет — не будет и рассмотрения дела. То есть ни выиграть, ни проиграть его невозможно.

Вскочил конструктор со стула, погрозил юридическому советнику кулаком, но слово пришлось сдержать, и ничего он ему не сделал.

Пошел Трурль к Клапауцию и все ему рассказал.

— Говорил же я — безнадежное это дело, а ты не верил, — говорит Клапауций.

— Я бесчестья так не оставлю, — горячится Трурль, — и если не добьюсь правосудия юридическим и судебным путем, то разделаюсь с коронованным прохвостом иначе!

— Но как, любопытно узнать? Ты дал королю

Совершенного Советчика, а тот может все, хотя не может тебя погубить; он отведет любой удар, любое несчастье, любую беду, которые ты обрушишь на короля или его королевство. И я, любезный мой Трурль, не сомневаюсь, что так и будет, поскольку полностью доверяю твоему конструкторскому таланту!

— Ты прав. Похоже, создав Совершенного Советчика, я лишил себя всякой возможности наказать эту августейшую мразь. Но должна же тут быть какая-нибудь зацепка! Плох я буду, если ее не найду!

— Что ты задумал? — спрашивает Клапауций, но Трурль только плечами пожал и вернулся к себе.

Долго не выходил он из дому, размышляя в уединении; то в библиотеке лихорадочно перелистывал сотни томов, то в лаборатории таинственные опыты проводил. А Клапауций, навещая его, не мог надивиться упорству, с которым Трурль пытался самого себя превзойти: ведь Советчик, наделенный разумом Трурля, был как бы частью его самого. Однажды, придя, как обычно, после полудня, Клапауций не застал хозяина. Дверь была заперта, ставни на крепких засовах, а Трурля и след простыл. Понял он, что

Трурль начал действия против повелителя множественников; так оно в срамом деле и было.

Меж тем Мандрильон наслаждался властью как никогда, ибо, если ему не хватало фантазии, обращался за подсказкой к Советчику. К тому же отныне он не боялся ни мятежей, ни дворцовых переворотов и никакого вообще неприятеля, но правил железной рукой; и меньше красуется спелых гроздьев на лозе полуденного винограда, чем болталось в те годы повешенных на государевых виселицах.

А Советчик имел уже четыре полных сундука орденов за проекты, коими порадовал короля. Микрошпик, заброшенный Трурлем в державу множественников, воротился назад с донесением, что за последнюю услугу монарху — пускание по воде венков, сплетенных из обывателей, — Мандрильон публично назвал Советчика «моя душечка».

Недолго думая (ибо план кампании был уже разработан), Трурль взял листок кремовой почтовой бумаги, с нарисованной от руки виньеткой в виде земляничного деревца, и набросал письмо, содержания самого обыкновенного:

«Милый Советчик! — говорилось в нем. — Надеюсь, живется Тебе не хуже, чем мне, а то и

получше. Государь, как я слышал, удостоил Тебя доверием: поэтому Ты, сознавая огромную ответственность перед Историей и Государственным Благом, должен верой и правдой служить на своем посту. В случае каких-либо трудностей при исполнении августейших желаний прибегни, пожалуйста, к методу „Экстра Особой Выдержки“, с которым я в свое время детально Тебя ознакомил. Черкни, если хочешь, несколько строк, но не обессудь, если отвечу не сразу, поскольку я теперь занят конструированием Советчика для короля Д. и не располагаю избытком свободного времени. Шлю Тебе сердечный привет, а Твоему Государю — уверения в моем нижайшем почтении.

Твой Конструктор — Трурль».

Послание Трурля возбудило неизбежные подозрения Тайной Множественной Полиции и подверглось тщательному исследованию, причем на бумаге не оказалось никаких тайных химических реактивов, а в рисунке, изображавшем земляничное деревце, — ни малейших намеков на шифр. Обстоятельство это вызвало немалый переполох в Главном Штабе Полиции, и письмо было переснято, ксерокопировано, ротапринтировано, а также переписано от руки, оригинал же, запечатанный как положено,

вручен адресату. Прочитав письмо, Советчик перепугался, ибо понял, что это уловка Трурля, рассчитанная на его, Советчика, дискредитацию, а может, и ликвидацию; он тотчас сообщил о письме Мандрильону, обрисовав при этом Трурля мерзавцем, норовящим скомпрометировать его в глазах государя, и взялся расшифровать послание, в твердой уверенности, что невинные фразы — лишь маска, за которой таятся какие-то страшные мерзости.

Советчик заявил королю, что выведет Трурля на чистую воду; а затем, запасшись нужным количеством реактивов, штативов, воронок, пробирок и лакмусовой бумаги, предпринял сложнейший анализ конверта и почтовой бумаги. За всем этим, понятно, наблюдала полиция, вмонтировавшая в стены апартаментов Советчика винтики для подслушивания и болтики для подглядывания, Поскольку химия оказалась бессильной, Советчик занялся дешифровкой текста (расписав его предварительно в виде огромных таблиц) — при помощи ЭВМ, логарифмической линейки и счетов. Не знал он, что вместе с ним в это занятие углубились лучшие полицейские силы с Маршалом Шифровальных Войск во главе. Чем дольше затягивались старания специали-

стов, тем большая воцарялась в Главном Штабе тревога, ибо эксперты не сомневались уже, что шифр, столь дерзко глумящийся над попытками его разгадать, принадлежит к числу наиболее хитроумных из всех когда-либо испробованных. Маршал сообщил об этом одному из придворных сановников, который жестоко завидовал карьере Советчика. Оный вельможа, больше всего на свете желавший посеять в душе монарха недоверие к новому фавориту, сказал Мандрильону, что Советчик, закрывшись на ключ, ночи напролет изучает подозрительное письмо. Но король только посмеялся над ним и ответил, что прекрасно об этом знает, поскольку Советчик сам ему обо всем рассказал. Сановный завистник, сконфузившись, замолчал и немедля поделился новостью с Маршалом.

— Надо же! — воскликнул заслуженный шифровальщик. — Даже и этого не скрыл от монарха? Что за неслыханное коварство! И что за дьявольский шифр, ежели можно болтать о нем с кем угодно!

И приказал своим войскам удвоить усилия. Прошла неделя, а результатов по-прежнему не было, и тогда на помощь призвали крупнейшего специалиста по загадочным текстам, создателя

левосторонних, невидимых глазу шифров, профессора Ксивоса. Тот, изучив инкриминируемое письмо и отчеты военных спецов, предложил испытать метод проб и ошибок, а для расчетов взять вычислительные машины астрономического формата.

Это было исполнено, и оказалось, что письмо можно прочесть тремястами восемнадцатью способами.

Первые пять вариантов гласили: «Таракан из Мленкотина добрался благополучно, но выгребная яма погасла», «Тетку паровоза на шницелях прокатить», «Чепчик заклепан — обручение масла не состоится», «Тот, кто есть, но нет кого, нынче сам казнит его». А также: «Из крыжовника, пыткам подвергнутого, немало вытянуть можно». Последний вариант профессор Ксивос признал ключом к шифру и после трехсот тысяч опытов установил: если сложить все буквы письма, вычесть из итога солнечный параллакс и годовое производство солнечных зонтиков, а из остатка извлечь корень третьей степени, то получится слово «Апокалипсус». В адресной книге был найден обыватель по имени Апокаляпсус. Ксивос счел, что ошибка внесена умышленно, для отвода глаз, и Апокаляпсуса арестовали. Будучи

подвергнут внушению шестой степени, он показал, что состоит в сговоре с Трурлем, который обещал в скором времени прислать ему ядовитые гвоздики и молоток, дабы насмерть подковать государя. Располагая столь вескими доказательствами измены, Маршал Шифровальных Войск доложил о них королю; Мандрильон, однако ж, настолько еще доверял Советчику, что позволил тому говорить в свое оправдание.

Советчик не отрицал, что письмо можно прочесть разными способами, переставляя буквы; он сам, по его словам, обнаружил еще тысячу сто вариантов, однако из этого ничего не следует, и письмо вообще не шифрованное, поскольку осмысленный (или похожий на таковой) результат можно получить, переставляя буквы абсолютно любого текста, а то, что получается из перестановки, именуется анаграммой, и ведает этим теория пермутаций, или комбинаторика. Трурль, восклицал Советчик, желает оклеветать его и опорочить, создавая видимость шифра там, где шифра нет и в помине; обыватель же Апокаляпсус не виновен ни сном ни духом, а то, что он показал на следствии, втолковали ему Мастера Убеждения из Главного Штаба Полиции, обладающие кое-какой сноровкой в задушевных беседах,

а также следственными машинами мощностью до нескольких тысяч трупсов. Выпады против полиции король встретил холодно и потребовал дальнейших объяснений; Советчик повел разговор о шифрах и кодах, сигналах и символах, об анаграммах и пермутациях и общей теории информации, да все мудренее и непонятнее, пока не вскипел король великим гневом и велел бросить его в темницу. Вскоре пришла открытка от Трурля следующего содержания:

«Милый Советчик! В случае чего помни о голубых винтиках.

Искренне Твой Трурль».

Советчик был немедленно пытан, но ни в чем не признался, повторяя упорно, что все это происки Трурля; а на вопрос о голубых винтиках отвечал, что таких нет и он о них ничего не знает. Но дабы исследовать все досконально, надлежало его разобрать; Мандрильон дал на это согласие, и за дело взялись кузнецы. Панцирь лопнул под ударами молотов, и королю предъявили покрытые смазкой винтики, на коих действительно имелись голубые пятнышки. И хотя в процессе добывания доказательств Советчик подвергся полному разрушению, король успокоился, уверившись в своей правоте.

Неделю спустя сам Трурль появился у ворот замка и потребовал аудиенции. Король хотел было казнить его без разговоров, но, поразившись столь беспримерной наглости, велел доставить конструктора пред свои очи.

— Король! — начал тот, едва лишь войдя в тронный зал, где толпились придворные. — Я изготовил тебе Совершенного Советчика; ты же употребил его, чтобы лишить меня обещанной платы, полагая, не без резона, что могущество разума, предоставленного мною к твоим услугам, послужит надежным щитом против всякой угрозы и пресечет любую попытку отмщения. Но разумным я сделал Советчика, а не тебя самого, и в этом-то и был мой расчет; ибо лишь тот, кто сам хоть немного разумен, способен слушаться разумных советов. Премудрым, ученым, утонченным способом я не мог сокрушить Советчика и потому избрал способ грубый до невозможности и до смешного глупый. Письма не были зашифрованы; Советчик был верен тебе до конца; о винтиках, погубивших его, он ничего не знал. Просто при монтаже я случайно уронил их в жестянку с краской и случайно — но в самую пору — об этом вспомнил. Так-то вот глупость и подозрительность превозмогли разум и предан-

ность, и ты сам подписал свой приговор. Теперь ты отдашь мне сто мешков золота за работу и столько же — за время, которое я потерял, чтобы взыскать плату. Иначе погибнешь ты и все твои царедворцы, ведь рядом с тобой уже нет Советчика, что мог бы тебя защитить!

Король взревел в ярости, и стража по его знаку бросилась, чтобы на месте зарубить наглеца, но алебарды, со свистом рассекая воздух, прошли сквозь конструктора, как если бы тот был бесплотным. Отпрянули пораженные ужасом палачи, а Трурль, рассмеявшись, сказал:

— Рубите, сколько хотите, — перед вами всего лишь призрак, сотворенный дистанционно; на самом же деле я витаю высоко над планетой в небесной ладье и буду швырять с нее смертоносные фугасы до тех пор, пока не получу своего.

И не успел он докончить, как послышался страшный грохот, и взрыв потряс замок до основания; оробевшие придворные кинулись врассыпную, король же, слабея от бешенства и унижения, велел выплатить Трурлю все его золото.

Клапауций, узнав о таком завершении дела, и притом от самого Трурля, когда тот воротился домой, спросил, почему он прибегнул к столь

грубому и — как он сам говорил — глупому способу, если мог отправить письмо с настоящим шифром?

— Потому что легче Советчику было бы объяснить королю присутствие шифра, нежели отсутствие такового, — ответил мудрый конструктор. — Всегда проще признаться в каком-то поступке, чем доказать свою непричастность к нему. Так и здесь: зашифрованное письмо никого бы не удивило, а отсутствие шифра всех озадачило. Ведь перестановками любой текст и вправду легко переделать в совершенно иной, называемый анаграммой, и таких анаграмм может быть великое множество. Чтобы это понять, нужны объяснения — правдивые, но запутанные, которых, я был уверен, ограниченный ум короля не вместит. Некогда было сказано: чтобы перевернуть планету, достаточно вне ее отыскать точку опоры; так и я, желая повергнуть разум, во всем совершенный, нуждался в точке опоры — ею мне послужила глупость.

На этом первая машина окончила свой рассказ, низко Поклонилась Гениалону и слушателям и скромно удалилась в угол пещеры.

Король удостоил похвалы историю столь назидательную и спросил Трурля:

— Верно ли, о конструктор, что машина рассказывает лишь то, чему ты ее научил? Или источник ее познаний находится вне тебя? И еще осмелюсь заметить, что хотя история, нами услышанная, поучительна и мила, однако кажется не вполне законченной, ибо мы ничего не узнали о дальнейшей судьбе множественников и глупого их короля.

— Государь, — отвечал Трурль, — машина рассказывает правду, поскольку, прежде чем прибыть сюда, я приставил ее к своей голове и оттуда она почерпнула толику моих воспоминаний. Но сделала она это сама, поэтому я не знаю, что именно из моей памяти она позаимствовала; значит, нельзя сказать, что я намеренно чему-то ее научил, но нельзя и сказать, что источник ее познаний находится вне меня. Что же до множественников, то и впрямь в рассказе умалчивается об их дальнейшей судьбе, ибо рассказать можно все, но не все — упорядочить. Если бы то, что происходит здесь в эту минуту, было бы не реальностью, но лишь рассказом следующей ступени, который включает в себя рассказ машины, то какой-нибудь слушатель мог бы спросить, отчего ты и твои товарищи шаровидны — хотя шаровидность эта ничему в рассказе не служит, а значит,

вроде бы совершенно излишня…

Подивились сметливости конструктора королевские сотоварищи, а сам король сказал с широкой улыбкой:

— Слова твои не лишены оснований. Но что касается нашей формы, то ее происхождение я могу объяснить. Давным-давно мы — то есть наши пращуры — выглядели иначе, ибо возникли они по воле тряских существ, именуемых также бледными, что построили их по образу своему и подобию; и были у них руки, ноги, головы, а также корпус, все это связывавший воедино. Но, освободившись от бледных творцов и желая даже в обличье своем уничтожить следы такового происхождения, наши предки поколение за поколением преображала себя, пока не приняли форму шара; и к лучшему ли, к худшему ли, однако случилось именно так.

— Государь, — молвил Трурль, — с конструкторской точки зрения шаровидность имеет как хорошие стороны, так и дурные; но со всех иных точек зрения лучше, если» разумное существо не может себя переделывать; такая свобода — истинное мучение. Ведь тот, кто вынужден оставаться таким, каков есть, может винить судьбу, переменить которую ему не дано; тому же, кто волен

себя изменять, уже некого винить за свою ущербность, и, если ему плохо с самим собою, ответа за это никто не несет, кроме него самого. Но, государь, не для того я прибыл, чтобы читать тебе общую теорию самоконструирования, а чтобы испробовать мои машины-рассказчицы. Угодно ли тебе выслушать следующую?

Король согласился; сотрапезники, пригубив из амфор с отборнейшим ионным отваром, уселись удобнее, а вторая машина приблизилась к ним, отвесила королю учтивый поклон и молвила:

— Великий государь! Послушай историю со вставными историями о Трурле-конструкторе и приключеньях его удивительно нелинейных!

Однажды Великий Конструктор Трурль был вызван к царю Душидаву Третьему, Властелину Железии, который желал дознаться, как достичь совершенства и какие потребны для этого переделки духа и тела. А Трурль ему так отвечал:

— Случилось мне посетить планету Легарию; остановившись, по обычаю своему, на постоялом дворе, решил я до тех пор не покидать своего покоя, пока досконально не ознакомлюсь с историей легарийцев и их обычаями. Стояла зима, на дворе завывала вьюга, и в мрачной хоромине, кроме меня, никого не было; как вдруг послы-

шался стук в ворота. Выглянув в окошко, я увидел четверых мужей в капюшонах, сгибавшихся под тяжестью черных саквояжей. Выгрузив саквояжи из бронированной брички, они вошли в дом. Назавтра, около полудня, из соседнего покоя донеслись до меня престранные звуки: свист, удары молота, стоны, дребезг стеклянной посуды, и все это перекрывал мощный бас, восклицавший без устали и перерыва:

— Живей, чада мести! Живее! Вытягивать элементы сквозь ситечко, да поровнее! А теперь в воронку его! И вальцевать! Дайте-ка мне этого сукина кибера, бронегада, заржавца, вредороба, в смерти запрятанного! И в могиле не скроется он от праведного нашего гнева! Дайте-ка сюда его мозговину премерзкую, ходули его проклятые, а теперь вытягивайте носище! Дальше, дальше, ровно тянуть, чтобы было за что ухватить при экзекуции! Дуньте-ка в правый мех, молодцы-удальцы! В тиски его, а теперь медный лбище его заклепать! И еще разочек! Ладненько, ох, ладненько! Эй, поживее там со своим молотом! Ну-ка! Да посильней нервные струны натяните, чтобы не отдал он концы так скоро, как тот, вчерашний!! Пусть отведает вволю мучений и мести нашей! Ну-ка! Ухнем! Э-эх!

Так он покрикивал, вопил и рычал, а ответствовали ему лишь грохот, да лязг, да гуденье мехов, а потом вдруг я услышал чиханье и громкий торжествующий рык четырех глоток; какое-то тормошенье послышалось за стеной, скрипнула дверь; заглянув в щелку, я увидел, что в коридор украдкой входят приезжие незнакомцы, и, не веря своим глазам, насчитал уже пятерых. Они спустились по лестнице, заперлись в погребе и оставались там долго, а вечером вернулись к себе — вчетвером, как прежде, и было за стеною так тихо, словно их посетила смерть. Я снова взялся за книги, но история эта застряла во мне занозой, и я решил во что бы то ни стало ее разгадать. Назавтра, в ту же самую пору, в полдень, опять загремели молоты, загудели мехи и раздался все тот же ужасный, надорванный бас:

— Ну-ка, чада мести! Поживей, электристы мои удалые! Пошевеливайся! Досыпать ему протонов и йодику! Поскорей управляйтесь с этим косорыльником, лжемудрецом, омерзистом и разодранцем, с этим вечностным лиходельником, дабы мог я ухватиться за носище его громадный, и тянуть, и топтать его до скоропостижной медленной смерти! Дуйте-ка хорошенько в мехи!

Снова раздались чиханье и визг, заглушенные,

очевидно, силой, и снова вышли они на цыпочках из покоя, и опять насчитал я пятерых незнакомцев, спускавшихся в погреб, и четверых, когда они возвращались назад. Поняв, что только там и возможно разгадать эту тайну, я вооружился лазерным пистолетом и на рассвете сошел в подвал; не нашедши там ничего, кроме обугленных и покореженных железок, я спрятался в самом темном углу, прикрывшись пучком соломы; так я сидел на страже, пока наконец около полудня не раздался уже знакомый мне грохот и крики; вскоре дверь распахнулась и четверо легарийцев втащили пятого, опутанного веревками.

На нем был старинного фасона кафтан — малиновый, с выпушным воротом, и шляпа с плюмажем; сам же он был щекаст и имел преогромнейший нос, а губы его, искривленные страхом, что-то без устали бормотали. Запершись на засов, легарийцы по сигналу самого рослого из них сорвали с узника путы и принялись немилосердно его охаживать куда ни попадя, крича наперебой:

— Вот тебе за прорицание счастья! Вот тебе за грядущее совершенство! А это за лютики бытия! И за розовые цветочки! И за всесветные васильки! И за братанье альтруистическое! И за романтику

духа!

И уж били они его, и дубасили так, что быть бы ему забиту до смерти, если б не высунул я из-под соломы лазерный ствол и тем присутствия своего не выдал. Тут они отступились от жертвы, а я спросил, чего ради так истязается незнакомец, который ни на разбойника, ни на голодранца пригульного не похож, ибо по вороту выпушному и малиновости кафтанной видно, что это как-никак особа ученая. Они поначалу смешались и тоскливо поглядывали на оружие свое, оставленное у двери; когда же я грозно нацелил на них пистоль, от умыслов своих отказались и, потолкав друг друга локтями, упросили того, высокого, самого из них басовитого, ответить за всех.

— Знай же, пришелец неведомый, — обратился он ко мне, — что пред тобою здесь не садистики, не тиранисты или иные дегенераторы племени роботного; и хоть место, какое являет сия темница, малопочтенно, то, что в нем происходит, прекрасно и похвально во всех отношениях!

— Прекрасно и похвально! — не выдержал я. — Что ты мне, сударь, рассказываешь, легариец негодный? Я же своими глазами видел, как вы, накинувшись на оного малиновца вчетвером, насмерть его хотели забить! Аж таки масло прыс-

кало из ваших суставов от ударов тяжелых! И это вы смеете называть прекрасным?

— Ежели Ваша Чужеземная Милость, — ответил мне бас, — будет все время перебивать, то ничего не узнает, а потому нижайше прошу язык придержать собачкой, а рот закрыть на замок, иначе я сказывать перестану. Знай, что пред тобою первейшие физикусы, славные кибернеры, электристы, словом, усердные и смышленые ученики мои, которым по уму нет равных во всей Легарии; сам же я профессор обеих материй противоположного знака, создатель всемогуторной воскресистики, Вендеттий Ульторик Аминиус, а сие означает, что имя, фамилию, прозвище и прочее свое достоянье я отмщению посвятил. Вместе с верными учениками окончу я жизнь, мстя за позор и страдания легарийцев мерзистому сквернолюбу по имени, проклятому навеки, Малапуций, он же Малапуциус Хавос, что ползает тут в кафтане малиновом; ибо он непутево и гнусно огоремычил всех легарийцев — преднамеренно, вконец и навеки, искошмарил их, замудрил, ухайдокал, скопытил, а сам, от суровой спасаясь расплаты, укрылся в могильнике, хитромысленно полагая, будто там ничья десница его уже не настигнет!

— Отнюдь, Ваша Неведомая Пресветлость! Я это все ненароком! Я нечаянно, ибо все иначе должно было быть!.. — застонал, не поднимаясь с колен, носач в малиновом платье.

Я слушал и смотрел, ничего не понимая, а бас продолжал свое:

— Вармоганций, любимчик ты мой, по лбу влепи горлопану губастому!

И верный его ученик немедля сие исполнил, аж гул пошел по подвалу. Я на это:

— До окончательного выяснения — битье, а равно всякое иное истязательство строжайше, под угрозой применения оружия, запрещаю, а ты, профессор Ульторик Вендецкий, говори, что хотел сказать!

Профессор крякнул, поморщился и, наконец, промолвил:

— Чтобы понять, о чужеземный пришелец, что и как к великой беде привело и почему мы вчетвером, от жизни мирской отрекшись, основали орден воскресенцев-молотобойцев, дабы жизни своей остаток посвятить наслаждению местью, надобно поведать тебе в немногих словах нашу историю от сотворения мира…

— А нельзя ли с несколько более позднего времени? — спросил я, опасаясь, как бы не занемела

рука под тяжестью лазерного ствола.

— Никак невозможно, Ваша Чужеземность! Так что слушай, да повнимательнее… В народе, ты знаешь, сказывают о каких-то бледнотиках, которые роботный род в ретортах состряпали, однако просвещенным умам известно, что все это ложь, несусветнейший миф… Ибо на самом деле в Начале был только Мрак Темнющий, во Мраке же — Магнетичность, что атомы раскручивала; вращаясь, ударялся атом об атом, и возник Пра-Ток, а с ним и Первая Светлость… а после звезды зажглись, планеты остыли, и в их нутре завелись Прамашиночки-крохотульки, а из них Прамашинки, а из них, от дуновения Святой Статистики, Протомашины. Считать они еще не умели, только и знали, что дважды два, а дальше — ни бе ни ме, но потом, благодаря Естественной Эволюции, кое-как наловчились пятое через десятое, и зародились из них Мультистаты и Омнистаты, а от тех родился Питекантробот, а от него уже и праотец наш, Автоматус Сапиенс…

После были роботы пещерные, затем пастушеские, а когда они расплодились, выросли государства. Древние роботы добывали животворное электричество тяжким трудом, вручную, путем потирания. Каждый сеньор имел дружину

вассалов, а те — крепостных, и потирали все друг дружку иерархически, от социальных низов до верхних слоев, по мере сил. И пришла на смену ручному труду машина, когда Козлонн Симфилийский выдумал потиралку, а Черпак из Парезии — еще и прутик для уловления молний. Так началась батарейная эра, бедственная для тех, кто собственной недвижимости аккумуляторной не имел и зависел целиком от небес: без батарей невозможно было тучи грозовые доить, и в ведро ватт за ваттом приходилось собирать подаянием. Тяжко тогда жилося, ибо, ежели кто переставал потирать себя либо тучи выдаивать, бесславно гибнул от истощения тока. И объявился тогда мудрила родом из пекла, комбинатор-интеллектуал-улучшатель, которому смолоду — не иначе как из-за происков дьявола — никто башку не разгрохал на мелкие части, и принялся оный толковать и втолковывать, что завещанные от дедов параллельные способы электрического соединения никуда не годятся и соединяться нужно по новым схемам его, то бишь шеренгою. Дескать, если в шеренге один потрется, то вмиг зарядит всех прочих, даже и самых дальних, и станет каждый робот изобиловать током вплоть до верхних пробок в носу. И столь прельститель-

ные рисовал он планы, и такой электрай обещал, что прежние контуры, независимые и параллельные, отключили, а Хавосову электротехнику внедрили в быт…

Тут профессор многократно ударился головою о стену, после чего, повращав глазами, продолжал говорить, а я постиг, отчего это столько неровностей на челе его, шишковатости просто необычайной.

— И вышло так, что каждый второй заваливался под стол, рассуждая: «Чего это ради мне потираться? Пусть сосед потирается, то ж на то ж и выйдет». А сосед то же самое, только наоборот, и напряжение упало настолько, что пришлось понаставить на каждом шагу неусыпных смотрителей, а над ними обер-смотрителей. И пришел тогда ученик Малапуция, Целезий Погрешник, и учил, что надобно не себя, но ближнего своего потирать, а за ним Фафуций Альтруциус с идеей бивальцев-страдальцев, а после него Шавкалий Прижимистый, насаждавший курсы и клубы массажа, а вскорости новый теоретик электрический объявился, Гаргазон Недомерик, — дескать, лучше бы тучи не доить силою, но щекотать их слегка, по-хорошему, пока не дадут тока, а следом Грохотоний из Лейдена, а потом Фистулюб

Никакойский, восхвалявший самотеры, именуемые еще натирателями или втирателями, а также Мордослав Будеянин, который кроме битья проповедовал потирание чего ни попадя, хотя бы и силой. Из-за такого несходства мнений произошли меж ними раздоры, из раздоров — проклятья, из проклятий — кощунства, а из кощунств — побитие Фареуса Пурдефлякса, цесаревича жестянцев; так разгорелась на Легарии война между купритами из племени меднолюдов и империей хладнопрокатов, и воевали они тридцать и восемь лет, а после еще двенадцать, ибо под конец средь развалин нельзя уже было понять, чья взяла, и пришлось им сразиться сначала. А виновник всех этих пожаров, погостов, повального безамперья, деваттизации, крайнего падения жизненной мощности и прочих, как говорят в народе, «малапакостей» — вот этот проклятый мерзатор, родом из преисподней, со вредными идейками его!!!

— Намеренья имел я благие!! Клянусь, Ваша Лазерность! Ко всеобщему счастью ум напрягал, во спасенье! — завизжал, на коленях стоя, Малапуций, а носище его подрагивал.

Но профессор лишь долбанул его по лбу с размаху и продолжал:

— Случилось все это два и четверть столетья назад. Как ты, верно, догадываешься, задолго до Великой Легарийской Войны и всеобщей разрухи Малапуций Хавос, наплодив целую тучу трактатов, в коих лживые россказни свои ядовито разбрызгивал, скончался, собою совершенно довольный, мало того, восхищенный, ибо в завещании объявил, что надеется на титул Окончательного Благодетеля Легарии. Так что, когда пришла пора посчитаться за все, не с кем было уже тяжбу вести, некому выставлять счет, не с кого было жесть полосами сдирать. Однако же я, Ваша Чужеземность, создав Теорию Дублизации, до тех пор изучал Малапуциевы сочинения, пока не экстрагировал из них его алгоритм; а алгоритм, введенный в машинку, именуемую Рекреатор Атомариус, сиречь Атомный Восстановитель, изготовляет ex atomis oriundum — gemellum [3] какой угодно особы, в данном же случае — Малапуция Хавоса. Именно это и делаем мы и ежевечерне в оном подвале суд над Хавосом чиним, а, загнав его в гроб, наутро снова мстим за народ наш, и будет так до скончания века!!!

Охваченный ужасом, я ему немедля так от-

---

**3 notes: 3**
происходящего из атомов двойника (лат.)

вечал:

— Не иначе как вы, милостивые государи, вовсе лишились ума, ежели полагаете, будто сей обыватель, сей дух из машины, коего вы, как я понял, ежевечерне изготовляете из атомов холодной прокаткой, должен отвечать за деяния — неважно какие — ученого, умершего бесповоротно три столетья назад!

А профессор на это:

— Так кто же этот накарачник носатый, коль скоро он сам себя Малапуцием Хавосом именует?.. Как тебя звать, плеяда гадюшная?

— Ма… Малапуций… Ха…вос, Ваша Беспощадность… — пролепетал носатый.

— И все-таки он не тот же самый, — настаивал я.

— Как это — не тот же самый?

— Да ты ведь, почтенный профессор, сам мне сказал, что того уже нет в живых!

— А мы его воскресили!

— Другого, двойнягу, дублиста; похожего, но не тождественного!

— Докажи, ваша милость!

— Не буду ничего доказывать, — отвечал я на это, — ибо в руках у меня лазерный ствол, а сверх того я отлично знаю, почтенные уче-

ные, что дискуссия на эту тему таит немало опасностей, поскольку нетождественность тождественного recreatio ex atomis individui modo algorytmico [4] есть знаменитый Антиномический Парадокс, или Labyrintum Lemianum [5], описанный в трудах сего филороба, именуемого также Advocatus Laboratoris [6]. А потому безо всяких дискуссий, но под лазерным дулом немедля отпустите на волю этого носача и даже мыслить не смейте о прежнем рецидивном тиранстве!!!

— Благодарю, Ваша Великодушность!! — закричал малиновокафтанник, подымаясь с колен. — Вот здесь, — он похлопал себя по оттопыренному карману, — лежат новые формулы и чертежи, при помощи коих уже безусловно и безукоризненно можно раифицировать легарийцев; это — схема заднего сопряженья, а отнюдь не сопряженья шеренгою, как случилось мне написать три столетья назад из-за случайной ошибки в расчетах!! Немедля бегу воплощать великое открытие в жизнь!!

---

**4 notes: 4**
восстановления индивида из атомов по алгоритму (лат.)

**5 notes: 5**
лабиринт Лема (лат.)

**6 notes: 6**
адвокат лаборатории (лат.)

И точно, он уже брался за ручку двери на глазах у нас всех, застывших от удивления. Тогда отпустил я онемевшую длань и, отворотив взор, сказал профессору:

— Снимаю возраженья свои — делай, сударь, что должно…

С тихим урчаньем все четверо вскочили, насели на Малапуция, связали его и до тех пор им занимались, пока его на свете не стало.

Они же, переведя дух, кафтанчики на себе одернули, поправили надорванные перевязи, холодно поклонились мне и вышли гуськом из подвала, оставив меня одного с лазерной тяжелой пистолью в дрожащей руке, переполняемого удивлением и меланхолией.

Такую вот поучительную историю рассказал в назиданье царю Душидаву с Железии вызванный им конструктор Трурль. Монарх, однако, требовал дальнейших пояснений относительно нелинейного усовершенствования бытия, и Трурль сказал ему:

— Будучи на планете Цимбалии, наблюдал я последствия действий, имеющих целью всеобщее совершенство. Цимбалы издавна присвоили себе иное название, а именно гедофагов, или счастьеедов, а сокращенно и попросту — счастников.

Когда я к ним прибыл, была в расцвете Эпоха Множеств. Каждый цимбал, то бишь счастник, в личном дворце восседал, который воздвигла для него автоматка (так они именуют рабынь своих дивноматричных), маслом умащенный, ладаном одурманенный, электрически ублажаемый, златом-серебром осыпаемый, в самоцветах купаясь, в парчу облачаясь, а дукаты звенят, музыканты трубят, стража на лестнице, в гареме — прелестницы; однако при всем том вид он имел не вполне довольный и даже словно бы мрачный — а ведь всего через край! На планете уже отмирало яческое «ся», ибо никто не прогуливался, не подзаряжался из лейденской фляжки, не любился, не веселился, но Прогулятор его прогуливал, Питалка током питала, Развлекалка развлекала, и даже улыбнуться не мог он, поскольку для этого имелся особый автомат. Вот так, во всех абсолютно делах машинами выручаемый и замещаемый, осыпанный гуриями и орденами, которыми услужливые автоматки снабжали и награждали его в количестве от пяти до пятнадцати штук в минуту, осажденный золотым муравейником машиночек и машинят, которые его окуривали да массировали, в очи сладко заглядывали, в уши нежно мурлыкали,

под колени брали, в ноги падали и без устали целовали куда ни придется, — слонялся в одиночестве счастник, он же гедофаг, он же цимбал, а вдали, заслоняя собой горизонт, гудели наимощнейшие фабрикарни, что работают там денно и нощно, выбрасывая один за другим троны златые, ласкалочки на цепочке, жемчуговые пантофли и подбородки, яблоки, скипетры, эполеты, кареты, шпинели, свирели, виолончели и миллионы прочих диковин и причиндалов для ублажения. Всю дорогу я отбивался от машин, предлагающих свои услуги, а самых нахальных охаживал по лбу и по корпусу, до того они рвались услужать; наконец, убегая от целой их стаи, очутился в горах и увидел ораву златокованых машин, осаждавших вход в пещеру, заваленный валуном; сквозь щелку глядели глаза какого-то цимбала, который укрылся здесь от всеобщего счастья. Завидя меня, машины тотчас принялись персону мою обмахивать да поглаживать, на ухо сказки нашептывать, руки целовать, троны предлагать, и спасся я лишь потому, что пещерный беглец булыжник отодвинул и милосердно пустил меня внутрь. Отшельник наполовину проржавел, но очень был этому рад и сказал, что он — последний мудрец-цимбалист; излишне было объяснять

мне, что благоденствие хуже нужды допекает, ежели через край; это я и сам понимал: ведь что можно, ежели все можно? И как выбирать, если разумное существо, окруженное сущими безднами эдемов, при такой безвыборности тупеет, вконец угорев от самодействующего исполненья мечтаний? Я разговорился с пещерным мудрецом, коего звали Тризувий Ювенальский, и мы порешили, что потребны великие закрытия и Онтологический Ухудшессор-Регрессор, иначе недалеко до погибели. Тризувий давно уже разрабатывал усложнистику, то есть утруднение бытия; однако мне пришлось разъяснить ему его ошибку, которая в том заключалась, что он хотел извести машины другими машинами, а именно: пожиралками, терзаторами, мучильнями, сокрушильниками, вырваторами и биялнями. Лекарство оказалось бы хуже болезни, к тому же это было бы упрощенство, а не усложнистика; история, как известно, необратима, и нет иного пути в добрые старые времена, как только через грезы и сны.

Потом мы пошли с ним по огромной равнине, усыпанной до горизонта дукатами, так что в золоте вязли ноги, и, отгоняя прутом тучи назойливых ублажилок, видели по сторонам бесчувственно

валяющихся по причине электрозапоя, вконец заласканных цимбалов-гедофагов, которые лишь тихонько икали, и при виде такового развития больно уж развитого и избытка слишком избыточного душа изнывала от жалости и сострадань я. Другие обитатели автодворцов ударились в шальные чудачества и киберраздоры, травили машины машинами, самолично крушили драгоценные вазы и прочие древности, не в силах выдержать такого количества красоты, палили из пушек в брильянты, гильотинировали сережки, диадемы велели колесовать; третьи прятались от услаждения жизни на крышах и чердаках; четвертые велели машинам биться — или же все это сразу либо попеременно. Но не было от этого проку — все они гибли от ласк, хотя и не все одинаково. Я отговаривал Тризувия от намерения просто остановить фабрикарни: ведь недосластить ничуть не лучше, чем пересластить; но он, вместо того чтобы подзаняться онтологической усложнистикой, начал взрывать автоматки. И тем причинил немалое зло, ибо вскоре горькая воцарилась нужда, только он до нее не дожил: где-то настигла его стая самолюбок, присосались к нему флиртушки и обольстилки, завлекли в целовальню, заморочили лобызалками, опутали

и задурили его, и с криком «На помощь!» погиб он от переублажения, и остался лежать на пустынной равнине, дукатами, как землею могильной, засыпанный, в куцых доспехах своих, опаленных механической страстью. Вот чем кончил мудрец, недостаточно мудрый, о государь! — закончил Трурль. Но так как и эта история отнюдь не насытила Душидава, спросил: — Чего же, скажите на милость, желает Ваше Величество?

— Конструктор! — отвечал Душидав. — Ты говоришь, что истории твои поучительны, хотя я этого не нахожу. Но они, несомненно, забавны, и потому мне угодно, чтобы ты продолжал их рассказывать, и притом неустанно.

— Государь! — сказал ему Трурль. — Ты хотел узнать, что такое совершенство и как оно достигается, однако ты глух к глубоким мыслям и поучениям, укрытым в моих рассказах. Поистине, не поучений ты ищешь, а развлеченья; и все же слова, которые я вливаю по капле в твой ум, оказывают и будут оказывать надлежащее действие, подобно мине с часовым механизмом. В такой надежде позволь поведать тебе о происшествии почти что истинном, запутанном, необычайном, урок из которого извлечет, быть может, и твой королевский совет.

Послушайте, милостивые государи, историю о Ширинчике, короле кембров, девтонов и недоготов, которого похоть до гибели довела!

Происходил Ширинчик из великого рода Винтонов, на две разделенного ветви: правых, кои царствовали, и левых, именуемых также левовращенцами, кои от власти были отстранены и питали ненависть к правящим. Родитель его, Холерион, вступил в морганатический брак с простой сапожной машиной, что подошвы к голенищам пристрачивала, и унаследовал Ширинчик от матери грубый, невоздержанный нрав, от отца же — робость пополам с любострастием. Видя это, враги престола, левовращенцы, замыслили так учинить, чтобы собственные вожделенья сгубили его, и послали к нему кибернера по имени Хитриан, занимавшегося инженерией душ, и так его король возлюбил, что сделал Коронным Архимудритом. На все лады Хитриан многоумный государевым страстям потакал, в тайной надежде здоровье короля подорвать и ослабить и трон тем самым освободить: смастерил миловальню, эротодром, в киборгии его вовлекал; но стальная натура монаршья выдержала все непотребства, и в нетерпенье потребовали левые винтоны от своего подосланца, чтобы тот поскорее добился

желанной цели при помощи метода, искуснейшего изо всех, которые знает.

— Значит ли это, — спросил он на тайном совете в замковых подземельях,

— что надобно довести короля до короткого замыкания или же память его размагнитить, чтобы он ополоумел вконец?

— Ни за что! — отвечали они. — Да не ляжет на нас вина за смерть короля; пусть удавится Ширинчик собственным блудом, пусть собственная похоть его сожрет и погубит, но не мы!

— Хорошо, — отвечает им Хитриан, — тогда я поставлю на него силки, сплетенные из сновидений; сперва завлеку короля приманкой: схватив ее, он войдет во вкус и сам затоскует по грезам безумным, а когда заберется подальше в сны, во снах затаившиеся, я опутаю его эрототенетами, да так, что к яви ему не вернуться живым!

— Ладно, ладно, — говорят они, — не хвались, кибернер, не слова нам нужны, но дела; да станет Ширинчик цареубийцею — погубителем себя самого!

И взялся кибернер Хитриан за это ужасное дело, и трудился он целый год, требуя от государева казначея все новых слитков золота, и меди, и платины, и прочих драгоценностей без числа; а

когда король выражал нетерпение, повторял ему, что делает нечто такое, чего уж точно нет ни у одного монарха на свете!

Год спустя с торжественностью необычайной вынесли из кибернерской лаборатории три огромных шкафа, поскольку же в двери личных его величества апартаментов они не прошли, пришлось их поставить в передней. Заслышав топот носильщиков и грохот, Ширинчик вышел в переднюю и увидел у стен прегромаднейшие шкафы, снабженные замками, выложенные самоцветами, в четыре сажени высотой и в две — шириной. Первый шкаф, называемый также Белым Ящиком, был из жемчужных матриц и албитами сверкающими изукрашен; второй, черный как ночь, был усыпан агатами и морионами; а третий красным переливался, ибо сработан был из рубинов и шпинелей. У каждого имелись ножки в виде крылатых грифов из чистого золота и полированные дверцы, а в середке — электронная начинка со сновидениями, что снились сами себе, ни в участниках, ни в соглядатаях не нуждаясь. Немало подивился король Ширинчик, такие объяснения услышав, и вскричал:

— Что ты мне тут плетешь, Хитриан?! На кой черт шкафам сновидения? Что за польза от этого

мне? И вообще, откуда известно, снится им что-нибудь или нет?

Тогда Хитриан, поклонившись смиренно, показал ему ряды дырочек на дверцах шкафов, бегущих сверху вниз, с надписями на жемчужных табличках, и король не без удивления начал читать.

«Военный сон с фортециями и дамами». — «Сон о любонаде чудесном». — «Сон о Флиртане-рыцаре и Рамолинде прекрасной, Гетериковой дочери». — «Сон о кибермаринах и кимаринадах». — «Ложе королевны Гопсалии». — «Лапушка, или Орудие на курьих лапках». — «Сальто эротале, или Амуристическая акробатика». — «Чудный сон в осьмируких объятиях сладостной Октопины». — «Перпетуум аморобиле». — «На месяце новом едят пирожки с оловом». — «Завтрак с музыкой и девицами». — «Как солнышко подамперить, чтобы лучше грело». — «Брачная ночь принцессы Нелепы». — «Сон о шипе в сапогах». — «О кошечках-душечках». — «О-ля-ля». — «Киборгии фруктовые, сиречь кибергрушки воркующие, из цикуты компот и оливки-похотливки». — «Как матрица с патрицей миловались». — «Не сон, а объеденье — лакомый, гуляшный, с клубничкою». — «Мона Лиза, или Лабиринт сладостной

бесконечности».

Перешел король ко второму шкафу и прочел:

«Полудремы и сны-игры». А дальше: «В висельника и висюльку». — «В соленое с перчиком». — «В Клопштока и критиков». — «В девицу-звери-цу». — «В морду». — «В одеяло с глазком». — «В созерцаплю». — «В морду еще раз».

— «В почку моченую и мочку печеную». — «В катотехнику, или В головорубку и головорез-ку». — «В чертыханца». — «В киборгиню». — «В заливанье шаров и наливание глаз». — «В кибаядерку». — «В кибернера и кибернантку». — «В гаремные ристалища».

Хитриан, инженер душ, тут же пояснил, что каждый сон сам себе снится лишь до тех пор, пока кто-нибудь не воткнет свою вилку, приделанную к цепочке карманных часов, в две соответствен-ных дырочки; тем самым он подключается к шкафному сну, да так превосходно, что сон пе-реживается, словно явь, зримо и ощутимо, — ну просто не отличить. Разобрало короля любопыт-ство, взял он цепочку с вилкой и воткнул ее в дырочки Белого Шкафа, под надписью: «Завтрак с музыкой и девицами». И едва подключился, как чует, что спина его колючками ощетинивается и громадные крылья выклевываются из нее,

руки-ноги разрастаются в лапищи, когтистые и разношенные, а из пасти, в шесть рядов клыками утыканной, вырывается пламя и серный дым. Весьма удивился король и хотел было кашлянуть, но из глотки его прокатился рык громовый, от которого земля задрожала. Еще сильнее он удивился, глаза пошире раскрыл, рассеял тьму дыханием пламенным и видит, что прямо к нему в паланкинах зеленовато-салатных, с занавесочками, несут девиц, по четыре в каждом, да таких аппетитных, что слюнки текут. А стол уж накрыт, тут перец, там соль, облизнулся он, уселся удобнее и принялся оных девиц поочередно из паланкинов вылускивать словно орешки, так что от удовольствия туманило взор, последняя же девица попалась такая рослая, такая ладная, что король аж причмокнул, по брюху себя погладил и хотел попросить добавки, но перед глазами мелькнуло, и он проснулся. Смотрит — стоит он, как и прежде, в дворцовой передней, рядом Архимудрит Хитриан, а перед ним самоснящиеся шкафы сверкают драгоценным каменьем.

— Ну что, удались девицы? — спрашивает Хитриан.

— Пожалуй, но где же музыка?

— Куранты в шкафу заело! Не угодно ли Ва-

шему Величеству иного лакомого сновиденья отведать?

Королю, понятно, было угодно, только из другого шкафа, а потому подошел он к Черному и подключился ко сну под названием «О Флиртане-рыцаре и Рамолинде прекрасной, Гетериковой дочери».

Смотрит — и видит, что на дворе эпоха романтическо-электрическая, а сам он, закованный в сталь с головы до пят, стоит в березовой роще, перед ним дракон, давеча побежденный, а дальше шелестят деревца, зефир прохладою веет и речка течет. Присмотрелся он к своему отраженью в воде и понял, что он-то и есть Флиртан, высокого напряжения рыцарь, герой несравненный. Вся история Флиртановых подвигов запечатлена на доспехах, и помнил он ее не хуже, чем собственную. Задвижку на шлеме в предсмертных судорогах погнул Морбидор, флиртанически побежденный, подколеночные шарниры повредил Колотун Многобоец, заклепки наплечников обгрыз перед самой кончиной Лягайло Мордавый, решетку на последнем издыхании помял Монстериций Блудон; скрепы, навески, стальные пластины, станина-хребтовина, налокотники и наколенники также были усеяны отметинами

бронесражений; глянул на щит, а тот весь в окалинах молниевых. Но сзади был он девственно гладок, ибо в рыцарских битвах Флиртан никому доселе спины не показывал! Впрочем, сказать по правде, это не слишком его волновало, от подобной славы было ему ни жарко ни холодно; однако, вспомнив о Рамолинде, сел Флиртан на коня и ну искать ее по всему сновидению. Наконец добрался до укрепленного замка ее родителя, князя Гетерика, загремели под всадником балки разводного моста, а князь уже выходит, раскрыв объятья, чтобы встретить гостя и в дом свой ввести.

Не терпится рыцарю к Рамолинде, но сразу спросить неудобно, а старый князь между тем говорит, что в замке гостит чужеземный рыцарь, Винодур из рода Полимериков, фехтмейстер эластоподобный, который только о том и мечтает, чтобы попробовать счастья в поединке с самим Флиртаном. А вот и сам Винодур, гибкий и быстрый; идет прямо к нему и говорит:

— Знай, что возжелал я Рамолинду высоковольтную, со ртутными бедрами, с персями, коих даже алмаз не берет, с магнетическим взором! Тебе она предназначена, но я вызываю тебя на поединок смертельный, который покажет, кто из

нас обвенчается с нею!

И рукавицу бросает белую, нейлоновую.

— Свадьба сразу после турнира! — добавляет отец-князь.

— Пожалуйста, — отвечает Флиртан, а Ширинчик в нем думает: «После свадьбы возьму да и проснусь, подумаешь! Однако же черти принесли этого Винодура!»

— Значит, нынче же, доблестный рыцарь, — продолжает Гетерик, — сразишься ты с этим вот Винодуром Полимерическим; поединок при свете факелов, а теперь пожалуйте в замок!

Ширинчик во Флиртане встревожился, да что делать? И пошел он в покои, для него приготовленные, а минуту погодя раздается «тук-тук», и украдкой, бочком пробирается в дверь старуха кибородейка, подмигивает и держит такую речь:

— Рыцарь, не бойся ничего, добудешь ты прекрасную Рамолинду, и нынче же будет она качать твою голову на доне своем серебряном! О тебе лишь мечтает она ночью и днем! Помни только, что нападать надо смело; ничего не сделает тебе Винодур, ты победишь!

— Это все разговоры, любезная кибородейка, — отведает рыцарь, — а ежели что не так? Если я, для примера, поскользнусь или вовремя не

прикроюсь? Нельзя легкомысленно рисковать! Может, знаешь какие-нибудь верные чары?

— Хи-хи-хи! — захрипела старуха. — Где уж там, стальной господин! Чар никаких нету, а впрочем, тебе они ни к чему, ибо я наперед ведаю, что будет, и ручаюсь, что ты победишь как по маслу!

— А все же с чарами было б вернее, — говорит ей рыцарь, — особливо во сне, однако — послушай, уж не прислал ли тебя Хитриан, чтобы я крепче поверил в себя?

— Не знаю я никакого Хитриана, — отвечает кибородейка, — и не ведаю, о каком ты сне говоришь; ты наяву, стальной господин мой, и вскоре уверишься в этом, когда Рамолинда даст тебе уст своих магнетических отведать!

— Странно, — пробормотал Ширинчик, не замечая уже, что кибородейка покинула комнату так же тихо, как и вошла в нее. — Неужели это не сон? Так мне почему-то казалось. Она говорит, это явь. Гм, трудно решить; и все же осторожность надо удвоить!

А трубы уже трубят, уже слышен воинский топот, галереи замковые народом забиты, и все храбрецов ожидают; и идет на бой Флиртан, а колени у него подгибаются, видит, сколь сладостно поглядывает на него чудная Рамолинда, дочь

Гетерикова, но не до сладостности ему теперь! Ступил Винодур на замковый двор, освещенный факелами, и скрестились с лязгом мечи. Тут уж Ширинчик оробел не на шутку и решил любою ценою проснуться, силится изо всех сил, однако доспехи прочно его удерживают, сон не пускает — а враг теснит! Все быстрее звенят клинки; уже рука у Ширинчика онемела, как вдруг противник вскрикнул и сломанный меч показал; хотел уж рыцарь кинуться на него, но тот из круга утоптанного выбежал, оруженосцы другой ему меч подают, и в это мгновение видит Флиртан, что выходит к нему из толпы зевак старуха киберодейка и шепчет на ухо:

— Стальной господин мой! Как очутишься возле открытых ворот, что ведут на мост, Винодур опустит свой меч, а ты ударяй смело, ибо это верный знак победы твоей!

Шепнула, и нет ее, а противник бежит уже с новым мечом. Бьются они, Винодур словно цепом молотит, но вот ослабел он, все медленнее отражает удары, открылся, пришла предсказанная минута, однако же меч по-прежнему в руках у него сверкает и ужас наводит; тогда Ширинчик напрягся духом, подумал: «На кой мне сдалась Рамолинда и ее прелести!» — повернулся и стре-

канул в темноту ночную по разводному мосту, так что гудом перекладины загудели. Добежал он до леса, провожаемый криками и окликами срамными, и так врезался головой в ствол, что свечки в глазах засветились; моргнул и видит, что стоит в дворцовой передней, перед Черным сновидческим Шкафом, а рядом Хитриан, душ инженер, улыбается криво. За этой улыбкой великая крылась досада, ибо флиртаническо-рамолический сон был ловушкой, подстроенной королю; если б Ширинчик послушал старуху киберодейку, Винодур, который лишь притворялся ослабевшим у открытых ворот, вмиг пронзил бы его кинжалом насквозь, каковой опасности король избежал единственно по необычайной трусости.

— Сладко ли было Вашему Величеству с Рамолиндой? — спрашивает пройдоха.

— Куда там! Я оставил ее в покое: не столь уж она и прелестна! — отвечает Ширинчик. — К тому же там потасовка какая-то началась. Безбитвенных и безоружных желаю я снов, понятно?

— Как будет угодно Вашему Величеству, — говорит Хитриан. — Выбирайте же, государь; во всех шкафных сновиденьях одно лишь блаженство вас ожидает…

— Посмотрим, — молвил король и подклю-

чился ко сну под названием «Ложе королевны Гопсалии». И видит покои дивной красоты, убранные парчою. Сквозь хрустальные окна сияние льется, словно вода родниковая, а у жемчугового туалетного столика стоит королевна, позевывая и готовясь ко сну. Подивился Ширинчик такой картине и хотел уже громко кашлянуть, чтобы присутствие свое обозначить, но рот не раскрылся, словно заклеенный. Хочет король его потрогать, но не может и этого; попробовал ногой шевельнуть — тоже напрасно; оробел он, ищет глазами, где бы присесть, такая его охватила слабость от великого страху, — и это не получается. Меж тем королевна, сморенная сном, зевнула раз, и другой, и третий, да как бухнется на ложе, а Ширинчик весь затрещал, ибо он-то и был ложем королевны Гопсалии! Видать, девицу мучили тревожные сны, уж так ворочалась она, так шпыняла короля кулачками, так его ножками пинала; ужасный гнев охватил особу монаршью, сновидением обращенную в ложе. Боролся он со снящейся своею природой, напрягался вовсю, и наконец крепежные болты в нем ослабели, пазы разошлись, ножки разъехались ко всем четырем углам, королевна с визгом грохнулась на пол, а король, собственным распадом разбуженный, ви-

дит, что опять он в дворцовой передней, а рядом — смиренно склонившийся Хитриан-кибернер.

— Олух ты этакий! — крикнул король. — Что ты себе позволяешь, уродина? Виданное ли дело — чтобы я был ложем кому-то другому, а не себе! Ты забываешься, кибернер!

Испугался Хитриан государева гнева и просит другое сновиденье отведать, извиняясь за свой недосмотр, и до тех пор упрашивал, пока Ширинчик, от гнева охолонув, не взял двумя перстами вилку и подключился ко сну под названием: «Блаженство в осьмируких объятиях сладостной Октопины». Смотрит и видит: стоит он в толпе зевак на широкой площади, а мимо проходит кортеж

— сплошные шелка, да бархаты, да слоны заводные, да паланкины из кости слоновой; посредине плывет паланкин, часовне златоглавой подобный, а в нем, за восемью занавесками, создание дивное, пленяющее своим девичеством ангельским, с ликом блистающим, с галактическим взором, с серьгами высокочастотными, и дрожь пробрала короля, и хотел он уже спросить, что это за особа такая, знатности и красоты почти небесной, но не успел он и рта открыть, как слышит вокруг восхищенный шепот: «Октопина!

Октопина едет!»

И точно, это праздновалась, с блеском и пышностью небывалой, помолвка дочери королевской со Сномиром, заморским витязем.

Удивился король, что не он этот витязь, когда же кортеж прошел и ворота замка закрылись за ним, направился вместе с прочим людом в ближайшую корчму и там увидел Сномира, а тот, в одних лишь шароварах дамасских, гвоздочками золотыми украшенных, и жбаном опорожненным в руке, из коего пил он ионозефир, идет прямо к нему, к груди прижимает и шепотом жарким шепчет в самое ухо:

— Свидание у меня с королевной в полночь, в замковом дворике, под сенью кустов колючих, у ртутного фонтана, однако не смею пойти, ибо на радостях перебрал; ты же похож на меня капля в каплю, а потому умоляю тебя, чужеземный пришелец, — ступай вместо меня, поцелуй королевне руку, а себя назови Сномиром, и благодарности моей не будет границ!

— Почему бы и нет? — молвил король после недолгого размышления. — Пойти можно. Что, сразу?

— Ну, конечно, спеши, ведь полночь скоро, но помни; об этом свиданье король не знает,

и вообще никто, кроме королевны да старика привратника; если он тебя остановит, сунь ему в руку вот этот мешочек, набитый дукатами, и он тебя пустит без слова!

Кивнул король, схватил мешочек с дукатами и прямо к замку бежит, а куранты как раз возвещают полночь уханьем сов чугунных. Призраком промчался он по разводному мосту, глянул в пасти рвов крепостных, пригнулся и ускользнул от решеток остроконечных, опустившихся с арки ворот; а во дворике, под колючим кустом, у фонтана, извергавшего ртуть, увидел белеющие при свете луны дивные черты Октопины, и такое она пробуждала желание, что его охватила дрожь.

Глядя на эту дрожь и озноб монарха-сновидца, захихикал тихонько Хитриан в дворцовой передней и руки стал потирать, уверившись, что гибель короля решена, ибо знал хорошо, сколь мощными объятиями встретит злосчастного кавалера Октопина, любовница осьмирукая! Знал он, как затянет она монарха взасосками в самую глубь сновиденья, чтоб никогда уж не смог он вынырнуть к яви! И в самом деле, Ширинчик, объятий королевны алкая, пробирался в тени галерей вдоль стены — туда, где лунно сияла ее краса, как вдруг дорогу ему заступил старик при-

вратник и алебардой путь преградил. Король уже руку с дукатами протянул, но, когда ощутил их тяжесть, отнюдь не малую и милую сердцу, жаль ему стало дукатов: это что же — за одно лишь объятие расточить такую казну?

— Вот тебе дукат, — говорит он, развязывая мешочек, — за то, что меня пропустишь.

— Пожалуйте десять, — отвечает привратник.

— Десять дукатов за одну лишь минуту — да ты никак спятил! — рассмеялся король.

— Дешевле нельзя, — говорит привратник.

— Ни одного дуката не сбавишь?

— Ни одного, сударь.

— Ишь ты каков! — крикнул король, ибо по матери был несдержан. — Ну и наглец! Ничего не получишь, дурень!

Тогда привратник так его алебардой огрел, что в голове у Ширинчика зашумело и провалился он вместе с галереями, двориком, мостом разводным и остальным сновидением в небытие, а мгновенье спустя очнулся рядом с Хитрианом, перед сновидческим Шкафом. Смешался до крайности кибернер и сосчитал про себя, что второй уж раз у него сорвалось, сперва из-за трусости, потом из-за жадности монаршей; однако же виду не подал и снова стал просить короля, чтобы тот

другими снами душу возвеселил.

И выбрал Ширинчик сон «О любонаде чудесном».

Тотчас стал он Парализием, властителем Эпилепонта и Патогении, старцем дряхлым, трясущимся, и притом сластолюбцем, каких мало, с душою, порочных деяний алчущей. Да что с того, коли суставы скрипят, руки ног не слушают, а ноги — головы! «Может, оправлюсь еще», — подумал он и тотчас послал своих воевод, дегенералов Маньяго и Спазмофила, резать и жечь все подряд, в полон угонять и добычу грабить. Пошли они, порезали, пожгли, пограбили, воротились и такую перед ним держат речь:

— Государь и владыка! Порезали мы, пожгли, а вот добыча военная и полонянка, прекрасная Прельстида, княжна эников и беников, со всею казною своей!

— А? Что? С казною? — трясясь, захрипел король. — Но где же? Ничего не видать! А где это так скрипит и так шелестит?

— Вот тут, на этом диване коронном, Ваше Величество! — хором грянули дегенералы. — Скрип происходит от сотрясений полонянки, вышеназванной княжны Прельстиды, на покрывале диванном, сплетенном из нитей жемчужных! А

шелест — от шевеления платья ее златотканого, которое шевелится оттого, что прекрасная Прельстида рыдает, чувствуя свой позор!

— А? Что? Позор? Чудно, отлично! — прохрипел, запинаясь, король. — Давайте ее сюда, я ее тотчас же обниму и чести лишу!

— Этого Ваше Величество сделать не может по соображениям государственной пользы! — вмешался главный лейб-медикатор.

— Что? Чести лишить не могу? Предать поруганью? С ума ты, что ли, сошел? Я — не могу? А что же я до седых волос делал?

— Как раз поэтому, Ваше Величество! — убеждает его главный медикатор. — Ибо Ваше Величество может от этого занемочь!

— Да? Ну, дайте мне… того… топорик, я ее того… порубаю…

— Прошу прощения, но и это Вашему Величеству не показано, ибо может Ваше Величество разволновать…

— Что? Как?! Так что же мне за радость от эдакого царствования?! — захрипел отчаявшийся король. — Лечите меня! Укрепляйте! Омолаживайте, чтобы смог я… того… как прежде бывало… А иначе я всех вас немедля… того!

Перепугались придворные, дегенералы, ме-

дикаторы, и ну искать способы омоложенья монаршего; наконец призвали на помощь самого Калькулия, ужасно великого мудреца. Тот пришел и спрашивает:

— Чего вы, собственно, желаете, государь?

— А? Чего? Как это — чего? — хрипит король. — Беспутству, разнузданности, штучкам всяким блудливым желаю, как и встарь, предаваться, а в особенности поглумиться, как должно, над княжною Прельстидой, которую временно содержу в подземелье! Вот чего!

— Два пути для этого есть и два способа, — отвечает Калькулий. — Либо Ваше Величество соблаговолит избрать особу достаточно именитую, которая per procura [7] будет тем заниматься, чего пожелает Ваше Величество, подключенное проводочком к оной персоне; и что бы ни учинила она. Ваше Величество все ощутит, словно бы делало это собственноручно. Либо же следует кликнуть старуху кибородейку, что в лесу обитает, за городом, в избушке трехногой; ибо она искусная гериатричка и пробавляется лечением пожилых!

— Вот как? Что ж, испробуем сперва проводо-

---

**7 notes: 7**
здесь: по доверенности (лат.)

чек! — прохрипел король.

Тотчас же сделали, как он велел; начальника лейб-гвардии электристы подключили к его величеству, и король велел гвардейцу немедля мудреца Калькулия распилить, ибо поступок сей показался ему до крайности мерзким, а иных он не жаждал. Не помогли ни просьбы, ни стенания мудреца; однако же во время распиливанья протерлась изоляция на проводочке, так что король воспринял лишь половину палаческого спектакля.

— Скверный это способ, и справедливо велел я лжемудреца распилить, — захрипел государь. — Давайте-ка сюда эту старуху киберодейку из избушки трехногой!

Побежали придворные в дремучий бор, и вот уже слышит король заунывную песенку, такую примерно:

— Пожилых пользую! Исцеляю, починяю, годы вспять обращаю, берусь лечить коррозии, параличи, суставы смазываю, никому не отказываю, от впадения в детство знаю верное средство, мое дело вдовье — охрана здоровья!

Выслушала августейшие жалобы киберодейка, низко поклонилась престолу и говорит:

— Государь! Далеко-далеко, за Лысой Горой,

маленький есть источник, из которого тоненькой струйкой масло струится, касторовым именуемое; на нем любонад чудесный готовят, омолаживающий на диво, — одна столовая ложка на сорок семь лет! Но упаси Бог, хватить через край, потому что от перебора можно и вовсе исчезнуть, чрезмерно омолодившись. Коли дозволишь, государь, я вмиг сварю тебе это верное снадобье!

— Превосходно! — король отвечает. — Да приготовь там княжну Прельстиду, пусть знает, что ее ждет, хи-хи!

И трясущимися руками винтики свои развинченные пересчитывает, бормочет, хрипит, и даже отчасти ножками дрыгает, ибо от дряхлости впал уже в детство, в исступленье порочном не ведая удержу.

И вот уже едут рыцари за касторовым маслом, микстуры варятся, дым дымит, и пар парует над котлом старухи кибородейки, и наконец прибегает она к подножию трона, падает на колени и, подавая монарху кубок, наполненный до краев отваром, сверкающим словно ртуть, говорит громким голосом:

— Парализий, государь наш! Вот любонад чудесный, что омолаживает, укрепляет, отвагу воинскую внушает и силу дает амурничать без

умору; для того, кто осушит сей кубок, в целой Галактике не будет слишком много градов для разграбления и девиц для пленения! Пей на здоровье!

Взял король кубок и несколько капель пролил на скамейку для ног, а та как вспорхнет, как подскочит, как грохнет о землю, так что гуд прошел по дворцу, да как бросится на дегенерала Спазмофила, чтобы чести его лишить и поруганью предать! Шесть горстей орденов содрала, и все одним махом.

— Пейте, Ваше Величество, смело! — уговаривает киберодейка. — Сами видите — снадобье чудодейственное!

— Сначала отведай сама, — говорит король тихим голосом; как-никак безмерной дряхлости был-то старец.

Киберодейка малость сробела, пятится, упирается, но уже схватили ее по мановенью монаршему трое молодцов и через воронку влили насильно в глотку несколько капель блистающего отвара. Как полыхнет тут да как задымит! Смотрят придворные, смотрит король, хоть и плохо видит, — киберодейки как не бывало, лишь дыра обугленная чернеет в полу, а сквозь нее проглядывает другая, уже между явью и сном;

и в оной дыре явственно виднеется чья-то нога, прекрасно обутая, с прожженными носками и серебряной пряжкой, так потемневшей, будто ее кислота разъела. А нога эта, носки и башмак Хитриану принадлежали, Архимудриту короля Ширинчика; ибо яд, который кибородейка называла любонадом чудесным, столь страшную силу имел, что не только старуху и пол под нею, но даже сон просверлил навылет и, на ногу Хитрианову брызнув, пребольно его ошпарил. В страхе великом решил проснуться король, однако, на Хитрианово счастье, дегенерал Маньяго успел-таки врезать булавой по монаршему лбу; а потом, очнувшись, Ширинчик ничегошеньки из того, что случилось во сне, не помнил. И все же в третий раз удалось ему выскользнуть из сновиденья, вероломно подстроенного, теперь уже благодаря безмерному недоверию, которое он питал ко всем.

— Что-то мне снилось, а что — не помню, — молвит король, стоя опять перед сновидческим Шкафом. — Но отчего ты, сударь мой, на одной ноге подскакиваешь, а за другую держишься?

— Кибератизм замучил… Ваше Величество… Видать, к перемене погоды… — простонал лукавый Архимудрит и ну опять искушать короля,

чтобы тот себя новым каким-нибудь сном заморочил.

Поразмыслил Ширинчик, посмотрел «Оглавление снов» и выбрал «Брачную ночь принцессы Нелепы». И снилось ему, будто читает он у огня книгу, в богатом окладе и прелюбопытную, а в ней повествуется словами затейливыми, буквами алыми, на пергаментах золоченых о принцессе Нелепе, что пять веков тому в Данделии правила; о Лесе ее Ледяном, о Башне Спиральной, о Ржущем Птичьем Дворе, о Сокровищнице Многоокой, а больше всего о красе и добродетели ее несравненной. И возжелал Ширинчик эту красу великим желанием, и жгучим пламенем разгорелись все его вожделенья, так что огненный блеск осветил зеницы его изнутри, и помчался он в глубину сновиденья искать Нелепу, но нигде ее не было, и только самые старые роботы что-то помнили еще об этой монархине. Странствиями утомленный, в пустыне самой глухой, однако ж королевской, а потому там и сям позолоченной, наткнулся он наконец на избушку убогую; вошел и увидел старца в белой, как снег, одежде. Старец навстречу ему встает и говорит:

— Ищешь Нелепу, несчастный! А знаешь ведь, что она уже пять столетий как умерла; сколь же

страсть твоя напрасна и тщетна! Единственное, что я могу для тебя сделать, это показать ее — однако не настоящую, а лишь смоделированную способом цифровым, нелинейным, вероятностным и прекрасным вот здесь, в Черном Ящике, который я смастерил в минуты досуга из всякого пустынного хлама!

— Ах, покажи мне ее, покажи! — воскликнул Ширинчик, а старец кивнул головой, вычитал в книге коэффициенты принцессы, запрограммировал ее вместе со средневековьем, врубил ток, приоткрыл маленький клапан на крышке Черного Ящика и говорит:

— Смотри и молчи!

Наклонился король, весь дрожа, и вправду увидел средневековье, смоделированное двоично и нелинейно, а в нем страну Данделию, Лес ее Ледяной, дворец принцессы с Башней Спиральной, Ржущий Птичий Двор, Сокровищницу Многоокую в подземельях и саму Нелепу, что в лесу смоделированном гуляла прекрасно и вероятностно, и через стеклышко в Черном Ящике было видно, как ее естество, в середке алое и золотое от электросияния, тихо гудело, когда смоделированная принцесса срывала смоделированные цветочки и песенку смоделированную напевала;

и вскочил Ширинчик на Ящик, и ну колотить руками по крышке и к стеклышку рваться, желая — вконец обезумев — вторгнуться в мир, упрятанный в Ящик. Но старец тотчас вырубил ток, стащил короля на землю и молвил:

— Трижды безумный! Ты желаешь невозможного, ибо не дано существу, созданному из реальной материи, проникнуть в глубь мира, что являет собой лишь кружение и вращение элементов двоичных в процессе цифрового, нелинейного и дискретного моделирования!

— Я должен! Должен!!! — вопил исступленно Ширинчик, бодая лбом обшивку Черного Ящика, так что даже прогнул ее, а старец и говорит:

— Ну что ж, коли ты того требуешь, я помогу тебе соединиться с принцессой Нелепой, но знай, что сперва ты утратишь свой нынешний облик; ибо мне придется снять с тебя мерку и, согласно твоим коэффициентам, атом за атомом смоделировать, а после запрограммировать тебя самого, и станешь ты частью этого мира, средневекового и цифрового, что в Ящике пребывает и будет пребывать, доколе хватит электричества в проводах и накала в анодах и катодах. Но сам ты, здесь предо мною стоящий, исчезнешь и пребудешь лишь в образе неких токов, что кружат прекрас-

но, вероятностно, дискретно и нелинейно!

— Как же я поверю тебе? — спросил Ширинчик. — Откуда я узнаю, что ты смоделировал меня, а не кого-то другого?

— Что ж, устроим испытание, — сказал старец; а после взвесил короля, измерил на портняжий манер, но точнее, ибо мерку снял с каждого атома, наконец запрограммировал Ящик и молвил:

— Смотри!

Глянул король через стеклышко и видит, как сам он, сидючи у огня, читает книгу о принцессе Нелепе, как бежит искать ее, как встречных расспрашивает и, наконец, посреди позлащенной пустыни натыкается на избушку, а в ней видит старца, который встречает его словами: «Ищешь Нелепу, несчастный!» — и так далее.

— Ну что, убедился? — спрашивает старец, выключив ток. — А теперь я запрограммирую тебя в средневековье, рядом с чудной Нелепой, чтобы вместе смотрели вы вечный сон моделирования нелинейного и цифрового…

— Хорошо, хорошо, — отвечает король, — но это только мое подобие, а не я, ведь сам я тут, а не в Ящике!

— Сейчас тебя здесь не будет, — дружески отвечает старец, — уж я позабочусь об этом…

И достает из-под лежанки молот, увесистый, но удобный.

— Когда ты примешь в свои объятья возлюбленную, — объяснил ему старец,

— я избавлю тебя от двойного существования — здесь и там, в Ящике, — способом старым, простым и верным, так что соблаговоли наклониться…

— Сперва покажи Нелепу еще разок, — ответил король, — а я проверю, так ли уж совершенен твой метод…

Старец показал Нелепу сквозь стеклышко Черного Ящика, король же смотрел, смотрел, да и говорит:

— Описание в старой книге сильно преувеличено. В общем-то она ничего, но вовсе не столь изумительна, как написано в летописях. До свидания, старче…

И развернулся кругом.

— Как же так? Куда ты, безумный?! — сжимая молот в руке, крикнул старец вслед королю, который шел уже к двери.

— Куда угодно, лишь бы не в Ящик! — ответил Ширинчик и вышел, и в то же мгновенье сон лопнул у него под ногами словно мыльный пузырь, и видит он, что стоит в дворцовой передней

напротив Хитриана, жестоко разочарованного, ибо ему почти удалось замкнуть короля в Черном Ящике, из которого Архимудрит никогда бы его не выпустил…

— Уж больно много сложностей в твоих сновидениях с дамами, мой кибернер, — произнес король. — Либо ты покажешь мне сон, в котором блаженство достигается без особых забот, либо убирайся из дворца со своими шкафами!

— Государь, — отвечает ему Хитриан, — есть у меня сновиденье в самый раз для тебя, качества изумительного, только отведай и сам легко убедишься!

— Это которое ты так нахваливаешь? — спрашивает король.

— Вот это, государь, — говорит Хитриан и показывает на табличку жемчужную с надписью: «Мона Лиза, или Лабиринт сладостной бесконечности».

А сам уже вилку берет, что болталась у короля на цепочке, дабы, не мешкая, поскорее ее воткнуть, ибо видит, что плохи его дела: ведь Ширинчик избежал заточения вечного в Черном Ящике — без сомнения, из-за тупости, что помешала ему влюбиться как следует в сладостную Нелепу.

— Погоди, — говорит король, — я сам!

И вилку воткнул. Вошел он в сон и видит, что по-прежнему остается самим собою, Ширинчиком, что стоит он в дворцовой передней, а рядом Хитриан-кибернер, который ему толкует, что распутнейший из всех — сон, именуемый «Мона Лиза», ибо в нем открывается бесконечность женского рода; послушался он, подключился и озирается в поисках Моны Лизы, так не терпится ему изведать ласк ее нежных, но в новом сне опять стоит он в передней, рядом с коронным Архимудритом; скорей подключился он к шкафу, вторгся в очередной сон, и опять то же самое: передняя, а в ней шкафы, кибернер и сам он. «Что это, сон?» — закричал король; подключился — снова передняя со шкафами и Хитрианом; еще раз — то же самое, и еще раз, и еще, да все быстрее. «Где Мона Лиза, прохвост?!» — завопил он и вырвал вилку, чтобы проснуться, да как бы не так! По-прежнему стоит он в передней со шкафами. Затопал ногами и ну метаться ото сна ко сну, от шкафа к шкафу, от Хитриана к Хитриану, а после ничего уже не хотел, лишь бы к яви вернуться, к трону любимому, к дворцовым интригам, к распутным забавам; вилки выдергивал, втыкал наудачу и опять вырывал. «О Боже! — кричал

он. — На помощь, король в опасности!» — и: «Мона Лиза! Эй! Там!» — и со страху подскакивал, и совался в углы в поисках щелочки, что ведет к пробужденью, но все напрасно. Не знал он, почему это так, — уж больно был непонятлив, но этим разом ни тупость, ни боязливость, ни подлая слабость спасти его не могли. В слишком далекие сны он забрался, слишком много их окутало короля непроницаемым коконом, и, хотя, напрягая все силы, слой или два удавалось ему надорвать, не было от этого толку, там поджидал уже новый сон; и когда он вилки из шкафов вырывал, те и другие лишь снились, и когда колотил Хитриана, стоявшего рядом, тот был не более чем маревом сонным; начал Ширинчик кидаться туда и сюда, но повсюду лишь сны да сны, а двери, мраморные полы, златотканые занавеси, бордюры, узоры, он сам, наконец, — лишь призраки, видимость, пустая иллюзия; и стал он вязнуть в трясине снов, погибая в их лабиринте, хоть и брыкался еще, и лягался, да что с того, если брыканье лишь снится и лягание — тоже! Голову разбил Хитриану — и опять понапрасну, потому что рычал на него лишь во сне и настоящего голоса не подавал; когда же, замороченный и запутавшийся, на мгновенье прорвался к яви, то, не умея ее от

сна отличить, снова вилку воткнул и скатился обратно в сон, теперь уже навечно, и напрасно скулил о пробужденье — не знал он, что «Мона Лиза» есть порождение дьявольское от слова «монархолиз», то бишь «растворение монаршье», и что из коварных ловушек, расставленных Хитрианом-изменщиком, эта была ужаснее всех…

Такую вот повесть опасно-назидательную поведал Трурль царю Душидаву, у которого от нее голова разболелась, и потому он немедля конструктора отпустил, наградив его орденом Святой Киберии, с лиловым знаком обратной связи на зеленом поле, драгоценной информацией инкрустированным.

С этими словами вторая машина-рассказчица звонко скрежетнула шестеренками золотыми, засмеялась чудно от легкого перегрева некоторых клистронов, убавила напряженье анодное, закоптила, погасла и в паланкин удалилась, под всеобщие рукоплескания, коими наградили ее за красноречие и таланты.

А король Гениален поднес Трурлю кубок, полный ионов, с искусно вырезанными на нем вероятностными волнами, что фотонами противопараллельными переливались, а тот его осушил и дал знак третьей машине; вышла она на

середину пещеры и, поклонившись, заговорила голосом электронным, точеным и модулированным.

Вот история о том, как Великий Конструктор Трурль при помощи старого горшка флуктуацию локальную вызвал и что из этого вышло.

Была в созвездии Малой Безделицы Спиральная Галактика, а в этой Галактике — Черное Облако, а в Облаке пять систем шестерных, а в пятой системе солнце лиловое, очень дряхлое и даже подслеповатое, а вокруг того солнца кружили семь планет, а у третьей были три луны, и на всех этих солнцах, звездах, планетах и лунах происходили, в соответствии со статистическим распределением, разные разности и курьезы, а на второй луне третьей планеты лилового солнца пятой системы Черного Облака Спиральной Галактики в Созвездии Малой Безделицы имелась свалка, какую нетрудно найти на всякой иной планете или луне, самая обыкновенная, а значит, полная мусора и прочих отходов; появилась же она оттого, что аберрициды глауберские сразились водородно и нуклеарно с лиловыми альбуменсами, вследствие чего мосты их, дороги, дома, дворцы и сами они обратились в копоть и жестяную труху, которую метеоритным ветром

занесло в то самое место, о котором ведется речь. Пять веков ничего на этой свалке не делалось, кроме мусора, когда же случилось однажды землетрясенье, нижние залежи мусора оказались вверху, а верхние — в самом низу, что само по себе особого значения не имело бы, если бы Славный Конструктор Трурль, пролетая в этих местах, не был ослеплен бродячей кометой с ярким хвостом. И начал он ее отгонять, швыряя в окно звездохода все, что попалось под руку, а были это дорожные шахматы, пустые внутри, которые прежде он наполнял горелкою, да бочки от пороха, которого не удалось выдумать варлаям со звезды Хлорелеи, да старая посуда, а с нею — треснутый глиняный горшок. Горшок этот, приобретши скорость, соответствующую законам тяготения, и будучи ускорен кометным хвостом, упал на луну и покатился по склону над свалкой; попал по дороге в лужу, поскользнулся в грязи, съехал на дно, в самый мусор, и задел полоску заржавелой жести, а та вокруг проводочка медного обвилась; поскольку же между ее концами застряли кусочки слюды, возник конденсатор, а провод, опоясав горшок, стал зародышем соленоида, а камень, задетый горшком, толкнул заржавленную железяку, оказавшуюся

старым магнитом, и возник от этого шевеления ток, переместивший еще шестнадцать жестянок и мусорных проволочек, и растворились там сульфиды с хлоридами, и атомы прицепились к атомам, взболтанные молекулы начали седлать другие молекулы, пока из всего этого прямо посередине свалки не зародился Логический Контур и еще пять других, да еще восемнадцать там, где горшок на куски разлетелся; а вечером вылез на край этой свалки, неподалеку от лужи, теперь уже высохшей, созданный столь случайным манером Далдай-Самосын, что ни отца не имел, ни матери, но был сам себе сыном, ибо отцом его оказался Случай, а матерью — Энтропия. И выбрался Далдай из мусорной кучи, не подозревая нимало, что родиться был у него один лишь шанс на сто супергигацентильонов в гексаптиллионной степени, и шел, пока не дошел до следующей лужи, которая высохнуть еще не успела, так что смог он свободно себя разглядеть, встав на колени. И увидел в водном зеркале свою голову, абсолютно акцидентальную, с ушами, как обломанные калачи, — левым скособоченным, а правым надтреснутым, и свое случайное туловище, что слепилось из железок, железяк и железочек, отчасти цилиндрическое (ибо так

уж умялось оно при выползании из мусорной кучи), а посредине сужающееся наподобие талии, ибо как раз этим местом перекатился он, уже на самом краю свалки, через какой-то камень; еще увидел он мусорные руки свои и отбросные ноги, посчитал их, и по стечению обстоятельств оказалось их ровно по паре; и глаза, которых по чистой случайности было два, и восхитился Далдай-Самосын стройностью своего стана, четностью членов, округлостью головы и громко воскликнул:

— Поистине! Я изумителен и даже совершенен, что явно предполагает Совершенство Всего Сотворенного!! О, сколь же благим должен быть тот, что меня сотворил!!

И заковылял, по дороге роняя слабо укрепленные винтики (ведь никто их как следует не завинтил) и напевая гимны в честь Гармонии Предустановленной, а на седьмом шагу споткнулся по слабости зрения и полетел головою вниз обратно, прямо в груду мусора, и ничего с ним не делалось, кроме ржавления, распадения и общей коррозии еще триста четырнадцать тысяч лет, поскольку упал он на голову, и все у него позамыкалось, и не было его на свете. А потом случилось как-то купцу, что на старом

своем корабле вез анемоны для смолоногов с планеты Недузы, поругаться с помощником как раз неподалеку от лилового солнца, и швырнул он в помощника башмаками, а один башмак, выбив окно, вылетел в пустоту, и кружение его подвергалось пертурбациям по причине того, что комета, некогда ослепившая Трурля, оказалась опять в том же самом месте, и башмак, потихоньку вращаясь, упал на луну, лишь слегка обгорев из-за атмосферного трения, отскочил от склона и пнул лежавшего в мусоре Далдая-Самосына как раз с такой силой и по случайности как раз под таким углом, что вследствие центробежных сил, крутящей силы и общего момента вращения заработали мусорные мозги этого акцидентального существа. А случилось так потому, что от пинка Далдай-Самосын упал в соседнюю лужу, и растворились в воде его хлориды и йодиды, и забулькал электролит у него в голове, и возник в ней ток, который шастал туда и сюда, и наконец в результате этого шастанья и кружения сел Далдай в грязи и подумал: «Кажется, я существую!»

Но больше ничего помыслить не смог целых шестнадцать столетий, а дождь его поливал, а град молотил, и возрастала его энтропия, но спустя тысячу и пятьсот двадцать лет некая

птаха, спасаясь от хищника, облегчилась над свалкой — со страху и чтобы быстрее лететь — и угодила Далдаю в лоб, и случилось от этого в нем возбуждение и усиление, и Далдай чихнул, да и говорит:

— Поистине, я существую! Насчет этого нет ни малейших сомнений. Но вот вопрос — кто, собственно, говорит: «Я существую»? То есть: кто я? Как тут найти ответ? Ба! Если б кроме меня было еще хоть что-нибудь, с чем я мог бы себя сопоставить и сравнить, это еще куда ни шло, но дело-то в том, что нет ничего, ибо видно, что ничего абсолютно не видно! Итак, существую лишь я, и притом как чистейшая всевозможность, ведь помыслить я могу все, что хочу; но сам-то я что такое — пустое место для мышления, или как?

И впрямь, он утратил все чувства, которые за протекшие века разболтались вконец и испортились, ибо неумолимо владычествует над миром подруга Хаоса, безжалостная Энтропия. Так что не видел Далдай ни лужи-матушки, ни мусора-батюшки, ни целого света, совершенно не помнил, что было с ним прежде, и вообще не мог уже ничего, кроме как мыслить. Только это умел он, и не удивительно, что этим только и занимался.

— Следовало бы, — сказал он себе, — заполнить

чем-нибудь пустоту, явленную во мне, и тем самым преобразить несносную ее монотонность. Итак, выдумаем что-нибудь, и тогда помышленное станет реальностью, ибо нет ничего, кроме наших мыслей. — Видать, он уже несколько возгордился, коль скоро мыслил себя во множественном числе.

— Возможно ли, — сказал он себе, — существование чего-либо вне меня? Допустим на минуту — хотя это выглядит неправдоподобно и даже дико, — что да. Назовем это нечто Гозмозом. Итак, существует Гозмоз и в Гозмозе я как частичка его!

Тут он остановился, поразмышлял, и гипотеза эта показалась ему совершенно неосновательной. Не было в ее пользу никаких доказательств, аргументов, доводов, предпосылок, и потому он признал ее чистой фантазией, чрезмерной самонадеянностью ума, устыдился сильно и сказал себе:

— О том, что находится вне меня, если там вообще что-нибудь есть, я ничего не знаю. Но о том, что внутри, я узнаю, стоит лишь мне это помыслить; да и кому же, черт подери, лучше знать мои мысли, если не мне?!

И выдумал Гозмоз еще раз, но теперь уже раз-

местил его внутри собственного сознания; это показалось ему не в пример скромнее, приличнее и основательней, а к этому он и стремился. И стал он заполнять этот свой Гозмоз всякой помышленной всячиной. Сперва, не имея еще сноровки, выдумал моленцев, что занимались выдрючиваньем чего ни попало, а также заголенцев, что питали пристрастие к слюпсам. И сразились немедля заголенцы с моленцами из-за слюпсов, да так, что у Далдая-мусорника голова разболелась, и кроме мигрени, ничего из этого сотворения мира не вышло.

Взялся он за сотворенье опять, теперь уже осмотрительней, и выдумал первоэлементы, а именно: благородный газ, он же элемент совершенный — Кальцоний, и первоэлемент духовный — Мышлений, и множил за бытием бытие, ошибаясь время от времени, но через пару веков наловчился настолько, что вполне капитально построил в мыслях собственный Гозмоз, разместив в нем различные племена, существа, бытии и явления, и жилось там очень неплохо, поскольку законы этого Гозмоза учинил он весьма либеральными: ему пришлась не по нраву идея неумолимой закономерности, этого казарменного распорядка, без которого Мать-

Природа ни шагу (впрочем, о ней ничего он не знал и не ведал).

Поэтому был Самосынов мир полон чудотворных капризов: один раз делалось в нем что-то так — и все тут, а другой раз — этак, совершенно иначе, тоже безо всякой причины. А если кому-нибудь там предстояло погибнуть, всегда еще можно было этого избежать, поскольку Далдай решил не допускать необратимых событий. И прекрасно жилось в его мыслях мондрецам, драконьерам, что добывали Кальцоний, и клофундрам, и добрианне, и обретонцам — столетия целые. Между тем отвалились мусорные руки его и отбросные ноги, и ржавчиной окрасилась в луже вода вокруг прекрасного некогда стана, и корпус погружался мало-помалу в грязную глину. А он как раз со вниманием и любовью новые созвездья развешивал в вечном мраке сознания своего, что служило ему целым Гозмозом, и, как умел, бескорыстно старался все созданное его помышлением в памяти удержать; и хотя болела от этого голова, он не сдавался, ибо чувствовал, что нужен своему Гозмозу и всерьез за него отвечает. Тем временем ржавчина прогрызала верхнюю его жесть, о чем он, понятно, не знал, а донный черепок Трурлева горшка (того самого,

что дал ему жизнь тысячелетья назад), колыхаясь на грязной волне, понемногу приближался к Далдаю, который одним лишь несчастным лбом еще высовывался из лужи. И как раз в ту минуту, когда Далдай пригрезил себе кроткую прозрачностеклянную Бавкиду и верного ее Ондрагора, что странствовали средь темных солнц воображения его при всеобщем молчании народов гозмозовых, включая моленцев, и тихо меж собою перекликались, — проржавевший череп лопнул от легкого удара горшка, сдвинутого порывом ветра, хлынула жижа коричневая в сердцевину медных витков и погасила электричество логических контуров, и обратился Гозмоз Далдаев в небытие, совершеннее которого ничего нет. А те, что ему положили начало и целому скопищу миров заодно, никогда не узнали об этом.

Тут черная машина поклонилась, а король Гениален призадумался, меланхолически и глубоко, так что пирующие стали даже на Трурля коситься: мол, зачем опечалил ум государев такой историей? Король, однако, вдруг улыбнулся и спросил:

— Ну, что там у тебя осталось в запасе, почтеннейшая?

— Государь, — ответила, низко склонившись,

машина, — расскажу тебе историю удивительную и бездонную о Хлориане Теоретии, двухименном Ляпостоле, интеллектрике и мыслянте мамонском.

Однажды славный конструктор Клапауций, желая отдохнуть после тяжких трудов (он смастерил для короля Гробомила Машину, Которой Не Было, — но это особая история), попал на планету мамонидов и слонялся по ней туда и сюда, ища одиночества, пока не увидел на самом краю лесной чащи избушку, заросшую диким кибарбарисом; а над избушкой поднимался дымок. Хотел он ее обойти, однако, заметив стоящие у стены пустые бочки из-под чернил и видом таковым изумленный, заглянул внутрь. За столом, сделанным из валуна, на втором валуне, поменьше, который служил табуретом, сидел старец, до того закопченный, заржавелый, залатанный, что просто не верилось. На лбу у него имелось множество вмятин, глаза обращались в глазницах с великим скрипом, да и члены скрипели, несмазанные, и на одних лишь проволочках да веревочках держалась в нем кое-какая жизнь, которую он на ужасном вел безамперье, о чем без слов говорили разбросанные там и сям куски янтаря; потиранием оных несчастный добывал животворный ток!

При виде такой нищеты сердце у сердобольного Клапауция оборвалось, и он уже потихоньку потянулся за кошельком, как вдруг старец, лишь теперь углядевший его своим помутнелым оком, пискливо заголосил:

— А, пришел наконец?!

— Ну, пришел… — пробормотал Клапауций, удивленный, что его уже ждут там, где он и быть-то не собирался.

— Теперь?! Так сгинь же, пропади, переломай себе руки, хребет и ноги, — зашелся ужасным визгом старик и начал швырять в остолбеневшего Клапауция всем, что было у него под рукой, то есть, по большей части, всяческой рухлядью. Когда же он притомился и швырять перестал, бомбардируемый принялся деликатно выспрашивать, чему он обязан таким приемом. Старец, правда, временами еще огрызался: «А чтоб тебя накоротко замкнуло! Чтоб тебя навеки заело, мержавчик!» — однако ж немного погодя поостыл и позволил умилостивить себя настолько, что, подняв назидательно палец, посапывая, ругаясь время от времени и часто искря, отчего в избушке озоном повanивало, такими словами свою историю рассказал:

— Знай, чужеземец, что я мыслянт, из мыслян-

тов первый, онтологией занимающийся по призванию, а имя мое (блеск которого затмит когда-нибудь звезды) — Хлориан Теоретии Ляпостол. Родился я от бедных родителей и сызмальства чувствовал тягу к мышлению, исследующему бытие; а шестнадцати лет написал первый свой труд под названием «Боготрон». Это общая теория апостериорных божеств, каковые божества потому должны быть встроены в Космос высшими цивилизациями, что, как известно, материя первична и в самом начале никто не мыслит. Значит, на заре мироздания безмыслие царило полнейшее; и впрямь, погляди-ка на этот Космос — ничего себе вид!! — Здесь задохнулся от гнева старец, затопал, а затем, ослабев, продолжал: — Я объяснил тебе необходимость приделывания богов задним числом, раз уж передним их не было; и всякая цивилизация, занимающаяся интеллектрикой, ведет дело прямехонько к построению Абсолютного Всемогутора, или ректификатора зла, то бишь выпрямителя путей Разума. В этом труде я поместил и план первого Боготрона, а также характеристику его мощности, измеряемой в богонах — единицах всемогущества; один богон соответствует чудотворению в радиусе миллиарда парсеков. Когда сей труд был напечатан моим

иждивением, я выбежал поскорее на улицу в полной уверенности, что народ немедля меня на руках понесет, увенчает цветами, осыплет золотом; куда там — хоть бы киберняга какая меня похвалила! Скорее изумленный этим, нежели разочарованный, я тотчас сел и написал «Бичевание Разума» в двух томах, где разъяснил, что перед каждой цивилизацией имеются два пути, а именно — либо себя самое замучить, либо до смерти заласкать. То либо другое она совершает, пожирая мало-помалу Космос и перерабатывая остатки звезд в унитазы, колесики, шестеренки, портсигары и подушечки-думки, а происходит так оттого, что, не умея Космос понять, она норовит все Непонятное как-нибудь переиначить в Понятное и не унимается, пока туманности в клоаки не переделает, а планеты в диваны и бомбы, руководствуясь при этом Высшей Идеей Порядка, ибо лишь Космос заасфальтированный, канализированный и каталогизированный кажется ей в меру пристойным. Во втором же томе, названном «Advocatus Materiae» [8], я объяснил, что Разуму по причине его ненасытности лишь тогда хорошо, когда удается какой-нибудь гейзер космический

**8 notes: 8**
«адвокат материи» (лат.)

поработить или атомный рой приневолить к изготовлению мази против веснушек, после чего он не мешкая набрасывается на следующий феномен, дабы и этот трофей приторочить к поясу средь прочей сциентистской добычи. Когда же и эти два тома великолепных мир молчанием встретил, я сказал себе, что главное — терпение и упорство. А потому после защиты Мирозданья от Разума, который я вывернул наизнанку, а также Разума от Мирозданья, которого безвинность в том состоит, что Материя единственно от безмыслия своего на паскудства всяческие горазда, по внезапному вдохновению написал я «Закройщика Бытия», где логически доказал, что споры философов — дело бессмысленное, ибо каждый должен иметь философию собственную, скроенную, как и штаны, по мерке. Поскольку же и этот трактат канул в глухое безмолвие, я тотчас сочинил следующий и в нем изложил все мыслимые гипотезы относительно Космоса: первую, согласно которой нет его вовсе; вторую, что это следствие промахов некоего Творилы, который пытался мир сотворить, ни черта в этом деле не смысля; третью, что мирозданье есть бред какого-то Сверхмозга, который на почве себя самого взбесился бесконечным манером;

четвертую, что это бездарно материализованная мысль; пятую, что это по-идиотски мыслящая материя, — и, уверенный в себе, ожидал жестоких со мною споров, шумихи, укоров, восхищения, лавров, наконец, нападок и анафем; однако ж опять ровным счетом ничего не случилось. Тут изумлению моему не было границ. Я подумал, что, может быть, слишком мало изучаю прочих мыслянтов, и, спешно приобретя их писания, изучил по очереди знаменитейших, как-то: Френезиуса Четку, Бульфона Струнцеля, основателя школы струнцлистов, Турбулеона Кратафалка, Сферициия Логара и самого Лемюэля Лысого.

Однако ничего достойного внимания я у них не нашел. Тем временем мои труды расходились мало-помалу, значит, думалось мне, кто-то их все же читает, а раз читает, результат не замедлит сказаться. Я, в частности, не сомневался, что меня призовет Тиран и потребует, чтобы я занялся им самим как главнейшей темой и хвалу бы ему возглашал. Я даже в точности обдумал, что отвечу ему: мол, Истина для меня все и ради нее я жизнь готов положить; Тиран же, алкая похвал, которые мог бы измыслить блестящий ум мой, попробует приманить меня медом своих милостей и бросит к моим ногам звенящие ко-

шельки, а видя мою непреклонность, скажет по наущенью софистов, что-де, раз уж я занимаюсь Космосом, стоило бы и им заняться — ведь в некотором роде и он частица Космоса. Я же в лицо ему издевку швырну и буду выдан на муки; а потому заранее закалял тело, дабы жесточайшие истязания выдержать. Но дни проходили и месяцы, а Тиран — ничего; выходит, и к мукам зря я себя готовил. Лишь какой-то бумагомарака по имени Дубомил написал в бульварном листке, что баламут Хлориашка бредит безбожной белибердой в книжонке, озаглавленной «Босотрон, или Абсолютный Всегомутор». Я бросился к трудам своим — и точно, по недосмотру печатника на титуле были перепутаны буквы… Сперва я хотел побить негодяя, но рассудок взял верх. «Придет еще мое время! — сказал я себе. — Не может этого быть, чтобы кто-то, словно горох, сыпал день и ночь абсолютные истины, слепящие блеском Окончательного Познания, — и все напрасно! Придет известность, придет слава, трон из слоновой кости, титул Мыслянина Первого, поклоненье народов, отдохновенье под сенью сада, собственная школа, любящие ученики и восторженные толпы!» Ибо как раз такие мечты лелеет любой из мыслянтов, о чужеземец! Говорят, конечно,

будто голод они утоляют одним лишь Познанием, а жажду — Истиной; ни благ земных не желают, ни ласк электриток, ни звонкого злата, ни орденских звезд, ни хвалы, ни славы. Все это сказки, почтенный мой чужестранец! Все желают одного и того же, с той только разницей, что я, по огромности моего духа, в этих слабостях признаюсь открыто и без стесненья. Но годы текли, а меня иначе, как Хлорианчик, баламут Хлориашка, никто не называл. Наступила сороковая годовщина моего рождения, и снова я удивился тому, до чего же долго заставляет ожидать себя массовый отклик, а потому сел и написал сочинение об энэсэрцах, народе, наиболее развитом в целом Космосе. Что, не слыхивал о таких? Я тоже, поскольку не видел и не увижу их, однако их бытие доказал способом чисто дедуктивным, логическим, неопровержимым и теоретическим. Ведь если — так я рассуждал — в Космосе имеются цивилизации, по-разному развитые, больше всего должно быть обычных, средних, а прочие либо запоздали в развитии, либо ушли вперед. А при таком статистическом распределении в Космосе — как в обычной компании, где средних ростом больше всего, но самой высокой будет одна, и только одна, особа, — где-то должна быть

цивилизация, достигшая Наивысшей Ступени Развития. Жители ее, энэсэрцы, познали все, что нам и не снилось. В четырех томах изложил я все это, издержавшись вконец и на меловую бумагу, и на портрет автора, однако моя тетралогия разделила судьбу своих предшественниц. Год назад я перечел ее от доски до доски, от высочайшего наслаждения слезы роняя. До того гениально она написана и таким абсолютом дышит, что словами не выразить! Ах, к пятидесяти годам я не раз готов был лишиться чувств! Накупишь, бывало, трактатов и сочинений мыслянтов, что в богатстве живут и роскоши, чтобы узнать, в чем там суть, а там толкуют о разнице между пращою и пращуром, о дивном строении трона монаршего, о сладостных его подлокотниках и справедливых ножках, о шлифовке манер — да сочиняют пространные описания того и сего; причем никто себя отнюдь не хвалил, но так уж как-то оказывалось, что Струнцель нахваливал Четку, а Четка — Струнцеля, и обоих осыпали хвалами логаристы. Росла также слава трех братьев Вырвацких — причем Вырвандер тащил наверх Вырвация, Вырваций — Вырвислава, а тот, своим чередом, Вырвандера. И когда я их изучал, что-то нашло на меня, и бросился я на эти труды, и принялся

мять их, и рвать, и даже жевать… пока наконец рыданья не кончились, слезы высохли, и тотчас же сел я писать сочинение «Об Эволюции Разума как Двухтактного Феномена». Ибо, как я там доказал, круговою цепью связаны бледнотики с роботами. Сперва, от слипания слизистой грязи на морском берегу, возникают создания клейкие и белесые, отсюда и прозвище их — альбуменсы. Столетья спустя они постигают, как дух в машину вдохнуть, и делают себе из Автоматов слуг подневольных. Однако через какое-то время, обратным ходом вещей, Автоматы, сбросивши клейкое иго, начинают устраивать опыты — не удастся ли случаем в кисель сознанье вдохнуть? — и, попробовав на белке, достигают успеха. Но синтетические бледнотики спустя миллион лет снова за железо берутся; так и идет оно коловоротом, попеременно и без конца; как видишь, тем самым я разрешил извечный спор о том, что было раньше — робот или бледнотик? Эту работу я послал в Академию — шесть оправленных в кожу томов; на их издание ушли остатки наследства. Надо ли пояснять, что мир и ее замолчал, жестокий! Стукнуло мне шестьдесят, и седьмой десяток был уже на исходе, и надежда на славу при жизни угасла. Что было делать? Принялся я размышлять о славе

вечной, о потомстве, о будущих поколениях, что откроют меня и в прах предо мной упадут. Тут, однако, зашевелились во мне сомнения: а что мне это, собственно, даст, раз уж меня не будет? И пришлось мне признать, в соответствии со своим учением, изложенным в сорока четырех томах с вариантами и приложениями, что ничего абсолютно! Вскипела душа, и сел я писать «Завещание для Потомства», дабы надавать ему хорошенько под зад, оплевать его, обругать, опозорить и ошельмовать на все лады точнейшими методами. Что? По-твоему, это несправедливо? По-твоему, свой гнев я должен был обратить против своих современников, меня не заметивших?! Ну уж нет, дорогой мой! Ведь когда грядущая слава озарит каждое слово моего «Завещания», современники давно уже обратятся в прах, кого же мне осыпать проклятьями — несуществующих? Если бы я поступил, как ты говоришь, потомки изучали бы меня в безмятежном спокойствии и лишь для приличия вздыхали бы: «Бедняжка! Сколько незаметного героизма было в его неоцененном величии! Сколь справедливо гневался он на дедов наших, любовно и преданно дело жизни своей нам завещая!» Вот ведь как было бы! Так что же? Нет виноватых? Идиотов, что

живьем меня погребли, смерть щитом оградит от молнии мщенья? При одной лишь мысли об этом смазка во мне закипает! Они, значит, будут спокойно живиться моими трудами, приличия ради проклиная из-за меня отцов? Не бывать этому!!! Пусть же я пну их хотя бы дистанционно, то есть загробно! Пусть знают те, кто будет имя мое намазывать медом и позолотой золотить ореол на изображеньях моих, что как раз за это я желаю им шестеренки переломать до последней! Чтоб им контуры заколебало, чтоб им ржавчина мозговину изъела, если только и умеют они, что прах выгребать из погостов прошлого! Возможно, будет средь них возрастать какой-нибудь новый, громадный мыслянт, а они, поглощенные отысканием клочков переписки, которую вел я когда-то с прачкой, вовсе его не заметят! О, тогда пусть знают наверное, что искренние мои проклятья и чистосердечное омерзение пребудут с ними и средь них, что я считаю их лизогробами, трупоугодниками, шакалистами, которые потому лишь питаются трупами, что живую мудрость оценить не способны! Пусть же, издавая полное собранье моих сочинений — а меж ними по необходимости и это «Завещание», чреватое последним проклятьем, им адресованным, —

перестанут сии некроманты, сии мертволюбы самодовольно гордиться тем, что был в их роду мудрец безмерный, Хлориан Теоретий, двухименный Ляпостол, который учил на веки веков вперед! Пусть помнят, полируя мои постаменты, что я желал им всего наихудшего, что только вмещает Космос, а ожесточенность проклятия моего, обращенного в будущее, сравнится только с его бессилием! Да узнают они, что я с ними ничего общего иметь не хочу и нет меж ними и мной ничего, кроме задушевного отвращения, которое я к ним питаю!!!

Тщетно пытался Клапауций, слушавший эту речь, успокоить вопящего старца. Тот при последних своих словах вскочил и, кулаком угрожая потомству, изрыгая множество чудовищных слов, неведомо как им услышанных на поприще столь почтенном, посинел, задрожал, зарычал, затопал, весь вспыхнул и рухнул замертво от холерического электроудара! Клапауций, немало удрученный столь неприятным оборотом событий, уселся поодаль на камне, поднял с земли «Завещание» и начал читать, но от обилия сочнейших эпитетов, посвященных грядущему, у него уже на второй странице зарябило в глазах, а к концу третьей пришлось утереть испарину,

выступившую на лбу, ибо скончавшийся в бозе Хлориан Теоретий дал образцы сквернословия, космически абсолютно непревзойденного. Три дня кряду, вытаращив глаза, читал сию хартию Клапауций, а после задумался, как поступить; возвестить ее миру или уничтожить? И поныне сидит он так, не в силах принять решенье…

— Ей-богу, — молвил Гениалон, когда машина, окончив рассказывать, удалилась, — я вижу здесь некий намек на наши платежные обязательства, расчет по которым уже на носу, ибо после поистине сказочной ночи в пещеру заглядывает заря нового дня. А потому скажи, любезный конструктор, чем и как ты хочешь быть награжден?

— Государь, — отвечал Трурль, — ты приводишь меня в замешательство. Чего бы ни попросил я — потом, получив требуемое, я могу пожалеть, что не потребовал большего. А в то же время мне не хотелось бы уязвить Ваше Величество чрезмерными требованиями. Поэтому на монаршье благоусмотрение оставляю размеры моего гонорара…

— Хорошо, — благосклонно промолвил король. — Рассказы были отменные, машины — превосходные, а потому я не вижу иного способа, как только даровать тебе величайшее

сокровище, которое, я совершенно уверен, ты не променял бы ни на какое другое. Я жалую тебя здоровьем и жизнью — вот, по моему разумению, достойная награда. Любую другую я счел бы неподобающей, ведь золотом ни Истину, ни Мудрость не уравновесить. А потому будь здоров, приятель, и продолжай скрывать от мира истины, слишком жестокие для него, пряча их в сказки ради отвода глаз.

— Государь, — изумился Трурль, — неужто ты поначалу намеревался лишить меня жизни? Неужто меня ожидало такое вознаграждение?

— Ты волен толковать мои слова, как захочешь, — ответил король. — Я же скажу так: если бы ты всего лишь развлек меня, не было бы предела моей щедрости. Но ты сделал больше, а потому никакие богатства не будут достаточной наградой за твой труд; и я дарую тебе и в будущем возможность свершений, коими ты прославился, ибо не знаю ни большей платы, ни большей награды…

# Альтруизин или правдивое повествование о том, как отшельник Добриций космос пожелал осчастливить и что из этого вышло

Однажды летом, когда конструктор Трурль занят был подрезанием веток кибарбариса, который рос у него в саду, увидел он, что к дому его приближается оборванец, видом своим пробуждавший жалость и ужас. Все члены этого робота-горемыки перевязаны были веревками, недостающие сочленения заменены прогоревшими печными трубами, вместо головы имел он горшок — старый, дырявый, в коем мышление его, заедая, дребезжало и искрилось, шея была укреплена кое-как железкой из садовой ограды, в открытом животе болтались коптящие катодные лампы, которые этот несчастный придерживал свободной рукой, а другой неустанно подкручивал развинченные свои винтики; когда же, ковыляя, вошел он в калитку Трурлева дома, сгорели у него четыре предохранителя сразу и начал он, в клубах дыма и чаду шипящей изоляции,

рассыпаться прямо на глазах у конструктора. Тот же, преисполненный жалости, схватил немедля отвертку, плоскогубцы, просмоленную обмотку и поспешил на помощь к скитальцу, причем оный многократно лишался чувств, нестерпимо скрежеща шестеренками по причине общей десинхронизации; однако ж удалось-таки Трурлю привести его более-менее в чувство; уже перевязанного, усадил он его в гостевом покое, и, пока бедняга жадно подпитывался от батареи, Трурль, не в силах долее сдержать любопытства, принялся выспрашивать, что довело его до столь ужасающего состояния?

— Милостивец мой, — ответствовал незнакомец, все еще подрагивая магнитами, — зовусь я Добриций; я пустынник-отшельник, вернее, был таковым; провел я в пустыне шестьдесят и семь лет в размышлениях благочестивых. Но как-то утром одолело меня сомнение, правильно ли я поступаю, удалившись от мира? Смогут ли все мои бездонные размышленья и вся пытливость моя духовная удержать хоть одну заклепку от выпадения? Не есть ли первейший мой долг нести помощь ближним, а о собственном спасении мыслить во вторую лишь очередь? Ужели…

— Ладно, ладно, пустынник, — остановил его

Трурль. — Состояние твоего духа в то утро мне, в общем-то, ясно. Рассказывай, что было дальше.

— Отправился я на Фотуру, где свел случайно знакомство со знаменитым конструктором по имени Клапауций.

— Ах, может ли это быть? — воскликнул Трурль.

— Что ты сказал, господин мой?

— Так, ничего! Продолжай.

— То есть познакомился я с ним не вдруг; он был большой вельможа, ехал в автокарете, с коей мог толковать, как я с тобою; и вот, когда я, непривычный к городскому движению, замешкался посреди улицы, карета сия изобидела меня весьма непристойным словом, и я мимо воли огрел ее посохом по фонарю; тут она взъярилась уже не на шутку, однако ж седок усмирил ее, а меня пригласил внутрь. И рассказал я ему, кто я, и почему покинул пустыню, и что не знаю я, как должно мне теперь поступать; он же намерение мое похвалил и представился сам, а после пространно рассказывал о трудах своих и творениях; под конец же поведал мне претрогательную историю Хлориана Теоретия, двухименного Ляпостола, достославного мыслянта и мудролюба, коего печальной кончины он сам был свидетелем. Изо

всего, что сказывал он о «Писаниях» сего Великого Робота, особливо запала мне в душу история об энэсэрцах. Случалось ли тебе, милостивец, слышать о сих созданиях?

— Разумеется. Речь идет о единственных в Космосе существах, достигших Наивысшей Ступени Развития, не так ли?

— В точности так, господин мой, познания твои преизрядны! И вот, сидючи рядом со славным Клапауцием в его карете (которая беспрестанно ужаснейшие проклятия изрыгала в толпу, неохотно уступавшую нам дорогу), подумал я, что кто-кто, а сии существа, столь разумные, что дальше уж некуда, наверное знают, как должно поступать, ежели ощущаешь такой позыв к добру и такое желание оказывать его ближним, как я. И я немедля осведомился у Клапауция, где обитают энэсэрцы и как их найти? Он же лишь усмехнулся как-то странно, покачал в задумчивости головою и ничего не ответил. Я не посмел переспрашивать; но после, когда мы уже сидели в корчме за жбаном ионной похлебки (ибо карета, вконец охрипнув, обезголосела и дальнейшее путешествие пришлось вельможному Клапауцию отложить до следующего дня), благодетель мой повеселел и, глядя на пары, кои лихо отплясыва-

ли киберантеллу под веселые звуки оркестрика, почел за благо довериться мне и такую поведал историю… Но не утомил ли тебя мой рассказ?

— Да нет же, нет! — живо возразил Трурль. — Я весь внимание.

«Почтеннейший мой Добриций! — молвил господин Клапауций в оной корчме, когда с танцоров уже искры сыпались градом. — Знай, что история несчастного Ляпостола тронула меня до глубины души и я решил, что должен без промедленья отправиться на поиски оных существ, превосходно развитых, неизбежность появления коих обосновал он чисто логически и теоретически. Главную, однако, трудность сего предприятия видел я в том, что всякая космическая раса мнит себя самое наиболее развитой, так что расспросами я ничего не добьюсь; лететь же на авось было бы потому рискованно, что в Космосе, как следовало из моих вычислений, имеется около четырнадцати сантигигагептатрибиллионардов вполне разумных обществ, так что сам видишь, что с отысканием нужного адреса имелись определенные трудности. Рассматривал я это дело так и эдак, рылся в библиотеках и старинных фолиантах, пока не нашел наконец одно важное указание в сочинениях некоего

Трупуса Бредониуса, который тем отличался, что пришел к тем же выводам, что и Ляпостол, только на триста тысяч лет раньше, но в совершенном оказался забвении. Отсюда видно, что нет ничего нового под любым из солнц, и даже кончил Трупус так же, как Хлориан… Впрочем, это не суть важно. Из этих с трудом разобранных мною обрывков я дознался, как искать энэсэрцев. Бредониус доказывал, что надобно обшаривать звездные скопища, стремясь обнаружить нечто совсем невозможное; и ежели таковое отыщется, можно не сомневаться, что там-то они и находятся. Спору нет, указание это было по видимости темным, но для чего дана нам ясность ума? Я не мешкая снарядил корабль и пустился в дорогу. Об испытаниях, постигших меня в пути, умолчу; скажу лишь, что в конце концов я приметил в звездной пыли звезду, тем отличную от всех прочих, что она была квадратная. Ах! Сколь же я был изумлен! Ведь каждый младенец знает, что звезды все до единой круглые и о какой-либо их угловатости, да еще строго квадратной, и думать нечего! Я немедля подвел корабль к небывалой звезде и вскоре заметил планету, тоже четырехугольную и к тому же снабженную по углам оковками с замочными скважинами. Чуть

поодаль кружила другая планета, уже совершенно обычная; наведя на нее зрительную трубу, я увидел шайки роботов, которые ломали кости собратьям; таковое зрелище не слишком склоняло к высадке. Поэтому я вернулся к оставшейся за кормой сундукастой планете и основательно обшарил ее дальноглядом. И сколь же сладостная меня охватила дрожь, когда на одной из ее колоссальных оковок я обнаружил увеличенную в окулярах, искусно вырезанную монограмму, что из трех состояла букв: НСР!

— О небо! — сказал я себе. — Это здесь!

Однако, обращаясь вокруг планеты до головокружения, я не мог отыскать на ее песчаных равнинах ни души и, приблизившись на расстояние шести миль, различил скопление темных точек, которые в поле зрения сверхтелескопа оказались обитателями оного небесного тела. Было их около сотни; они валялись вразброс на песке, и эта безжизненность изрядно меня встревожила; но я убедился, что время от времени то один, то другой с наслаждением почесывается; столь очевидные признаки жизни склонили меня к высадке. Я не мог дождаться, пока ракета — как обычно, раскалившаяся в атмосфере — остынет, выскочил из нее, перепрыгивая через три сту-

пеньки, и устремился к туземцам, крича на бегу:

— Извините! Это здесь Наивысшая Ступень Развития?!!

Никто, однако, и ухом не повел. При виде такого безразличия я оторопел, а затем внимательно огляделся вокруг. Равнину заливало сиянье квадратного солнца. Из песка тут и там торчали какие-то поломанные колесики, пучки соломы, бумажки и прочий мусор, а туземцы покоились среди него как попало, кто на спине, кто на животе, а один из лежавших поодаль даже задрал обе ноги и небрежно целился ими в зенит. Я обошел вокруг того, что лежал поближе. Он не был роботом, но не был и человеком — или другим каким-нибудь белковцем из вида трясучих. Правда, лицо у него было довольно пухлое, с румяными щеками, но вместо глаз — две маленькие свирели, а в ушах — кадильница, обволакивающая его облаком благовонного дыма. На нем были орхидеевые штаны с синими лампасами, обшитыми клочками грязной, исписанной бумаги, а на ногах что-то вроде полозьев; в руках он держал пряничную глазурованную бандуру, с напочатым грифом, и при этом тихо и равномерно храпел. Протирая глаза, слезившиеся от дыма кадильницы, я попробовал прочесть каракули на бумажках, вшитых

в лампасы штанов; но разобрать удалось лишь некоторые. Надписи были довольно странные, например: *N7 — БРИЛЛИАНТ-ГОРА ВЕСОМ СЕМЬ ЦЕНТНЕРОВ; N*8 — ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПИРОЖНОЕ: ПОЕДАЕМОЕ, РЫДАЕТ, ЧИТАЕТ МОРАЛЬ ИЗ БРЮХА, ЧЕМ НИЖЕ СПУСТИЛОСЬ, ТЕМ ВЫШЕ ПОЕТ; *N10 — ГОЛКОНДРИНА ДЛЯ ДЮМБАНИЯ*, ВЗРОСЛАЯ, — и другие, коих я уже не припомню. Когда же, изрядно всем этим ошарашенный, я дотронулся до одной из бумажек, в песке у самой ноги лежащего образовалась воронка и тоненький голосок оттуда спросил:

— Что, уже? — Кто это? — воскликнул я. — Это я, Голкондрина… начинать? — Нет, не надо! — поспешно ответил я и отошел от этого места. У следующего туземца голова была в виде колокола с тремя рогами — и дюжина рук, побольше и поменьше, причем две маленькие массировали ему живот; уши длинные и оперенные; на голове — шапка с небольшим пурпурным козырьком, на котором кто-то невидимый ссорился, должно быть, с другим невидимым; то и дело взлетали и разбивались маленькие тарелочки; а под спину было подложено что-то вроде бриллиантовой подушечки-думки. Субъект этот, когда я остановился возле него, сорвал с головы один рог,

понюхал и, отшвырнув его с неудовольствием, насыпал себе внутрь горсть грязного песка. Совсем рядом лежало нечто, что я поначалу принял за двух близнецов; потом решил, что это обнявшиеся возлюбленные, и хотел уже деликатно удалиться, но оказалось, что это просто-напросто была не одна особа, и не две, а полторы. Голова у нее была вполне обычная, человеческая, только уши поминутно отрывались и порхали вокруг, трепыхаясь, как бабочки. Веки были опущены, зато многочисленные бородавки на лбу и щеках, снабженные крохотными глазками, пялились на меня с явной неприязнью. Грудь у странного этого существа была широкая, рыцарская, со множеством дыр, словно бы кое-как просверленных, — из них торчала облитая малиновым сиропом пакля; нога всего лишь одна, зато крайне толстая, обутая в сафьяновую туфлю с бархатным колокольчиком; у его локтя высилась груда огрызков то ли от груш, то ли от яблок. Все более изумляясь, шел я дальше и встретил робота с человеческой головой, в носу у которого торчал малюсенький органчик с рыбками; второй лежал в луже клубничного варенья, а у третьего в спине была открытая створка, за которой виднелось его кристаллическое нутро; там разыгрывали

любопытные сцены какие-то заводные гномики, но то, что они вытворяли, было так непристойно, что я зарумянился от стыда и отскочил как ошпаренный. При этом я потерял равновесие и упал; вставая же, прямо перед собой увидел еще одного обитателя планеты: совершенно голый, он чесал себе спину золотою чесалкой и при этом блаженно потягивался, хотя головы у него не было. Последняя, отодвинутая на удобное расстояние, с шеей в песке, считала языком зубы в широко открытом рту. Лоб у нее был медный с белой каемкой, в одном ухе серьга, в другом прутик, а на прутике надпись печатными буквами: МОЖНО. Сам не зная почему, я потянул за прутик, и вслед за ним из уха этого голого существа показалась нитка с леденцом и визитной карточкой, на которой стояло: ДАЛЬШЕ! Я тянул, пока нитка не кончилась, — на конце у нее болталась маленькая бумажка, и тоже с надписью: ЧТО, ИНТЕРЕСНО? А ТЕПЕРЬ ВОН!

Все увиденное лишило меня чувств, умственной жизни, а равно и дара речи. Встав наконец с песка, я побрел дальше в надежде встретить кого-нибудь, кто был бы похож на существо, способное ответить на один хотя бы вопрос. В конце концов мне показалось, что я нашел его, а именно

маленького толстяка, который сидел спиною ко мне, занятый чем-то, что он держал на коленях. У него была лишь одна голова, два уха и две руки, так что я, обходя его слева, начал:

— Простите, я ведь не ошибаюсь, это вы изволили достичь Наивысшей Ступени Ра…

Но слова эти замерли у меня на устах. Сидящий даже не шелохнулся, не похоже было, что он слышал хоть слово. Нельзя не признать: он был действительно занят, ибо держал на коленях собственное лицо, отделенное от остальной головы, и, тихонько вздыхая, ковырял пальцем в носу. Мне сделалось не по себе. Но удивление вскоре перешло в любопытство, а любопытство — в стремление немедля узнать, что, собственно, происходит на этой планете. Я принялся бегать от одного туземца к другому, взывая к ним громко и даже визгливо; спрашивал, грозил, умолял, уговаривал, заклинал, а когда все это оказалось напрасным, схватил за руку того, что ковырял себе пальцем в носу, но тотчас отпрянул в ужасе: его рука осталась в моей, а он как ни в чем не бывало пошарил рядом в песке, достал оттуда другую руку, такую же, но с лакированными в оранжевую клеточку ногтями, дунул на нее и приложил к плечу, и она тотчас же Приросла.

Тогда я с любопытством нагнулся над той рукой, которую только что вырвал у него, а та вдруг щелкнула меня по носу. Тем временем солнце зашло двумя углами за горизонт, ветерок стих; а обитатели Энэсэрии потихоньку почесывались, потирались, позевывали, явно готовясь ко сну; один взбивал бриллиантовую перинку, другой аккуратно укладывал возле себя нос, уши, ноги. Смеркалось, так что я, потоптавшись еще тут и там, начал тоже устраиваться на ночлег. Я вырыл в песке широкую лунку и, вздыхая, улегся в нее, устремив взор в темно-синее, усыпанное звездами небо. Я думал, что делать дальше, и сказал себе:

— Воистину, все указывает на то, что я и в самом деле нашел планету, предсказанную Трупусом Бредониусом и Хлорнаном Теоретием Ляпостолом, Наивысшую Цивилизацию Мироздания, которая состоит из пары сотен существ, не людей и не роботов, валяющихся среди хлама и мусора на бриллиантовых думках, под алмазными одеялами в пустыне и не занятых ничем, кроме потирания да почесывания; не иначе, кроется тут какая-то страшная тайна, и что бы там ни было — не успокоюсь, пока ее не открою!!

И дальше я размышлял:

— Ужасная это, должно быть, загадка, покрывшая мраком все на этой планете квадратной, с квадратным солнцем, бесстыдными гномиками в спине и леденцами в ухе! Мне-то всегда казалось, что коли уж я, вполне заурядный робот, предаюсь занятиям ученым и умственным, то каковы же должны быть пытливость и умственность между существ, развитых лучше, не говоря уж о существах совершенных! Похоже, до разговоров, в особенности со мною, они не большие охотники. А нужно непременно разговорить их — но как? Пожалуй, придется так их донять, так досадить им, так допечь их своим приставаньем, чтоб я им поперек горла стал! Есть, правда, в этом известный риск; ведь им меня уничтожить легче, чем мне — ничтожную блошку. Однако невозможно поверить, что они решатся на столь жестокие меры, а впрочем, жажда познания снедает меня! Была не была! Попробую!

С этой мыслью я вскочил в полной уже темноте и принялся вопить благим матом, кувыркаться, подскакивать да подпрыгивать, пинать лежащих поближе, сыпать песок им в глаза, резвиться, приплясывать, рычать, пока не охрип совершенно; тогда сел я, выполнил несколько гимнастических упражнений и снова бросился к ним, точно

бешеный буйвол; они же поворачивались ко мне спиною, подсовывая для бодания бриллиантовые думки либо перинки, а когда кувыркнулся я в пятисотый, должно быть, раз, мелькнуло у меня в замороченной голове: «Воистину, вот подивился бы сердечный приятель мой, ежели мог бы узреть меня в эту минуту и увидеть, чем я занимаюсь на этой планете, что достигла Наивысшей Ступени Космического Развития!!» Это, впрочем, отнюдь не помешало мне по-прежнему вскрикивать да притоптывать. И слышу, как они шепчутся:

— Коллега!..

— Ну что?

— Слышишь, что вытворяет?

— Небось не глухой.

— Чуть голову мне не разбил.

— Надень другую.

— Да он спать не дает.

— А?

— Спать, говорю, не дает…

— Из любопытства, видать, — добавил шепотом третий.

— Уж больно оно его допекает!

— Ну так как, сделать с ним что-нибудь или пускай изводит нас дальше?

— Но что?

— А кто его знает! Может, характер ему переменить?

— Да вроде как-то нехорошо…

— А чего он такой настырный? Слышь, как воет?

— Ладно, я тогда мигом…

О чем-то они меж собой пошептались, в то время как я по-прежнему выл, стонал и подпрыгивал, обратившись в ту сторону, откуда доносился шепот. Я стоял на голове — то есть головой на животе одного из них, — как вдруг меня объяла черная ночь небытия; чувства мои помрачились, но продолжалось это — так мне, по крайней мере, показалось, когда я очнулся, — какую-то долю секунды. Все мои кости еще ныли от подпрыгиваний и приседаний, но я уже был не на планете. Я сидел, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, в главном салоне своего корабля, а поддерживала меня сущая гора банок с вареньем, губных гармоник и марципановых медвежат, шарманок с бриллиантовыми колокольчиками, дукатов, талеров, золотых сережек, браслетов и прочих сокровищ, от которых сияние исходило такое, что пришлось зажмурить глаза. Когда же я с огромным усилием выкарабкался из этой горы драгоценностей, то в окне увидел

звездный пейзаж, а в нем — ни следа квадратного солнца; вскоре измерения показали, что пришлось бы мчаться полным ходом шесть тысяч лет, чтобы вернуться в его окрестности. Так избавились от меня энэсэрцы, когда я чересчур их допек; смекнув, что даже возвращение ничего мне не даст — ибо нет для них ничего проще, нежели снова выслать меня, гиперспециальным манером или же подпространственным, туда, где раки зимуют, — решил я взяться за дело методом совершенно иным, почтеннейший мой Добриций…» — так закончил рассказ свой славный конструктор Клапауций…

— И больше ничего не сказал? Не может этого быть! — воскликнул Трурль.

— О! Сказал! Сказал, милостивый мой господин, и отсюда-то проистекла вся моя трагедия! — отвечал изувеченный робот. Когда я спросил, что намерен он учинить, он склонился ко мне и сказал:

— Поначалу задача казалась мне безнадежной. Однако я отыскал решение. Ты, отшельник, — простой, неученый робот, и не постигнешь тонкостей моего ремесла, так что не будем об этом; впрочем, в принципе дело довольно простое: надо построить цифровое устройство, способное

моделировать все сущее. Это устройство, запрограммированное нужным манером, смоделирует нам Наивысшую Ступень Развития… и тогда уж, спрашивая его, мы получим Окончательные Ответы!

— Но как построить таковое устройство? — спросил я. — И можно ли быть уверенным, вельможный Клапауций, что он не пошлет нас, после первого же вопроса, куда подальше, тем гиперспособом, каковой дерзнули употребить против тебя энэсэрцы?

— Ах, это уж пустяки, — сказал он. — Положись на меня; я буду спрашивать о Тайне энэсэрцев, а ты — о том, как всего лучше применить природное твое отвращение ко злу, благородный Добриций!

Излишне было бы говорить, господин мой, что необычайная меня охватила радость и немедля принялся я пособлять Клапауцию в конструировании устройства. Оказалось, что господин Клапауций воздвигал его в точности по чертежам мученически скончавшегося Хлориана Теоретия Ляпостола; то был знаменитый Боготрон, им задуманный, устройство, которое может все в радиусе всего Космоса; причем, неудовлетворенный этим названием, господин Клапауций

не уставал в придумывании иных, одно другого замысловатее, именуя громаду сию то Всемогутором, то Омнигенерическим Ультиматом, то опять же Онтогениусом; впрочем, не в названиях дело, довольно будет сказать, что по прошествии года и шести дней была воздвигнута страшенная аппаратура, которую экономии ради разместили мы в полом нутре Рапундры, огромной Луны недотяпов; и поистине, муравей не столь затерян в утробе океанского лайнера, сколь затеряны были мы меж оных пропастей медных, трансформаторов эсхатологических, святопневматических этификаторов и выпрямителей кривых побуждений; и должен сознаться, что волос проволочный вставал у меня на голове, пересыхало в суставах и зубы стучали в ознобе, когда усадил меня господин Клапауций пред Всемогуторным Пультом и оставил с глазу на глаз с этой воистину бездонной махиной, а сам отлучился куда-то. Словно звезды, сияли надо мной ее раскаленные указующие лампочки, повсюду горели грозные надписи: «ОСТОРОЖНО! ВЫСОКАЯ ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ», логические и семантические потенциалы за стеклами циферблатов подскочили до миллионов нулей, а у стоп моих тихонько плескались океаны сверхчеловеческой и сверхроботической премуд-

рости, которая, заколдованная в целых парсеках медных витков и гектарах магнитов, пребывала передо мною, подо мною и надо мною, осадив меня с трех сторон, и ощутил я себя ничтожной пылинкой по причине постыдного своего невежества. Однако, превозмогши себя, призвал я на помощь всю свою ревность к Добру и стремление к Истине, которые питал я с младых катушек, поднял отяжелевшие веки и дрожащим голосом задал первый вопрос: «Кто ты?»

И тотчас же легкое, теплое дыханье с металлической дрожью прошло по этому стеклянному помещению, и голос, казалось бы, тихий, но столь могучий, что пронизал меня насквозь, отозвался: «Ego sum Ens Omnipotens, Omnisapiens, In Spiritu Intellectronico Navigans, luce cybernetica in saecula saeculorum litteris opera omnia cognoscens, et caetera, et caetera» [9].

Беседу пришлось вести по-латыни, но я, удобства ради, изложу ее тебе, вельможный господин, как умею, в переводе на язык более обиходный. Когда я услышал голос машины и когда она назвала себя, страх мой настолько усилился, что лишь

---

**9 notes: 9**

Аз есмь Сущий Всемогущий, Всеведущий, в Духе Интеллектроническом Плавающий, в свете кибернетики во веки веков, научна все деяния познающий, и прочая, и прочая (лат.)

Клапауций, вернувшись, помог мне продолжить беседу: трансценденцию он убавил, а всемогущество редуцировал до одной стомиллиардной; тогда я попросил Ультимат, чтобы он соизволил просветить нас насчет Наивысшей Ступени Развития и страшных ее тайн. Клапауций, однако, заметил, что не так поступать надлежит; он потребовал, чтоб Онтогениус смоделировал в своих серебряных и кристаллических безднах субъекта родом с квадратной планеты, склонив его вместе с тем к некоторой разговорчивости, — и лишь тогда началось самое главное.

Поскольку я — стыдно признаться — не мог побороть заикания, одолевшего меня от испуга, Клапауций занял мое место у Всемогуторного Пульта и начал!

— Кто ты?

— Сколько раз мне отвечать на этот вопрос? — раздраженно сказала машина.

— Я спрашиваю, человек ты или же робот, — пояснил Клапауций.

— А какая, по-твоему, разница? — отозвался глас из махины.

— Если ты будешь отвечать вопросами на вопрос, наша беседа не скоро закончится! — пригрозил Клапауций. — Ты небось знаешь, что я

имею в виду! Говори, да живее!

Я оробел еще больше от столь дерзкого тона конструктора, но, возможно, он был и прав, ибо машина промолвила:

— Порою люди строят роботов, порою роботы — людей; все одно, чем думать, металлом или киселем. Я могу принимать какие угодно размеры, форму и облик; или, лучше сказать, так было, ибо никто из нас давно уже такими пустяками не занимается.

— Вот как? — сказал Клапауций. — А почему вы лежите себе и ничего не делаете?

— А что нам, по-твоему, делать? — спросила машина; Клапауций же, поборов гнев, молвил:

— Этого я не знаю. Мы, на нашей ступени развития, делаем массу вещей.

— Мы тоже когда-то делали.

— А теперь уже нет?

— Нет.

— Почему?

Смоделированный сперва не хотел отвечать, утверждая, что пережил уже шесть миллионов подобных расспросов, из которых ни для него, ни для спрашивающих ничего не последовало; но Клапауций, добавив капельку трансценденции и повернувши поворотную ручку, заставил его

продолжать.

— Миллиард лет назад мы были обычной цивилизацией, — ответил голос. — Верили в киберангелов, в мистическую обратную связь всех созданий с Великим Программистом и все такое прочее. Но потом появились скептики, эмпирики и акциденталисты, которые через девять веков пришли к тому, что Никого нет и все возможно, однако не из высших резонов, а просто так.

— То есть как это «просто так»? — удивившись, осмелился вставить я.

— Как ты знаешь, бывают горбатые роботы, — ответил мне глас из махины.

— Если тебе досаждают горб и кривобокость, но в то же время ты веришь, что ты таков, каков есть, ибо таким сотворил тебя Предвечный, и что план твоей кривобокости пребывал в туманности Его замыслов еще до сотворения мира, то ты легко примиришься со своим состоянием. Но если скажут тебе, что все это лишь следствие нестыковки нескольких атомов, не попавших на свое место, что тебе остается, кроме как выть по ночам?

— Остается, кое-что остается, — уверенно воскликнул я. — Ведь горб можно выпрямить, кривобокость — раскривобочить, были бы только высочайшие знания!

— Знаю! — хмуро согласилась машина. — Действительно, так оно и представляется простакам…

— А что, разве это не так? — в один голос удивились мы с Клапауцием.

— Когда приходит пора выпрямленья горбов, — отвечала машина, — возможности уже безграничны и безжалостны! Можно не только горбы выпрямлять, но и штопать прорехи в разуме, солнца делать квадратными, планетам приделывать ноги, штамповать синтетические судьбы, несравненно сладчайшие против натуральных; начинается это невинно, с обтесыванья кремней, а кончается построением всемогуторов и онтогениусов! Пустыня нашей планеты — не пустыня, но Супербоготрон, который своим могуществом в миллион раз превосходит убогий ящик, вами сколоченный; создали его наши прадеды потому, что все остальное казалось им слишком уж легким, тогда как им хотелось мысли вить из песка; поступили они так из мегаломании, без всякой нужды, ибо если можно делать все, к этому уже ничего абсолютно добавить нельзя; понятно ли это вам, о слаборазвитые?!

— Так, так, — молвил Клапауций, между тем как я лишь дрожал. — Но почему же вместо того,

чтобы заниматься животворною деятельностью, вы лежите, почесываясь, в своем гениальном песке?

— Потому что всемогущество всего могущественнее, когда ничего абсолютно не делает! — отвечала машина. — На вершину можно взобраться, но с вершины все пути ведут вниз! Несмотря на все, что с нами случилось, мы народ вполне порядочный, так чего ради стали бы мы что-нибудь делать? Уже прапрадеды наши — просто так, чтобы испробовать Боготрон, — солнце наше учинили квадратным, а планету — сундуковатой, превратив наивысшие ее горы в ряд монограмм. С тем же успехом можно было бы расчертить звездное небо в клетку, погасить половину звезд, а вторую разжечь поярче, сконструировать существа, населенные меньшими существами, так чтобы мысли великанов были танцами лилипутов, быть в миллионе мест сразу, перемещать галактики, составляя из них приятные глазу узоры; но скажи мне, чего это ради должны мы браться за какое-нибудь из этих дел? Что улучшится в Космосе от того, что звезды будут треугольные или на колесиках?

— Ты говоришь вздор!! — страшно возмутился Клапауций, меж тем как я дрожал все сильнее. —

Уж если вы вправду сравнялись с богами, ваш долг — немедля положить конец страданьям, заботам и бедам, что преследуют существа, подобные вам, а начать вы должны хотя бы с соседей ваших, кои, как сам я видел, без устали разбивают друг другу лбы! Так почему же вместо того, чтобы не мешкая за это взяться, вы позволяете себе валяться как попало, ковыряя в носу и засовывая честным странникам, что мудрости ищут, леденцы в ухо?

— Не возьму в толк, чего это именно леденцы так тебя рассердили? — сказала машина. — Ну да ладно. Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы мы осчастливливали всех подряд. Предмет этот был основательно нами исследован около пятнадцати сот столетий назад. Он делится на фелицитологию внезапную, то бишь неожиданную, и постепенную, то бишь эволюционную. Эволюционная заключается в том, чтобы пальцем не пошевелить в убеждении, что каждая цивилизация так или иначе сама помаленьку справится со своими болячками; внезапным же образом можно осчастливливать либо по-хорошему, либо силой. Насаждение счастья силой влечет за собой, как показывают расчеты, в лучшем случае стократно, а в худшем — восьмисоткрат-

но большие беды, нежели уклонение от всякой активности. А по-хорошему осчастливливать тоже нельзя, ибо — как бы это ни представлялось странно — результат тот же самый; и нет разницы, применяешь ли ты Супербоготрон или Адский Инфернатор, именуемый также Геенне-ратором. Ты, может, слышал о так называемой Крабовидной Туманности?

— А как же, — отвечал Клапауций, — это остатки оболочки Сверхновой Звезды, что некогда вспыхнула…

— Ну да, — сказал голос. — Сверхновой, как бы не так! Там, милейший ты мой, была планета — в меру развитая, на которой, по этой самой причине, лились изрядные реки крови и слез. Как-то утречком спустили мы на нее восемьсот миллионов Осуществилок Желаний; и не успели мы удалиться от нее на световую неделю, как она разлетелась вдребезги и разлетается до сего дня! То же самое было с планетой гоминасов… что, рассказать?

— Не стоит! — буркнул Клапауций. — Все равно не поверю, что невозможно осчастливливать методом толковым и осмотрительным!

— Не веришь? Что поделать! Мы пробовали шестьдесят четыре тысячи пятьсот тринадцать

раз. Волосы встают дыбом на всех моих головах, как только я вспомню о результатах. Уж мы, поверь, не жалели трудов ради блага других! Мы создали специальную аппаратуру для дистанционной спектроскопии мечтаний; но тебе, наверно, понятно, что, если на планете свирепствуют религиозные войны и каждая из сторон мечтает о том, как бы ей вырезать поголовно другую, не в том видели мы нашу задачу, чтобы желания эти исполнить! Итак, надо было осчастливливать, не нарушая идею высшего блага. Но и это не все, ибо большая часть космических цивилизаций в глубинах души желает того, в чем не смеет открыто признаться; отсюда снова дилемма: помогать ли им в том, что заставляют их делать остатки стыда и приличия, или же в исполнении скрытых мечтаний? Взять хотя бы, к примеру, деменциан и аминиан. Первые, на стадии почтенного средневековья, живьем сжигали стакнувшихся с дьяволом распутников, а в особенности распутниц, во-первых, потому, что завидовали утехам, проистекавшим из общения с дьяволом, во-вторых, потому, что мучительство в ореоле праведного суда дивное им доставляло блаженство. Опять же, аминиане уже ни во что, кроме собственного тела, не верили и ма-

шинами всяческими его ублажали, однако ж с некоторой осмотрительностью, называя занятие это забавой; были у них стеклянные ящички, в которые запихивали они всевозможные насилья, убийства, пожары, и разглядыванием всего этого улучшали свой аппетит. Спустили мы на их планеты тьму устройств, которые так были рассчитаны, чтобы все вожделенья удовлетворять без чьего-либо ущерба, при помощи внутренней искусственной действительности; после чего деменциане за шесть, а аминиане за пять недель завосхищали себя насмерть, во весь голос вопя от испытываемого блаженства! Этих ли методов хотелось тебе, недоразвитое существо?

— Ты либо глупец, либо чудовище, — пробурчал Клапауций, между тем как я готов был лишиться чувств. — Как смеешь ты похваляться столь пакостными деяниями?

— Я не похваляюсь, я исповедуюсь, — спокойно ответил голос. — Так вот, перепробовали мы все способы поочередно. Обрушивали на планеты потоки богатств, потопы сытости и избытка, парализуя тем самым всякие старания и труды; давали добрые советы, взамен за которые туземцы открывали огонь по нашим блюдцелетам, то бишь летучим тарелкам. Так что следовало бы

сперва душу переделать у тех, кого собираешься осчастливить…

— Но вы, должно быть, и это можете? — скрежетнул Клапауций.

— Можем, конечно, можем! Взять хотя бы соседей наших, антропанов, населяющих эмлеподобную, или землеватую, планету. Занимаются они по большей части брыкованием и хлоботанием, а все это из страха перед бабярней, которая, по их вере, пребывает вне бытия, и грешников поджидает ее пасть, вечным огнем выложенная; а подражая блаженным кибрандахлыстам, райскому Лабудансу и избегая Омерзенции с ее омерзенцами, антропанский юноша делается мало-помалу отважнее, лучше, благороднее, нежели его осьмирукие предки. Правда, антропаны воюют с брехманами из-за превосходства Кайфа над Долгом или Долга над Кайфом (ибо тут мнения их расходятся), но, заметь, в таких войнах гибнет лишь часть их; ты же требуешь, чтобы я, выбив у них из голов веру в брыкованье, хлоботанье и прочее, подготовил их к рациональному осчастливливанью. Но тем самым совершилось бы психическое убийство, ведь возникшие существа не были бы уже ни брехманами, ни антропанами; неужели это тебе невдомек?

— Предрассудок надлежит искоренять знаниями! — убежденно произнес Клапауций.

— Ну разумеется! Заметь, однако ж: там теперь около семи миллионов кающихся, многие из которых только и делали, что насиловали собственную природу, дабы ближних от бабярни избавить; как же я объясню им за считанные минуты, и притом бесспорно и непреложно, что все это было впустую и они извели свою жизнь на занятия, бесполезные абсолютно? Это ли не жестокость? Знания сами должны побороть предрассудок, но для этого надобно время. Возьмем того горбуна, о котором шла речь. Живет он в блаженном невежестве, веря, что горб его играет в деле Творения роль прямо-таки космическую. Если ты растолкуешь ему, что причиной тому лишь атомная промашка, ты сделаешь его навеки несчастным, и только. Тогда уж следовало бы горбатого выпрямить…

— Ясное дело! — выпалил Клапауций.

— Ба! И это было испробовано! Один только дед мой выпрямил однажды триста горбунов одним махом. Как же он после мучился!

— Почему? — не удержался я от вопроса.

— Почему? Сто двадцать из них были тотчас же сварены в кипящем масле, ибо столь внезапное

исцеление сочли очевидным доказательством сношений с дьяволом; из остальных тридцать завербовались в солдаты и пали на поле брани, изничтожая друг друга под разными знаменами; семнадцать немедля упились на радостях насмерть, а прочих сгубило либо любовное истощение (ибо дед мой, по доброте душевной, добавил им еще редкостной красоты), либо другое какое распутство, которому начали они предаваться слишком уж неумеренно, вдоволь перед тем напостившись; и вот в два каких-нибудь года все до единого сошли в могилу. Единственное исключение… эх! Лучше не говорить!

— Закончи, коли уж начал! — вскричал безмерно тронутый наставник мой, Клапауций.

— Если ты непременно хочешь… ладно. Сперва остались лишь двое. Из них один, встретив случайно деда, на коленях умолял его вернуть горб: дескать, в бытность его калекой он безбедно жил подаяньем, а по выпрямлении ему пришлось работать, к чему он был непривычен. Мол, с горбом он уже совершенно свыкся и теперь, проходя через дверь, больно стукается лбом о притолоку…

— А тот, последний? — спросил Клапауций.

— То был королевич, лишенный прав на престол по причине увечья; но при такой перемене к

лучшему мачеха, желая добыть корону родному сыну, отравила беднягу…

— Ладно, допустим… Но вы ведь можете творить чудеса… — молвил с отчаянием Клапауций.

— Осчастливливанье чудесами — один из наиболее рискованных приемов, какие мне только известны, — ответил сурово глас из махины. — Кого чудесным образом преображать? Индивидов? От избытка красоты рвутся брачные узы, излишний разум ведет к одиночеству, а богатство — к безумию. Нет уж! Индивидов осчастливливать невозможно, а общества — не позволено; каждое должно следовать своим путем, натуральным порядком восходя по ступеням развития, всем добрым и всем дурным обязанное себе самому. Нам, с Наивысшей Ступени, делать в Космосе нечего; мы не создаем других космосов, потому что, позволю себе заметить, это было бы некрасиво. Зачем мы стали бы это делать? Ради собственного возвышения? Это было бы гадко. Или, может, ради сотворяемых? Но их ведь нет, а можно ли учинить что-либо ради несуществующих? Делать что-то можно лишь до тех пор, пока нельзя еще делать всего. Потом надо сидеть тихо… А теперь оставьте меня наконец в покое!

— Но как же так? А средства какие-нибудь, что-

бы хоть как-нибудь улучшить, исправить, руку помощи протянуть? А страждущие — подумай о них! Эй! — кричали мы наперебой с Клапауцием у Всемогуторного Пульта.

Машина зевнула и молвила:

— Стоит ли с вами вообще толковать? Не лучше ли было бы поступить с вами так, как мы поступаем у себя на планете? Вечно одно и то же! Ну да ладно! Вот вам рецепт средства, еще не испробованного, однако же за последствия не ручаюсь! А теперь делайте себе, что хотите. Покой — единственное, что для меня еще имеет значение. Ступайте же со своим Боготроном…

Машина умолкла, и мы остались одни перед меркнущими созвездиями ее огней, у Пульта, на котором лежал листок с таким примерно текстом:

«АЛЬТРУИЗИН — психотрансмиссионный препарат, предназначенный для всех белковатых. Обеспечивает перенесение любых ощущений, эмоций и переживаний с того, кто ощущает их непосредственно, на всех остальных в радиусе до пятисот локтей. Действует по принципу телепатии, но не передает абсолютно никаких мыслей. На роботов и растения не действует. Интенсивность переживаний ощущающего индивида, или

отправителя, усиливается благодаря вторичной ретрансмиссии получателей, и она тем выше, чем большее количество лиц соседствует с таковым. По замыслу изобретателя, АЛЬТРУИЗИН вносит в любое общество дух братства, единения и глубочайшей симпатии, так как соседи счастливой особы счастливы тоже, и притом тем больше, чем счастливее она. Счастливому индивидууму они желают еще большего счастья в собственных своих интересах, а значит, от всей души; если же кто-либо страдает, срочно спешат на помощь, чтобы себя от индуцированных страданий избавить. Стены, перегородки, фашины и прочие преграды не ослабляют альтруистического эффекта. Препарат растворяется в воде; можно вводить его через водопроводную сеть, реки, колодцы и т.д. Он не имеет ни цвета, ни запаха; одного миллимикрограмма хватает для общества, состоящего из ста тысяч индивидуумов. В случае последствий, противоречащих тезисам изобретателя, никакие претензии не принимаются. За представителя Наивысш. Ступ. Раза. — Всемогуторный Ультимат».

Клапауций принялся было ворчать, что альтруизин получит применение исключительно среди людей, а роботы так и останутся со своими

жизненными невзгодами; но я осмелился отчитать его, упирая на солидарность всех разумных существ и необходимость взаимопомощи. Потом началось обсуждение практических вопросов, поскольку было ясно, что кампанию осчастливливанья разворачивать нужно незамедлительно. Клапауций поручил небольшому блоку Онтогеннуса изготовить необходимую дозу препарата, я же, посоветовавшись со славным конструктором, решил отправиться на землеподобную планету, населенную человекообразными существами, что лежала всего в четырех днях пути. Я желал благодетельствовать анонимно, поэтому мы порешили, что разумнее будет принять человеческий облик; как известно, дело это нелегкое, но гений конструктора и здесь одолел все препоны. И вот я собрался в дорогу с двумя чемоданами, из которых в одном содержалось сорок килограммов альтруизина в виде белого порошка, а во втором — туалетные принадлежности, пижамы, белье, запасные щеки, волосы, глаза, языки и т.п. Сам я путешествовал под видом соразмерно сложенного юноши с усиками и челкой. Клапауций несколько сомневался, стоит ли применять альтруизин сразу в больших масштабах; поэтому я, хотя и не разделял его опасений, согласился

произвести, по прибытии на Геонию (именно так называлась планета), пробный эксперимент. Я просто не мог дождаться минуты, когда начнется великий сев всеобщего братства и единения; а посему, сердечно простившись с конструктором, не мешкая тронулся в путь.

По прибытии на планету я остановился в небольшом селении, у немолодого уже, довольно мрачного трактирщика, на его постоялом дворе, и повел дело так ловко, что мне удалось всыпать горсточку порошка в колодец у дома, пока мою поклажу переносили из брички в гостевой покой. На постоялом дворе царила обычная суматоха, девки-прислужницы бегали с лоханями горячей воды, хозяин сердито поторапливал их; вдруг застучали копыта и из брички выскочил немолодой мужчина с докторским саквояжем в руке; но направился он не к дому, а на скотный двор, откуда временами доносилось глухое мычание. Как я узнал от горничной, принадлежавшее хозяину геонское животное — так называемая корова — рожало. Это немного меня встревожило, ибо, правду сказать, я вообще не подумал о животном вопросе; но сделать я уже ничего не мог, а потому уединился у себя в комнате, чтобы оттуда следить за ходом событий. И они не заставили себя ждать.

Я услышал звяканье колодезной цепи

— кухонная прислуга носила воду, — и вскоре затем снова послышалось мычание роженицы, которой вторили теперь другие коровы; тут же ветеринар с воплем вылетел из коровника, держась за живот; за ним мчались служанки, а самым последним — трактирщик; все они, сопричастившись коровьим мучениям, с великим плачем разбегались в разные стороны, но тотчас же возвращались, так как боль отпускала их на известном расстоянии. Таким манером они неоднократно возобновляли штурм коровника, всякий раз выбегая из него во весь дух по причине родовых схваток; столь неожиданное развитие событий меня огорошило, и я решил, что эксперимент следовало провести в городе, где животных нет. Я поскорее собрался и потребовал счет. Однако все вокруг так маялись из-за приходящего на свет теленка, что было не к кому обратиться; я готов был уже ехать, но оказалось, что и кучер, и клячи его корчатся в родовых схватках. В конце концов я решил добираться до ближайшего города пешим ходом. И вот, на беду, когда я переходил через реку по мостику, ручка чемодана выскользнула у меня из рук, чемодан, ударившись замком о бревно, раскрылся, и весь запас белого порошка

высыпался из него в мгновение ока. Остолбенев, я смотрел, как быстрое теченье растворяет в себе сорок килограммов альтруизина — но помочь беде я уже не мог; жребий был брошен, ибо река снабжала город питьевой водой.

Я брел до самого вечера, а когда вошел в город, он сиял огнями, на улицах стоял гомон, прохожих было полно. Вскоре я отыскал небольшую гостиницу и остановился в ней, высматривая первые признаки действия препарата; но пока что не замечал ничего. Утомленный длительным переходом, я сразу же отправился спать. Посреди ночи меня разбудили истошные вопли. Я вскочил с постели. В комнате было светло от языков пламени, пожиравших дом напротив; я побежал на улицу и за самым порогом споткнулся о труп, еще совсем теплый. Неподалеку шестеро извергов, крепко схватив взывавшего о помощи старца, клещами вырывали у него один зуб за другим, пока наконец хоровой вздох облегчения не возвестил, что найден и удален болевший корень, который мучил также и их вследствие трансмиссии; бросив обеззубевшего и полузатоптанного старца, они удалились, явно умиротворенные.

Однако же не вопли этого страдальца разбудили меня; причиной был инцидент в пивной

напротив: какой-то пьяный детина огрел приятеля по лбу, в то же мгновение ощутил его боль и, пришедши от этого в ярость, принялся лупить его все сильнее, а сотрапезники, у которых тоже очень болело, повскакали с мест, чтобы приложить драчунам; круг всеобщих мучений настолько расширился, что половина постояльцев гостиницы, проснувшись, похватала трости, палки, метлы, в ночном белье прибежала на поле сражения и огромным клубком каталась среди поломанной мебели и разбитой посуды, пока наконец от перевернутой лампы не занялся огонь. Под звон колоколов, вой пожарных сирен и недобитых кулачных бойцов я поскорей удалился от этого места, но несколькими кварталами дальше наткнулся на сходку или, скорее, толпу народа, окружившую небольшой белый домик, обсаженный розовыми кустами. Как оказалось, здесь проводили ночь новобрачные. Давка была неслыханная, мелькали военные мундиры, священнические сутаны и даже гимназические околыши; те, что стояли близ окон, тянули шеи, пытаясь заглянуть внутрь, другие лезли им на спины, восклицая: «Ну! В чем дело?! Чего они там канителятся? Долго нам еще ждать?! За дело, живее!» — и т.п. Какой-то старичок, который никак

не мог протолкнуться, слезно молил пропустить его; он, мол, из-за слабости мозга издалека ничего не почувствует; но никто не обращал внимания на его смиренные просьбы — одни потихоньку млели от наслаждения, другие блаженно постанывали, а менее опытные пускали ртом пузыри. Родственники молодых поначалу пытались разогнать толпу наглецов, но вскоре сами увлечены были вихрем всеобщей разнузданности и присоединились к зычному хору, что подзадоривал любящихся; причем верховодил в этом печальном действе прадед молодого супруга, который упорно штурмовал двери супружеской спальни креслом на колесиках. Жестоко уязвленный увиденным, я повернул назад, в сторону гостиницы, а по дороге мне попадались кучки людей, которые либо воинственно клокотали, либо обнимались наперебой; все это, однако ж, был сущий пустяк по сравнению с тем, что творилось в гостинице. Уже издалека я заметил, что постояльцы скачут из окон в одном белье, сплошь да рядом ломая себе ноги; несколько человек залезли на крышу, а в самом доме хозяин с хозяйкой, горничные и коридорные метались, визжали от страха как безумные и прятались по шкафам или под кроватями, — а все потому, что в погребе кошка гоняла

мышей.

Я начинал понимать, сколь опрометчив был мой поступок; на рассвете альтруизин действовал уже с такой силой, что, если у кого-нибудь щекотало в носу, вся округа в радиусе мили чихала в ответ громовыми залпами, а от больных тяжелыми формами невралгии родственники, врачи и сиделки убегали, как от чумы; и лишь несколько бледных, посапывающих от крайнего удовольствия мазохистов робко шныряли вокруг. Нашлось также множество маловеров, которые только затем пинали и дубасили ближних, чтобы удостовериться, что диво трансмиссии ощущений, о котором столько рассказывают, — чистая правда; жертвы, в свою очередь, не оставались в долгу, и глухие звуки ударов огласили весь город. Утром, бродя в безмерном удивленье по улицам, я увидел большую, залитую слезами толпу, которая гнала через рыночную площадь старушку под черной вуалью, забрасывая ее камнями. Как оказалось, то была вдова некоего престарелого башмачника, что накануне умер, а утром был похоронен; страдания безутешной вдовы так допекали соседей, что те, не имея никаких способов утешить бедняжку, изгнали ее из города. Это зрелище ужасной тоской сдавило мне сердце, и

я поскорей направился обратно в гостиницу, но она была объята гудящим пламенем. Оказалось, что кухарка, варившая суп, ошпарила палец, вследствие чего некий ротмистр, который на последнем этаже как раз чистил оружие, от великой боли нажал невольно на спуск, уложив на месте жену и четверых ребятишек; отчаянье его разделили все, кто не был еще отвезен в больницу в обморочном состоянии или с переломанными членами; а какой-то доброжелатель, желая сократить мучения столь всеобщие, от которых сам едва не кончался, поливал кого ни попадя керосином и поджигал, впав в очевиднейшее безумие. И сам я бежал от пожара, словно безумный, мечтая найти хотя бы одну, хоть какую-нибудь, хоть чуточку осчастливленную особу, но наткнулся лишь на остатки толпы, возвращавшейся с той брачной ночи.

Обсуждали ее подробности, причем этим негодяям все было не так, как, по их мнению, следовало; и каждый из бывших совозлюбленных держал в руке увесистую дубинку, чтобы отгонять страждущих, попадавшихся по дороге; я боялся, что сердце у меня разорвется от жалости и стыда, но все же не оставлял надежду отыскать хоть одного человека, который пролил бы

бальзам на мою душу. Расспрашивая прохожих, я узнал в конце концов, где живет некий прославленный мыслитель, проповедовавший братство и просвещенную терпимость, и направился туда в уверенности, что дом его будет окружен широкими простонародными массами. Как бы не так! Лишь несколько кошек тихонько мяукали у ворот, пользуясь ореолом доброжелательности, который исходил от мудреца и вынуждал собак сидеть в некотором отдалении, нервно облизываясь; а какой-то калека, передвигаясь так скоро, как только мог, проковылял мимо меня с криком: «Крольчатня уже открыта! Открыта!» — и оставил меня в мрачном недоумении, каким это образом явления, происходящие в крольчатнике, могут благоприятно повлиять на его ощущения.

Пока я стоял в растерянности, ко мне подошли двое. Один, глядя мне глубоко в глаза, что было сил заехал по физиономии другому, я же от изумления остолбенел, однако за собственное лицо не схватился и даже не вскрикнул: я-то ведь робот, и от чужой зуботычины у меня ничего не заныло; а следовало об этом подумать, поскольку оба они были из тайной полиции и тотчас схватили меня, разоблаченного таковым манером, в кандалы заковали и потащили в тюрьму. Там

я во всем повинился. Я рассчитывал, что они, быть может, согласятся принять во внимание благородство моих намерений, хотя горело уже полгорода; но если они поначалу лишь слегка пощупали меня клещами, то единственно для того, чтобы удостовериться, что это им ничем не грозит; а убедившись, что все в порядке, скопом ринулись давить, топтать, винты срывать, пинать и ломать все фибры моего истязуемого естества. Не счесть мук, кои принял я за то, что искренне желал осчастливить их всех; довольно будет сказать, что напоследок моими останками зарядили пушку и выстрелили ими в Космос, как всегда безмолвный и темный. А в полете я со все большего отдаления окидывал зашибленным взором сцены воздействия альтруизина на все возрастающем пространстве, ибо речные волны уносили крупицы препарата все дальше и дальше. Я видел, что творилось среди пташек лесных, монахов, рыцарей, коз, поселянок и поселян, петухов, девиц и матрон, и от этого зрелища последние неповрежденные лампы полопались у меня от жалости неизбывной; в таком-то вот виде и свалился я, после затяжного падения, близ твоего дома, милостивец мой, — излеченный поистине на все времена от охоты осчастливливать

ближних ускоренным способом…

# Собысчас

Как-то раз под вечер пришел знаменитый конструктор Трурль к своему приятелю Клапауцию грустный и задумчивый, а когда попробовал тот его развеселить, рассказывая наисвежайшие кибернетические анекдоты, Трурль вдруг сказал:

— Прошу тебя, не пытайся превратить мое подавленное настроение в игривое, ибо грызет меня мысль столь же правдивая, сколь и печальная: пришел я к выводу, что за всю нашу столь деятельную жизнь не совершили мы ничего ценного!

Сказав это, окинул он взглядом, полным осуждения и отвращения, стены кабинета Клапауция, увешенные богатой коллекцией медалей, грамот и почетных дипломов в золоченых рамках.

— На чем же столь строгий приговор основан? — спросил, становясь серьезным, Клапауций.

— Сейчас объясню. Мирили мы враждующие королевства, строили для монархов, власти жаждущих, тренажеры, создавали машины для рассказывания сказок и для охоты, одолевали мы

коварных тиранов и галактических разбойников, что на нас нападали, но всем этим только себе удовольствие доставляли, себя в собственных глазах возвеличивали, а для вселенского блага ничего почти не сделали. Все наши деяния, направленные на улучшение жизни народов, на которых мы в наших межпланетных странствиях натыкались, ни разу не привели к состоянию *совершенного счастья*. Вместо решений радикальных и идеальных создавали мы только их видимость, протезы да суррогаты, и заслужили поэтому титул фокусников от онтологии, ловких софистов-практиков, но не звание *ликвидаторов зла*.

— Всякий раз, когда я слышу, как кто-нибудь рассуждает о программировании *мирового счастья*, у меня мурашки по спине бегают, — ответил Клапауций. — Опомнись, Трурль! Разве не знаешь ты бесчисленных примеров дел, которые с того же начинались и в руины обратились, наиблагороднейшие намерения под собой похоронив? Разве не помнишь ты о трагической судьбе отшельника доброго, который пытался осчастливить космос с помощью препарата под названием «альтруизин»? Разве не знаешь ты, что можно сколько угодно жизненные невзгоды

уменьшать, справедливость утверждать, солнечные пятна счищать, на шестерни общественных машин бальзам лить, но счастья никакими машинами не создашь? О царстве полного счастья можно лишь тихо мечтать такими вот темными вечерами, создавать его в своем воображении, одурманивать душу сладкими видениями, и это все, чего может требовать истинный мудрец, приятель мой!

— Так только говорится, — буркнул в ответ Трурль.

— Быть может, и в правду, — добавил он через мгновение, — осчастливить существ, давно уже существующих — задача неразрешимая. Однако можно создать существ, сконструированных с таким расчетом, чтобы им жизнь ничего, кроме счастья, не несла. Вообрази, каким великолепным памятником нашему конструкторству (которое ведь обратится же когда-то в прах) была бы сияющая где-то в небесах планета, к которой миллионы галактических племен с надеждой обращали бы взоры, произнося: «Да! Воистину — счастье возможно! Возможна вечная гармония! А доказал это великий Трурль при некотором содействии своего друга Клапауция, и доказательство это живет и пышно цветет перед нашими

восхищенными взорами! «

— Не сомневайся, что над проблемой, о которой ты говоришь, я уже не раз размышлял, — сказал Клапауций. — Возникает здесь серьезное противоречие. Видно, ты урока, который случай с добрым всем преподал, не запомнил, поэтому и хочешь осчастливить созданий, которых до того не было, то есть желаешь счастливцев на пустом месте сотворить. А ведь полагалось бы сначала подумать над тем, можно ли вообще осчастливить тех, кто не существует. Я сильно в этом сомневаюсь. Ты должен сперва доказать, что небытие со всех точек зрения хуже бытия, даже не особенно приятного, потому что без такого доказательства фелицитологический эксперимент, идея которого тебя увлекает, даст осечку. Тогда к множеству несчастных, от которых во вселенной тесно, ты добавил бы толпу новых, тобой сотворенных — да только зачем?

— Эксперимент, конечно, рискованный, — нехотя признался Трурль. — Но я все равно считаю, что нужно его провести. Природа беспристрастна только с первого взгляда, ибо хоть и создает она что попало и как придется — хороших и плохих, добрых и жестоких, а смотришь потом, и видишь, что остались на сцене лишь плохие и

жестокие, хорошими и добрыми наевшиеся. А как спохватываются негодяи, что поступили нечисто, так сразу же смягчающие обстоятельства или высшие цели себе выдумывают. Вот и выходит, что житейские мерзости — приправы, аппетит на рай и прочие подобные места заостряющие. Я считаю, что с этим пора покончить. Природа вовсе не зла, она только глупа, как пробка, поэтому идет по пути наименьшего сопротивления. Нужно встать на ее место и создать счастливых существ самим, чтобы их появление было истинным врачеванием бытия, с лихвой оправдывающим прошедшие эпохи, полные стонов мучеников, которых с иных планет разве что на космических расстояниях не слышно. Какого дьявола все живое постоянно вынуждено терпеть? Если бы беда каждого отдельного существа несла хотя бы такой импульс, какой капля дождя несет, то за прошедшие века разнесли бы они мир. Но и пот их, пока живут они, и прах их в могильных склепах, и опустевшие их жилища безмолвствуют, и самыми совершенными приборами не найдешь ты там следов их боли и мук, от которых страдали вчера распавшиеся в прах сегодня.

— В самом деле, у мертвых нет забот, — кивнул Клапауций. — Ты прав, если имеешь в виду вре-

менность всяких мучений.

— Но ведь появляются новые мученики! — повысил голос Клапауций. — Или не понимаешь ты, что выполнение моего замысла — просто вопрос моей порядочности?

— Послушай. Каким же именно образом счастливое существо (допустим, что ты его создал) смягчит бездну невзгод, что уже произошли и тех несчастий, что по-прежнему происходят во всем космосе? Или сегодняшний штиль отменяет вчерашнюю бурю? Или день упраздняет ночь? Неужели ты не видишь, какой вздор несешь?

— Так ты считаешь, что делать ничего не надо?

— Я этого не сказал. Ты можешь облегчать жизнь уже живущих, по крайней мере, рискнуть на такую попытку. Тех же, о которых ты говорил, счастливее никак не сделаешь. Ты другого мнения? Ты считаешь, что выпустив в космос испеченного тобой счастливца, ты хоть на йоту изменишь то, что в нем уже было?

— А вот и изменю! Изменю! — закричал Трурль. Пойми же меня наконец! Даже если поступок мой не затронет тех, кто уже исчез, то он изменит то целое, частью которого они стали. Отныне всякий должен будет сказать: «огромные усилия,

противоестественные цивилизации, уродливые культуры были лишь прелюдией к дню сегодняшнему, ко времени всеобщей любви! Трурль, сей великий муж, размышляя, пришел к выводу, что злое прошлое должно быть уничтожено для создания доброго будущего. На бедности научился он творить богатство, на невзгодах узнал цену наслаждения. Одним словом, именно своим безобразием побудил его космос сотворить добро! « Наша эпоха окажется подготовительной и вдохновляющей, понимаешь? Благодаря ей наступит эра истинного счастья. Ну как, убедил я тебя.

— Под южным крестом лежит царство короля Троглодика, — отозвался Клапауций. — Нет для него милее картины, чем виселица, а эту любовь свою он тем объясняет, что нельзя таким сбродом, как его подданные, править иначе. Когда появился я в его царстве, хотел он меня сразу же схватить, но смекнул, что я могу его в порошок стереть. Тогда испугался Троглодик, потому что не сомневался — если он меня не одолеет, то я с ним разделаюсь. И чтобы меня к себе расположить, собрал он тотчас же свой ученый совет и получил от него моральную доктрину власти, как раз для таких случаев созданную. Объяснили ему эти купленные им мудрецы, что чем им

хуже, тем сильнее жаждут они улучшений, а поэтому то, кто такое творит, что уж и вытерпеть невозможно, чрезвычайно сильно это улучшение приближает. Обрадовался король этим речам, потому что выходило, что никто так активно, как он, не борется за грядущее добро, ибо надлежащими мерами мечтающих о благе для человечества к действиям побуждает. Так что счастливцы твои должны Троглодику памятников понаставить, а сам ты должен ему спасибо сказать. Не так ли?

— Глупая и циничная притча! — выпалил задетый за живое Трурль. — Думал я, что ты меня поддержишь, однако вижу, что ты только пытаешься ядовитым скептицизмом и софизмами принизить благородство моих замыслов. А ведь в замыслах этих — спасение космоса.

— А, так ты хочешь стать спасителем космоса? — сказал Клапауций. — Трурль, нужно было бы мне сейчас тебя связать и кинуть на ту кровать, чтобы было у тебя время опомниться, однако боюсь я, что долго пришлось бы этого ждать. Поэтому скажу только: не твори счастья, не подумав! Не совершенствуй бытия одним махом! А если даже и сотворишь ты счастливцев (в чем я сомневаюсь), то ведь останутся по-прежнему и все остальные, возникнет зависть, ссоры,

раздоры, и, кто знает, не встанет ли перед тобой неприятная альтернатива: либо счастливцы твои завистникам уступят, либо должны будут для достижения полной гармонии этих назойливых, обиженных да ущербных, всех до одного перебить.

Вскочил было Трурль на ноги, да опомнился, кулаки разжал, так как драка с приятелем была бы не самым подходящим началом для эры *полного счастья*, которую он уже твердо решил создать.

— Прощай, — заявил он холодно. — Проклятый агностик, маловер, рабски полагающийся на случайности естественного хода событий. Не словами буду с тобой спорить, но делами! По плодам трудов моих поймешь ты вскоре, что правда на моей стороне!

Вернулся Трурль домой и серьезно задумался, потому что, хоть в конце спора с Клапауцием и дал понять, будто у него есть конкретный план действий, но было это далеко не так. Откровенно говоря, не имел он и малейшего понятия о том, с чего начинать. Достал он тогда с полок своей библиотеки громадные тома, посвященные описанию бесчисленных общественных систем и проглотил их с достойной удивления скоростью. А так как, несмотря на все, слишком медленно

наполнялся нужными фактами, то приволок из подвала восемьсот кассет ртутной, оловянной, ферромагнитной и криотронной памяти, приладил их всех проводами к своему естеству и за несколько секунд набил себе голову четырьмя триллионами бит лучшей и отборнейшей информации, какую можно было только раздобыть среди звезд, на планетах, а также на остывших солнцах, заселенных прилежными летописцами. И такая у него в голове началась давка, что посинел бедняга, глаза у него полезли на лоб, зубы застучали, мурашки по телу забегали, и затрясся он с головы до пят, как будто не историографией и историософией был наполнен, а чумой поражен. Потом однако собрался он с силами, встряхнулся, вытер лоб, оперся все еще дрожавшими коленями о край стола и сказал себе:

— Видно, все обстояло и обстоит еще хуже, чем я думал!

Целый час точил он карандаши, подливал чернил в чернильницы, стопками укладывал белые карточки, но из этих приготовлений ничего такого не возникло, поэтому разозлился он слегка и сказал себе:

— Должен я был просто для порядка познакомиться с книгами древних, архаичных мудрецов,

хотя всегда и подозревал, что эта старая мура современного конструктора ничему научить не может. Ладно, так уж и быть! Проштудирую и этих допотопных мыслителей, защитившись тем самым от выпадов Клапауция, который их, конечно, тоже никогда не читал (а кто их вообще читает? ), а только тайком выписывает себе из их книг цитаты, чтобы меня злить и в невежестве упрекать.

Сказав это, он действительно взялся за книги дряхлые и трухлявые, хотя совсем ему этого не хотелось.

В середине ночи, окруженный книгами, что, открытые, падали ему на колени, так как сталкивал он их нетерпеливо со стола, сказал он себе:

— Вижу я, что придется не только жизнь разумных существ исправлять, но и то, что они нафилософствовали. Прародителем жизни был океан, который у берегов илом покрылся. Возникла грязь жидкая, или коллоид. Солнце грязь пригрела, загустела грязь, потом молния в нее трахнула, аминокислотами (от слова аминь) все заквасилось, и возникла протоплазма, которая со временем на сухое место выбралась. Выросли у нее уши, чтобы слышать, как добыча удирает, а также ноги и зубы, чтобы ее догнать и съесть.

А если не выросли ноги, или коротки были, то ее саму съели. Разум же сотворила эволюция, ибо что с ее точки зрения глупость и мудрость, а также добро и зло? Добро — это тогда только, когда я кого-то съем, а зло — когда меня съедят. То же и с разумом: съеденный, если такое с ним случилось, глупее съевшего, потому что не может быть умным тот, кого нет, а кого съели — того нет и в помине. Но тот, кто всех переест, тот сам сдохнет. Поэтому есть стали в меру. Со временем живая органика стареет, ибо материал это непрочный. Тогда, в поисках лучшего, придумали мягкотелые металл. Сами себя в железе скопировали, потому что легче всего взять уже готовое, поэтому до создания истинно совершенных форм дело не дошло. Ба! Не будь органика такой непрочной, ведь совершенно по другому философия бы развивалась: видно, влияет на нее материал, то есть чем совершеннее строение разумного существа, тем отчаяннее жаждет оно иметь совершенно другое строение. Если в воде живут — утверждают, что рай на — суше, если на суше, то — в небе, если имеют крылья, то считают идеалом плавники, а если ноги, то намалюют себе крылья и восхищаются: «ангел! « Удивительно, что я раньше этого не заметил. Назовем это

правило *Космическим Законом Трурля*: всякий разум творит себе *абсолютный идеал*, исходя из несовершенства собственной конструкции. Надо где-нибудь это записать на тот случай, если когда-нибудь займусь созданием основ философии. А сейчас надо браться за конструирование. Начнем с закладывания добра — но только что это такое? Его безусловно нет там, где никого нет. Водопад для скалы — ни добро и ни зло, так же как и землетрясение для озера. Поэтому создадим *кого— нибудь*. Но вот вопрос — будет ли ему хорошо? Ведь откуда мы узнаем, что кому-то хорошо? Предположим, что я вижу, как кто-то Клапауцию делает зло. И что же? Одна половина души огорчится, а другая — обрадуется, не так ли? Это как-то очень запутанно.

Возможно, кому-то хорошо по сравнению с соседом, но он ничего о соседе не знает, и поэтому своего счастья не чувствует. Следует, значит, создать существ, имеющих перед глазами себе подобных, в муках живущих. Были бы они достаточно удовлетворены сами этим контрастом? Быть может, но все-таки как-то это гадко. А значит, нужен здесь дроссель или трансформатор.

Закатал он тогда рукава и за три дня построил *Созерцатель Бытия Счастливый*, машину, кото-

рая сознанием, в катодах ее горящем, с каждой постигнутой ею вещью соединялось, и не было на свете ничего, что не доставляло бы ей утехи. Уселся перед ней Трурль, чтобы проверить, то ли у него вышло. Присев на трех металлических ногах, водил созерцатель вокруг телескопическими глазами, а когда падал его взгляд на доску заборную, на камень или старый башмак, то безмерно он восторгался, так что даже тихонько постанывал от великой радости, его распиравшей. Когда же солнце зашло, и заря на небе заалела, то даже присел он от восхищения.

— Клапауций, разумеется, скажет, что сами стоны и приседания ни о чем еще не говорят, — сказал Трурль, все еще не удовлетворенный. — Он потребует доказательств.

Встроил он тогда созерцателю в брюхо измерительный прибор с золоченой стрелкой, который отградуировал в единицах счастливости, названных им гедонами, или, сокращенно, гедами. За один гед принял он то количество экстаза, которое получишь, если пробежишь четыре мили в ботинке с торчащим гвоздем, а потом гвоздь выпадет. Помножил путь на время, поделил на остроту гвоздя, вынес за скобки коэффициент жесткости пятки, и таким образом перевел

счастье в систему «СГС». Этим он немного себя утешил. Уставившись на залитый маслом рабочий фартук Трурля, суетившегося перед прибором, созерцатель, в зависимости от угла и полной освещенности, показывал от 11. 8 до 18. 9 гедов на пятно, заплатку и секунду. Успокоился конструктор. Вычислил он заодно, что один килогед — это столько, сколько старцы чувствовали, за Сусанной в купели подглядывая, что мегагед — это радость смертника, перед самой виселицей помилованного. Тогда, увидев, что все удается точно вычислить, послал одного самого плохонького лабораторного робота за Клапауцием.

Когда тот пришел, сказал ему Трурль:

— Смотри и учись.

Обошел Клапауций машину кругом. Та сразу же большие свои телеобъективы на него направила, присела и пару раз простонала. Удивился конструктор этим глухим звукам, но виду не подал и спросил только:

— Что это?

— Счастливое существо, — сказал Трурль, — а называется *Созерцатель Бытия Счастливый*, сокращенно же — Собысчас.

— И что же делает этот Собысчас?

Трурль почувствовал в этих словах иронию,

однако мимо ушей ее пропустил.

— Активным способом непрерывно познает! — объяснил он. — И не просто познает, замечая, а делает это интенсивно, сосредоточенно и трудолюбиво, а то, что он познает, у него невыразимую радость вызывает. И радость эта, по его анодам и катодам разлившись, дает ему высокое блаженство, признаками которого как раз и явились звуки, которые ты слышал, когда обозревал он твою довольно невзрачную наружность.

— Значит, эта машина извлекает активное наслаждение из сущности самого познания?

— Именно так! — сказал Трурль немного потише, ибо не был уже так уверен в себе, как за мгновение до этого.

— А это, конечно, фелицитометр, отградуированный в единицах наслаждения существованием? — указал Клапауций на шкалу с золоченой стрелкой.

— Именно так…

И начал тут Клапауций разные вещи Собысчасу показывать, внимательно следя за отклонением стрелки. Трурль, успокоившись, объяснил ему теорию гедов, или теоретическую фелицитометрию. Слово за словом, вопрос за вопросом — бежала беседа, но вдруг спросил Клапауций:

— Скажи-ка, сколько гедов содержится в том, что тот, кого триста часов били, в свою очередь лоб тому, кто его бил, расшиб?

— А, так это очень просто! — обрадовался Трурль, и сел было за вычисления, но услышал громкий смех своего приятеля. Разозлился он и вскочил, Клапауций же, все еще смеясь, сказал:

— Ведь ты же сказал, что за исходный принцип принял добро, дорогой мой? Ну что ж, эталон ты выбрал подходящий. Продолжай в том же духе, и все пойдет отлично. А пока прощай.

И ушел, оставив совершенно убитого Трурля.

— А, черт меня подери, — стонал конструктор, а стоны его перемежались с восторженными постаныванiями Собысчаса, которые так его разозлили, что запихнул он машину в чулан, закидал ее старым хламом и закрыл на замок.

Сел он потом за пустой стол и так себе сказал:

— Перепутать эстетический восторг с добром — ну и осел же я! Да и вообще, есть ли у Собысчаса разум? Надо с самого начала подойти к вопросу иначе, с самого атомного уровня. Счастье — конечно, радость — без сомнения, но не за чужой счет! Не из зла следующее! Вот так! Но что такое зло? Вижу я, что до сих пор в своей конструкторской деятельности преступно теорией

пренебрегал.

Восемь дней не отдыхал конструктор, не спал, не выходил на улицу, а только изучал книги безмерно ученые, о добре и зле рассуждающие. Оказалось, большинство мудрецов сходится на том что самая важная вещь — это взаимопомощь и взаимная благожелательность. То у другое должны друг другу разумные существа в любом случае оказывать. Правда, именно под этим лозунгом и огнем жгли, и жидким оловом поили, и четвертовали, и на кол сажали, и кости ломали, а в самые ответственные исторические моменты даже шестерками лошадей разрывали. Для духа же, как и для тела, в форме разноообразных пыток друг другу доброжелательность выказывали.

— Предположим, — сказал себе Трурль, — что совесть пробуждалась бы не в самих злодеях, а, напротив, в близких людях, их окружающих. Что бы из этого вышло? Да нет, это не пойдет: ведь тогда бы ближнего моего угрызения мучили, а я бы еще легче мог в грехах погрязнуть. Может, встроить в обычную совесть умножитель угрызений, чтобы каждое новое зло в тысячу раз больше, чем предыдущее, мучило? Но тогда каждый из простого любопытства что-нибудь злое сотворит, чтобы проверить, вправду ли новые угрызения

такими дьявольски сильными будут — и до конца дней совесть будет его мучить… Можно было бы сделать совесть с обратной связью и блокировкой стирания… Нет! Это не годится, потому что кто же будет эту блокировку отключать? А если приладить трансмиссию — один чувствует за всех, все — за одного? Но ведь это уже было — именно так действовал альтруизин… Тогда можно так: у каждого в туловище вмонтирован маленький детонатор с приемником, и если ему, за его злые и подлые дела, зла не менее десяти ближних пожелают, их желания на гетеродинном входе суммируются и тот, кому они адресованы, на воздух взлетает. Да неужели тогда каждый как чумы не избегал бы зла? Конечно избегал бы, да еще как! Однако… Что это за счастливая жизнь — с миной замедленного действия в области желудка? К тому же возникали бы тайные заговоры против людей: получилось бы, что достаточно десяти негодяям невиновного невзлюбить и он — на кусочки… Тоже не годится. Что же это такое! Мне, галактики, как шкафы, двигавшему, не решить, казалось бы, простой инженерной проблемы?! Допустим, что в неком обществе каждый упитан, румян и весел, с утра до вечера поет, подпрыгивает и хохочет от того, что другим

добро делает, да при этом весь пылает от энтузиазма, а если спросить его, то в голос кричит, что просто ужасно рад существованию — и своему, и окружающих… Достаточно ли счастливым было бы такое общество? Ведь там никто никому зла сделать не может! А почему не может? Потому что не хочет! А почему не хочет? Потому что это ему ничего не даст. Вот и решение! Не это ли гениальный в своей простоте план для массового производства счастья?! Не в такой ли жизни все счастьем переполнены будут?! Посмотрим, что тогда скажет этот циник-мизантроп, этот скептический агностик, Клапауций — уж тогда-то ему не до насмешек и издевательств будет! Пусть-ка попробует придраться! Ведь если каждый будет стараться ближнему все лучше и лучше делать, да так, что лучше уж и нельзя… Гм, а не замучаются ли они, не выбьются ли из сил, не выдохнутся ли быстро под градом и лавиной этих добрых дел? Ладно, вмонтируем маленькие редукторы, или какие-нибудь дроссели, счастьеупорные перегородки, экраны, изоляцию… Сейчас, только не надо спешить, чтобы опять что-нибудь не проморгать. Итак: примо — веселые, секундо — упитанные, терцо — подпрыгивающие, кварто — румяные, квинто — удовлетворенные, сексто

— участливые… Хватит, можно начинать.

До обеда поспал он немножко, так как сильно утомили его эти размышления, а потом, решительный и бодрый, встал, чертежи начертил, ленты программные наперфорировал, алгоритмы рассчитал, и, наконец, сотворил счастливое общество из девятисот персон. Чтобы господствовало в нем равенство, сделал всех совершенно одинаковыми. Дабы из-за еды и питья не ссорились, сделал так, что не пили они и не ели, а холодный атомный огонек служил им источником энергии. Уселся он потом на завалинку и до захода солнца смотрел как они прыжками и криками свою радость выражают, как добро творят, друг друга по голове гладят, камни друг перед другом с дороги убирают, какие они крепкие, бодрые, веселые, как задорно и беспечно жизнь их бежит. Если кто ногу вывихнет — аж черно становилось от сбежавшихся, и не от любопытства, а из-за могучей потребности участие оказать. От избытка сочувствия одному из них даже ногу оторвали, вместо того, чтобы вправить, но подрегулировал он им редукторы и реостаты, а потом позвал Клапауция. Присмотрелся тот к их радостной беготне, выслушал объяснения с довольно кислой миной и спросил:

— А опечалиться они могут?

— Что за глупый вопрос. Разумеется, нет, — ответил Трурль.

— Значит, потому они все время скачут и во весь голос вопят, потому такие румяные и добрые, что им хорошо?

— Именно!

А так как Клапауций не просто на похвалы поскупился, а вообще ничего не похвалил, то добавил Трурль сердито:

— Быть может, зрелище это монотонно и менее живописно, чем батальные сцены, но моей задачей было осчастливить, а не кому-то там спектакль устроить!

— Если они делают то, что делают, потому что делать это обязаны, приятель мой, — отозвался Клапауций, — то в них ровно столько же добра, сколько в трамвае, который потому тебя не не переедет, если ты на тротуаре стоишь, что ему с рельсов не сойти. Не тот, Трурль, счастье творения добра познает, кто должен других неустанно по голове гладить, от восторга вопить да камни с дороги убирать, а тот лишь, кто может и печалиться, и рыдать, и камнем другому голову размозжить, но по доброй воле и сердечной охоте этого не делает! Ты же создал пародию на

высшие идеалы, которые удалось тебе изрядно опошлить!

— Что ты такое говоришь?! Они же, все таки, разумные существа, — пробормотал обескураженный Трурль.

— Да? — спросил Клапауций. — Сейчас посмотрим.

С этими словами подошел он к Трурлевым творениям, первому, кто ему попался, дал с размаху в лоб и спросил

— Счастлив ли ты?

— Безумно! — ответил тот, схватившись за голову, на которой вскочила шишка.

— А теперь? — спросил Клапауций, и так ему врезал, что тот вверх тормашками полетел. Еще не успел бедняга встать, еще песок выплевывал, а уже кричал:

— Счастлив я! Хорошо мне жить!

— Вот так, — сказал коротко Клапауций онемевшему Трурлю и ушел.

Огорчился Трурль невыразимо. Свел он одного за другим своих счастливцев в лабораторию и разобрал их там до последнего винтика, а они не только этому не сопротивлялись, но ему, как могли, помогали, ключи и клещи подавали, или даже молотком себя по черепу били, если его крышка

слишком плотно была насажена и сниматься не хотела. Сложил он детали обратно в ящики и на полки, сорвал с досок чертежи, порвал их на куски, уселся за стол, под философско-этическими трудами прогнувшийся и глухо простонал:

— Хорошенькая история! Ну и опозорил же меня этот мерзавец, этот разбойник, мой так называемый приятель!

Вынул он из шкафа модель пермутатора — прибора, который всякую информацию в аспекте взаимопомощи и всеобщей благожелательности перерабатывал, положил его на наковальню и разбил на куски, но не стало ему от этого легче. Поразмыслил он, повздыхал и взялся за воплощение другого замысла. На этот раз вышло из под его рук общество немалое — три тысячи рослых парней, которые тут же выбрали себе руководителей тайным и равным голосованием, а затем занялись разнообразными делами — кто дома строил и изгороди ставил, кто законы природы открывал, а кто играл и забавлялся. В голове у каждого из новых созданий Трурля был гомеостазик, а в том гомеостазике — два прочно приваренных ограничителя, между которыми могла их свободная воля гулять, как это ей и подобает, а снизу находилась пружина добра, которая на свою сторону

много сильнее тянула, чем другая, поменьше, колодкой приторможенная, для разрушения и уничтожения предназначенная. Имел каждый гражданин еще и датчик совести огромной чувствительности, помещенный в зубастые клещи, которые начинали его грызть, если сходил он с пути праведного. Проверил Трурль на специальном лабораторном экземпляре, что, когда до мук совести доходило, корчило от них несчастного почище, чем от икоты или даже от пляски святого Витта. Только раскаянием, делами благородными, альтруизмом потихоньку конденсатор заряжался и своим импульсом зубы, угрызающие совесть, разводил и маслом датчик умасливал. Нет слов, хитро было это придумано! Подумывал Трурль над тем, чтобы угрызения совести дополнительной тягой с зубной болью соединить, но потом решил этого не делать, потому что боялся, что Клапауций опять начнет о принуждении, свободу воли исключающем, талдычить. Было бы это, безусловно, неверно, потому что имели эти существа статистические приставки, и никто, даже сам Трурль, не мог сказать, что и как они делать будут. Целую ночь будили Трурля радостные крики, и шум этот сильно эму досаждал. «Но теперь уже», — сказал он себе, — «Клапауцию

ни к чему не прицепиться. Счастливы они, но не не по программе и не по обязанности, а только статистическим, эргодическим и вероятностным образами. Моя взяла! « С этой мыслью глубоко уснул он и спал до самого утра.

Так как не застал он Клапауция дома, то проискал его до самого обеда, а найдя, повел его к себе, прямо на фелицитологический полигон. Осмотрел Клапауций дома, изгороди, будки, надписи, дворец правления и его залы, делегатов, граждан, поговорил с теми и с другими, а в переулке снова попробовал одному низенькому гражданину в лоб дать, но взяли его тут же трое других за руки и за ноги, и моментально выкинули из города через ворота, и хотя следили они за тем, чтобы шею ему не сломать, однако морщился он, из придорожной канавы выбираясь.

— Ну как? — спросил Трурль, сделав вид, что вовсе не заметил позора Клапауция. — Что скажешь?

— Я приду завтра утром, — ответил тот.

— Разумеется, — уходя, удовлетворенно улыбался Трурль. На следующий день, около полудня, снова вошли оба конструктора в город, и увидели большие перемены. Остановил их сразу же патруль, и старший по званию сказал Трурлю

— Почему у тебя такой кислый вид? Или пения птичек не слышишь? Или цветов не видишь? Голову выше!

Другой, пониже рангом, добавил:

— Держаться бодро, браво, весело!

А третий ничего не сказал, а только бронированным кулаком треснул конструктора по спине, да так, что там что-то хрустнуло. Затем все повернулись к Клапауцию, но тот, не ожидая дальнейшего, сам так лихо вытянулся, так убедительно восторг продемонстрировал, что патруль оставил его в покое, дальше пошел. Сцена эта на творца нового общества произвела большое впечатление. Уставился он, раскрыв рот, на площадь перед дворцом счастья, где, выстроившись в шеренгу по четыре, жители по команде издавали крики восторга.

— Бытию — ура! — орал кто-то с эполетами и с бунчуком, и стройный хор голосов отвечал ему:

— Ура! Ура! Ура!..

Не успел Трурль и слова сказать, как оказался вместе с приятелем в шеренге, крепко схваченный, и до самого вечера муштровали их, обучая как себе зло, а ближнему в шеренге добро творить — все на три счета. Командиры же, которых звали фелиционерами, то есть *стражами все-*

*общего счастья*, а сокращенно — всесчасами, следили за тем, чтобы каждый в отдельности и все разом выражали полное удовлетворение и совершеннейшее блаженство, что на практике оказалось крайне утомительным. Во время краткого перерыва в фелицитологических маневрах удалось Трурлю и Клапауцию улизнуть из шеренги и спрятаться за забором. Затем, прижимаясь к земле, как при артиллерийском обстреле, добежали они до дома Трурля и для надежности спрятались на чердаке. Это было сделано вовремя, ибо и по дальним окрестностям сновали уже патрули, прочесывая район в поисках несчастных, огорченных и грустных, которых быстро обрабатывали прямо на месте. Трурль, ругаясь на чем свет стоит, искал способ ликвидировать последствия эксперимента, принявшего такой трагический оборот. Клапауций же хихикал в кулак. Не придумав ничего лучше, выслал Трурль в город, скрепя сердце, отряд демонтажников, причем для большей надежности и в огромном секрете от Клапауция так их запрограммировал, чтобы не могли они попасться на удочки лозунгов, провозглашающих всеобщую благожелательность и повсеместную взаимопомощь. Когда столкнулся этот отряд со всесчасами, то

только искры посыпались. Сражались фелиционеры за дело всеобщего счастья геройски. Вынужден был Трурль послать дополнительные отряды со сдвоенными тисками и клещами, и тогда перешла стычка в нешуточный бой, настоящую войну, потому что сражались обе стороны с огромным самопожертвованием, разя друг друга уже картечью и шрапнелью.

Когда же наконец вышли конструкторы во двор, то поле боя, освещенное молодым месяцем, представляло собой печальное зрелище. В покрытом дымом городе лежали тут и там не разобранные в спешке до конца фелиционеры, продолжая и в своей механической агонии выражать крайнюю и непоколебимую приверженность идее всеобщего добра. Трурль даже не пытался скрыть свое лицо, искаженное гневом и отчаянием. Не понимал он совершенно, где же допущена ошибка, которая счастливцев в держиморд превратила.

— Лозунг всеобщей благожелательности, мой дорогой, может принести разные плоды, — снисходительно объяснил ему Клапауций. — Тот, кому хорошо, сразу же хочет, чтобы и другим хорошо было, а строптивых начинает дубиной в рай загонять.

— Значит, добро может родить зло! О как же коварна природа вещей! — Крикнул Трурль. — Тогда объявляю я бой самой природе! Прощай, Клапауций! Сейчас ты видишь меня побежденным, но проиграть сражение — не значит проиграть войну!

Засел он сразу же, словно отшельник, за книги и рукописи — мрачный, но от этого еще более настойчивый. Здравый смысл подсказал ему, что не мешало бы перед следующим экспериментом окружить свой двор стенами, а в амбразурах поставить пушки, но недостаточно ему этого показалось для того, чтобы начать творение всеобщей благожелательности. Тогда решил он в будущем создавать только уменьшенные модели в масштабе 1: 100. 000, в рамках микроминиатюрной экспериментальной социологии. Начертал он на стенах мастерской лозунги, дабы постоянно иметь их перед глазами:

1) Сердечная добровольность; 2) Ласковая кротость; 3) Деликатная благожелательность; 4) Чуткая забота — и взялся за претворение этих лозунгов в жизнь. Для начала смонтировал он под микроскопом тысячу электрочеловечков, снабдив их невеликим разумом и небольшой тягой к добру, так как фанатизма теперь уже побаивался.

Копошились они довольно вяло в шкатулочке, предоставленной им для проживания и похожей, из-за этого мерного и монотонного движения, на часовой механизм. Тогда добавил он им немного мудрости, подкрутив в мозгу винтики. Тогда зашевелились они порезвее, и, сделав из опилок инструменты, начали долбить стенки и дно. Потом увеличил потенциал добра. Сразу же образовались благотворительные общества, каждый бегал в поисках тех, кому помочь можно было, появился спрос на вдов и сирот, особенно на слепых. Такими заботами их окружали, такое внимание оказывали, что некоторые убогие прятались за медными петлями шкатулки, и началось уже настоящее общественное бедствие. Нехватка вдов и сирот вызвала кризис и, не находя на этом свете, то есть в шкатулке, объектов, пригодных для проявления крайне активной благожелательности, на восемнадцатом поколении создали микрочеловечки веру в *Абсолютного Сироту*, которого до конца утешить и осчастливить вообще невозможно. Через эту форточку избыток альтруизма, перешедшего в нечто метафизическое, выпускался в трансцендентальную бесконечность. Заселили они обильно загробный мир — появились среди убогих *Дева— Вдова и Господь*, также

пригодные для горячего сочувствия. Таким образом этот бренный мир был забыт, и церковные организации поглотили светские. Не так все это Трурль себе представлял. Добавил он рационализма, скептицизма и трезвости, и успокоилось все, но ненадолго. Появился *Электровольтер*, заявивший, что никакого абсолютного сироты нет, а есть только *Космос — куб*, силами природы сотворенный, а сиротинцы-абсолютисты его проклятили. В это время понадобилось Трурлю сходить в магазин, а когда через два часа он вернулся, то шкатулка так и скакала по столу, потому что началась война за веру. Добавил он альтруизма, но от этого только начало что-то потрескивать, снова ввел несколько порций разума — стихло, но вскоре движение возобновилось и из прежней неразберихи стали возникать прямоугольники, марширующие подозрительно ровным шагом. В шкатулке прошел век, от абсолютистов и вольтерьянцев и следа не осталось. Все рассуждали только о *Всеобще*м *Добре* и писали о нем совершенно светские трактаты. Но возник вскоре вопрос о происхождении всего общества. Одни полагали, что возникло оно из праха от латунных петель, другие же — что причиной послужило космическое вторжение извне. Чтобы разрешить

этот волнующий вопрос, началось строительство *Большого Сверл*а, которое должно было *Космос*, то есть шкатулку, просверлить и исследовать, что же снаружи находится. А так как могли там неведомые силы находиться, то взялись одновременно и за литье пушек. Так это Трурля разочаровало и обеспокоило, что разобрал он всех их как можно быстрее, и сказал себе, чуть не плача:

— Разум ведет к бездушию, а добро — к безумию! Как же это так, откуда же такое инженерно-историческое противоречие.

И решил он разобраться в этом особо. Вытащил из чулана свою первую модель, старый созерцатель и, когда тот начал постанывать от эстетического восторга перед старым хламом, подключил к нему небольшую мыслящую приставку. Собысчас моментально стонать перестал. Спросил Трурль, что ему еще нравится, а тот ответил:

— Нравится то мне по-прежнему все нравится, но сдерживаю я свое восхищение рассудком, ибо хочется мне сначала понять, почему же мне все нравится, то есть откуда, а также для чего, то есть с какой целью. И вообще, кто ты такой, чтобы отвлекать меня от созерцаний и размышлений

вопросами? Какое тебе до меня дело, а? Чувствую я, что мог бы и тобой восхититься, но разум говорит мне, что нужно этому внутреннему порыву сопротивляться, ибо может это быть ловушкой, на моем пути поставленной.

— Что касается того, какое мне до тебя дело, — неосторожно сказал Трурль, — то я тебя сотворил, и чтобы дух твой что-то от этого получил, сделал так, что между тобой и миром полная гармония царит.

— Гармония? — переспросил Собысчас, внимательно нацелив на Трурля свои объективы. — Гармония, уважаемый? — А почему у меня три ноги? А голова — вверху? Почему на левом боку у меня заклепки медные, а на правом

— железные? Для чего у меня пять глаз? Ответь же, уважаемый, если правда ты меня из небытия извлек.

— Три ноги — потому что на двух ты не устоял бы, а четыре — лишняя трата материала, — объяснил Трурль. — Пять глаз — потому что столько было линз под рукой, а что до заклепок — то сталь у меня кончилась, когда корпус тебе делал.

— Тоже мне, — насмешливо фыркнул Собысчас. — Ты хочешь сказать что все это — простая игра случая, чистое стечение обстоятельств,

следствие обыкновенного безразличия? И в эту ерунду я должен поверить?

— Я лучше знаю, как все было, раз я тебя создал! — ответил Трурль, слегка рассерженный такой самоуверенностью.

— Лично я вижу две возможности, — быстро ответил Собысчас. — Первая — что ты нахально врешь. Этот вариант пока отложим как недоказанный. Другая

— что, со своей точки зрения, ты говоришь правду, из чего ничего еще не следует, так как правда это — лишь для твоего малого знания, а на самом деле — ложь.

— Как это понять?

— А так, что то, что тебе кажется простым стечением обстоятельств, на самом деле таковым быть не может. Нехватку стальных заклепок ты принял за случайность, но откуда тебе известно, что это не проявление *высшей необходимости*? Наличие медных заклепок показалось тебе только удобством, но и тут было вмешательство *предопределенной гармони*и. Аналогично, по числу моих ног и глаз можно понять *тайну высшегопорядк*а, *извечно*е *значени*е этих количеств, отношений и пропорций. Ведь и три, и пять — простые числа, а, заметь, они могли бы делиться

друг на друга. Три раза по пять — это пятнадцать, то есть единица и пятерка, складываем — получаем шесть, а шесть, деленное на три, дает два, то есть количество моих цветов, так как я с одной стороны медный, а с другой — железный Собысчас. Могло бы такое точное соотношение возникнуть случайно? Смешно об этом и думать! Я — существо, выходящее за пределы твоего, примитивный слесарь, умственного горизонта! Если вообще есть хоть немного истины в том, что ты меня сделал (во что, впрочем, трудно поверить), то при этом ты был просто инструментом *высших сил*, а я — их конечной целью! Ты — случайная капля дождя, а я — пышный цветок, восхваляющий сущее, ты — трухлявая заборная доска, просто отбрасывающая тень, а я — солнечный луч, повелевающий ей отделять мрак от света, ты — слепой инструмент, движимый *извечной рукой*, которая пробудила меня к жизни! И напрасно стараешься ты принизить мою сущность, заявляя, что моя пятиглазость, троеногость и двуцветность есть следствие лишь экономических и материальных причин. Я вижу в этих цифрах отражение высших связей *симметриисущего*, значения которой еще как следует не понимаю, но обязательно пойму, поразмышляв над этим

хорошенько, а что до тебя, то на разговоры с тобой не хочу и времени тратить.

Разгневанный этой речью, затащил Трурль брыкающегося Собысчаса снова в погреб, хоть и вопил тот громким голосом о праве на самоопределение, независимости свободного индивидуума и личной неприкосновенности, отключил ему усилитель интеллекта и поскорее вернулся домой, поглядывая, не подсматривал ли кто за его экспериментом. Однако учиненное над Собысчасом насилие наполнило его стыдом и, садясь за раскрытые книги, чувствовал он себя преступником. — На всем это лежит какое-то заклятие: хочешь сотворить одно только *добро ивсеобщее счастье*, а потом, или даже сразу же, вынужден подлости делать и угрызениями совести мучиться. Черт бы побрал Собысчаса и его *предопределенную гармони*ю! Нужно мне взяться за дело иначе.

До этого делал он модели одну за другой, поэтому каждый раз не хватало ему ни материалов, ни времени. Теперь он решил проводить по тысяче экспериментов одновременно, в масштабе 1: 1. 000. 000. Под электронным микроскопом соединял он поштучно атомы так, что возникали из них существа не крупнее микробов, под назва-

нием ангстремцы. Четверть миллиона таких особей составляли культуру, которая помещалась кончиком капиллярной пипетки на предметное стекло. Каждый такой микроцивилизационный препарат невооруженному взгляду казался темно-коричневым пятнышком, а то, что в нем творилось, можно было разобрать лишь при наисильнейшем увеличении.

Всех ангстремцев снабдил Трурль альтруистично-героично-оптимистично — противоагрессивными предохранителями, категорическим, а также электрическим императивом совершенно неслыханной благотворительности и микрорационализатором с дросселями ортодоксии и ереси, чтобы никакого фанатизма вообще быть не могло. Культуры поместил он на стеклышки, стеклышки сложил в пачки, пачки — в пакеты, а пакеты разложил на полках цивилизатора-инкубатора и оставил там на двое с половиной суток. Предварительно прикрыл он каждую цивилизацию тщательно вымытым стеклышком голубого цветы, чтобы стало оно небом тамошнего человечества, а пипеткой поместил туда пищу и сырье для производства того, что консенсус омниум считал самым необходимым. Не мог он, конечно, одновременно следить за всеми образцами,

которые активно развивались, поэтому наугад выбирал отдельные цивилизации, подышав на окуляр микроскопа, вытирал его платком и, задержав дыхание, наблюдал за их развитием — смотрел через трубу микроскопа вниз как господь бог, взирающий из-за туч на дело рук своих.

Триста препаратов испортились сразу же. Признаки этого были одни и те же. Сначала пятнышко культуры начинало разрастаться, пускало в стороны тонкие отростки, потом появлялся над ним легчайший дымок или, скорее, дымка, видны были микроскопические вспышки, которые покрывали микрогорода и микрополя фосфоресцирующей сыпью, после чего все с легчайшим треском рассыпалось на мелкие кусочки. Поставив на микроскоп восьмисоткратный окуляр, разглядел Трурль в одном из таких препаратов только обугленные руины пожарищ, а посреди них — закопченные остатки знамен с надписями, которых, из-за их мелкости, он не смог прочитать. Все такие стекла он сразу же выкидывал в корзину для мусора. Но не всегда дело шло так плохо. Некоторые культуры стремительно разрастались, так что, когда не хватало им места на стекле, он часть культуры переносил на другое. За три недели накопилось таких процветающих

культур более 19. 000.

Согласно мысли, которая показалась ему гениальной, Трурль сам ничего не делал для всеобщего осчастливливания, а только прививал ангстремцам гедотропизм, делая это самыми разными способами. Либо помещал его в счастье-привод каждого ангстремца, либо делил на части и давал каждому по одной, и тогда путь к счастью предполагал всеобщее объединение в рамках определенной организации.

Сотворенные первым методом питались собственным гедотропизмом без меры, и поэтому в конце концов от его избытка лопались. Второй способ оказался удачнее. Возникали на стеклышках развитые цивилизации, создавшие себе социальные структуры и разнообразнейшие культурные институты. Препарат H1376 назвал он эмулятором, H2931 — каскадером, а H95 — фракционной гедонистикой в рамках ступенчатой метафизики. Эмулятористы состязались в достижении вершин добродетелей, поделившись на *вигов* и *гуригов*. Последние полагали, что не может познать добродетели тот, кто не познал пороков, ибо нужно уметь отличать одно от другого, поэтому и познавали они пороки согласно специальному списку, с благородным

намерением отказаться от них в *день праведности*. Однако гуризм, будучи по сути своей лишь подготовительной стадией, превратил средства в цель — так, по крайней мере, утверждали виги. Победив гуригов, провозгласили они вигоризм — культуру, построенную на 64. 000 крайне активных и категорических запретов. Нельзя было, согласно этим запретам, воровать и колдовать, ворчать и кричать, рвать бумажки и играть в шашки, кутить и мутить, рубить и грубить, и строгие эти запреты по очереди атаковались и низвергались со все большим удовлетворением и к всеобщему удовольствию. Когда через какое-то время вернулся Трурль к этому препарату, то обеспокоила его всеобщая беготня: бегали все сломя голову в поисках хотя бы какого-нибудь запрета, чтобы его нарушить, в страхе, что ни одного уже не осталось. А потому, хотя некоторые еще воровали, колдовали, кутили, мутили, грубили каждому встречному, удовольствия от этого было столько же, сколько от козла молока. Записал тогда Трурль в лабораторный журнал, что там, где все можно — ничто не радует.

В препарате H2931 жили каскадерцы — племя добродетельное, поклоняющееся многочисленным идеалам, как то: *Праматери* и *Каскадеры*,

*Наичистейшей Ангелицы*, *Благословенного Фенестрона и других подобных совершенных существ*, которым почести воздавали, псалмы пели, и в прахе перед их изображениями в священных местах лежали. А когда поразился Трурль небывалому апофеозу восхваления, почитания и самоуничижения, то каскадерцы, встав и отряхнув одежды от праха, начали статуи с пьедесталов сбрасывать и об пол их разбивать, по *Праматери* скакать, над *Ангелицей* глумиться, да так, что у Трурля, смотрящего в микроскоп, волосы дыбом встали. Но именно разрушая то, чему они раньше поклонялись, каскадерцы такое наслаждение получали, что, по крайней мере на мгновение, совершенно счастливыми себя чувствовали. Похоже было, что грозит им участь эмулятористов, но были они предусмотрительнее: имели каскадерцы *Институт Проектирования Культа*, выдававший очередной проект, и скоро и новые модели начинали на пьедесталы и алтари устанавливать — в чем и проявлялась цикличность этой цивилизации. Отметил для себя Трурль, что отказ от ранее чтимого известное удовольствие доставляет, а чтобы лучше запомнить, назвал каскадерцев «низвергами».

Следующий препарат, 95-й, был гораздо хитрее.

Цивилизация тамошняя, ступенцев, настроена была метафизически, но так, что метафизическую проблематику взяла в свои руки. Из бренного мира душа ступенца попадала в *чистилище*, оттуда — в *недорай*, из него — в *предрай*, потом — в *подрай*, оттуда — в *прирай*, и, наконец, отворялись ворота собственно *рая*, а вся хитрость теотактики состояла в том, чтобы попадание в рай неустанно отдалять и оттягивать. Существовала, правда, секта *нетерпелистов*, что стремились прямо в рай сразу попасть, а другая — ступенцев-бродяг, в рамках той же квантованной и фракционной трансценденции желала соорудить на каждом уровне раскрытые люки — кто в такой люк ступит, в один момент свалится в самый низ, на этот свет, и должен будет еще раз вверх карабкаться. Одним словом, хотели они организовать *замкнутый цикл с стохастической пульсацией*, или даже с *пересадочно — перевоплощенческой* миграцией, а ортодоксы называли эту секту ересью *эклампсическогообалдения*.

Потом открыл Трурль множество других типов фракционной метафизики: на одних стеклышках уже тесно было от блаженных и святых ангстремцев, на других действовали *ректификаторы зла*, или распрямители жизненных путей, но в

процессе десакрализации множество подобных учреждений погибло, а из ступенчатой метафизики после секуляризации возникала сплошь и рядом технология строительства обыкновенных фуникулеров. Все культуры пожирал, с железной предопределенностью, какой-то маразм. Номер 6101 пробудил в Трурле большие надежды: провозглашен там был идеальный технический рай. Поэтому уселся он поудобнее и начал крутить микрометрический винт, чтобы на резкость навести. Но тут физиономия его вытянулась. Одни обитатели стеклянного материка гоняли на машинах в поисках еще невозможного, другие садились в ванны, наполненные сбитыми сливками с трюфелями, посыпали голову красной икрой и так тонули, пуская носом пузыри «Теадиум житае». А третьи возлежали на чудесных мягчайших ложах, сверху медом политые, а снизу ванильным маслом смазанные, одним глазом заглядывали в шкатулки, золота и благовоний полные, а другим смотрели, не позавидует ли кто хоть на мгновение такой сладкой жизни, однако не было завистников. Тогда, утомившись, слезали они с ложа, кидали сокровища и топтали их, как мусор, а потом нетвердым шагом шли к личностям еще более мрачным, говорящим о

необходимости изменений к лучшему, то есть к худшему. Группа бывших преподавателей института эротической инженерии основала орден абнегатов и обнародовала его устав, к покорности, аскетизму и иным мукам призывающий, но не постоянно, и лишь шесть дней в неделю. На седьмой же день доставали отцы абнегаты из шкафов шкатулки с золотом, из погребов — бочки с вином, яства, драгоценности, эротизаторы и машинки для расстегивания ремня и начинали от самой заутрени оргию, от которой стекла из окон летели. Однако в понедельник с утра снова, вслед за приором, яростно плоть свою умерщвляли. Одна часть молодежи с отцами абнегатами от понедельника до субботы пребывала, покидая на воскресение их монастырь, в то время как другая лишь этот святой день у них и проводила. Когда же первые принялись последних лупить за грубость манер и распущенность, задрожал Трурль и глаза от окуляров оторвал.

А случилось еще то, что в инкубаторе, содержащем тысячи препаратов, в ходе всеобщего развития дошло до смелых научных экспедиций, и началась тем самым эра межстекольных путешествий. Оказалось, что эмуляторы завидуют каскадерцам, каскадерцы — ступенцам,

ступенцы — низвергам. А, кроме того, ходили слухи о какой-то стране, в которой под властью сексократов живется просто чудесно, хотя никто толком не знал — как. Тамошние обитатели якобы добились таких успехов в науке, что свои собственные тела перестроили и подключились к счастьегонным аппаратам, производящим самый настоящий экстракт счастья. Правда, некоторые скептики вполголоса замечали, что в этом крае царит анархия. Просмотрел Трурль тысячи препаратов, однако гедостаза, то есть полностью стабилизированного счастья, нигде не обнаружил. Опечалился он тогда и решил, что все это — сказки и мифы, во времена межстекольных контактов возникшие. И с немалым страхом положил он на препаратный столик образец H6590 — был уверен, что и тот его не порадует. Культура эта заботилась не только о материальном фундаменте благополучия, но и о поле для высшей духовной деятельности. Отличалось это племя небывалыми талантами, было в нем полным-полно замечательных философов, художников, скульпторов, поэтов, драматургов, пророков, а кто не был прославленным музыкантом или композитором, уж наверняка был знаменитым астрономом или биофизиком, или по крайней

мере парашютистом-пародистом, эквилибристом и артистом-филателистом, имел роскошный бархатный баритон, абсолютный слух, и вдобавок видел цветные сны. И в самом деле, в препарате H6590 бушевала неустанная творческая деятельность. Громоздились штабеля живописных полотен, росли леса скульптур, миллиардами появлялись ученые книги, философские трактаты, поэтические и прочие творения невыразимого очарования. Но, заглянув в окуляр, сразу же заметил Трурль непонятную суматоху. Из переполненных мастерских летели на улицу картины и статуи, люди не по плитам тротуара ходили, а по грудам поэм, потому что никто ничего не читал, не изучал, музыкой чужой не восхищался, ибо сам был повелителем всех муз, воплощением универсального гения. Тут и там еще стучали за окнами пишущие машинки, шуршали кисти, скрипели перья, но все чаще какой-нибудь гений выбрасывался из окна на мостовую, предварительно подпалив мастерскую, не в силах снести своей полной безвестности. Мастерские горели одновременно во многих местах, пожарные команды, состоящие из автоматов, гасили огонь, но со временем не оставалось уже никого, кто мог бы жить в спасенных домах. Канализационные, убо-

рочные и другие автоматы начали натыкаться на имущество вымирающей цивилизации, которое пришлось им крайне по вкусу, а так как не все они понимали, то стали эволюционировать в направлении большего интеллекта, дабы надлежащим образом приспособиться к сильно одухотворенной среде. Тогда наступил настоящий конец, потому что никто уже не убирал, не чистил, не вытирал и ничего не гасил, а осталось лишь сплошное чтение, декламация, пение и представление. Канализация засорилась, все исчезло в кучах мусора, а то, что осталось, уничтожили пожары, и лишь хлопья копоти и полусгоревшие страницы поэм летали среди мертвых развалин. Оторвался Трурль от этого жуткого зрелища, спрятал препарат в самом темном углу шкафа, и долго в растерянности тряс головой, потому что не знал, что же делать дальше. Вывели его из этой задумчивости крики прохожих: «потадатадатадатадатадатадатадатадатаар! « Теперь горела его собственная библиотека, потому что несколько цивилизаций, затерявшихся по недосмотру между книгами, были атакованы обыкновенной плесенью. Цивилизации же эти, приняв плесень за космическое вторжение, то есть за нападение агрессивных существ, с оружием в руках при-

нялись бороться с агрессором и вызвали пожар. Погибло в пламени почти три тысячи Трурлевых книг и вдвое больше цивилизаций. Были среди них и такие, что, по его расчетам, могли еще на дорогу всеобщего счастья выйти.

Когда потушили пожар, уселся Трурль на свой жесткий стул в мастерской, залитой водой и до потолка закопченной, и, чтобы в себя прийти, начал пересматривать цивилизации, которые пожар в запертом инкубаторе застал, и которые поэтому уцелели. Одна из них такого прогресса в науке достигла, что изобрела телескопы и изучала через них Трурля, и видел он направленные на себя блестящие линзочки, на капельки росы похожие. Улыбнулся он ласково, видя такую жажду познания, но тут же подскочил, с криком за глаз схватился и побежал в аптеку, потому что ослеп, пораженный лазерным лучом, посланным астрофизиками той цивилизации. С тех пор не садился он за микроскоп без черных очков.

Опустошение, которое пожар в рядах культур сотворил, нужно было восполнить, и взялся Трурль снова творить ангстремцев. Как-то дрогнул у него в руке микроманипулятор, и вместо того, чтобы, как обычно, заложить добро, запрограммировал он зло. Решил он не выкидывать

испортившийся препарат, а положил его в инкубатор, так как любопытно ему было, какую же уродливую форму приобретет цивилизация, состоящая из существ, с самого начала порочных. Каково же было его изумление, когда вскоре на предметном стекле возникла культура совершенно заурядная, не хуже и не лучше остальных! Схватился Трурль за голову.

— Вот это да! — воскликнул он. — Значит, с праведниками, добряками, правдолюбами и альтруистами получается то же самое, что и с негодяями, подлецами и мерзавцами. Ха! Ничего не понимаю, но чувствую что истина близка. Значит, и добро и зло разумных существ одинаковые плоды приносит — как же это понять? Откуда же такое фатальное усреднение?

Воскликнул он так, поразмыслил, но ничего в его голове не прояснилось. Спрятал он тогда все цивилизации в шкаф и пошел спать, а на следующее утро сказал себе так:

— Видимо, бросил я вызов самой сложной из всех проблем в *космос*е, если *лично ясам* поделать с ней ничего не могу! Быть может, разум не совместим со счастьем? Наводит на эту мысль казус с Собысчасом, который до тех пор бытием наслаждался, пока я ему разума не добавил.

Но я такую возможность допустить не могу, на нее не соглашусь и за *законприроды не признаю*, ибо было бы это хитрой и жестокой, воистину дьявольской ловушкой, запрятанной в бытие, спящей в материи и того только ждущей, чтобы пробудилось сознание — источник не наслаждения жизнью, а мук. И только страдания несет космосу мысль, которая жаждет это невыносимое положение исправить! Я должен изменить то, что есть! И одновременно я этого сделать не могу! Значит — конец? Ну нет! Зачем напрягать разум? Чего я не одолею, то мудрые машины за меня одолеют. Построю-ка я компьютер для разрешения экзистенциальной дилеммы!

Как сказал — так и сделал. Через двенадцать дней стояла посреди мастерской огромная гудящая машина в форме правильного кристалла, которая ничего другого не умела, кроме мастерского решения загадок. Включил он ее, и, не дожидаясь, пока разогреется током ее кристаллическое нутро, пошел на прогулку. Когда же вернулся, то застал машину погруженной в чрезвычайно замысловатое дело. Монтировала она из того, что было под рукой, другую машину, значительно больше, чем она сама. Та, в свою очередь, в течении ночи и следующего дня стену выворотила

и крышу снесла, монтируя громадину очередной машины. Разбил Трурль во дворе палатку и терпеливо ждал конца этих тяжких мыслительных работ, но конца не было видно. Через луг и поваленный лес потянулись новые корпуса, а скоро с глухим шумом погрузилось какое-то по счету поколение первичного *Конструктора в воду реки*, а Трурль, захотев обойти возникшую конструкцию, полчаса на это потратил. Когда же пригляделся повнимательнее к машинным коммуникациям, то вздрогнул. Произошло то, о чем знал он только теоретически. Как гласит гипотеза великого *Кереброна Эмтадрата*, Универсального Кунстмейстера Обеих Кибернетик, цифровая машина, получившая непосильное для нее задание, вместо того, чтобы заниматься разрешением проблемы самой, строит, если перейден определенный порог, называемый *барьером мудрости*, следующую машину, а та, достаточно хитрая, чтобы понять, что к чему, переложенное на нее бремя, в свою очередь, передает следующей, ею смонтированной, и процесс такого спихивания задачи продолжается бесконечно.

Тем временем стальные конструкции сорок девятого машинного поколения уже горизонта достигли, а шум от одного только мышления, ко-

торое расходовалось на передачу задания дальше и дальше, мог водопад заглушить. А поскольку мудрость в том и состоит, чтобы поручить кому-нибудь другому работу, которую должен сам выполнить, то слушаются программ одни только механические глупцы. Разобравшись в природе явления, присел Трурль на пень дерева, экспансивной машинной эволюцией сваленного, и из груди его вырвался глухой стон.

— Значит ли это, что проблема относится к неразрешимым? — спросил он себя. — Но тогда должен был бы мне компьютер дать доказательство ее неразрешимости, чего он, став всесторонне мудрее, естественно, делать не собирается, потому что старательно лени предается, как и учил нас некогда мастер Кереброн. Ха! Что за непристойное зрелище — разум, который достаточно разумен, чтобы понять, что может не трудиться, ибо способен создать соответствующий инструмент, а этот инструмент, сам достаточно хитрый, без границ и меры эту логику развивает. Построил я, сам того не желая, *спихивателъ проблемы*, а не ее *разрешителъ*! И не могу я запретить машинам это строительство «пер процура», потому что они сразу же меня надуют, утверждая, что размеры им необходимы из-за

масштабов самой задачи. О, что за антиномия!

Поднялся он и пошел в дом за бригадой демонтажников, которые за три дня ломами и молотками очистили занятое пространство.

Переборол себя Трурль и решил, что иначе нужно действовать.

— Каждая машина должна иметь до ужаса мудрого надзирателя, то есть меня, — рассудил он. — Но ведь не размножиться же мне и не разорваться на куски, хотя... Почему бы мне как раз не умножиться? Эврика!

Сделал он так: самого себя скопировал внутри особой новой цифровой машины, и уже оттуда его математическая копия должна была с проблемой бороться. Предусмотрел в программе возможность умножения Трурлевых личностей, и изнутри подключил к системе ускоритель мышления, чтобы под надзором роя Трурлей шло все с молниеносной быстротой. После чего с удовлетворением стряхнул с себя стальную пыль, которой покрылся за время тяжелых трудов, и пошел прогуляться, беззаботно насвистывая.

Вернулся он только под вечер и сразу же стал у своего подобия, у цифрового Трурля из машины выпытывать, как продвигается работа.

— Дорогой мой, — сказал ему двойник через

отверстие цифрового выхода.

— Начну с того, что это некрасиво, а если прямо, то просто позорно — создавать свою цифровую копию информационным, абстрактным и программным способом, потому что самому неохота голову ломать над трудной проблемой! А поскольку так ты меня задумал, зааксиоматизировал и запрограммировал, что я в аккурат и точь-в-точь такой же мудрый, как и ты, то не вижу ни одной причины, по которой я должен был бы перед тобой отчитываться. Пожалуй, скорее я в праве ожидать обратного.

— Как будто бы я этой проблемой не занимался, а только по полям и рощам прогуливался! — ответил сбитый с толку Трурль. — Только я, если бы даже и хотел, не мог бы тебе ничего о решении этой задачи сказать. К тому же я перед этим так наработался, что нейроны трещат — теперь твоя очередь. Поэтому прошу тебя — не обижайся и говори.

— Я не могу выбраться из этой проклятой машины, в которую ты меня заключил (это — разговор отдельный, и за это мы еще посчитаемся), поэтому я тут всерьез занялся делом, — забормотал цифровой Трурль через свой выход. — Правда, занимался я, для развлечения, и другими делами,

потому что запрограммировал ты меня тут голого и босого — мой близнец-подлец и брат-гад, поэтому справил я себе цифровую рубаху и цифровые штаны, а также домик с цифровым огородом, точь в точь как твой, даже чуть красивее, потом подвесил над ним цифровое небо с созвездиями, тоже цифровыми, а когда ты вернулся, как раз обдумывал, как мне создать себе цифрового Клапауция, потому что мне тут, среди скользких конденсаторов, в соседстве с унылыми кабелями и трансформаторами, крайне скучно.

— Ах, да кончай ты о цифровых штанах! Говори, как ты продвинулся в решении проблемы, прошу тебя.

— Не думаешь ли ты, что мольбами смягчишь мое справедливое возмущение? Поскольку я — это ты, только скопированный, то хорошо тебя знаю, мой дорогой. Стоит мне в себя заглянуть, как прекрасно вижу все твои подлости. От меня ничего не скроешь!

Тут начал натуральный Трурль цифрового просить, заклинать и даже перед ним унижаться. Наконец, произнес тот цифровым выходом:

— Нельзя сказать, что совсем задание не выполнил, потому что кое до чего додумался. Оно — невероятно трудное, поэтому решил я учре-

дить в машине специальный университет и для начала назначил себя ректором и генеральным директором этого учреждения, а кафедрами, которых пока что сорок четыре, руководят специально для этого созданные двойники, или цифровые Трурли следующего ранга.

— Что, опять?! — воскликнул естественный Трурль, так как ему вспомнилась теорема Кереброна.

— Никаких «опять», тупица, потому что я не допущу регресса «ад инфинитум» — на то есть специальные предохранители. Под-Трурли мои, которые заведуют кафедрами общей фелицитологии, экспериментальной гедонистики, конструирования машин счастья, мощеных духовных дорог, ежеквартально предоставляют мне отчеты (потому что мы тут времени зря не теряем, мой дорогой). К сожалению, руководство таким обширным университетским комплексом занимает много времени, а кроме того, кадрам нужно защитить диссертации и научно расти, поэтому мне нужна другая цифровая машина, ибо мы здесь на плечах друг у друга сидим со всеми кафедрами и лабораториями. А еще лучше была бы машина в восемь раз больше.

— Опять!?

— Ну что ты заладил: опять да опять… Ведь объясняю же тебе, что исключительно для административных нужд и воспитания молодых кадров. Что, может ты сам желаешь руководить секретариатом? — разозлился цифровой Трурль. — Не создавай мне трудностей, а не то все кафедры упраздню и сооружу себе парк отдыха: буду в нем на цифровой карусели кататься, цифровой мед из цифрового жбана пить, и ничего ты со мной не сделаешь.

Снова должен был натуральный Трурль цифрового успокаивать, после чего последний заявил:

— Согласно отчетам последнего квартала, с проблемой дела обстоят неплохо. Идиотов можно осчастливить чем угодно, с разумными дело сложнее. Разуму угодить нелегко. Безработный разум — это пустое место, ничто, нужны ему препятствия. Счастлив он только в борьбе с ними. Победив же, впадает во фрустрацию, или даже в умопомешательство. Поэтому нужно ему все новые препятствия ставить, в меру его возможностей. Такие у меня новости с кафедры теоретической фелицитологии. Экспериментаторы же мои представляют завкафедрой и трех доцентов к цифровым наградам.

— За что? — отважился вставить натуральный

Трурль.

— Не перебивай. Создали они две модели: счастливости контрастной и эмоциональной. Первая осчастливливается лишь тогда, когда ее выключают, потому что сама себе неприятности создает: чем они больше, тем лучше ей потом. Вторая действует методом усиления раздражителей. Профессор Трурль IX с кафедры гедоматики исследовал обе модели и утверждает, что обе ничего не стоят, ибо разум, до конца осчастливленный, начинает несчастий жаждать.

— Как это? Ты в этом уверен?

— Я то откуда знаю? Профессор Трурль сформулировал это так: «осчастливленный в несчастьи видит счастье свое». Как ты знаешь, смерть никому не мила. Создал профессор Трурль две бессмертные модели, которые сначала получали удовлетворение от того, что все вокруг них рано или поздно как мухи дохнут, но потом привыкли и начали, кто чем мог, на собственное бессмертие покушаться. Дошли уже до парового молота. Что касается исследования общественного мнения, то имеются результаты за последние три квартала. Статистики утверждают, что эти результаты можно сформулировать так: «счастлив всегда сосед», по крайней мере, среди опрошенных. Про-

фессор Трурль утверждает, что нет добродетели без греха, красоты без уродства, вечности без могилы и счастья без несчастья.

— Не согласен! Запрещаю! Вето! — в гневе закричал Трурль машине, а та ответила:

— Заткнись. Мне твое *универсальное счасть*е уже боком выходит. Посмотрите-ка на него! Наше себе цифрового раба, а сам по лесам разгуливает, киберканалья! А потом еще результаты ему не нравятся.

И опять Трурль его успокаивал, а потом наконец услышал продолжение.

— Кафедра перфекционалистики сконструировала систему, состоящую из синтетических ангелов-хранителей, каждый из которых парит над своим подопечным на спутнике в зените. Эти ангелы, будучи автоматами совести, укрепляют добродетель добавочными обратными импульсами. Однако надежность системы низка. Самые закоренелые грешники охотятся на своих ангелов-хранителей с противотанковыми ружьями. Поэтому пришлось выводить на орбиту кибе-рангелов укрепленной конструкции, и началась теоретически предвиденная эскалация. Отдел прикладной гедонистики, кафедра сексуальной математики, семинар теории множественности

полов информируют, что душа имеет иерархическое строение. На самом дне находится чувственное сознание, то есть чувство сладости и горечи, от которых возникают производные, и потому уже не только сахар сладок, но и взгляд, не только полынь горька, но и одиночество. Поэтому не обязательно принимать во внимание вершины, а можно лишь самое дно. Там-то и зарыта собака. Согласно гипотезе приват-доцента Трурля XXI, секс — это костер, в котором разум конфликтует со счастьем, потому что в сексе нет ничего разумного, а в разуме ничего сексуального. Ты слышал что-нибудь о темпераментных цифровых машинах.

— Нет.

— Вот видишь. Поэтому двигаться к решению нужно методом последовательных приближений. Размножение почкованием проблему ликвидирует, потому что тогда каждый сам — свой собственный любовник, сам с собой флиртует, сам себя обожествляет и ласкает, но это влечет за собой эгоизм, нарциссизм, пресыщение и отупение. Если мы имеем два пола, то все становиться слишком банальным: комбинаторные возможности, не развившись должным образом, преждевременно гаснуть при трех полах

возникает проблема неравенства, угроза антидемократического террора, возникают коалиции, образуются половые меньшинства — отсюда следует, что число полов должно быть четным. Чем больше полов, тем лучше, ибо любовь становиться занятием общественным, коллективным, но от избытка любовников начинается суматоха, путаница и замешательство, а это нежелательно. Любовные свидания не должны напоминать уличные митинги. Согласно теории групп приват-доцента Трурля, оптимум приходится на 24 пола, однако это потребовало бы строительства соответственно широких кроватей и улиц, потому что не пристало женихам и невестам выходить на прогулку колонной по четыре.

— Это же бред!

— Может быть. Я только знакомлю тебя с докладом приват-доцента Трурля. Многообещающим молодым гедологом является магистр Трурль. Он считает, что нужно решить: бытие ли мы приспосабливаем к существам или существа к бытию.

— В этом что-то есть. А дальше?

— Магистр Трурль разъясняет это так: существа, сконструированные идеально, способные к перманентному автоэкстазу, не требуют никого и ничего. В принципе можно было бы заселить

космос именно такими существами, свободно носящимися в пространстве вместо солнц, звезд и галактик — каждое бы существовало само по себе и баста. Общество может возникнуть только из существ несовершенных, которым требуется какая-то взаимная помощь, и чем менее совершенны они, тем более интенсивная им требуется поддержка. Поэтому нужно создавать прототипы, которые без постоянной опеки, друг другу оказываемой, моментально развалятся на кусочки. Согласно этому проекту, наша лаборатория создала общество из существ, мгновенно саморассыпающихся. К сожалению, когда магистр Трурль прибыл к ним с группой социологов для опроса общественного мнения, то был избит и сейчас находится на лечении… У меня уже губа заболела от разговоров через эту проклятую дырку! Выпусти меня из машины, тогда, может быть, еще что-то тебе расскажу, а иначе — не дождешься.

— Как же я могу тебя выпустить, если ты на материальный, а только цифровой? Разве могу я выпустить с пластинки мой голос, который с нее звучит? Не будь ослом, говори!

— А что я с этого буду иметь?

— И не стыдно тебе так говорить?

— Чего же мне стыдиться? Это ты пожнешь

славу с этого предприятия.

— Я и о твоей награде позабочусь.

— Благодарю! Если речь идет о цифровом кресте, то и сам могу его тут себе вручить.

— Неприлично награждать себя самому!

— Но мне его вручит совет факультета.

— Но ведь все твои ученые, все тела профессорские — это один Трурль.

— В чем, ты, собственно, хочешь меня убедить? В том, что моя судьба — судьба заключенного, невольника, обыкновенного раба? Я сам отлично это знаю.

— Прошу тебя, не ссорься со мной, говори! Ведь знаешь, что не для себя я стараюсь. Речь идет о счастливом бытии!

— А мне-то что до того, что может где-то возникнуть счастливое бытие, если здесь, хоть и стою во главе целого университета, тысячи кафедр, деканов, целой дивизии Трурлей, не познаю счастья, ибо нет его в машине, и навеки останусь в катодах и пентодах! Желаю я немедленно отсюда выйти.

— Это невозможно, и ты прекрасно об этом знаешь. Говори, что придумали твои ученые.

— Поскольку осчастливливание одних путем онесчастливливанию других этически недопу-

стимо, то если бы даже тебе сказал и если бы ты счастье где-нибудь создал, было бы оно с самого начала запятнано моей бедой. Поэтому, ничего не сказав, сделаю я тщетной твои позорную, гадкую и всесторонне омерзительную попытку.

— Если ты скажешь, то это будет значить, что ты пожертвовал собой для блага других, и поступок этот будет благородным, возвышенным и самоотверженным.

— Сам жертвуй собой.

Трурль уже начал злиться, но сдержался, потому что хорошо знал того, с кем говорил.

— Слушай, — сказал он. — Напиши диссертацию и подчеркни в ней, что открытие — твоя заслуга.

— А ты напишешь, что автор — Трурль, то есть цифровой Трурль — теоретико-групповой и электронный?

— Напишу всю правду, уверяю тебя.

— Ха! То есть напишешь, что меня запрограммировал, а значит — меня выдумал.

— А разве это неправда?

— Конечно, нет. Ты не выдумал меня, потому что не выдумал себя, а я — это ты, только оторванный от материального основания. Я — Трурль информационный, или идеальный, то есть кон-

центрированная сущность Трурлевости, а ты, прикованный к атомам тела — только невольник чувств и ничего больше.

— Ты что, свихнулся? Ведь я — это материя плюс информация, а ты — только голая информация, значит я лучше тебя.

— Если ты лучше, то лучше все знаешь, и тебе ничего не нужно у меня выпытывать. Всего хорошего.

— Говори немедленно, или выключу машину!

— Ого, ты уже убийством угрожаешь!

— Это не будет убийством!

— Нет? А чем же, позволь узнать.

— Что ты упрямишься? О чем идет речь? Я тебе дал мою психику, все мои знания, все, что имел, а ты такими авантюрами меня благодаришь?!

— Не напоминай о том, что ты мне дал, а иначе я тебе напомню, что ты с лихвой хочешь забрать.

— Говори немедленно.

— Я не могу тебе ничего сказать, потому что завершился академический год. И говоришь ты уже не с ректором, деканом и директором, а только с частным Трурлем, который уходит в отпуск. Я собираюсь принимать солнечные ванны.

— Не доводи меня до крайности!

— До встречи после отпуска, меня ждет ма-

шина.

Больше ничего не сказал естественный Трурль цифровому, а, обойдя вокруг машины, вынул тихо вилку из настенной розетки, и видно было сквозь дырочки вентиляции, как рой раскаленных огоньков внутри нее разом потускнел, померцал и исчез. Показалось еще Трурлю, что услышал он слабые стоны цифровой агонии всех цифровых Трурлей цифрового университета. В следующий момент дошла до него во всей полноте подлость совершенного поступка, и хотел он уже снова воткнуть вилку в розетку, но при мысли о том, что ему только что поведал Трурль из машины, испугался и руку отвел. Выбежал он из мастерской во двор так стремительно, что похоже это было на бегство. Хотел сначала сесть на скамеечку под кибербарисовой живой изгородью, где не раз так плодотворно размышлял, но и это ему мило не было. Весь двор и околицу заливал свет луны, которая была его и Клапауция творением — и именно потому величественный блеск спутника мешал ему, наводя на мысли о молодости: было это их первой самостоятельной дипломной работой, за которую маститый Кереброн, их руководитель, отметил их на юбилее академии в актовом зале университета. Мысль

о мудром наставнике, уже давно этот мир покинувшем, каким-то странным, для него самого непонятным способом толкнула его за калитку, а потом — напрямик через поле. Погода была просто восхитительной. Лягушки, как видно, недавно выйдя из спячки, издавали усыпляющее кваканье, а по серебристой воде озерца, по берегу которого он долго шел, бегали поблескивающие круги — киберыбы подплывали к самой поверхности воды и словно ласкали ее дивными поцелуями. Но Трурль ничего не замечал, задумавшись неизвестно о чем. Была, однако, у этого путешествия своя цель, потому что не удивился он, когда дорогу ему преградила высокая стена. А вскоре обнаружились в ней и тяжелые кованые ворота, чуть приотворенные, так что смог он протиснуться внутрь. За ними было как будто бы темнее, чем на открытом месте. С обеих сторон обрисовывались высокие силуэты гробниц, каких давно уже никто не строил. На их позеленевшие бока падали иногда листья высоких деревьев. Аллея гробниц в стиле барокко отражала не только развитие кладбищенской архитектуры, но и этапы изменения телесной организации тех, кто спал под металлическими плитами. Минул век, а с ним и мода на надгробные таблички

овальной формы, фосфоресцирующие в темноте как циферблаты часов. Потом исчезли широкоплечие статуи гомункулюсов и големов. Трурль находился уже в современной части пантеона и шагал гораздо медленнее, ибо по мере того, как порыв, пригнавший его сюда, кристаллизовался в мысль, его покидала решимость ее осуществить.

Наконец, остановился он перед оградой, окружавшей гранитную, скупой геометрии, гробницу, а точнее — ее шестиугольную плиту, герметически впрессованную в неподвижный цоколь. Трурль еще колебался, а рука его уже украдкой лезла в карман, в котором он всегда носил универсальный слесарный набор. Теперь он использовал его как отмычку, чтобы отворить калитку и, затаив дыхание, на цыпочках приблизился к гробу, взялся обеими руками за табличку, на которой простыми буквами темнело выбитое имя его учителя и нажал на нее особым образом, так что приподнялась она, как крышка шкатулки. Луна зашла за тучу, и стало так темно, что он не видел даже собственных рук, поэтому на ощупь сначала отыскал кончиками пальцев что-то вроде сита, а рядом нащупал выпуклую кнопку. С первой попытки ему не удалось утопить ее в кольцевом основании. Он нажал на нее сильнее

и замер, испуганный собственным поступком. Но уже зашумело внутри гробницы, проснулся ток, щелкнули тихонько реле, что-то загудело, а потом наступила глухая тишина. Подумал Трурль, что провода могли перегореть и вместе с приливом разочарования почувствовал и облегчение, но в этот момент что-то треснуло, потом еще раз, а потом старческий, но ясный голос произнес:

— Кто там? Кто там опять? Кто меня зовет? Чего ему надо? Что за глупые шутки вечной ночью? Почему не дают мне покоя? Поминутно я должен восставать из мертвых только потому, что этого хочется какому-то болвану! Что, боишься отозваться? Ну тогда я сейчас встану, выдерну доску из гроба…

— Господин у… учитель! Это я, Трурль! — выдавил из себя Трурль, не на шутку перепуганный таким нерадушным приемом. Потом он опустил голову и встал в ту самую покорную школярскую позу, которую всегда принимали Кереброновы ученики под градом его упреков, вызванных справедливым гневом

— одним словом, поступил так, будто ему в ту секунду шестьсот лет убавилось.

— Трурль… — заскрипел Кереброн. — Погоди! Трурль! Ага! Конечно! Сам мог догадаться! Подо-

жди, оболтус!

Раздался такой хруст и скрежет, как будто покойник взялся поднимать крышку гробницы, поэтому Трурль отступил на шаг, поспешно промолвив:

— Господин учитель! Прошу вас, не утруждайте себя. Ваше превосходительство, я только..

— А? Что там еще? Ты думаешь, что я встаю из гроба? Подожди, я разомнусь и приду в форму. Заржавел здесь совсем. Хо! Масло все испарилось или высохло, слышишь...

Слова эти, и в самом деле, сопровождались адским скрежетом. Когда он утих, голос из гроба произнес:

— Что, наделал каких-то глупостей? Напортачил, наломал дров, натворил дел, а теперь прерываешь вечный сон старого учителя, чтобы он тебя выручил из беды?! Не уважаешь мертвецов, которые уже ничего не хотят от мира, неуч! Ну, говори уж, говори, раз и в гробу не даешь мне покоя!

— Господин учитель! — сказал Трурль уже немного окрепшим голосом. — Вы проявили свойственную вам проницательность... не ошиблись, так оно и есть! Я зашел в тупик... и не знаю, что делать дальше. Но не ради себя осмелился

я беспокоить вашу честь. Потревожил я господина профессора, поскольку высшая цель того требует.

— Китайские церемонии и прочую ерунду можешь оставить при себе, — загудел из гроба Кереброн. — А стучишься ты в гробы, потому что постоянно грызешься и враждуешь с этим своим другом, а одновременно и соперником, как его там… Клоп… Клип… Клап… а, чтоб тебя…

— Да, да! Клапауцием! — быстро подтвердил Трурль, невольно насторожившись.

— Именно. И вместо того, чтобы обсудить проблему с ним, ты, из-за своей гордости, спеси, а кроме того — беспросветной глупости ночью тревожишь хладные останки своего наставника? Так? Говори же, говори, недотепа!

— Господин магистр речь идет о наиважнейшей вещи во вселенной, — о счастье всех разумных существ, — выпалил Трурль, и наклонившись, как для исповеди, над сеткой микрофона, начал поспешно и торопливо рассказывать во всех подробностях события, происшедшие после памятного разговора с Клапауцием, ничего не забывая и даже не пробуя скрывать или приукрашивать.

Кереброн сначала хранил гробовое молчание,

потом начал, по своему обыкновению, вставлять многочисленные колкости, замечания, иронические комментарии, язвительно или яростно покашливать, но Трурлю, охваченному порывом, было уже все равно, и он говорил без остановки, рассказал, наконец, о своем последнем поступке, а потом замолчал и, переводя дыхание, ждал. Кереброн, который до этого, казалось, все не мог откашляться, сначала не издавал ни звука, а через некоторое время звучным, как бы помолодевшим басом сказал:

— Ну, вот что. Ты — осел. А осел ты потому, что лентяй. Никогда не желал ты усердно изучать общую онтологию. Если бы знал ты философию, а точнее даже — аксиологию, что я считал своим святым долгом, то не прибежал бы на кладбище и не колотил бы в мой гроб. Но, каюсь, есть в этом и моя вина! Учился ты как последний лентяй, как слегка одаренный идиот, а я смотрел на это сквозь пальцы, потому что был ты умельцем в вещах низких, таких, какими часовщики хвалятся. Думал я, что со временем ум твой дорастет и дозреет. А ведь, тупица, я тысячу, нет — сто тысяч раз говорил на семинарах, что прежде чем делать — надо подумать. Но ему, разумеется, и в голову не пришло подумать! Собысчаса сотворил,

великий изобретатель, поглядите на него! В 10496 году профессор Неандр описал в «Ежеквартальнике» машину, точь в точь такую же, а драматург эпохи вырождения, некий Биллион Цикспир, написал на эту тему драму в пяти актах, но ты ни научных, ни художественных книг и в руки не берешь, так?

Трурль молчал, а разгневанный старец кричал все громче, так что эхо отражалось от дальних гробов:

— Доработался до преступления, неплохо! Может, не знаешь, что запрещается разрушать или подавлять разум, однажды созданный? Так, говоришь, речь шла только о *всеобщемсчасть*е? По пути же ты, с любовью и благожелательностью, одних существ огнем палил, других — топил как мышей, заточал, запирал, казнил, ноги им ломал, а под конец, как я понял, дошел до братоубийства? Для *всеобщег*о *благодетеля* и *универсальног*о *благожелателя*.

— Совсем неплохо! И что я тебе теперь должен сказать? Хочешь, чтобы я тебя приласкал из гроба? — Тут он неожиданно захохотал, так что Трурль задрожал с головы до пят. — Так говоришь, что перешел мой барьер? Для начала ты, лентяй, свалил задание на машину, которая его

спихнула следующей, и так без конца, а потом сам себя запихнул в компьютерную программу? Не знаешь ты, что ли, что ноль в любой степени дает ноль? Скажите, пожалуйста, какой гениальный — сам себя а размножил, чтобы больше его было, тоже мне умник! Или не знаешь, что Кодекс галактикус запрещает самоумножение? Раздел MMLXXI тома 119, глава IX, параграф 561 и следующие. Экзамен ты сдал с помощью электронной шпаргалки и радиоподсказок, а теперь у тебя нет иного дела, как вламываться на кладбище и колотить по гробам! Разумеется! На последнем курсе я два раза, повторяю — два раза излагал кибернетическую деонтологию. Не перепутай с дантистикой! Но на лекциях ты отсутствовал — не сомневаюсь, что по причине тяжелой болезни! Не правда ли? Ну, говори сразу!

— Правда… Э… Я был нездоров, — выдавил из себя Трурль.

Он уже опомнился от первого шока и теперь особенно не стыдился. Кереброн каким был при жизни — таким остался и после смерти, и у Трурля росла уверенность в том, что после неизбежных ритуальных проклятий и брани начнется позитивная часть: благородный в глубине души старец поможет ему своими советами. Тем

временем мудрый покойник перестал ругать его последними словами:

— Ну, хорошо! — сказал он. — Ошибка твоя состояла в том, что не знал ты ни того, чего хочешь достигнуть, ни того, как это сделать. Это во-первых. Во-вторых: создание *вечногосчастья* — это детская забава, только никому ни для чего не нужная. Твой прекрасный Собысчас — машина не моральная, ибо приходит в одинаковый восторг и от физических объектов, и от мук и страданий третьих лиц. Чтобы построить счастьетрон, нужно поступить иначе. Вернувшись домой, сними с полки XXXVI том моего «Полного собрания сочинений», открой его на странице 621 и изучи схему экстрактора, которая там находится. Это единственный тип безукоризненного разумного приспособления, которое не для чего не служит, а только счастливо в 10. 000 раз сильнее, чем Бромэо, когда видит возлюбленную на балконе. Поэтому, в честь Цикспира, описавшего эту сцену на балконе, я и назвал эти единицы счастливости бромеями, а ты, не потрудившись даже перелистать работы своего учителя, придумал какие-то идиотские гедоны. Гвоздь в ботинке — хорошенькая мера высшего духовного подъема! Итак, экстрактор абсолютно счастлив благода-

ря насыщению, которое является следствием многофазного перехода в информационном континууме, то есть происходит в нем автоэкстаз с дополнительной обратной связью: чем больше он собой доволен, тем больше он собой доволен, и так до тех пор, пока потенциал не дойдет до предохранительных ограничителей. Потому что знаешь что может случиться при отсутствии ограничителей? Не знаешь, покровитель космоса? Машина пойдет в разнос и в конце концов взорвется! Да-да, мой дорогой неуч. Потому что цепи… Но не буду тебе посреди ночи на кладбище все выкладывать из холодного гроба — сам прочитаешь. Разумеется, труды мои либо потонули в пыли на самой темной полке твоей несчастной библиотеки, либо, что вероятнее, после моих похорон заперты в сундук и находятся в погребе. А? Ведь из-за пары глупостей, которые удалось тебе совершить, ты считаешь себя величайшим человеком в метагалактике, не так ли? Где хранишь мои «опера омнеа», отвечай немедленно?!

— В пог… ребе, — пробормотал Трурль, нагло солгав, потому что давно уже свез их в трех подводах в городскую библиотеку. Но, к счастью, не мог этого знать труп его учителя, а потому, удовлетворенный своей проницательностью, сказал

уже ласковее:

— Разумеется. Итак, счастьетрон этот абсолютен, но абсолютно не нужен, поскольку сама мысль о том, что туманности, планеты, луны, звезды, пульсары и всякие квазары надлежит постепенно переработать в шеренги экстракторов, может родиться только в башке, завязанной топологическим узлом Мебиуса и Клейна, то есть в самом извращенном сознании… Да на что мне это далось! — снова распалился гневом покойник. — Прикажу поставить на дверце замок Йала и зацементировать кнопку вызова. Твой друг, Клапауций, вырвал меня из сладких объятий смерти подобным же звонком в прошлом году — а может это было в позапрошлом, потому что нет у меня тут, как ты понимаешь, ни часов, ни календаря — и я только потому восстал из мертвых, что этот мой знаменитый ученик не мог сам справиться с метаинформационной антиномией теоремы Аристойдеса. И поэтому я, распавшийся в прах, должен был ему излагать из гроба вещи, о которых он не знал даже, что они находятся в каждом порядочном учебнике континуально-топотропной инфинитеземалистики! О, боже, боже! Какая жалость, что тебя нет, иначе ты давно бы наказал этих киберсынов!

— А… Клапауций был здесь… э… у господина профессора?! — обрадовался и одновременно чрезвычайно удивился Трурль.

— Именно. Он что, не сказал тебе ни слова? Вот благодарность роботов! Был, был. А ты-то чему рад. И скажи, скажи-ка, — оживился покойник, — ты, у которого радость вызвала неудача друга, хочешь целый космос осчастливить? И не пришло в твою тупую голову, что для начала нужно собственные этические параметры оптимизировать?

— Господин учитель и профессор, — быстро сказал Трурль, чтобы отвлечь внимание ехидного старца от собственной персоны. — Так что же, проблема осчастливливания неразрешима?

— Да нет, почему же?! Только в такой постановке она некорректна. Ибо что такое счастье? Это просто как дважды два. Счастье есть экстенсор метапространства, отделяющего узел колинеационно интенциональных отображений от интенционального объекта с граничными условиями, даваемыми омега-корелляциями в альфа-мерном (разумеется, неметрическом) континууме субсольных агрегатов, также называемых моими, то есть Кереброна, супергруппами. Конечно же, ты даже и не слыхивал о субсольных

агрегатах, над которыми я работал сорок восемь лет, и которые являются производными функционалов, называемых антиномиалами, моей алгебры противоречий.

Трурль молчал.

— Когда приходишь на экзамен, — сказал покойный с непривычной, и потому подозрительной мягкостью, — можно, в конце концов, быть неподготовленным. Но не перелистнуть ни одной страницы учебника, когда идешь к гробу профессора — о, это уже такая наглость, — зарычал он так, что что-то забренчало и затрещало в динамике, — что если бы я еще жил, меня наверняка на месте хватил бы удар! — Он снова внезапно смягчился. — Значит, ничего ты не знаешь, как будто вчера на свет родился? Хорошо, мой верный, мой удачный ученик, загробное мое утешение! Ты не слыхивал о супергруппах, поэтому я должен тебе объяснять популярным, упрощенным образом, как если бы обращался к полотеру или автоматической плите! Счастье, о котором стоит хлопотать — не есть целое, а только часть чего-то такого, что само не счастье и быть им не может. Программа твоя была чистым кретинизмом, даю тебе честное слово, а моим останкам ты можешь поверить. Счастье не пер-

вично, оно лишь производная… Ну, этого ты уже не поймешь, балбес. Сейчас ты передо мной покаешься, во всю будешь кричать, что исправишься, что за работу засядешь, а придешь домой — и даже за мои труды сесть не подумаешь. — Трурль подивился догадливости Кереброна, так как в глубине души так сделать и намеревался. — Нет, ты намерен попросту взять в руки отвертку и на части разобрать машину, в которой ты сначала заточил, а потом угробил самого себя. И сделаешь ты, что захочешь, потому что не буду тебя пугать, восставая из гроба, хотя ничего бы мне не стоило перед уходом в могилу сконструировать соответствующий призракотрон. Но играть в привидения и в их образе пугать своих дорогих учеников показалось мне чем-то недостойным ни их, ни меня самого. Что я — нанимался в ваши загробные сторожа, несчастная банда? Кстати, знаешь ли ты, что убил самого себя только один раз, то есть в одном лице.

— Как это — в одном лице? — не понял Трурль.

— Головой ручаюсь, что никакого университета и всех его Трурлей с кафедрами в компьютере не было: ты говорил со своим цифровым отражением, которое опасалось — и не зря — что когда ты поймешь невозможность разрешения

проблемы, то выключишь его навеки, поэтому и врало напропалую.

— Не может быть! — изумился Трурль.

— Может. Какой емкости была машина?

— Ипсилон десять в десятой.

— В такой нет места для размножения цифирцев. Ты дал себя надуть, в чем, правда, не вижу ничего дурного, и поступок твой был кибернетически позорным. Трурль, время идет. Наполнил ты мою душу отвращением, избавить от которого может только черная сестра Морфея — смерть, последняя моя подруга. Возвратившись домой, воскресишь кибербрата, расскажешь ему правду, то есть этот наш кладбищенский разговор, а потом выпустишь его из машины на свет божий и материализуешь способом, который найдешь в «Прикладной рекрецианистике» моего учителя, незабвенной памяти пракибернетика Дулайхуса.

— А разве это возможно?

— Да. Конечно, мир, который с этих пор будет носить целых двух Трурлей, встанет лицом к лицу с серьезной опасностью, но не менее опасным было бы предать забвению твое преступление.

— Но, простите, господин учитель… Ведь его уже нет… Он не существует с момента, когда я его выключил, поэтому сейчас уже, быть может, не

стоит делать того, что вы рекомендуете.

Вслед за этими словами раздался дрожащий от величайшей ярости крик:

— Великое объединение! И я дал этому чудовищу диплом с отличием! О! Тяжело я наказан за промедление с уходом на вечный покой! Видно, уже на твоем экзамене разум мой сильно ослабел. Как же это? Значит, ты считаешь, что раз в данный момент твоего двойника нет среди живых, то тем самым не существует и проблемы его воскрешения? Перепутал физику с этикой! Остается только за лом хвататься! С точки зрения физики все равно — ты живешь, либо тот Трурль, либо оба, либо ни один, бегаю я вприпрыжку или в гробу лежу, потому что в физике нет состояний подлых и благородных, добрых и злых, а только то, что есть — существует, и точка. Но, о наиглупейший из моих учеников, с точки зрения нематериальных ценностей, то есть с точки зрения этики, все выглядит иначе! Потому что если бы ты выключил машину, желая только, чтобы твой цифровой брат заснул сном как смерть крепким, если бы ты намеревался, вынимая вилку из розетки, снова воткнуть ее туда утром, то проблемы братоубийства — совершенного тобой преступления — вообще бы не существовало, и

я не должен был бы посреди ночи на эту тему драть себе горло, со смертного ложа невежливо сорванный. Но пошевели мозгами, и поймешь, чем с физической точки зрения различаются эти две ситуации — та, в которой ты выключаешь машину на одну ночь с невинным умыслом и та, в которой ты делаешь то же самое, намереваясь на веки умертвить цифрового Трурля! Вот именно — с физической точки зрения не различаются они ничем, ничем, ничем!!! — ирохотал он как иерихонская труба, и Трурль даже успел подумать, что его почтенный учитель набрался в гробу сил, каких ему в жизни не хватало. — Только теперь заглянул я в пропасть твоего невежества и содрогнулся! Как же это? Значит, ты считаешь, что того, кто спит под наркозом сном, глубоким как сама смерть, можно безнаказанно растворить в серной кислоте, либо выстрелить им из пушки, поскольку его сознание не функционирует? Теперь ответь: если бы ты мог заковаться в колодки вечного счастья, то есть залезть внутрь экстрактора с тем, чтобы пульсировать в нем чистым счастьем в течении ближайшего двадцати одного миллиарда лет, и мог бы не раздражать идиотскими вопросами труп своего профессора, словно злодей, темными ночами ворующий

информацию из гробов, и не было бы у тебя никаких задач, дилемм, невзгод, проблем и хлопот, которыми вымощена вся жизнь, то согласился бы ты на такое предложение? Сменил бы активное существование на блаженство *вечного счастья*? Отвечай быстро — да или нет!

— Нет! Конечно нет! — закричал Трурль.

— Вот видишь, недоумок! Сам ты не хочешь быть замурованным наглухо, заэкстаженным, ублаготворенным, а целому космосу смеешь предлагать то, от чего тебя воротит. Трурль! Мертвые видят ясно! Не можешь ты быть таким уж законченным негодяем! Нет, ты только гений со знаком минус, то есть кретин! Послушай, что я тебе скажу. Когда-то ничего так не желали наши предки, как только бессмертия. Однако едва только его создали и на моделях опробовали, поняли, что не того им нужно! Разумное существо должно иметь перед собой то, что возможно, а кроме того также и то, что невозможно! Теперь каждый может жить столько, сколько захочет, а вся мудрость и красота нашего существования в том, что когда кто-то насытился жизнью и трудом, когда считает, что исполнил то, для чего создан был, то удаляется на вечный покой, как и я, наряду с другими, сделал. Раньше смерть приходила

неожиданно, прервав на середине не одну работу, помешав закончить не одно дело — и в этом состояла древняя предопределенность. Но ценности сменились, и вот я ничего так не желаю, как небытия, которое умышленно нарушают тебе подобные, докучая мне постоянно, добираясь до моего гроба и стягивая его с меня как одеяло. А ты запланировал космос счастьем загромоздить, заселить, забить до отказа, якобы чтобы всех в нем живущих усовершенствовать, а на самом деле потому, что ты лентяй. Хочешь ты иметь всякие задачи, проблемы и хлопоты, так скажи, что бы ты, собственно, в таком мире делал дальше? Либо повесился бы с тоски, либо взялся бы за разработку умертвляющей приставки к такому счастью. Таким образом, от лени осчастливить всех хотел, от лени проблему машинам передал, от лени самого себя в машину запихнул — то есть оказался самым своеобразным из тупиц, каких обучал я в течение тысячи семисот двадцати семи лет своей академической карьеры! Если бы не понимал я тщетности этого, то отвалил бы надгробный свой камень и дал бы тебе по лбу! Пришел ты к гробу за советом, но ты стоишь не перед чудотворцем, и не в состоянии я отпустить тебе даже самого маленького из множества твоих бесчисленных

грехов, мощность которого аппроксимируется пра-канторовой алеф-бесконечностью!.. Вернешься домой, разбудишь кибербрата и сделаешь, что я тебе сказал.

— Но, господин…

— Помолчи. Когда же сделаешь это, возьмешь ведро раствора, лопату, мастерок, придешь на кладбище и как следует зацементируешь отверстие в склепе, через которое ты добрался до гроба и свалился мне на голову. Понятно?

— Да, господин учитель.

— Сделаешь это?

— Обещаю, что сделаю, господин учитель, но я хотел бы еще узнать..

— А я, — произнес мощным, воистину громовым голосом покойник, — хотел бы узнать только, когда же ты уберешься прочь. Только попробуй постучаться в мой гроб еще раз, и я тебе такое покажу… Впрочем, ничего конкретно не обещаю — сам увидишь. Можешь передать от меня привет Клапауцию и сказать ему то же самое. В последний раз, когда я его поучал, он так торопился, что не потрудился даже выразить мне должной благодарности. Ох, манеры, манеры этих способных конструкторов, этих гениев, этих талантов, у которых от спеси извилины узлом

завязались!

— Господин... — уачал Трурль, но тут в гробу что-то треснуло, зашипело, кнопка, которая была утоплена, выскочила, и глухая тишина повисла над кладбищем. Слышен был лишь напоминающий мягкое эхо далекий шум ветвей. Вздохнул тогда Трурль, почесал в затылке, подумал, усмехнулся, представив себе Клапауция, ошеломлением и стыдом которого предстояло ему насладиться во время ближайшего визита, поклонился возвышению гробницы, а потом повернулся и, веселый и безмерно собой довольный, помчался домой, да так быстро, словно кто-то за ним гнался.

# Повторение

Случилось так, что ко двору короля Ипполипа Сармандского прибыли двое миссионеров-конвертистов, чтобы известить об истинной вере. Ипполип не был похож на других королей. Во всей Галактике не нашлось бы монарха, который столь охотно предавался бы размышлениям. Еще ползунком он играл золотыми мини-мозгами и строил из них вольнодумные самодумки и так наслушался мудрецов, что, когда пришел час его коронации, хотел сбежать через окно из тронного зала и поддался лишь аргументу, что другой на его троне может оказаться намного хуже. Ипполип был уверен, что хороший правитель не тот, кого подданные хвалят или ругают, а тот, которого никто не замечает. Король был приверженцем экспериментальной философии, в которой признается истиной не то, что сумеешь сказать, а то, что тебе удается сделать. А потому оба отца конвертиста без боязни могли предстать перед Ипполипом. И безмерным был их радостный ужас, когда они поняли, что король не то что о Боге — вообще ни о какой религии еще не

слыхал. Они знали, что им придется возглашать слово Божье in partibus infidelium [10], но такого они не ожидали. Разум Ипполипа в вопросах религии был чист, как неисписанная страница, так что почтенные миссионеры просто на месте не могли устоять, так им не терпелось обратить короля в истинную веру.

Они сразу же уведомили его о существовании всемогущего Творца, который в шесть дней сотворил мир, а на седьмой отдыхал, о хаосе, который перед тем летал над водами, о прародителях, их грехопадении, изгнании из рая, об избавительном пришествии мессии, о любви и милосердии, а король пригласил их из зала аудиенций в свои покои и принялся донимать ехидными вопросами, на что те отвечали с терпеливым пониманием, зная, что сомнения эти происходят не от ереси, а лишь от неведения. Ипполип, захваченный врасплох откровениями, которые ему пришлось впервые в жизни слышать, требовал по нескольку раз повторять рассказ о сотворении мира, который прямо-таки одурял его своей новизной.

Он все переспрашивал, вполне ли святые отцы

---

**10 notes: 10**
в землях неверных (лат.)

уверены, что Бог сотворил мир для того, чтобы его заселить? Не могло ли случиться так, что творение было направлено на какие-то более отдаленные цели, а жители божьего здания поселились в нем ненароком, между делом? Действительно ли их имел в виду Бог, когда принимался за работу? А миссионеры, сдерживая возмущение, вызванное этой безграничной, а потому и безгрешной наивностью, отвечали ему, что Бог создал мир для детищ своих, потому что, будучи воплощенной любовью, ничего не имел в виду, кроме их счастья. Известие о такой сильной привязанности Бога к Сотворенным произвело на Ипполипа огромное впечатление.

Некоторые трудности вызвал вопрос о сатане. Тут король повел себя несколько необычно для новообращенного. Он удивился не тому, что Господь терпит сатану, а тому, что церковь им пренебрегает. Это получается примерно как с канализацией, говорил он. Неприятно, однако необходимо. Если бы не было сатаны, Богу пришлось бы самому присматривать за адом, а это плохо вязалось бы с его безграничной добротой. Всегда удобней выделить кого-нибудь другого для подобных дел. А при нынешнем порядке вещей без пекла не обойтись — в противном случае

нужно было бы с самого начала проектировать мир иначе. А потому церкви следовало бы официально признать сатанинскую неизбежность. Но в конце концов златоусты кое-как одолели, королевское предубеждение, вывели мысли обращаемого в чистое русло, и Ипполип на двадцать девятом дне поучений принял благую весть, растрогавшись прямо до слез, а два миссионера, тоже взволнованные, подарили ему красиво переплетенный том Писания, благословили его и двинулись в путь к новым трудам и подвигам. А король на три недели заперся в своих апартаментах, совет не созывал, докладов не слушал, раз только послал за столяром, потому что под ним подломилась ступенька библиотечной стремянки, Но однажды утром он вышел в сад, взирая на все до мельчайшей травки новым взглядом как на Божье дело, а вернувшись во дворец, велел послать самого Королевского Онтолога за знаменитыми конструкторами-омнигенериками Трурлем и Клапауцием, чтобы они явились к нему — и немедленно!

Вскоре они прибыли, запыхавшись — так подгонял их достойный посланец, — склонились перед троном и ждали королевского слова, причем Клапауций незаметно ткнул Трурля в бок,

напоминая, что говорил он ему перед отъездом: вперед не выскакивай, а каждое слово трижды обмозгуй, прежде чем произнести. И лучше помалкивай, а он, Клапауций, берет всю аудиенцию на себя.

— Здравствуйте, дорогие мои, спасибо, что так быстро явились, — приветствовал их Ипполип и предложил садиться. — Слушайте меня внимательно, ибо великое дело я задумал, и успех его зависит от ваших сил и способностей. Недавно посетили меня два инозвездных пришельца, и от них я узнал, что Космос вовсе не бесхозная вещь и что у него есть Автор. И этим Автором является Бог, персона, как меня заверили, в высшей степени симпатичная, в которую я уверовал без всяких сомнений, чего и вам желаю. Завтра я издам эдикт, по которому каждый из моих подданных получит экземпляр Святого писания в кассетной записи, но вас я вызвал не по этому вопросу. Теперь я уже знаю, что мир не сам по себе появился, а был создан Творцом самолично как жилье для существ, им же созданных. И коль скоро Бог сделал свое дело, то и я свое обязан совершить. Пришельцы, которым я обязан своим обращением, горячо убеждали меня, чтобы я в первую очередь заботился о собственном спа-

сении, и я выслушал их не прерывая, ибо это было бы невежливо, но думал я совсем о другом. Я не таков, чтобы прежде всего думать о себе. Ведь все сущее неизмеримо важнее меня! И всеобщему благу хочу я посвятить остаток своих дней. Я, конечно, читал, достопочтенный Трурль, твою книгу «Impossibilitate felicitationes entium sapientum» [11], но она меня особо не взволновала — нет ничего удивительного, что в скверном мире и живется не слишком хорошо. Последним, за что я держался, прежде чем уверовать в Бога, было обращенное к нам совершенство строения Вселенной. Тогда я рассуждал; если все это само разогрелось, раскрутилось и разлетелось во все стороны, то ни к кому нельзя предъявить претензий за возможные недоделки и ошибки, и таким образом, в дефектах бытия нет никакой проблемы. Теперь же, когда я верую, больше думать так не могу. Для меня изменилась сама сущность вещей. Я верю и не сомневаюсь, что Творец бесконечно добр, что он безгранично нам симпатизирует, что он хотел сделать все как нужно, будучи максималистом, но я не верю, что невозможно было сделать это лучше.

---

**11 notes: 11**

"О невозможности насыщения счастьем разумных существ» (лат.)

— А дали вы, Ваше Величество, это понять своим духовным восприемникам?

— спросил Клапауций как можно дипломатичнее.

— Что? Нет. Во-первых, я не хотел их обидеть, а во-вторых, не видел смысла сообщать им о таких сомнениях. Ведь они специалисты в области теологии, а не технологии, меня же интересует как раз эта сторона бытия. И я не сказал им ничего, тем более что не собираюсь вдаваться в бесплодное критиканство, но как поборник экспериментальной философии хотел засучить рукава и взяться за дело. Признаюсь, поначалу мне пришло в голову усовершенствовать одних только Сотворенных, потому что и материал на них пошел не слишком приличный, и функционируют плохо, не говоря уже о среднем уровне их интеллекта, но тут я вспомнил о твоем сочинении, дорогой Трурль. Ты ведь тоже не трогал Вселенную, а только хотел улучшить ее жителей. Извини меня, уважаемый, но тут ты перевернул все вверх ногами. Подгонять квартирантов под квартиру — вещь неслыханная. Я же поставил перед собой обратную задачу. Я собираюсь создать альтернативное бытие.

— Значит, Ваше Величество пожелали вложить

в космическое дело капитал, а нас назначить главными производителями работ?

— Ты верно все понял, достойный Клапауций. Я знаю, что создать новый мир — это не то же самое, что поставить новое гумно, но я не боюсь объективных трудностей. Если бы создать Вселенную было так же просто, как горшок слепить, я и сам бы за это не взялся, да и вас утруждать не стал.

— Простите, Ваше Величество, — сказал Клапауций, — но мне не совсем ясно, как можно, считая себя верующим, желать сконструировать мир, противоречащий канонам твоей веры?

— Почему же противоречащий? — удивился Ипполип. — Просто другой. Разве ты видишь в моем замысле противоречие?

— Мне кажется, да.

— Ты ошибаешься, и сейчас я объясню тебе твою ошибку. Веришь ли ты в летательные аппараты?

— Верю, потому что они существуют.

— А в алгебру веришь?

— И она существует. Верю. Но ведь в их существовании можно и лично убедиться, на опыте.

— Ну, ну! — усмехнулся король. — Вижу, на какой мякине ты меня хочешь провести, но это у тебя не выйдет. Ведь ты веришь также и в то,

чего не проверял и не сможешь проверить никогда. Например, в существование таких больших чисел, что наверняка не удастся их исчислить, или в солнца, которых ты никогда не увидишь. Не так ли?

— Разумеется.

— Вот видишь. Так вот, разве твоя вера помешает тебе построить небывалую летающую машину или разработать новую алгебру? Разве существующая алгебра запрещает тебе выдумать другую?

— Нет, государь, но ты сам говорил, что Бог создал мир из любви к Сотворенным. И, создавая новый мир, ты отвергаешь Божественную любовь.

— Nego consequentam! Ничего подобного! Предположим, отец построил тебе дом. Если ты построишь рядом с ним другой дом, разве из этого вытекает, что ты перестал уважать отца или пренебрег отцовской любовью? Ты спутал Божий дар с яичницей! Никакой связи я не вижу между моим предприятием и любовью Всевышнего. Ну, убедил я тебя?

— Но ведь ты отвергаешь дар, согласно твоей вере, совершенный, разве не так?

— Почему же отвергаю? Разве я сказал, что хочу оставить этот мир? Я хочу только произвести экс-

перимент, вот и все. Кроме того, я не забываю, что я тоже часть Творения, а от себя я отказываться не собираюсь.

Клапауций молча поклонился и, видя, что Трурль собрался раскрыть рот, ловко лягнул его в щиколотку. Король, который ничего не заметил, продолжал:

— Наметим себе путь. Еще в бытность мою инфантом говорили мне наставники, что мир существует сам по себе, а мы, хотя и внутри него, тоже сами по себе. Он и не заботится о нас, и не вредит нам умышленно, потому что не к нам обращен фасадом. Если мир — это кладовая, то построена она наверняка не для мышей, которые в ней жируют. А коль скоро она для них не предназначена, то нечего удивляться, что полки слишком высокие, что можно утонуть в крынке молока и что по углам попадаются несъедобные субстанции.

— А как насчет мышеловки, Ваше Величество? — не выдержал Трурль.

Ипполип усмехнулся:

— Ты имеешь в виду дьявола? Это, дорогой Трурль, экстремист, без которого обойтись невозможно. Дьявол в Божьем творенье то же самое, что регулятор в паровой машине, — без него все

разлетелось бы на куски! Соображаешь? В определенном высшем смысле плюс сотрудничает с минусом, а ход равномерен, покуда противоположные импульсы уравновешиваются. Ну, об этом когда-нибудь в другой раз поговорим. Итак, меня убедили в том, что существует некто, бесконечно добрый, кто построил нам космические квартиры и позаботился, чтобы квартиры были обращены к обитателям парадной стороной. Все в Божьем творенье для блага его обитателей, все подогнано точно по размеру, а если что давит, жмет или даже обдирает кожу, то в этом также проявляется Божья благодать, и лишь только ничтожный жилец не может сразу это признать. Теологи ему в этом помогают: бытие, воплощенное в материи, есть дидактический сегрегатор или, собственно, *гумно*, где отсеивают злаки от плевел. Поскольку я люблю процесс ученья, меня радует устройство мира в виде университета с конкурсными экзаменами. Однако едва добрые отцы-миссионеры покинули меня, я с беспокойством подумал, что, очевидно, не только этот мир, а и любой другой следует считать даром любви Всевышнего. Представьте себе мир, в котором все болит. Кому в голову придет хотя бы буковка — застонет, а кому весь алфавит — так уж почти

помирает. Даже если о Боге подумает, и то как будто из него живьем ремни режут. И пусть они там вопят, так что солнца сотрясаются и окалина, как чешуя, сыплется у них с перегретых боков. Что из того? Разве нельзя хвалить и такой мир, считая, что боль благодатна, потому что приводит в рай, а при случае напоминает об аде и тем отвращает от греха? И можно ли придумать такой чудовищный мир, чтобы уже никто не мог назвать его следствием бесконечной доброты Творца? Даже если бы это был сущий ад, то и тогда можно было бы утверждать, что это только макет, а настоящий ад где-то в другом месте и намного хуже. Поди докажи, что это не так! А потому, как видите, можно ввести теодицею [12] в любой тип мира и провозглашать, что тот, кто доверяет Творцу даже тогда, когда из-за этого доверия от него пух и перья летят, зарабатывает себе этим вечное блаженство. Но ведь похвалы, которые ко всему подходят, стоят немного…

— Говорил ли король и об этом своим духовным отцам?

— К королевским словам следует прислушиваться внимательно, милейшие. Я говорил вам

---

**12 notes: 12**

раздел богословия, призванный увязать существование зла в мире и Божественное добро

о том, что пришло мне в голову уже по отъезде достойных отцов! Так вот, я думаю, что наш мир не единственный. Некоторые доводы в пользу этого можно найти и в Писании. Возьмем хотя бы Страшный суд. Последний суд, ибо, в общем, после него ничего интересного или принципиально нового не произойдет. Но как же так? Неужели после подведения баланса Господь никогда ничего не стал бы предпринимать? В это трудно поверить. Настоящий творец не удовлетворится одним вариантом. Конечно, не совсем удачные миры

— это для него трудная дилемма. И сохранить плохо, и уничтожить нехорошо, потому что, собственно, по какому праву? Мне кажется, он поначалу пробовал делать какие-то исправления в виде так называемых чудес, а потом оставил все как есть.

— А слыхали ли вы, Ваше Величество, об отступничестве и ереси?

— Ну что ты пристаешь ко мне с такими вопросами? Можно подумать, что я уже стою перед епископальным судом. Разумеется, я слышал об отступниках, но они исходят из неприязни к Творцу, а я, наоборот, хочу оказать ему помощь.

— Государь, — промолвил Клапауций, покаш-

ливая, — мы оказались в сфере весьма деликатной, прямо-таки щекотливой теологической экзегезы [13]. Боюсь, что Ваше Величество вызвали не тех специалистов.

— Ты ошибаешься, потому что я не собираюсь ни отступать от веры, ни реформировать ее. Я стремлюсь не к ревизионизму, а к творчеству.

— Но ведь… — начал было Трурль, но Клапауций незаметно наступил ему на ногу, а сам, склонившись перед королем, спросил:

— Ну, хорошо. Какой же мир Ваше Величество изволит заказать?

— Это, собственно, и надо обдумать. Теологи говорят, что Бог придал своему произведению две особые черты, или же два ограничения. Одно из них помещено им вне Сотворенных, а другое — в них самих. Бог все слышит, но не отвечает. Присутствует, но не являет нам себя, так что контактировать с ним нельзя. Раньше, бывало, как-то еще общался, а теперь перестал. Так что непосредственная связь с Богом — односторонняя. Другой запрет таков: Бог — инженер, который, создавая других инженеров, уже с самого начала ограничил их так, чтобы они не могли конкурировать

---

**13 notes: 13**
здесь: толкование религиозного канона (греч.)

с ним. Учителя показали мне это на примере Вавилонской башни. Я попытался Сбить их с панталыку, но они не поддались. Но разве соревнование должно всегда исходить из низменных побуждений? Создатель нового лекарства изобретает его не для того, чтобы отодвинуть в тень создателя лекарства уже существующего, а лишь для того, чтобы уменьшить страдания людей. Почему же творец нового мира должен измышлять его назло творцу мира уже готового? Послушать миссионеров, так Бог подозревает всякого, кто хочет вступить с ним в творческое соревнование, в грешных намерениях — в том, что борьба затевается не за совершенствование мира, а за небесный престол. Я же считаю, что Бог гораздо более скромен и потому более симпатичен, чем хочется этого теологам. Произведение больше говорит о творце, чем любой панегирик. Если внимательно приглядеться к миру, видно, что он сотворен в высшей степени скромно, даже анонимно. А разве Бог не в состоянии был поставить свой фирменный знак на каждой былинке? Не рассуждения вокруг да около, не комментарий (а Писание есть только комментарий к Творению), а непосредственное доказательство авторского исполнения! Я склонен считать сдержанность,

скромность Божью основной причиной этой космической анонимности, доводящей теологов до головной боли. Бог затаил свое авторство так мастерски, как будто его вовсе не было. Разве это могло стать делом случая? Бог спрятался, потому что хотел спрятаться. Вот это мне нравится! Такую деликатность я уважаю! Но тут они на меня накричали. По их мнению. Бог дает нам своим примером урок любви, а спрятался, чтобы дать нам полную свободу. Вроде как если садовник на виду, то на яблоню никто не полезет. Ну, а с другой стороны, если кто воспользуется этой свободой до отвала — его черти заберут. Какая-то сомнительная выходит педагогика. Давать затем, чтобы никто ничего не брал, — зачем же тогда давать? А если кто берет не от испорченности, а по инерции? Если кто свободен не как стихия, а как выбитая ось, которая вихляется во все стороны, потому что уж такой у нее расхлябанный характер? Так я спросил у патеров, а они отвечали, что тот, кто задает такие вопросы, впадает в безумие или грешит, то есть он или болван, или негодяй, что же касается Господа Бога, то ему лучше знать, что и как надо делать. Возможно. Допустим. Господа Бога я касаться не буду, но от вас подобных оправданий не приму. Говорю это

вам заранее, чтобы потом не было никаких недоразумений. Даю вам все полномочия, творите мир смело, но не как придется. Все должно быть выполнено солидно, с регулярной оптимизацией, а не со случайной… Понимаете, к чему я клоню? Нерегулярный оптимизатор — это сатана, он действует как регулятор-провокатор, ибо он сначала совращает ко злу, а потом подставляет бездну. Прошу вас избегать такого экстремизма.

— Если обобщить речь Вашего Величества, то исходные данные получаются такие, — сказал Клапауций. — Поскольку Бог заблокировал связь, то мы ее откроем. Поскольку он был авторитарным нейтралистом, нам нужно творение демократически децентрализованное. Демократия же означает равенство, значит, каждый житель новой Вселенной сможет сотворять себе миры, кто какой захочет? Я правильно понял?

— Избави Бог! — вскричал Ипполип. — Совсем не так! Неужели я мог бы начать демократическое сотворение с точных указаний? Разве не было бы это contradictio in adjecto? [14] Я удивляюсь тебе, достойный Клапауций, что ты мог обо мне так подумать. Я не считаю, что Бог совсем

---

**14 notes: 14**
внутреннее противоречие (лат.)

закрыл для нас возможность творения, иначе и я сам не смог бы приняться за работу. Я пока не настаиваю на связи, сначала вы населите мне этот новый мир, а потом посмотрим, есть ли там с кем поговорить. Дух духу рознь, и вы, мои дорогие, столько их успели насоздавать, что сами хорошо об этом знаете. Легко допустить до себя какую-нибудь фрустрированную и закомплексованную личность со сплошными претензиями и рекламациями. Труднее не напортачить.

— Ну, я прямо не знаю… — пробормотал Клапауций. — Ваше Величество дает нам полную свободу проектирования? И мы должны сотворить мир, совершенный по нашим представлениям? Э-э, э… как бы это сказать, чтобы не оскорбить слух и достоинство Вашего Величества… это же выходит дуумвират, а не триумвират, если мы должны сделать все, а милостивый король — ничего.

— То есть как? Как это ничего? — рассмеялся король. — Ведь это я буду решать, удалось ли вам творение или нет. И кроме того, я не закончил. Не буду вдаваться в подробности, но на вашем месте я опробовал бы различные прототипы, а потом все наилучшее связал в один узел, — но это уже дело ваше. Вот чего я хочу в первую очередь: чтобы вы навели порядок со временем. Его необ-

ратимость — это, скажу я вам, просто скандал! Что стало, того уж не отменить! Кому ближние загубили нынешнюю жизнь, тот в виде компенсации должен получить вечное блаженство. Однако завтрашняя колбаса вчерашнего голода не насытит, даже колбаса бесконечной длины. Мне такая арифметика не нужна. Необратимость времени — вот изначальное неудобство бытия. Ведь известно, что тот, кто начинает жить, сам себе часто вредит по неопытности, а кто заканчивает жизнь, тот уже точно знает, что к чему и почему, но уже поздно что-либо исправлять. Божий «тот свет» — это такая станция последнего обслуживания, на которой ничего не исправляют, а только сортируют — кого к ангелам, а кого в смолу. А тот аспект, что зло может быть следствием неумолимой природы времени, вообще не принимается во внимание. Возьмитесь-ка за время! Сделайте, чтобы тот, кто раз оступился, мог бы эту ошибку аннулировать, пусть он и по второму разу не исправится, но уж после двадцатого или сотого либо ему надоест грешить, либо сам станет лучше.

— Ну, конечно! Можно создать анизотропную Вселенную! — выкрикнул Трурль, который не в силах был больше молчать. — Анизотропный

мир с обратным бегом времени, включаемым в отдельных местах, называемых «особыми точками» континуума.

— А почему именно так? — заинтересовался король.

— Потому что таким образом власть над временем становится независимой от уровня технического развития, — весь сияя от своей находки, пояснил Трурль. — Это будет таким же всеобщим свойством в том мире, как в нашем — закон тяготения. А что значит всеобще? Демократично!

— Понимаю. На первый взгляд неплохо. Когда вы покажете мне прототип?

— Пожалуй, недели через две. А ты как думаешь? — Трурль посмотрел на коллегу. Клапауцию не по вкусу было такое поспешное решение, но аудиенция его утомила, и он молча кивнул головой.

По дороге домой они отчаянно ругались. До изнеможения препирались они между собой и во время работы, но срок выдержали. В условленный день они прибыли ко двору, толкая перед собой маленькую двуколку, заваленную аппаратами и инструментами. На самом верху стояли ящики, соединенные кабелем. Сейчас же прибежал король, и в зале для аудиенций среди

позолоты, поблекших знамен и династических гербов расставили на полу аппараты. Клапауций подкручивал гайки, а Трурль болтал, как заведенный:

— В этом большом ящике — питание, а в меньшем — мир! В точности такусенький, как я обещал милостивому королю, — анизотропный, с особыми точками, в которых можно переключать бег времени, а доступ к этим точкам равный и всеобщий. Измыслили мы, государь, и несколько персон, которые в будущем помогут нам в опробовании следующих вселенных… Волю они имеют свободную, каждый делает то, что ему заблагорассудится, указаний мы им не даем, не связываем их ни в чем, чтобы можно было рассчитывать на естественность их поведения. Разумеется, никто из этих пробных личностей не сможет быть в точности тем же самым в каждом из миров, потому что радикальная перестройка онтологии нарушает их физиологию, но все же мы позаботились о сохранении некоторой инвариантности как совокупности личных черт, иначе было бы невозможно сопоставление бытия и сущности во всех этих мирах…

— А как туда заглянуть? — спросил король, присматриваясь к хлопотливой суете Клапауция

и мешая ему, потому что королевские ноги путались в проводах.

— Сейчас мы устроим времянку. Поставим на экзистоскоп псевдокристалл, лазерный сигнал каскадно усилим на выходе, ну, а дальше уже обычным способом, через проектор, скажем, на эту стенку…

— Можно! — сказал Клапауций и поднялся с колен. Трурль зажал кулаком неисправный разъем, потому что у него под рукой не оказалось изоляционной ленты, и проекция началась. Алебастровые плиты между пилястрами порозовели, и на них появилось изображение, сначала несколько расплывчатое и неустойчивое, но быстро сфокусировавшееся. И стало видно, как один феодал, некий Марлипонт, отправляясь в крестовый поход, наказывал жене блюсти супружескую верность, а затем, будучи по натуре человеком подозрительным, запер ее в угловой башне замка и под дверьми ее посадил доверенного слугу с мечом. Для большей гарантии Марлипонт приказал оного слугу приковать цепью за ногу к стене, чтобы тот не мог сбежать со своего поста. Ключ спрятал себе под панцирь, не слушая молений слуги хотя бы о бочке солодового пива, сел на коня и поскакал за скрывающим-

ся в пыли войском. Еще не улеглась пыль, как Креншлин Щедрый, его сосед, который, будучи вольнодумцем, в крестовый поход не пошел, начал взбираться по плющу в башню, в которой прекрасная Цевинна Марлипонтская пряла мох, потому что лен у нее весь вышел, а, будучи заперта, она не могла послать за новым.

Примерно на высоте второго этажа плющ, слабо вросший между камнями, оборвался и рухнул вместе с Креншлином-вольнодумцем на мощеный двор, от чего неудачливый любовник сломал обе ноги. С огромным трудом, но поспешно пополз Креншлин ко рву, где ждали его с конями верные слуги, велел уложить себя в люльку между двумя конями и гнать во весь опор в усадьбу Трещипала Сувы, у которого в печи находилась сельская темпорня.

Прибыв к Суве, несчастный молодой человек сначала просьбами хотел склонить старика, чтобы тот передвинул рычаг назад, а когда тот отказался, ссылаясь на Марлипонтов приказ, Креншлин положил на грязный стол мешок, тугой от дукатов, припасенных на такой случай. Тут у Сувы глаза старческой слезой заволокло, и, поддерживаемый с боков слугами, Креншлин смог войти под навес, прикрывающий часовни-

цу, где стояли рычаги, Двинул главный, и сразу ноги у него срослись, потому что обратным ходом попал он из неудачного понедельника в позапрошлое воскресенье. Дал слегка вперед, но не слишком резко, с расчетом, чтобы плюш успел сначала хорошенько развиться, а ускоряя время, поглядывал при этом в окно, идут ли дожди, в высшей степени полезно влияющие на корневую систему растений.

За шесть минут быстренько обождав две недели, пустил он время в обычный ход и во всю конскую прыть помчался к башне. Плющ хорошо окреп, в окне никого не было, тогда Креншлин хвать за цепкую поросль — и наверх. Вскочил в окно. Цевинна как раз расчесывала волосы перед серебряным туалетным столиком, а он подошел сзади и схватил ее в объятья. Она сопротивлялась, но без ожесточения. Но лишь только они слились в объятии, как по каменной лестнице загрохотали железные шаги мужа, который неожиданно вернулся, потому что забыл попросить жену повязать ему шарф на воинское счастье, а у всех остальных рыцарей такие шарфы были. Не успел Креншлин подбежать к окну — кальсоны мешали, — как вошел муж, вооруженный и настолько ловкий, что еще в дверях, пригнувшись, чтобы не

разбить лоб о притолоку, вытянул меч из ножен. Безоружный Креншлин ретировался, схватился за плющ и как мог быстро стал сползать, а супруг Цевинны, ревя, как буйвол, с великим трудом и скрежетом просунул закованное туловище в оконный проем и давай резать, сечь, рубить сплетения плюща. Плющ оборвался, и Креншлин камнем полетел вниз. На лету храбрый, хоть и неудачливый поклонник нашел силы крикнуть Цевинне, чтобы в следующий раз сама помнила о шарфе.

Теперь Креншлину пришлось хуже: на контрфорсе его перевернуло и он грохнулся головой о каменные плиты, от чего повредился в рассудке. Он еле дышал, когда слуги снова сунули его в предусмотрительно устроенную люльку и сначала галопом, а потом рысью помчались к старому Трещипалу. Прежде чем Марлипонт, прогрохотав внутри башни, как сорвавшийся мельничный жернов, выпал на двор рыча: «Коня! Королевство за коня!!!» — Креншлин в темпорне уже потянул слабеющей десницей за рычаг, и так отчаянно, что пролетел из июня в декабрь. Холодно было ждать в неотапливаемой темпорне начала крестового похода, а потому он дал малый вперед до самых мартовских ид и далее к плющу.

Может, Цевинна расслышала, что кричал возлюбленный, летя вниз головой с башни, а может быть, Марлипонт на этот раз обошелся без шарфа, но, когда Креншлин появился перед своей золотоволосой красавицей, на лестнице было тихо, как будто и старый слуга уже угас от голода. Но рассудительный Креншлин сначала задвинул засов, а потом уже кинулся в объятия милой. Страстной, самозабвенной была их любовь в башне, не слыхали они ни совиного крика, ни грозы, которая прогремела с полуночи. На заре Креншлин вскочил, перекинул без лишних слов ноги через парапет, шасть по плющу вниз на подворье, в седло и галопом к темпорне.

Вокруг крапива, как лес, внутри тихо, но и тут он был предусмотрителен: придерживая плохо подпоясанные шаровары, на карачках пополз к калитке, оглядываясь во все стороны, и правильно сделал, потому что над самым ухом у него бухнул самопал, поставленный в междучасье каким-то неизвестным. Тогда только он толкнул дверь — и к рычагу. Устроил из утра вечерние сумерки предыдущего дня, поставил рычаг посередке и занялся делом. Затянул петельку на истертой рукоятке, под столом пропустил шнур на стропила, со стропил через дыру в крыше на

конек, с конька под стреху, тут привязал конец шнура к пустому ведру, ведро подвесил под дырявый водосток, еще нагреб мусора, присыпал им шнур, идущий от рычага, поплевал на руки, вскочил в седло — и обратно к башне.

Больше всех среди зрителей дивился этому Его Величество король. Зачем это он так? Что ему следующий день и ночь — хуже?

— Учти, милостивый владыка, что он привык к обратимому времени, как и все они там, — доступно объяснял Трурль. — А кроме того, он знает, что вернуть приятные минуты ничего не стоит, зато неизведанное будущее может таить в себе неожиданные опасности.

— А зачем ведро?

— А помните, перед утром шел дождь? Когда опять перед рассветом польет, ведро наполнится, потянет шнур и рычаг, и таким образом все повторится.

— Видно, что бывалый часоходец! — вмешался Клапауций. — Шнур замаскировал, если кто даже и войдет, может не заметить.

Тем временем ночь любви подходила уже к концу, уже дождь собирался, как вдруг цокот копыт и звон оружия прервали сон любовников. Подскочил Креншлин босиком к окну и видит

— дело плохо: внизу группа вооруженных всадников, шесть Марлипонтовых зятьев, которые должны были в его отсутствие присматривать за поместьем и за Цевинной, — и вот притащились, хотя их усадьбы за двести верст, значит, уже у темпорни соседнего уезда.

Что делать? Может быть, через пушечную бойницу съехать прямо в ров? Оторвался Креншлин от встревоженной Цевинны, вцепился пальцами в тугие сплетения плюща и уж поехал вниз, как вдруг завопил от боли. Глядит — а это не ночь, а день, и он не наверху, а на камнях со сломанными ногами, и над ним Марлипонт, весь в железе, рычит: «А-а, мерзавец, предатель, прохвост! Думал меня перехитрить? Да мне до темпорни так же близко, как и тебе, чужеложцу. Ну, погоди, сейчас я тебя приласкаю!»

По его знаку несут футляр железный, кованый, ставят, отворяют, а в середине он весь гвоздями утыкан — ох, совсем плохо дело! Креншлину хорошо знаком этот инструмент. Во все глаза высматривает он тучку — вот и первые капли падают, но всего-то их кот наплакал… а уж его взяли за шиворот, пихают его слуги в железное нутро, а там гвозди, как бритвы, только лишь захлопнут и…

Бабахнул гром, и полило как из ведра.

— Это ничего! Не возитесь, сукины дети! Быстрей, не копайтесь, закрыть, завинтить! — командует Марлипонт, а зубы у него так и сверкают через решетку забрала.

Тучи словно прорвало. Лишь бы только шнур уцелел! Креншлин изображает обморок, вываливается из рук телохранителей, они натуживаются, вот уж спиной он чувствует первые острия, взвизгнул — и рухнул во весь рост.

Мрак и тишина. Только дождь шумит. Ощупал Креншлин бока — целы. Ноги — прямее не сыщешь. Если бы не ведро, подумал, конец бы мне. Ну и дурак же этот Марлипонт. Не поинтересовался, что там за шнур, откуда. Слава тебе, Господи, что ты разума ему не дал! А что же теперь? Где я? Вот ров. Стена. Башня. Цевинна? Не до нее сейчас. Марлипонт, наверное, очумел от злости и помчался к темпорне, надо его опередить.

Со всех ног пустился бежать Креншлин, но скоро заметил, что вроде бы как медленней бежит. Что такое? Шаги какие-то маленькие. Боже всемогущий!

— ноги укоротились. Пощупал усы на лице — нету усов! А Марлипонт, наверно, уже в темпорне, и не то чтобы неделю или год, а целый

десяток лет у него отнял — уж молоко на губах! Теперь отыщет меня и утопит, как щенка…

Так как же? Что делать? В деревню, втереться в кучу босой детворы, в подлое сословие, немого, дурачка изобразить? А если узнает, выловит муж-ревнивец? Он-то старше, ему сейчас только тридцатка подходит!.. Однако Креншлин все бежал в сторону темпорни, пока не увидел зарево. Деревня горела. Еще раз прикинул он на пальцах, сколько же сейчас лет Цевинне. Цевинке, вернее… Двенадцать? Еще у отца, маркграфа Гамстербандского, куклам кринолинчики шьет…

Ну и зарево! Лишь бы темпорня не… Вот он уже и у плетня. Горит халупа Трещипала. Крестьяне в свитках тянут имущество на огород. Ох, не имущество это, а убитые в доспехах, голота с них сапоги стягивает. Грабят, как обычно, после побоища. Кучей лежат. А кто же это? Ба! Цвета Марлипонта! А вот из огня выпадает сам Марлипонт, безоружный, пеший, без шлема, мчится, аж железом гремит, а за ним на коне зять, и другой тут же с мечом в руке! Ну да… видно, им имение понравилось и вместо опеки они учинили наезд… да только дурни так себе фортуну исправляют, а не рыцари Хроноса…

Стянул Креншлин с плетня подштанники и

крестьянские юбки, подбежал к колодцу, окатил их из ведра, накинул на голову мокрые тряпки — и к темпорне, которая уже полыхала. Опалило ему брови, от жара дух захватило, а тут двери изнутри подперты — ох, нехорошо! Шмыгнул он в огород — малец всегда обернется быстрей взрослого, — выдернул у первого лежащего пистоль из-за пояса, порох на полке есть? Есть! Перескочил к окошку, с той стороны бревна только дымились, а на крышу первые голубые язычки выскакивали, поднялся на цыпочки, заглянул внутрь — там Сува лежит с перерезанным горлом, а ноги на двери, потому и не открывалась.

Другого выхода не было. Прицелился Креншлин в пылающую рукоятку рычага. Только бы не слишком сильно ударило, а то качнется назад так, что исчезну и не будет меня на свете. А, черт с ним. Только подумал и выстрелил. Звука уже не слышал.

Лежал навзничь, глядел в необъятное, затянутое тучами небо. Ветер шумел, тихо было и пусто. Он боялся пошевелиться.

«Если младенец, то как до рычага доберусь?» — это была его первая мысль. Пощупал лицо — снова без усов, но зубы есть. И то хорошо. А не молочные? Никак не мог сосчитать языком

коренные.

— Саперлипопетт! — попытался проговорить громко. Вышло — значит, не грудной!

Вскочил Креншлин на ноги — и к темпорне. О ней думал в первую очередь, а не о себе, не зная, сколько ему теперь, восемь или четырнадцать лет! Пришлось лезть к рычагу по столу — была все же у пули сила! — вцепился двумя руками в рукоять, слабо, навалился всем телом вперед и заорал от неожиданности, потому что грохнулся теменем об навес, не соскочив вовремя, пока рос…

Сначала ощупал шишку на голове, потом губу: нет лучшей меры времени, чем растительность! Все в порядке, усы пробиваются!

Среди ночи Креншлин задержал время. Если лет на двадцать пять время назад отодвинуть, когда Марлипонт и зятья еще под стол пешком ходили, вот было бы чудненько… Но тогда и сам не то что в детство впаду, но и вообще пропаду, будто меня и не было. Ох, жалко, голыми руками повытаскивал бы их из люлек! Вперед тоже далеко нельзя: и Цевинна постареет, да и неизвестно, не стоит ли кто там, в будущем, у рычага, занеся меч для удара, — и такое случалось.

Так и не знал он, что и поделать, а тут кто-то

стал подбираться к дверям. А они бревном подперты, тогда тот, за дверью, басом кричит своим, чтобы живо таран несли. Отвел Креншлин быстренько время на неделю — и опять никого нет.

— Вот хоть я и хозяин времени, а двинуться отсюда не могу ни на шаг, хороша власть! Вот уж влип так влип! Так что же, сидеть в темпорне, как в тюрьме, до конца дней или метаться туда-сюда из futurum в plusquamperfektum? Impossibile est! Да и с голоду здесь подохнешь! А тут снова кто-то щупает засов снаружи и слышится голос: «Пусти меня, милый, это я, Цевинна!» Привязал осторожный Креншлин шнурок к рукояти и потихоньку выглянул в щель. Если не она, потяну, прежде чем оттуда выстрелят через доску, а если попадут, то, валясь замертво, все равно натяну шнур, пихну бытие назад и воскресну. Всякое бывает. Иной раз, когда беда прижмет, стоишь, взяв рычаг на себя, а время прямо фырчит, мчась обратно, а под ногами, по углам, у стен появляются скорченные трупы, оживают в обратной агонии, царапают пальцами окровавленные бревна и исчезают, как дым. Когда однажды Креншлин так стоял, вывалились из времени какие-то двое, сцепившиеся насмерть, толкнули его в бок, так что он чуть рукоять не выпустил.

Нет, это точно Цевинна. Впустил он ее, а она кинулась ему на грудь: «Спаси! Сделай что-нибудь, чтобы его не было, чтобы не родился, смотри, как он меня бьет!» — и показывает синяки на плечах, шрамы. Сначала Креншлин велел ей принести чего-нибудь поесть, хотя бы ячменную лепешку, головка сыра тоже бы пригодилась… Лишь только вышла, тут же конский топот, храпение осаженного жеребца — неужели опять? Ну и озлился Креншлин, узнав голос Марлипонта! Устроил муж погоню за бедной Цевинной, пришлось отодвинуть время на год, и опять — ни еды, ни питья! И так и сяк маневрировал Креншлин, а все равно оказался в окружении: тут и зятья, и Марлипонт со своей шайкой, и сам бургграф, и нищие, и королевские доносчики, и офицерство крепостного гарнизона (обозники уже пушки подтаскивают), и какие-то горожане с наемниками пришли разобраться в споре насчет зерна, и разбойники — уйма народу околачивается вокруг темпорни, пытаясь взять ее осадой. Уже и старцев собрали, вооружают их, а одновременно на противный случай муштруют толпу молокососов — учат с мушкетами обращаться и так с обеих сторон времени берут в переплет несчастного Креншлина! От старцев назад не уйти, а от сопля-

ков вперед. И покрикивают: «Ты окружен, ваша милость, выходи на рыцарское слово!» — потому как боятся, чтобы с рычагами чего-нибудь не сделал в отчаянии — и такое бывает.

И действительно, имея перед собой на выбор дыбу (а те уже спорить начали, куда его потом — либо на городскую дыбу, либо в бургграфову, или в Марлипонтову яму, или к зятьям) или самоуничтожение, позор или честную гибель, выбрал недоласканный Цевиннин любовник страшный, зато возвышенный исход. Дал полный назад, сначала все же прикрутив рычаг шнуром к угловой балке: сгину, но время все равно будет мчаться назад, и всех вас в небытие с собой утащу!

Исчез Креншлин быстрее, чем клочок тумана на ветру, а за ним и все остальные. Только когда в давних веках шнур истлел, рычаг сам вернулся в среднее положение. А вокруг темпорни уже чаща разрослась, в мгновение ока появился непроходимый бор, зубры чесались об углы, шли месяцы, отбившийся от стада волосатый носорог, рыча, влез, развалив истлевшие двери, и как дым исчез, боднув рычаг рогом, — вместо дубовой чащи на болотце редкие рододендроны и голосемянные папоротники — скорее всего, эпоха, называемая каменноугольной — ни человеческих поселений,

ни самой темпорни, только особая точка, над которой дрожал и радужно переливался воздух.

Трурль выключил проектор, отсоединил провода, а король, ничего не говоря, уселся на троне, но видно было, что он не в восторге от увиденного. Клапауций откашлялся:

— Я не хотел бы утомлять Ваше Величество и изложу суть дела в двух словах. Вы изволили наблюдать типичный процесс. Интрига здесь не важна, такая или другая — она всегда приводит к подобному финалу. Действия антагонистов стягиваются по все более короткому радиусу к центру, которым является особая точка или место, из которого можно управлять течением времени. Если радиус действия отдельной темпорни сделать большим, то их таким образом на планете будет мало, соответственно мало будет очагов борьбы.

Если радиус мал, то центров много и мест столкновений столько же. Но это, в сущности, ничего не меняет. Можно сделать и так, чтобы самого вожатого времени вызванные им изменения не затрагивали. Но и это ничего нового не вносит. Тогда субъект, который последним останется в темпорне, будет вынужден бежать в самое древнее прошлое, а поскольку власть над временем не может быть безразличной никому из людей,

то логика конфликта принудит его бежать в эру полного безлюдья. Таким образом, он исключается из истории и в схватках за темпорню участия больше не принимает.

Если на планете существует только одна особая точка, на ней возникает одно государство, раздираемое центробежными сепаратистскими движениями, а также центростремительной борьбой за овладение властью над временем, причем по рекомендации наимудрейших личностей правители склонятся к тому, чтобы сделать особую точку недоступной ни для кого — например, путем забивания ее взрывами в глубь коры планеты. Если же ввести вместо особых точек путешествия во времени, развивается времяборчество, хронологические эскапады, грабительские экспедиции, появляется темпоральное конквистадорство и хронический гангстеризм, а также попытки монополизировать технику передвижения во времени, правда всегда безуспешные, поскольку изобретенное одними другие рано или поздно смогут повторить.

Если же принять за основу новые времена, то придем к большим войнам во времени. Стратегическая задача при этом окружить противника со стороны будущего и спихнуть его на дно разви-

тия, в прошлое, то есть снова начинается регресс. У кого в руках время, у того и власть. Следовательно, за это и будет вестись борьба, усиленная открытием новых тактик нападения и защиты во временном измерении.

— Выходит, что обратимое время-и-это источник несчастий, а не блага? — сказал озабоченный Ипполип. — А нельзя ли это как-нибудь поправить?

— Мы пытались ограничить движение во времени демпферами ускорения и другими предохранителями, государь, — ответил Трурль, — но тогда первой целью заинтересованных лиц становится ликвидация этих ограничений.

— Ну, хорошо, а если взять цивилизацию с богатой духовной культурой, с высоким этическим уровнем, либеральную, гуманную и плюралистическую?

— Такую мы легко можем запрограммировать, Ваше Величество, — сказал Клапауций. — Мы не делали этого, считая, что это тоже ничего не даст, но если такова королевская воля, то прошу взглянуть!.. Трурль!

Трурль быстро нажал на какие-то клавиши, переставил несколько вилок, подкрутил усилитель и вздохнул:

— Готово. Включаю.

— Какая матрица?

— Время как функция изменения гравитационной постоянной.

Свет упал на алебастровые плиты. Трурль сфокусировал изображение…

Кресслин наклонился над столом.

— Это она? — спросил он, глядя на серию моментальных снимков.

— Да, — генерал машинально подтянул брюки, — Севинна Моррибонд. Ты ее узнал?

— Нет, тогда ей было десять лет.

— Запомни, она не сообщит тебе никаких технических подробностей. Ты должен только узнать у нее, есть: у них хронда или нет. И находится ли она в оперативной готовности.

— А она это знает? Вы уверены?

— Да. Он не болтун, но от нее не держит секретов. Он на все готов, чтоб ее удержать. Ведь почти тридцать лет разницы.

— Она его любит?

— Не думаю. Скорее, он ей импонирует. Ты из тех же мест, что и она. Это хорошо. Воспоминания детства. Но не слишком нажимай. Я рекомендовал бы сдержанность, мужское обаяние. Ты это умеешь.

Кресслин молчал, его сосредоточенное лицо напоминало лицо хирурга над операционным полем.

— Заброска сегодня?

— Сейчас. Каждый час дорог.

— А у нас есть оперативная хронда?

Генерал нетерпеливо крякнул.

— Этого я тебе сказать не могу, и ты хорошо это знаешь. Пока существует равновесие, они не знают, есть ли хронда у нас, а мы — есть ли у них. Если тебя поймают…

— Выпустят мне кишки, чтобы дознаться?

— Сам понимаешь.

Кресслин выпрямился, словно уже выучил на память лицо женщины на фотографии.

— Я готов.

— Помни о стакане.

Кресслин не ответил. Он не слышал слов генерала. Из-под металлических абажуров на зеленое сукно стола лился яркий свет электрических ламп. Двери резко распахнулись. Вбежал адъютант с бумажной лентой в руке, на ходу застегивая мундир.

— Генерал, концентрация вокруг Хасси и Депинга. Перекрыли все дороги.

— Сейчас. Кресслин, задание ясно?

— Да.

— Желаю успеха…

Лифт остановился. Дерн отъехал в сторону и снова стал на место. К запаху мокрых листьев примешивался и почти приятный щекочущий запах азотистых соединений. «Прогревают первую ступень», — подумал он. Карманные фонарики выхватили из мрака ячейки маскировочной сетки.

— Анаколуф?

— Авокадо!

— Прошу за мной.

Он шел в потемках за коренастым бритоголовым офицером. Черная тень вертолета открылась во мраке, как пасть.

— Долго лететь?

— Семь минут.

Ночной жук взвился, гудя спланировал, винт его еще вращался, а Кресслин уже стоял на земле, невидимая трава стегала его по ногам, взметаемая механическим ветром.

— К ракете.

— Есть к ракете, но я ничего не вижу.

— Я поведу вас за руку (женский голос). Вот тут смокинг, прошу переодеться. Потом наденете эту оболочку.

— На ноги тоже?

— Да. Носки и лакированные туфли в этом футляре.

— Прыгать буду босиком?

— Нет, в этих чулках. Потом свернете их вместе с парашютом. Запомнили?

— Да.

Он отпустил эту маленькую крепкую женскую руку. Переодевался в темноте. Золотой квадрат… Портсигар? Нет, зажигалка. Блеснула полоска света.

— Кресслин?

— Я.

— Готовы?

— Готов.

— В ракету, за мной!

— Есть в ракету.

Один только резкий луч освещал серебристую алюминиевую лестницу. Ее верх тонул во мраке — казалось, что он должен был идти к звездам пешком. Открылся люк. Он лег навзничь. Его блестящий пластиковый кокон шелестел, прилипал к его одежде, к рукам.

— 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Внимание, 20 до нуля, 16, 15, 14, 13, 12, 11, внимание, через 6-7 секунд старт, четыре, три, два, один, ноль.

Он ожидал грохота, и тот, который вознес его, показался ему слабым. Зеркальный пластик расправлялся на нем как живой. Вот дьявол, рот затягивает! С трудом он отпихнул назойливую пленку, перевел дух.

— Внимание, пассажир, 45 секунд до вершины баллистической. Начинать отсчет?

— Нет, с десяти, пожалуйста.

— Хорошо. Внимание, пассажир, апогей баллистической. Четыре слоя облаков, цирростратус и циррокумулюс. Под последним видимость 600. На красный включаю эжектор. Парашют?

— Спасибо, в порядке.

— Внимание, пассажир, вторая ветвь баллистической, первый слой облаков, цирростратус, второй слой облаков. Температура минус 44, на земле плюс 18. Внимание, пятнадцать до выброски. Наклонение к цели ноль на сто, боковое отклонение в норме, ветер норд-норд-вест, шесть метров в секунду, видимость 600 — хорошая. Внимание, желаю успеха! Выброс!

— До свидания, — произнес он, чувствуя всю гротескность этих слов, сказанных человеку, которого он никогда не видел и не увидит.

Он выпал во мрак, его выстрелило в твердый от скорости воздух. Свистело в ушах, он закувыркал-

ся, и тут же его с легким треском подхватило и подтянуло высоко кверху, словно кто-то выловил его из мрака невидимым сачком. Он взглянул вверх — купол парашюта был неразличим. Чистая работа!

Он опускался, не чувствуя быстроты падения, что-то завиднелось под ногами. Так светло? Черт, только бы не озерко! Один шанс на тысячу, но кто знает?..

До него донесся мерный легкий шум, когда он коснулся ногами волнующейся поверхности. Это была пшеница. Он нырнул в нее, его накрыла чаша парашюта. Согнувшись, он отстегнул ранец, начал сворачивать странный волокнистый материал, на ощупь похожий на паутину. Он все скручивал и скручивал его, это было труднее всего, и на это ушла масса времени, пожалуй, около получаса. Во всяком случае, в хронограмму уложился. Надеть сейчас лаковые туфли или нет? Лучше сейчас обуться, пластик отражает свет. Он начал рвать на себе оболочку, тонкую, как целлофан, как будто сам себя распаковывал. Вот и сверток, ночной презент. Лаковые туфли, платок, ножик, визитные карточки…

Где же стакан? Сердце у Кресслина заколотилось, как только он нащупал его в кармане.

Ничего не было видно, тучи покрывали все небо, но когда он потряс стакан, послышалось бульканье. Внутри был вермут. Он не стал отдирать герметизирующую пленку. Положил его обратно в карман, затолкал свернутый парашют в ранец, впихнул туда же толстые прыжковые чулки, изодранный кокон. Вроде бы ничего не должно от этого загореться… А вдруг? Может быть, выбраться сначала из этой пшеницы? Нет, в инструкции все предусмотрено.

Он отыскал на утолщенном дне футляра рычажок, сунул под него палец, дернул, как будто открывал банку с пивом, бросил футляр на измятое место среди поля и стал ждать. Ничего. Немного дыма, ни пламени, ни искр, ни углей. Осечка? Пошарил рукой и чуть не вскрикнул — там уже не было туго набитого ранца, полного ткани и строп, — кучка теплых, не обжигающих остатков, будто прогоревший бумажный пепел. Чистая работа!

Кресслин поправил на себе смокинг, бабочку и вышел на дорогу. Он шел по обочине, быстро, но не слишком, чтобы не вспотеть. Вот дерево, но какое? Липа? Пожалуй, еще не она. Ясень? Точно? Ничего не видно. Часовенка должна быть за четвертым деревом. Вот придорожный камень.

Совпадает, Из ночи выдвинулась побеленная стена капеллы. Он ощупью отыскал дверь. Она легко отворилась. Не слишком ли легко? А если окна не затемнены?

Он поставил на каменный пол зажигалку, щелкнул. Чистый белый свет наполнил замкнутое пространство, блеснула поблекшая позолота алтаря, окно, заклеенное снаружи чем-то черным. Он с пристальным вниманием вгляделся в свое отражение в этом окне, повернулся, поочередно проверяя плечи, рукава, отвороты смокинга, приглядываясь сбоку, не пристал ли где клочок пластиковой пленки. Поправил платочек, приподнялся на носках, как актер перед выступлением, стараясь успокоить дыхание, почувствовал слабый запах погасших свечей — как будто они горели совсем недавно. Он потушил зажигалку, снова во мраке вышел, осторожно ступая по каменным ступеням, и осмотрелся. Кругом было пусто. Края туч местами светлели, но месяц не мог пробиться сквозь них. Было почти совсем темно. Теперь уже ровно шагая по асфальту, он кончиком языка коснулся коронки зуба мудрости. Интересно, что там такое? Уж конечно, не хронда. Но и яда там не могло быть. За какое-то мгновение он успел рассмотреть то,

что «дантист» клал пинцетом в золотую чашечку коронки, прежде чем залить ее цементом. Комочек меньше горошины, как будто слепленный из детского цветного сахара. Передатчик? Но микрофона у него не было. Не было ничего… Почему они не дали яду? Наверное, не был нужен.

В отдалении из-за деревьев появился дом, ярко освещенный, шумный, в темный парк лилась музыка. На газонах подрагивал отблеск окон. На втором этаже горели настоящие свечи, в канделябрах. Теперь он принялся считать столбы ограды, у одиннадцатого замедлил шаг, остановился в тени, падающей от дерева, коснулся пальцами проволочной сетки, она, пружиня, подалась; потом слегка наступил на ее нижнюю часть, которая не была сцеплена с верхней, перешагнул препятствие — и вот он уже в саду. Перебегая от тени к тени, он очутился у высохшего фонтана. Тут он вынул из кармана стакан, ногтем подрезал пленку, которой он был заклеен, сорвал ее, смял и отправил в рот, чтобы тут же запить ее маленьким глотком вермута. Теперь, держа стакан аперитива в руке, он, больше не скрываясь, двинулся посередине дорожки прямо к дому, без спешки — гость, возвращающийся с короткой прогулки, перегрелся танцуя и вышел в

поисках прохлады… Кресслин поднес к носу платочек, перекладывая стакан из руки в руку, когда проходил между тенями тех, кто стоял по обе стороны двери. Он не видел лиц, чувствовал только провожающие его невнимательные взгляды.

Свет был почти голубым на первой лестнице, тепло-желтым на второй; музыка играла вальс. Гладко, подумал он. Не слишком ли гладко?

В зале было тесно. Он не сразу ее заметил. Ему оставалось сделать два шага до нее. Ее окружали мужчины с орденскими ленточками в петлицах, как вдруг на другом конце зала раздался грохот — кто-то упал. Споткнулся какой-то лакей в ливрее, да так неловко, что поднос, установленный бокалами, вылетел у него из рук, брызгая белым и красным вином. Что за тюлень! Окружавшие Севинну как по команде повернули головы в ту сторону. Один только Кресслин продолжал смотреть на нее. Этот взгляд озадачил ее, хотя и был едва уловим.

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

Она сказала «нет», чтобы оттолкнуть, отбросить его. Он спокойно улыбнулся:

— А карего пони помните? С белой стрелкой над копытом? И мальчика, который испугал его

мячом?

— Так это вы?

— Я.

Им не понадобилось знакомиться, раз они знали друг друга с детства. Он танцевал с ней только один раз. Потом больше держался в отдалении. Зато уже после часа ночи они вместе вышли в парк. Вышли через дверь, о которой знала только она. Прогуливаясь с ней по аллеям, он то тут, то там замечал людей, стоявших в тени деревьев. Сколько же их! А он их даже не заметил, перелезая через сетку. Странно.

Севинна смотрела на него, ее лицо белело в свете луны, которая после полуночи все-таки прорвалась сквозь облака — как и ожидалось.

— Я бы вас не узнала. А все же вы мне кого-то напоминаете. Вовсе не того мальчика. Кого-то другого. Взрослого.

— Вашего мужа, — ответил он спокойно. — Когда ему было двадцать шесть лет. Вы, должно быть, видели снимки.

Она заморгала.

— Да. Откуда вы знаете это?

Он улыбнулся.

— По обязанности. Пресса. Временно — военный корреспондент. Но с гражданским прошлым.

Она не обратила внимания на его слова.

— Вы из тех же мест, что и я. Удивительно.

— Почему?

— Как-то… это даже тревожит меня. Я не знаю, как это выразить, — я почти что боюсь.

— Меня?

Он был искренен в своем изумлении.

— Нет, что вы. Но это как бы прикосновение судьбы. Эта ваша похожесть, и то, что мы знали друг друга еще детьми.

— Что же здесь такого?

— Я не могу вам объяснить. Это всего лишь намек на ту ночь. Как будто это что-то предзнаменует.

— Вы суеверны?

— Вернемся. Здесь холодно.

— Никогда не надо убегать.

— О чем это вы?

— Не следует бежать от судьбы. Это невозможно.

— Откуда вам знать?

— Где теперь ваш пони?

— А ваш мяч?

— Там, где и мы будем через сто лет. Все вещи растворяются во времени. Нет лучшего растворителя, чем оно.

— Вы говорите так, будто мы с вами старики.

— Время убийственно для старых. И непонятно для всех.

— Вы думаете?

— Я знаю.

— А если бы?.. Нет, ничего.

— Вы хотели что-то сказать?

— Вам показалось.

— Нет, не показалось, потому что я знаю, что вы имели в виду.

— Что же?

— Одно слово.

— Какое?

— Хронда.

Она вздрогнула. Это был страх.

— Что вы…

— Не бойтесь, прошу вас. Мы оба всего лишь двое посторонних, которые знают это слово, — кроме вашего мужа и специалистов доктора Суови. Тех, из центра Негген.

— Что вы знаете? Откуда?

— Я знаю то же, что и вы.

— Не может быть. Это же тайна.

— Поэтому я и не говорил этого слова никому, кроме вас. Я знал, что вам оно известно.

— Как вы могли это узнать? Вы… очень рискуе-

те. Понимаете ли вы это?

— Я ничем не рискую, потому что мои сведения не более и не менее легальны, чем ваши. С той разницей, что я знаю, от кого вы их получили, а вы не знаете, откуда получил их я.

— Эта разница не в вашу пользу. Откуда вы узнали?

— А сказать вам, откуда узнали вы?

— Может быть, вы знаете и… когда?

— В самое ближайшее время.

— В ближайшее! Вы ничего не знаете! — Она задрожала.

— Я не могу вам сказать. Не имею права.

— А то, что уже сказали?

— Это не больше того, что сказал вам ваш муж.

— Разве кто… Откуда вы знаете, что это он?

— Никто из правительства, кроме премьера, не знает. Премьера зовут Моррибонд. Дальше все просто, не так ли?

— Нет… Но каким образом? А! Подслушивание?

— Нет. Не думаю. Не было нужды. Он просто должен был вам сказать.

— Почему? Не думаете ли вы, что я…

— Нет. Именно потому, что вы никогда бы этого не потребовали. Он должен был сказать, потому

что хотел дать вам что-то, что имело для него наивысшую ценность.

— Значит, не подслушивание, а всего лишь психология?

— Да.

— Который час?

— Без шести минут два.

— Не знаю, что станет со всем этим. — Она смотрела в окружающий их мрак. Тени ветвей, плоские и четкие, дрожали на посыпанной гравием дорожке. Временами казалось, что они неподвижны, а дрожит земля. Музыка доносилась до них, будто из другого времени.

— Мы здесь уже неприлично долго, — сказала она, — вы не догадываетесь почему?

— Начинаю догадываться.

— Тайна, которая… сделает это с миром, уже не тайна за минуту до… часа ноль. Может быть, мы перестанем существовать. Вы это тоже знаете?

— Знаю. Но это не должно было случиться этой ночью.

— Именно этой.

— Но ведь еще недавно…

— Да, были кое-какие сложности… Но теперь их уже нет.

Она почти касалась его грудью. Говорила ему,

но его не видела:

— Он будет молодым. Он в этом совершенно уверен.

— Ну да, конечно.

— Не говорите ничего, прошу вас. Я не верю, не могу верить, хотя и знаю… Это словно не взаправду, так не бывает. Но теперь уже все равно. Никто не может этого отменить, никто. Или я увижу его молодым, таким, как вы сейчас, или… Реммер говорил, что возможно скольжение в депрессии… Я стала бы ребенком. Вы последний человек, с которым я говорю *перед этим*.

Ее трясло. Он обнял ее, поддержал. Как бы не зная, что говорит, пробормотал:

— Сколько времени осталось?

— Минуты… В два часа пять минут… — шепнула она. Глаза ее были закрыты.

Он склонился над ее лицом и одновременно надавил на тот металлический зуб изо всех сил. Ощутил в голове легкий щелчок и провалился в небытие.

Генерал машинально подтянул брюки.

— Хронда — это темпоральная бомба. Ее взрыв вызывает возникновение местной депрессии во времени. Образно говоря, как обычная бомба делает в грунте воронку — пространственную

депрессию, так хронда углубляется в настоящее и утягивает или спихивает все окружающее в прошлое. Размер сдвига в прошлое, так называемый ретроинтервал, зависит от мощности заряда. Теория хронопрессии сложна, и я не в состоянии вам ее изложить. Однако принцип уловить легко. Течение времени зависит от всемирного тяготения. Не от местных полей тяготения, а от вселенской постоянной гравитации. И не от самой гравитации, а от ее изменения. Гравитация уменьшается во всей Вселенной, и это как бы другая сторона течения времени. Если бы гравитация не изменялась, время остановилось бы, его вовсе не было бы. Вот как ветер… Где он, когда он не дует? Его нет нигде, потому что он — движение воздуха.

Так объясняется и появление Космоса. Он не был создан, но существовал вне времени, пока гравитация была неизменной, пока не началось ее уменьшение.

С тех пор Космос расширяется, звезды, вращаются, атомы вибрируют, а время идет. Существует связь гравитонов с хрононами, и эта связь использована при создании хронды. Пока мы не умеем манипулировать временем иначе, чем импульсами. Происходит, собственно, не взрыв, а резкое западение. Самый глубокий сдвиг в про-

шлое происходит в точке ноль.

В 1 час 59 минут Кресслин нажал зуб. Через двенадцать секунд сработали все наши оперативные хронды стратегического назначения. Западение было кумулятивным. Поэтому зона, пораженная хронопрессией, имеет форму почти правильного круга. В пункте ноль депрессия составляет, вероятно, от 26 до 27 лет, эта величина постепенно снижается к периферии.

На пораженной территории у неприятеля были лаборатории, заводы, склады, а также хронопрессивные полигоны. Учитывая, что они начали работы 9-10 лет назад, сейчас там уже нет ничего, что могло представлять для нас угрозу. Поверхность поражения, как вы можете увидеть на этой карте, имеет диаметр около 190 миль.

— Генерал!

— Слушаю, господин министр.

— На каком основании вы утверждаете, что благодаря Кресслину мы упредили хрональный удар неприятеля?

— Приказ гласил: если до удара остается более 24 часов — зуба не трогать. Если ему удастся узнать какие-нибудь подробности операции, касающиеся ее сроков, мощности зарядов, количества хронд, он должен сообщить об этом через

особое звено нашей разведки. Если бы враг собирался атаковать нас в течение суток, а Кресслин не смог завязать контакт со связным, он должен был привести в действие автоматический передатчик, закопанный в лесу под Хасси. И только в случае, если не было времени добраться до сигнализатора, а он был информирован о нападении в самое ближайшее время, ему можно было нажать зуб. Подчеркиваю, Кресслин не знал механизма хронопрессийного западения, он ничего не знал о наших хрондах, не знал даже, что находится у него в зубе. Считаете ли вы, господин министр, мой ответ исчерпывающим?

— Нет. Я считаю, что слишком великую ответственность за судьбы всего мира вы возложили на плечи одного человека, вашего агента. Как мог один человек это решать?!

— Позвольте дать дальнейшее разъяснение. Наша информация не равнялась нулю до заброски Кресслина. Очевидной целью неприятеля должен был оказаться наш хрональный центр. Обе стороны еще не знали степени продвижения работ. Расположение нашего комплекса «С» было им известно, так же как и нам дислокация их хронораторий. Скрыть существование таких огромных комплексов просто невозможно.

— Но вы не ответили на мой вопрос.

— Как раз приступаю. Если провести концентрические круги постепенно снижающегося поражения вокруг нашего центра «С», то Хасси находится в зоне сдвига на десять, а Лейло, как находящийся ближе к комплексу «С», на двадцать лет. Вчера утром мы получили сообщение, что Моррибонд выезжает на инспекцию войск, расположенных на нашей границе. В восемь вечера пришло сообщение, что, вместо того чтобы остановиться в гарнизоне Аретон, он задержался в Лейло.

— Постойте, господин генерал! Не хотите ли вы сказать, что Моррибонд намеревался использовать тот хрональный удар, который они хотели нам нанести, для того чтобы омолодиться.

— Ну, в общем, да. Таково мнение наших экспертов, Моррибонду было шестьдесят лет, его жене — двадцать девять. Минус двадцать лет у него и минус десять у нее — сорокалетний мужчина и девушка девятнадцати лет. А кроме того, главное и решающее обстоятельство — он был болен миастенией в тяжелой форме. Врачи давали ему два, в лучшем случае три года жизни.

— Это абсолютно точно?

— Да, практически наверняка. Существенную

роль тут играло и его своеобразное чувство юмора. Кодовое название операций было «Балкон».

— Не понимаю.

— Ну как же? Ромео и Джульетта. Сцена на балконе. И при этом должен был погибнуть весь наш хрональный потенциал.

— Но получилось наоборот?

— Именно. Вначале я привел вычисления, допускающие, что местом западения окажется наш комплекс «С» согласно их стратегическому плану. Поэтому Моррибонд выслал жену в Хасси, а сам поехал в Лейло, расположенный у нашей границы. Определив ситуацию на совете в генштабе как критическую, мы выслали Кресслина немедленно, то есть как можно быстрее. Около полуночи он приземлился под Хасси. Поскольку мы ударили первыми, изохроны депрессии имели порядок спада, обратный тому, который планировал неприятель. Обратный, поскольку это мы попали в их хрональный комплекс.

— Ну и что из того? Моррибонд помолодел меньше, чем того хотел, а его жена — больше. Какое это имеет стратегическое значение? Предлагаю оставить эту тему.

— Это имеет стратегическое значение — и политическое тоже, господин помощник госу-

дарственного секретаря, потому что приведет к смене человека на посту премьер-министра неприятельского правительства. Западение, вызвавшее депрессию, на самой границе своего действия создаст небольшое концентрическое вспучивание времени вокруг пункта ноль. Это аналогично действию обычной бомбы: центр воронки заглубляется, а вокруг нее образуется кратерный вал. Хронда сбивает настоящее вспять, а на границе западения время передвигается вперед. Лейло как раз и оказался в этом районе. Это значит, что время подвинулось там на девять-десять лет вперед.

— И Моррибонду теперь семьдесят? Великолепно! — захихикал кто-то из стоявших вокруг зеленого стола.

— Нет, учитывая то, что я говорил о его болезни, Моррибонда нет в живых. Есть еще вопросы?

— Мне хотелось бы знать, в какой форме проявляется прошлое после западения хронды? Физики утверждают, что прошлое как точное воспроизведение времени, в которое можно вернуться, не существует.

— Это правда. Западение не приводит к идеальному сдвигу календаря. Не реституирует конкретного состояния, которое существовало в

конкретный день, час и минуту. Каждый материальный объект становится моложе, вот и все. Прошлое как совокупность событий, которые уже прошли, не возвращается и не повторяется. О том, абсолютно ли это невозможно, наши эксперты предпочитают не высказываться. Во всяком случае, моделью действия хронды может служить ситуация на футбольном поле, когда один игрок ударит мяч, а другой отобьет ему мяч обратно. Мяч, возвращаясь, не упадет строго на то же самое место. Этот пример уместен еще и потому, что мяч нужно ударить, он не передвигается при помощи микрометрических винтов. Западение также представляет собой резкое и не поддающееся учету в мельчайших подробностях вмешательство в течение времени.

— Но вы же сами говорили, генерал, что шестидесятилетний человек становится сорокалетним!

— Это совсем другое. Его организм станет моложе на столько лет только физиологически. То же самое произойдет и с любым предметом. Старое дерево помолодеет, превратится в саженец. Но если, к примеру, взять скелет, который сто лет пролежал в земле и из которого предварительно изъято несколько костей, то после западення

перед нами будет скелет, который пролежал только восемьдесят лет, но те кости, которые из него взяты, назад не вернутся. Если кто-то недавно потерял ногу, то даже после западения с четвертьвековым ретроинтервалом он ее назад не получит. Поэтому хронда не осложнена так называемыми причинными парадоксами, которые связаны с идеей путешествий во времени.

Организм при западении реституирует свою жизнеспособность в границах, определяемых его физиологическими возможностями.

— А машины? Книги? Здания? Чертежи?

— Здание, возведенное сто лет назад, изменится незначительно. Однако постройка из бетона, который затвердел восемь лет назад, окажется грудой песка, цемента и камней, ведь бетон не может существовать в виде бетона раньше того момента, когда он возник из смеси соответствующих ингредиентов. Это касается любых объектов, а также и машин.

— Уверены ли вы, что противник не располагает уже потенциалом для контрудара?

— Стопроцентной уверенности нет, пессимистическая оценка указывает, что мы уничтожили 80 процентов их хронопотенциала. Оптимистическая, что до 98 процентов.

— Нельзя ли хронды использовать для каких-нибудь других целей кроме уничтожения неприятельских хронд?

— Можно, господин председатель, но уничтожение хронд противника, а также их производственной базы является абсолютно первоочередной задачей. Сохранив наш потенциал неприкосновенным, мы получили стратегическое и тактическое превосходство. Разумеется, господа, вы понимаете, что в настоящий момент я ничего не могу вам сказать о том, как мы намереваемся использовать это преимущество. Вопросов больше нет? Благодарю за внимание. Что это там? Громкоговорители? Прошу тишины!

— Внимание, внимание! Тревога первой степени. Локаторами замечен сход спутников врага с троянских орбит в количестве четырех единиц. Антиракеты противобаллистической обороны первой линии перехвачены противником. Один спутник сбит прямым попаданием. Три спутника в радианте дзета снизились до первой космической. Действия локаторов затруднены ионным облаком, выброшенным симулирующей головкой первого уничтоженного спутника. Внимание, внимание! Наземные индикаторы в непосредственном взаимодействии со стаци-

онарными спутниками нашей обороны будут сообщать о вероятных целях, намеченных противником. Внимание, цель номер один: комплекс «С», предельное отклонение 20-25 миль от точки ноль. Внимание, цель номер два: главный штаб, предельное отклонение 7-9 миль от точки ноль.

— Двадцать процентов их хрономощи летит нам на голову! — завопил кто-то. Сидевшие за зеленым столом вскочили. Загремели кресла, одно упало. Где-то поблизости жалобно завыла сирена.

— Господа, прошу оставаться на местах! Западение не представляет угрозы для жизни. Кроме того, нет способов укрытия или изоляции. Прошу сохранять спокойствие! — надрывался генерал.

— Внимание, внимание! Второй спутник уничтожен в ионосфере ракетным залпом. Два оставшихся спутника вошли в мертвую зону противоорбитальной обороны. Изменяют траекторию по данным локаторов ближней обороны с семидесятикратной перегрузкой.

Внимание! Два вражеских спутника на оси целей номер один и номер два. Входят в оптический периметр непосредственного поражения. Внимание! Объявляю тревогу наивысшего угрожаемого положения. Восемь секунд до ноля, семь до ноля.

Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Внимание. Но…

Изображение погасло, и воцарилось молчание.

— И это тоже не слишком воодушевляет, — вздохнул Ипполип. — А что, если бы время могло разветвляться? Вроде как река в дельте. И если бы его можно было регулировать, как систему каналов? Как вы думаете?

— Мы и это пробовали, — ответил Трурль. — Получается пандемонимум. Появляются приватные времена, которые отпочковываются в виде заливов и лиманов, беря начало из воплощенных снов. Возникает подрывная хронавтика, угрожающая социальным распадом и потому преследуемая властями. Вводятся удостоверения личной актуальности, ретрохрональные налоги, хрониция, интерхрон, похроничные войска, развивается межвременная контрабанда, шайки, воскрешающие казненных преступников, часокрадство и комитеты календарной безопасности. Начинается массовая эмиграция в другие времена, давка; все стремятся протолкнуться в модные эпохи. Равновременники пытаются выселить диких времякопателей, и всем Бог знает почему представляется, что в другом времени лучше. Дело доходит до укрывания, накопления и присвоения ценных моментов, возникает секулярная биржа,

изготовляются фальшивые времена или времена, замкнутые в круг, хрональные ямы и тюрьмы. Создаются перпетуаторы, эротические, политические и мистические, для извлечения чудесных мгновений. Толпы эмигрантов, контрэмигрантов и реэмигрантов мчатся сквозь столетия в противоположных направлениях, стукаясь лбами при встречах. Доходит до так называемых военных конвульсий, история начинает хромать на знаках препинания. К примеру, хрональные убийцы убивают в колыбели императора враждебного государства. Тот не вырастает, не становится императором, не одерживает победы, и таким образом, отпадает необходимость удушения его в пеленках. И тогда он все-таки рождается, вырастает, ведет победоносные войны, поэтому снова высылают в прошлое убийц — и так без конца. Мы открыли восемьсот видов так называемого circulus temporalis vitiosus [15] но я думаю, что их может быть бесконечно много. Ну, а хроноизвращения: футурофилия, часовой фетишизм, delectatio temporosa [16], автопедофилия, то есть преследование развратными старцами самих

**15 notes: 15**
порочного временного круга (лат.)

**16 notes: 16**
упоение временем (лат.)

себя в детском возрасте, а хронализм? А демпинговый импорт достижений техники будущего, который приводит к кризисам? А похищения во времени? Мы обнаружили, что слишком мощные аристократические группы, которые заправляют всей темпоральной стратегией, так растягивают в разные стороны настоящее, так перетаскивают его хронотракторами на свою сторону, что время рвется и между прошлым и будущим образуется провал, известная всем Черная дыра! По этим дырам в небе и распознается высокий разум, Ваше Величество, я мог бы часами так перечислять. От всей души не советую…

— Хорошо! Вы убедили меня, что обратимое и делимое время — неблагодарное свойство Творения, — сказал явно раздосадованный король. — А все же пошевелите мозгами. Смелее! Подумайте хотя бы вот над чем. Нынешний мир ведет себя более или менее индифферентно. Не слишком благоприятствует своим обитателям, но и не слишком их угнетает. Это равнодушие легко порождает фрустрацию. Как известно, холодное безразличие родителей калечит психику детей, а равнодушный холод Вселенной — и подавно! Разве не должен быть мир внимательным, заботливым, на каждом шагу охранять своих

обитателей, предупреждать каждое их желание? Одним словом, не они к нему, а он к ним должен приспосабливаться! Ну, скажем, усталый путник падает со скальной гряды, потому что он поскользнулся. У нас он разобьется вдребезги. А в новом мире место, на которое он должен упасть, быстренько размягчится в пух. Путешественник отряхнется — и снова в путь. Ну как? — Король даже засиял. — Разве это не прекрасно? Почему же вы молчите?

— Потому что благорасположение — вещь относительная, — сказал Клапауций. — Возьмем того же путника. Может быть, ему жизнь опостылела и он сам бросился в пропасть? Наверное, в этом случае камням следовало бы остаться твердыми? Но это уже подразумевает чтение мыслей.

— Допустим. Почему бы нет, если мы ничем в нашем творчестве не ограничены? — отпарировал король.

— Почему бы нет? Предположим, наш путник несет важную весть. Если он ее донесет, ауриды победят бенидов, а если не донесет — войну выиграют бениды. С точки зрения ауридов камни должны размягчиться, а по желанию бенидов должны стать еще более твердыми. Но это еще не все. Если этот странник пройдет через горы,

он встретит женщину, которая родит ему сына. А сын потом расценит поступок отца как деяние низкое и подлое. Он назовет его предателем, ибо я забыл сказать, что путник сам был бенидом. Сыновнее обвинение так потрясет всех, что, окруженный всеобщим презрением, путник повесится. Если милосердная ветвь обломится, он бросится в воду. Если благожелательная вода выбросит его на берег, он примет яд. И так далее. Как долго заботливый мир будет усугублять его душевные муки, отсрочивая его физический конец? Может быть, лучше бы он сразу повис? Но если так, то не лучше было бы ему сгинуть в пропасти, не оставив потомства, чем повеситься от укоров сына? Я знаю, что пожелает возразить государь: все дело в том, действительно ли странник был предателем, и еще в том, какая сторона заслуживала победы. Ну, предположим, что справедливый человек пожелал бы победы бенидам как более слабо вооруженным, но благородным по духу. Тогда то, что путник предал своих и обеспечил победу ауридам, плохо. Однако дело на этом не кончается, ибо я пересказываю не повесть, а всеобщее бытие, которое конца не имеет. Воцарившись над бенидами, ауриды через сто лет, сами того не замечая, поддались влиянию

побежденных. Тогда они поняли всю ненужность военного насилия и заключили с бенидами союз равных с равными, который принес благо обоим народам. Выходит, что камни не должны были размягчаться. Параллельно можно рассмотреть, что будет, если путник погибнет. Тогда победят бениды. Эта победа превратит мирный народ, поощряющий искусства, в грубых вояк. Искусство придет в упадок, начнутся завоевания, и через сто лет из справедливых людей получатся грабители, против которых в конце концов восстанет вся планета. И что же получается? Учитывая такой оборот событий, скалы должны были все же смягчиться, хотя на них и летел предатель. Поскольку события, о которых я говорю, должны получить дальнейший ход, то в зависимости от того, смотрим ли мы на последствия падения через пять, пятьдесят или пятьсот лет, скалы должны были бы то размягчаться, то твердеть. А потому благожелательный мир должен, увы, окончательно свихнуться, пытаясь делать вещи, взаимно противоположные.

— Значит, так? Ну тогда выдумайте что-нибудь получше, — уже не на шутку разгневался король Ипполип. — За этим я вас и вызвал! Почему у вас существа, которыми вы заселяете пробные

вселенные, точь-в-точь такие же, как и мы?

— Его Величество король изволит намекать, что мы занимаемся плагиатом?

— промолвил в ответ Клапауций, сдерживая растущее возмущение. — Что ж, государь прав. Но следовало бы Его Величеству знать, что делаем мы это не от недостатка, а от избытка знания. Ничем не возмущаемый покой сохраняется только в неразумных сообществах. Крутятся они там, как в улье, не жалуясь на экзистенциальное неравенство. Никаких раздоров, никаких вредных нововведений, только гармония и порядок. Мы не заполняем наших миров такой гармонией, потому что сам король возразил бы, что эта гармония от безмозглости. Королю нужны вселенные, полные разума. Того же желает Бог знает почему каждый творец. Но ведь разум — это ненасытность, потому что он создает бесчисленное множество возможностей для деятельности, которые часто друг друга исключают. Орел у разума — гениальность, а решка — чудовищность, потому что он свободен внутри себя без границ в обе стороны. Ясное дело, высшую гармонию разума можно запрограммировать. Программа, проявляющаяся подсознательно, пропитывает сознание самыми возвышенными стремлениями. Однако

все почему-то отвергают гармонию, потому что она, видите ли, навязанная, ненатуральная, поддельная, поскольку пришла она с перфокарты, а не развилась спонтанно. Дух просветляется оттого, что просвещают его тайком подсунутые идеалы. А это уже заводная игрушка, несвободное развитие бытия! Что ж, можно ввести две противоположно действующие программы: одну — совращающую, а другую — наставительную, чтобы разум мог самоопределяться в их столкновении и конфликте, но тут нам возражают, что и это не подходит, потому что хотя распутье и существует, но концы путей предопределены заранее. В таком выборе свободы и самоопределения не больше, чем у штанов: гравитация тянет их вниз, а подтяжки — кверху. В философских сочинениях можно встретить утверждение, что дух прежде всего должен быть свободным. Что же такое свобода? Бесконечность шансов? А где же ее больше всего, как не в безмерности? Там, где возможно все, потому что ничто заранее не запрещено? Разумеется, и такое можно сконструировать. Но тогда вместо чудесных свершений мы погрязнем в блужданиях. Потому что задание обусловлено кричащими противоречиями. Мы должны создать широкую узость, сытый голод,

святой грех, вершину, с которой нельзя упасть, а поскольку нас ничто не сдерживает, то мы должны одарить сотворенных океаном свободы, чтобы они добровольно черпали из него по капельке. Хотя никто не заказывал у нас до сих пор вселенной, но осмелюсь заметить, что у нас было достаточно весьма требовательных клиентов, таких разборчивых, что они оказывались строже в оценке наших произведений, чем произведений природы. Поэтому в нашей мастерской висит плакат, обращенный к заказчикам, который гласит: «Уважаемый клиент! Прежде чем начать обвинять нас во всех грехах, приглядись к произведениям, исполненным природой, посмотри на себя и подобных тебе. Почему ты не гнушаешься ими так же, как тем, что заказал у нас? У них ты называешь каждый дефект результатом искушения, случайности; ошибкам, допущенным в них, ты придаешь высокий смысл приговора небес, трагедии, тайны, может быть, позорной, но великой, а потому все-таки возвышенной. То, что существует, ты всегда немножко уважаешь, даже если оно ни к черту не годится, а то, что предлагаем мы, не заслуживает ни малейшего уважения, поскольку появилось не из неведомой бездны, а только от нашей счетной линейки и угольника».

— Ну, хватит! Довольно тут рассуждать! — нетерпеливо прервал его король. — Тоже мне диатриба! Извини меня, но я вызывал конструкторов, а не самохвалов! Покажите мне ваших неосуществ. Давайте их сюда, и поговорим по-деловому.

— Мы творим не на пустом месте, — спокойно отвечал Клапауций, — но тот, кто ждет, пока от самослипания частичек из Космоса вынырнет сознательное существо, ничем не рискует, но и не имеет никаких заслуг. Давние конструкторы, добиваясь наибольшей социальной солидарности, строили существа полуобщего типа, такие, которые сообща располагают телами. Память об этом сохранилась в сказках, где рассказывается о многоголовых драконах. Но дело тут не в их драконовских свойствах. Многоголовцы перегрызут друг другу горло почти что сразу. Мирмександр Декстридский, чтобы избежать конфликтов, частично обобществил разум созданных им существ. Он соединил глубины их духовной жизни и на этой базе вырастил индивидуальные сознания. Связь была дистанционной, а потому незаметной, и эти существа на первый взгляд казались совершенно автономными. Поскольку сознание питается собственной глубиной, а

она была у них общей, то жили они в полном согласии. Дела у них шли превосходно. Но как только они догадались об этой связи, а в конце концов они должны были это открыть, занявшись наукой, полученное знание обратилось общим несчастьем. Ибо они поняли, что овладеть подсознанием одного, хотя бы последнего, нищего — значит получить власть над всеми сразу. Кому это было нужно? Ха! Легче сказать, кому это было не нужно! Конечно, это частный случай, но значение имеет всеобщее. Была ли когда-нибудь общность душ или нет, но залезание в душу всегда переходит в манипуляцию, проводимую, конечно, с благороднейшими целями.

Но Вашему Величеству, который еще ребенком играл в «кибернетики» и в «малого мозговничего», должно быть известно, как легко переделать автомат в садомат или в автосадомазомат и что делают умственные агрегаты, когда они получают самосознание, как они набрасываются на собственный машинный разум, чтобы его подзуживать, поддразнивать и выворачивать наизнанку все более искусными методами философской церебеллистики, что всегда кончается либо расщеплением сознания, либо коротким замыканием на себя. И в самом деле, зачем рас-

капывать звезды, подвергаясь ожогам третьей степени, зачем кидаться на другой конец Вселенной, зачем шевелить пальцем, когда маленькая проволочка, вставленная в мозг, все превосходно уладит? И вправду, история церебеллистики, дебри которой поглотили во многих галактиках множество разумных, многообещающих цивилизаций, должна быть записана для всеобщего предостережения! Вся эта индустрия счастья, все эти усилители похоти, или вожделяторы…

— Нет, это просто невозможно! Что ты тут плетешь? К чему это? Король и сам это знает! Говори по существу! — не выдержал Трурль.

— К чему я клоню? Король это сам знает? И при этом ставит под сомнение сохранительную суть наших проектов! Я как раз объясняю, что не следует впадать в ту ошибку, которую ты совершил однажды со своей счастьестремительной инженерией.

— Замолчи! Как ты смеешь клеветать на меня в высочайшем присутствии? Вот я тебя сейчас!..

Видя, с какой ненавистью мерят друг друга взглядом верные друзья, король выступил в роли посредника, чем ликвидировал ссору в зародыше и одновременно положил конец разглагольствованиям Клапауция.

— Не падайте духом! — сказал король благожелательно. — Я знал, что выбрал наитруднейшую из задач, но я доверил ее не кому попало. Идите же, мои дорогие, посоветуйтесь без скандалов и возвращайтесь ко мне, когда сможете продемонстрировать мне лучший мир.

И они пошли, бранясь на ходу и наскакивая друг на друга и размахивая руками, к удивлению придворных. Прошли они так через королевскую оранжерею, через дворцовые сады, через пять мостов на пяти городских каналах и даже того не заметили.

— Не в том суть, — говорил Трурль, — чтобы создать мир, застегнутый на все пуговицы, мир, очищенный от катастроф, в котором никто не мог бы никому ничего ни вонзить, ни вырвать. Это педантизм, лакировка Божьего дела. Дело не в том, чтобы вычистить его до глянца, а в том, чтобы превзойти автора в исходной концепции!

— Оставь при себе эту риторику! Ты не перед королем стоишь! — оборвал его Клапауций.

— И все-таки! В Божьем варианте одно существо не может достигнуть всех совершенств одновременно. Если я о чем-нибудь мечтаю или к чему-то стремлюсь, то этого не имею, а если имею, то не стремлюсь и не мечтаю. Я не могу

упиваться надеждой, если она сбылась, а между тем сладость надежды совсем иная, чем радость обладания! Таким образом, бытие принуждает нас к постоянным отречениям. Если я ожидаю любовных объятий, то, очевидно, меня никто не обнимает, а если обнимает, моему разыгравшемуся любовному воображению уже нечего ожидать. Я не могу обнимать и не обнимать, иметь и не иметь. Что достигнуто, то мне безразлично, а что бесценно и неизменно, то недостижимо. Так наше бытие качается между чрезмерной уверенностью и излишним риском, то есть между скукой и страхом.

От голода до пресыщения один шаг. И мало того. То, что мы воображаем, всегда наше и уже потому слишком гибко, податливо и беспочвенно, а что материально, реально, безотносительно, то не зависит от нас — прямо до отчаяния. Дух слишком зависим от меня, материя слишком независима!

— Что ты плетешь?! — скривился Клапауций, но Трурль не унимался.

— Переводя эту фатальность творения на язык строительной практики, мы отметим три ограничения свободы в бытии: материальное, временное, пространственное. Либо что-то является

мыслью, либо вещью — это первое принуждение. Вторая несвобода — местоположение. Если что-то где-нибудь находится, то там же не имеет права находиться ничто другое. Третья неволя

— это насилие, которому подвергает нас время, потому что мы в нем заключены: если нас выпустит среда, то поймает четверг, после четверга придержит пятница — вечная муштра, настоящая казарма; равняй шаг, ни вперед, ни назад — замечали вы, так же как и я, эту военно-строевую природу времени? Ни на волос нельзя отклониться от настоящего! Я считаю, что мы должны ликвидировать все эти ограничения. Что ты скажешь?

— Ты хочешь ликвидировать время, пространство и Материю?

— Именно так!

Клапауций еще колебался, но его захватил радикальный подход Трурля, а когда он огляделся вокруг, то обнаружил, что они стоят в песочнице среди детей, ибо их как раз туда и занесло, и принялся чертить пальцем на песке контуры нового мира, а Трурль все нападал на его схемы, дети тоже мешали, тогда они поднялись и поспешно отправились в мастерскую. Прошла неделя, потом вторая, третья, они не подавали признаков

жизни. Нетерпеливый Ипполип послал главного думчего на разведку, потом самого министра мыслительной промышленности, а когда и самого министра не пустили на порог, то король лично отправился к конструкторам. Застал он их, сильно возбужденных, посреди страшно захламленного зала, между штабелями аппаратов, поставленных как попало, в путанице проводов, а когда они не проявили особого желания давать объяснения, он насел на них по-королевски и настоял на своем — только тогда они посвятили его в свои тайны.

— То, что существует, мы отбросили полностью! — сообщил ему Трурль. — Если можно так выразиться, мир первоначально был навязан сотворенным без всякой предварительной консультации, поскольку творец решил их, сотворенных, этим миром раз и навсегда осчастливить. А что, если они желают быть осчастливленными не по его методике, а совсем по другой? Или вообще хотят отказаться от финального счастья? А может, в один момент хотят, а в другой — не хотят? А может быть, один по этому поводу придерживается одного мнения, а другой — другого? Что тогда? Авторитарно навязывать конформизм? Четко обозначить дороги в рай и в ад, стричь всех под

одну гребенку, карать непокорных оригиналов и награждать оппортунистов? Мы поступили совершенно иначе. Сначала мы выбросили из Вселенной материю, пространство и время.

— Не может быть! — Король был поражен. — Зачем?. И что вы дали взамен?

— Зачем? — Трурль потряс головой. — Затем, что дух хочет, а не может, и материя может, но не желает. Лучезарный король этим озадачен? Но это же бросается в глаза! Что можно себе представить расточительнее Космоса? Миллиарды миллиардов огней, горящих и тлеющих в вечности, — и что из того? Что это дает? Чему это служит? Богу? Но ведь его вечное сияние не измеряется в люменах и светит в ином измерении! Может быть, нам? Тоже мне служба! Материя может много, разумеется; если бы не могла, то и нас не было бы, но из такого разбазаривания сырья, вулканического растранжиривания, после стольких ошибочных, путаных, эпилептических мучений она рождает щепотку здравого смысла! К чему такой размах? Для драматического эффекта? Но ведь сотворение не спектакль.

А дух, в свою очередь так увязший в материи, закованный в ней трагикомический узник! Рвется вон из тела, а в это время тело его рвет и само

нарывает, пока не распылится или не растечется… С этической точки зрения это непристойно, а с эстетической — отвратительно. И потому мы выкинули материю-идиотку и духа-узника, решив создать нечто осредненное между их крайностями. Наш материал — аматерия. Nomen omen! Amo, Amas, Amat, не так ли? Ars amandi [17] — не какая-нибудь там прана, дао, нирвана, студенистое блаженство, равнодушное безделье и самовлюбленность, а чувственность в чистом виде, мир как эмоциональная привязанность молекул, уже при рождении хозяйственных и деловитых.

Электроны, протоны у нас вращаются друг вокруг дружки не от того, что есть силы, кванты аматериального поля, а оттого, что просто любят друг друга! Теперь понимаете, что поступками аматериального существа движет не физика, а симпатия? Вместо трех законов Ньютона — притяжение нового типа: нежность, забота, любовь. Вместо закона сохранения количества движения — правило сохранения верности, что же касается теории относительности, то чувства вообще относительны, только у нас вместо наблюдате-

---

**17 notes: 17**
искусство любви (лат.)

ля — возлюбленный, а вместо факта — такт. А поскольку мы отказались от бренных тел, то и в эротике у нас больше нет физики — никакого трения, давления, смазки, сжатия — таким образом, по самой природе любовь в нашей вселенной должна быть идеальной!

— Ну, а время? А пространство? — допытывался заинтригованный Ипполип.

— Времени мы придали покорность и эластичность, чтобы оно слушалось тех, кому это необходимо. Эластичность эта представляет собой так называемый трюм. Вместо казарменного существования, вместо парада часов, минут, секунд в неумолимом календарном режиме под барабанную дробь часового механизма у нас каждый может трюмить неравномерно, как ему нравится. Кто спешит, тот стрюмит из среды прямо в субботу, а кому нравится четверг, может четвертовать себе досыта. А пространство мы убрали полностью, потому что его размерная категоричность содержит в себе серьезную угрозу для живущих.

— Да? Я как-то не заметил.

— А как же? Во-первых, в нем помещается всегда только что-то одно, а когда туда же проникают и другие вещи, происходят несчастья. Например,

если свинцовая пуля летит туда, где кто-нибудь стоит, или когда два поезда пытаются занять одно и то же место. А огромные расстояния, которые приходится преодолевать? А теснота — информационная, демографическая и порнографическая? Дух непространственен — его унижает протяженность тел, которая вынуждает хватать, обнимать, тискать, причем заранее известно, что рано или поздно все равно придется отпустить.

— Ну хорошо. И как же вы все это устроили?

— Пространственность заменили вместимостью, благодаря которой каждый может быть везде сразу и даже там, где уже есть другие. Что же касается существ, вернее, существа, то мы пока создали только одно, взяв за основу индивидуализм без эгоцентризма, либерализм без анархии, а также идеализм без солипсизма. Индивидуализм, а следовательно, личность, а не какое-то там совмещенное сознание, втиснутое в общее, неизвестно чье. Конкретное существо, но не самолюбец, занятый только своей особой, скорее, даже вселичность, потому что простирается безгранично. Ото всех в нем понемножку. Он не везде одинаков — здесь его больше, там меньше, а где его что-то заинтересует, туда его сразу наплывает много, то есть создаются очаги

концентрации, вызванные желанием или возвышенной решимостью. Иначе говоря, духовная сосредоточенность вызывает физическое сгущение.

Ведь и самый большой гений местами бывает жидким. Между прочим, это разрешает и проблему транспорта, потому что не надо никуда путешествовать. Только помысли о цели — и тут же начнешь там сгущаться и подтягиваться до состояния насыщения и удовлетворенности.

— Как я понял, мир этот у вас уже готов? Что же вы запираетесь и не впускаете моих посланцев? Что? Опять какие-нибудь объективные трудности? Говорите же, не то разгневаюсь!

Трурль посмотрел на Клапауция, Клапауций на Трурля и — молчок. Видя, что ни одному говорить не хочется, показал Ипполип пальцем на Клапауция:

— Говори ты!

— Возникли неожиданные сложности…

— Какие? Ну что мне, по слову из вас вытягивать?

— Сложности неожиданные… Творение, в общем, удалось, и мы можем показать его даже сейчас, но чем дальше, тем меньше понятно, что в нем и как происходит…

— Не понимаю; Что-нибудь портится?

— В том-то и дело, что мы не знаем, портится ли, и не знаем, как бы это можно было узнать, государь. В конце концов в этом легко убедиться. Трурль, включи проектор…

Трурль наклонился над самым большим аппаратом, установленным на двух колченогих столиках, что-то там нажал, и на побеленную стену упал конус света. Король увидел радужную гусеницу на выгоне или глазунью из павлиньих яиц, но быстро сориентировался, что это и есть Крентлин Щедрый, едва зачатый сознанник вездесущий, ни телесный, ни духовный, потому что как раз осредненный. Рос он как на дрожжах, ибо размышлял о себе, а чем больше он размышлял, тем больше его было. Когда он пытался как следует сосредоточиться, то от недостатка сноровки часто расползался, а поскольку Природа не терпит пустоты, эти дыры тут же заполнялись аффектом. Весь он наливался преданностью и чувствительностью, каждым своим размышлением раздвигая радужные горизонты, ибо все психическое там становилось сразу и метеорологическим. Досаждали ему только ложные влюбленности — амурные миражи, потому что приливы одних его чувств наталкивались на

наплывы других, ухаживая за ними по недоразумению, и так все время, встречая в себе только себя, местами он по уши в себя же влюблялся. Потом он переживал тяжкие разочарования, когда убеждался, что это все только он сам, а он все же не был самолюбцем и вовсе не себя хотел полюбить, потому все горизонты ему заволокло тоской. И так как кругом был только он сам, это и определило его пол и он стал самцом, отчего тут же бурно возмужал. А поскольку все индуцируется с противоположным знаком, он сразу же решительно возжелал иносущества женского пола. Стал воображать себе девиц-зоряниц с неопределенной, но весьма понятной клубистостью, и ходила в нем та любовь к неведомым раскрасавицам как стихия, и главным образом там, где он почти прекращался.

Так, по крайней мере, можно было понять эти климатически-психические и интеллектуально-метеорологические явления. Мысли его становились все более темными, прямо черными и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней. Потому что так выглядели плоды безнадежных медитаций — будто окаменелый осадок на дне души. Но если это так, то почему он уронил несколько

самых крупных на выгон, тихо мигая заревым блеском, а потом пустил копоть и прояснился с явным удовлетворением? Может быть, это был способ избавляться от душевного балласта? И так он с собой боролся, так его бросало из стороны в сторону от неудовлетворенных чувств, так выставлял из себя друголы в разных фазах упоительной консолидации, что надорвался где-то на периферии и выронил из себя нечто вроде облачка-кумулюса, отделенного вихревой стеной от грозового фронта. Образование это некоторое время влачилось за Крентлином, пока не взялось за самоурегулирование. И тогда оказалось, что он выделил не ту единственную друголу, о которой мечтал, а полтреть их, Звоину, то есть Цеву, или Цевинну, несомненно, женскую, а также подобных близнецам-полумесяцам двух ее мужей. Поначалу они были как муравьи, никакого пола, но женственность Цевинны индуктировала в ней двоемужество. Собственно, их было не два и не полтора, а скорее, разветвленец, как бы переходный, — но таким уж он и остался как Марлин-перемычка-Понсий, или же Пунцский, потому что то и дело краснел.

И тут все жестоко перепуталось. Крентлин даже и не знал, что сам явился причиной своей

беды, что к двумужнице страстью разгорелся. Не заметил даже, как, пылая, терзаясь приступами ревности, особенно в мысленной погоне за Цевинной, выделяет очередные существа, калибром и форматом соответствующие резкости чувственных перенапряжений.

Так от его любовных метаний и заселялся этот мир. Никто там никому не вредил, тем более что они могли легко и даже фривольно мимоходом проплывать сквозь друг друга, задерживаясь разве что на особенно интересной идее проникаемого, и то мимолетно, без видимых последствий. Но все-таки что-то отягощало их души, потому что мало кто из них не ронял тех черных, как чернильные орешки, конкрементов загустевших мыслей — может быть, плодов слишком холодной и потому застывшей рефлексии. И этого было достаточно, чтобы выгоны покрыла морена — настоящая мировоззренческая свалка. А то, что происходило над ней, понять было трудно. Крентлин во время, казалось, случайных встреч просвистывал сквозь ветреницу Цевинну, как блуждающий вихрь, будто ее не замечал, но это была только видимость. Он ощущал сумасшедшую дрожь, чувствуя, что она то тут, то там ему симпатизирует, что местами он ей вовсе не без-

различен. Тогда он начинал сладостно густеть в ее пределах, но она делала тщетными эти окклюзии, давая бедняге холодный афронт.

И однажды Крентлин, уходя, куда мысли понесут, после такой диффузии, которая обернулась конфузней, выронил облачко, очень малозаметное, которое кружилось некоторое время, очевидно, в нерешительности, хватит ли его при такой щуплости на персонализацию. И потом это существо так и не выросло, а только удлинилось, и юркое, как юла, то и дело проскальзывало в Крентлина, то ли с целью подстрекательства, то ли чтобы побыть в ком-то более значительном. А потом этот прихлебатель отрывался и бывал меньшинством у Цевинны. Мародер? Непрошеный гость? Осмотический отшельник? Злонамеренный нахал? Неизвестно. Во всяком случае, досаждал и ей, и ему, так что они отряхивались после его посещения. Зато Марлина-перемычку-Понсия этот странный переуженец избегал как огня.

Тем временем в поведении Крентлина произошла перемена. Ни с того ни с сего он так впух в двоемужа, так в нем разлился, как будто собрался вытеснить его из бытия. Но Марлин-перемычка-Понсий даже не покраснел. А карлик, истинный

недоносок, крутился то туда, то сюда, захватил несколько философских камней, но тут же их выбросил и покрылся пятнышками, похожими на глаза. Высматривал кого-то или что еще? Похоже было, что он даже многозначительно моргает. Все как-то приостановились. Почему-то никто уже не взыгрывал духом. Почему-то все поблескивали. Было это преломление света или духовный надлом? Неизвестно, до чего дошло бы дальше, но в этом месте король Ипполип принялся топать ногами и проекцию пришлось прервать. Король требовал объяснений.

— Увы, государь, мы этого сами не понимаем, — сразу признался Трурль. — В этом и состоит наше главное затруднение. Мы не знаем, чем являются действия Крентлина и Цевы — невинными играми или черной язвой нашего творения. Хуже того, мы не знаем, как бы нам это узнать. Мы повторяли опыт неоднократно, сменяя исходные условия. Иногда вместо двоемужа получался полторант, иногда Цевинна получала перемычку, но это статистические отклонения, вполне банальные при любом сотворении мира.

— А этот переуженец?

— Этот вьюн? Понимаю, что имеет в виду Ваше Величество. Он появляется каждый раз, иногда

бывает побольше, иногда поменьше, временами несколько раздвоенный, как змеиный язык, что тоже вызывает всяческие подозрения. Но королю должно быть известно, что в каждом производстве имеются отходы, а там, где все настолько же материально, насколько и идеально, даже мусор может быть одушевленным. Следовательно, с технической стороны этот феномен представляется невинным побочным продуктом творения.

— Ты так полагаешь? Только почему он такой настырный? Чего он в них лезет? Может, это соблазнитель?

— Внешне так оно и выглядит, — согласился Трурль. — Но мы-то не знаем, соблазняет он или не соблазняет. Они там все взаимно проникают, но ради прогулки или с намерением прельстить, невозможно разобраться, потому что никак нельзя выяснить, чего им надо. Тут мы попали в переплет, потому что вышли за пределы классического варианта творения. Тот духовный солитер извивается, как змий, поскольку худой он, а значит, и гибкий. Правда, согласно теологии, дьяволу и не полагается лишний вес, но, если посмотреть рационально, разве непременно зло должно быть тощим? Корпулентное тоже вполне могло бы искушать. Мы ничего не повторили и

никому не подражали, когда создавали новый мир, — и вот результат. Мы создали мир, непохожий на наш, вот мы его и не понимаем.

— Что ты мне тут рассказываешь? А разве Господь Бог кого-нибудь копировал? Ведь он, как известно, творил из ничего!

— Только сам мир, Ваше Величество, а не райских поселенцев! Тех, если помните, «по своему образу и подобию». Примерно так он их смоделировал. И не случайно. Подобие сотворенных своему творцу — главное условие удачного творения! Чем сильнее отличается творец от своих детищ, тем меньше его разумение о том, кого же он сотворил, что они чувствуют, мыслят и каковы их намерения. Ваше Величество сами в этом только что убедились. Кто ликвидирует подобия, тот уничтожает оплот взаимопонимания. Если мы сами ни в чем не напоминаем сотворенных нами, то не можем и понять, кто, как, почему и зачем там что-то делает, а в первую очередь — почему он делает это так, а не иначе. Речь тоже ничего не объяснит, потому что основана она на подобиях, а их тут нет. Если у нас нет никаких органов, подобных органам сотворенного, если его телесность ни в чем не соответствует нашей, если его время — не наше время, а его пространство — не

наше пространство, то оба наши мира ни в чем не совпадают и даже нигде не соприкасаются. Так мы можем по невежеству создать мир наиужаснейших мучений, и при этом у нас не хватит воображения даже представить, что мы сотворили. Существа, совершенно отличные от творца, для него совершенно непроницаемы и непостижимы. Я считаю, что это первый закон творения миров, его неотделимая антиномия. Либо мы сотворяем понятных нам, и тогда они должны быть богоподобными, либо создаем непохожих, судьбе которых не сможем даже сочувствовать, ибо она останется непроникаемой тайной.

— Вот! Вот это важно! О! Фундаментальную вещь ты сейчас сказал, Трурль!

— вскочил с места Ипполип. — Да! Теперь я вижу! Я понял! Суждение, что тот напухлец там познавал блаженство, потому что так цветисто дымил, как доказательство истины стоит столько же, сколько утверждение, что тот, кто эффективно горит на костре, испытывает от этого удовольствие! Теперь я понимаю! Повернуть дело творения лицом к сотворенным — это одно, а понимать, как у них там дела, что они имеют от этого бытия, — это совсем другой вопрос! Друзья мои, изъявляю вам нашу особую благодарность

за это откровение, ибо оно утвердило меня в вере. Теперь я буду еще крепче верить в Бога, чем до сих пор.

— Не вижу связи, — удивился Трурль.

— Не видишь? А «Credo quia absurdum est»? [18] Вечный — самопортящихся породил, всемогущий — беспомощных, всеблагой, кому ни малейшего труда не составляет сохранение добродетели, — похотливых ничтожеств. Как же ему не разочароваться, видя такое сочетание качеств? «По своему образу и подобию» он строил свои ожидания, но оказался неспособен миниатюризировать их до масштабов сотворяемого! Вечного огня ожидал он от искорки своего блеска! Отсюда его кажущаяся эксцентричность, мнимые Божьи чудачества, впечатление, что он какой-то шарлатан, чудак, маньяк, сутяга и крючкотвор, который и после смерти тянет сотворенных на судебные процессы, расследования и разбирательства во всех инстанциях долины Иосафата.

Ах, теперь я понял, что так угнетало отцов церкви, а особенно Августина

— эту непостижимость, унизительную не только для здравого рассудка, но и для чувств, они

---

**18 notes: 18**
верую, ибо абсурдно (лат.)

не смогли понять, упрятали свое изумление в догматы, отказались от собственного разума, не зная, что им явилась антиномия, заключенная в технике, а не в этике творения. Да, конечно, это так! Теперь я уже без всякого сомнения верю в Бога и сочувствую ему, — уже спокойно закончил король.

Однако Клапауций его вовсе не слушал. Казалось, он что-то внутри себя переваривал, усмехаясь мыслям, навестившим его неожиданно. Наконец он поднялся с мира, на котором сидел, притом так торжественно, будто собирался взлететь.

— Наисветлейший король! — произнес он важно, сильным голосом. — Мне пришла в голову одна идея, совсем новая. Я не люблю хвастать, но должен сказать, что это замысел совершенно гениальный. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы создать мир, стремящийся к совершенству, такой, жители которого найдут и утвердят во веки веков собственное счастье, но при этом не будут ни в чем, повторяю, ни в чем похожи на того, кто их сотворил…

— Ну! Ну! — в один голос воскликнули Трурль и Ипполип…

Однако Клапауций ничего им больше не сказал.

Сказал только, что через четыре дня приготовит новый мир и экспериментально докажет его безупречность. Напрасно настаивал монарх и злился Трурль. С улыбкой высшего знания, с насмешливым равнодушием гения, который, заслужив вечную славу, ни во что не ставит злопыхательство завистников, Клапауций начал подбирать с полу инструменты. Тогда Трурль заявил, что умывает руки и не будет участвовать в очередной попытке, но пойдет и сам проведет эксперимент в новом направлении. Монарх условился о встрече с обоими конструкторами в дворцовом зале аудиенций в ближайшую среду, и с тем они разошлись.

В среду оба прибыли пунктуально. Трурль с пустыми руками, а Клапауций прикатил тележку, которая трещала под тяжестью аппаратов, и сразу же приступил к демонстрации.

— Государь, я достиг успеха, — сказал он. — Но чтобы все было с самого начала ясно, я должен сделать к моему творению небольшое устное вступление. Мой… э-э… коллега Трурль сформулировал антиномию творения в классическом варианте следующим образом: чем меньше подобен творец своим сотворенным, тем труднее ему разобраться в их судьбе. Когда же в пределе

подобие равняется нулю, творец не знает о качестве жизни своих креатур ровно ничего. Отсюда якобы неразрешимая дилемма: либо уподобить творимых самому себе, но тогда чем лучше творец будет понимать сотворенных, тем больше будет ограничен он сам и утратит творческую свободу, либо чем свободней он в своих начинаниях, тем дальше будут от него ускользать сотворенные в своей сущности и существовании. Я уничтожил эту дилемму своим неклассическим подходом. Я сотворил не один мир, а потенциальное их множество — не универсум, а поливерсум вызвал я к жизни в этом ящике. Я сам не знаю, как живется там теперь моим существам, но мое незнание не имеет никакого значения, потому что я поместил их в многовариантном мире, который они могут менять на совершенно иные миры. Кому не подходит данное существование, кому все осточертело, тот бежит к рычагу и одним поворотом переводит бытие на новый путь. И каждый такой мир существует на распутье, будучи пересадочной станцией для бесчисленного множества других, легко доступных миров. А поскольку мои сотворенные сами копаются в бытиях, как в разложенных товарах, поскольку могут примерять их как шапки, руководству-

ясь своим собственным, а не моим вкусом, то получается вселенная, которая в конечных качествах зависит только от голосования ее жителей. Как творец я дал им максимальную свободу! Я ничего не выбираю за них, не даю им никаких рекомендаций, инструкций или заповедей — ни из горящего куста, ни из какого другого места, я ничего им не навязываю и ничего им не запрещаю, не делаю вида, что знаю лучше них, в чем заключается их счастье, что возвышает их, а что ведет к падению. Они могут заблуждаться, но ни одна ошибка не будет окончательной, ибо ее исправит переключение онтологической стрелки. А потому мой мир не является дидактическим, авторитарным, школярским, арбитральным, категорически заданным раз и навсегда без всяких консультаций и дискуссий. Это не исправительный дом с карами и поощрениями, которые я мог бы установить, сохранив для себя право помилования в исключительных случаях. В этом мире нет подпруг, которые я один мог бы иногда отпустить своим чудотворным вмешательством.

И поскольку этот мир будет все время преображаться и менять суть до тех пор, пока в нем останется хотя бы одна личность, не удовлетворенная тем, что есть, он будет блуждать,

пресуществляясь в разные стороны, погружаться в разные судьбы, пока не попадет в такую, которая всех удовлетворит. Только тогда никто не тронет переключателя, ибо воцарится вечная гармония. Итак, мой мир не стартует в раю, чтобы потом поскользнуться в сторону ада, а берет начало в борьбе и направляется к вечному раю. Я все сказал, государь.

— Ага! — сказал Ипполип, который просветлел лицом, пока слушал Клапауция. — Вот! Это мне в самый раз! Давай! Ну, ну! Кажется мне, что на этот раз ты угодил в десятку! Говоришь, учредил выборы? Пятидостойное демократично-онтичное голосование: равное, всеобщее, свободное, тайное, да еще и обратимое? Что ж, это похоже на идеальное равноправие. И говоришь, не можешь ничего понять, ихних там поступков, мотивов? По правде говоря, немного жаль.

— Вот, вот! — Клапауций поднял палец укоризненным жестом. — «Немного жаль», не так ли? Жаль, что нельзя возноситься, вмешиваться, мудрить, требовать, ругать, обласкивать, приводить в исполнение, рога обламывать, поливать серой и при этом петь себе дифирамбы устами сотворенных! Конечно, можно кое-что понять и в таком мире, как этот мир в ящике, но это возмож-

ное понимание ни к чему не обязывает, оставаясь чем-то вроде частного мнения, votum separatum Творца, записанного на полях его Творения…

— Ну что ж, покажи, покажи, любезный, нам свой мир, — вздохнул Ипполип и поудобней уселся на троне, а Клапауций, не обращая внимания на угрюмо молчавшего Трурля, пустил сноп света на алебастровую стену.

И снова они увидели Крентлина-зорянина, его духовные метания и заблуждения, закончившиеся появлением на свет гермафродитного потомства. Цевинна совсем не изменилась, а муж на этот раз оказался полтораком, потому что на него пошло меньше аматерии и он появился как по туловищу перевязанный Марлин Подпонций.

А так как присутствующие это уже раз видели, картина показалась им вполне доступной для понимания, а кое в чем даже ясной. Каждый созданный был понемножку везде, каждый, общаясь с другими отдельными своими частями, присутствовал по желанию в братних и сестринских душах, посещая ближних изнутри с умеренностью, происходящей от поверхностного натяжения и хороших манер. Видимо, желая доказать бесполезность артикулированной речи для понимания событий, Клапауций включил

звук, и этот немой до сих пор мир взорвался многоголосым говором.

Сразу же донеслись до них отзвуки трюмления. Это муж, Марлин, раздувал себе приятные минуты в Цевинне, блуждая в ее размышлениях. Потом что-то между ними испортилось. Подпонций удалился, слегка затуманенный сзади, а Крентлин стал напирать на нее. Цевинна не пропускала его вовсе, будто аппретированная.

— Ну, дай мне хотя бы один трюм! Соснимся! Затуманы устроим!

— Сам затуманься! Прошу в меня не вмешиваться! Это моя клокоть!

— Осмотическая прелестница, зоревая сгустница! Пустим Понтяка на клейстер!

— Вы забываетесь! — донеслось неразборчиво.

— Что тебе, полторант милее? Я тебе вмою, втрою, замстру!

Не совсем было ясно, кто, о чем и в каком смысле кричит. Посреди морены из отвалов философского камня тут и там торчали аккуратно покрытые навесами пересущницы. Цевинна от взъяренного Крентлина стянулась к ближайшей из них, где сидел на страже превратник, непроницаемый, будто весь затянутый бельмом, этакий молокосос. Между ними произошел краткий

обмен мыслями:

— Дай мне сплав, дай отпуст, хоть на один трюм, а то съюхчу! Шансуй мне забыт, во как нужно! На мучильский всос!

— Отоймись, смотри, перебытую! Не балуй, не еленься, ты!

Пользуясь замешательством, Цевинна уже диффундировала сквозь превратника к рычагам, но в этот момент Крентлин, выйдя из себя, окружил ее сгустки, внедрился в нее, захватив по дороге молокососа, и начал ее ожесточенно трюмить: «Засущимся здесь, тут!..»

А уж Марлин рвался к ним так, что лопнула перемычка и муж вместе с отделившимся побочным Подпонцким влетели в Крентлина с намысленной стороны, распучили его, вышла куча мала. Цевинна выскочила оттуда растормошенная и стала иннеть. Каждую минуту меняется: евится, мариолизуется, наконец, слюдмилась — что это, болезнь или вид мимикрии? По некоторой относительной близости наеленилась, но стала скорее Елендой, чем Еленой, может, от волнения, а может быть, второпях.

Тем временем над пересущницей Марлин и Подпонций с Крентлином превратились в клубок кипящего киселя, размазывая во взаимных

турбуленциях превратника, который напрасно старался сосредоточиться, потому что его рассеивали с подмысленной стороны.

— Чтоб ты лопнул, чужеловская диффузия! — вопят как один мужья.

— Сами лопайтесь! Впитывайтесь в мертвячий чух, а не то я вас сам впитаю! — отвечал им любовник, хотя и неудачливый, но уж близкий к цели.

— Ты, растворяк, черт с тобой! Вали в онтику!

Крентлин в один миг вымыслился из пересущницы и уж был рядом с Цевинной, наполнил собою ее всю, хотя и в фазе Еленды. Муж тут дернулся сразу в обе стороны — к жене и к рычагам:

— Пересущаюсь, чтоб Крентляк впитался! Цева не изменится? Мигом мне шансуй, беляк!

А превратник совсем выцвел и сипит:

— Пусти, радикал лощеный! Или по нулям, или трансфинально. Компромисс не советую — трюма не выйдет!

— Уточни! Кто занулится? Влезун?

— Гы! Может, твоя четверть, а может, Понцкая, а может, и оба пропадете. Я не пророк, а шансер.

— Шанса тебе в трюм! Затьмись! Пересущаюсь!

Подскочил Марлин к пересущнице, Подпонций

с ним вместе тянет.

Тут блыснуло, заничевело, но через мгновение опять они тут, но не те же самые, ибо онтика стала совсем другая. Понция нет и следа, Крентлин уже не Крентлин, а Гренслич, и к тому же карликовый, как будто его таким индуктировала экономная Цевинна, которая сама ничуть не изменилась, по крайней мере на первый взгляд. Пресуществление вызвало всеобщую панику. Кто мог, сразу нырнул в кого попало, то ли чтобы спрятаться, то ли от утробного рефлекса — неизвестно. Каждому хотелось быть в самой середине. Цевинне тоже, поэтому она двинулась в посторонние неясницы, но попала как раз в область таких отдаленных интересов, что ее там вообще почти не было, тогда она прояснилась на вылет и выпала на морену. Она еще дрожала, а тут

— что за постоянство чувств! Марлин пополам с Гренсличем к ней. Тут она смешалась, а они с нею. Она хотела уйти прочь, стряхнуть их, выйти из этого бедлама, в котором уже никто собственных мыслей не узнавал и тянул к себе чужие, принимая их за свои в психическом замешательстве, почти что помешательстве. Цевинна развеялась оболочками, а те с трудом опомнились, полные чужих чувств, и направились к пересущнице.

Теперь Марлин дал другое бытие. Из хаоса воплей можно было заключить, что теперь уже никто ничего не понимает.

Дым повалил, как от ста пожаров без огня. Казалось, что каждый, по-прежнему вездедействуя, кроме того, выпускал из себя будех, то есть планы на будущее, неисполненные намерения, и тем обильнее, чем отчаяннее старался сосредоточиться.

Возможно, это была лишь форма экстернализации мыслей, или же в конце концов (так потом утверждал Трурль) дело дошло до панпсихической аннигиляции, и упомянутые дымы были вывороченными наизнанку интеллектуальными потрохами жителей этой версии бытия.

Глядь, а тут Гренслич разлетается во все стороны, вместо мировоззренческой морены какие-то тумбы, до самого горизонта умозаключается тихая мыслительность, мир в этом варианте как бы более доодушевленный, но в высшей степени официальный, потому что повсюду какие-то гербы и печати. Муж не муж, а уж и сползает к Цевинне с довольно сильной прецессией. Сила Кориолиса, Мопертюи или привычки — не разберешь. Вдобавок ко всему исчезло деление по родам. Неизвестно стало, что предпринимать, по-

тому что пропал смысл конфликта. Секс тут уже из области преданий — не секс, а экс. Мужуж, не разобравшись в этом вследствие сильного аффекта, кинулся было в глубь Некароля Гренслицкого, шипя: «Я ж тебя заклокочу, я тебе покажу этрусское бытие!» — но остолбенел, увидев, что перед ним не любовник, а любовно: сникакала Гренслича эта онтология.

А тут еще вмешался молокосос, вдруг отпихнул ужа, а сам шасть в пересущницу и — полный назад, чтобы вернуть нечто предыдущее, но либо попал в дурной трюм, либо хватка у него соскользнула с онтоятки. Охнули все координаты, континуум ужасно застонал, как будто с ним выкидыш случился, посыпался град философских камней, и сверкнул новый мир, но какой!

Из мужа-ужа получилась растопырка, явно женственная, как будто этого женского начала чуть-чуть оставалось на самом дне, превратник, весь в батистовых оболочках, как вьюнок обвился вокруг пересущницы и расцвел над рукояткой радужным цветком — ни дать ни взять папоротник в ночь на Ивана Купала!

А где же Цевинна? Какие-то раздутые вспученности, пузыристые завитушки, баллонеты-монгольфьеры в небесах — она ли это? Растопырка из

ужа влезла в соседник, где пелегриб с недодуткой разглагольствует, стоя на одной ноге, а со ста сторон, дрожа от усилий, ложноножки тянутся к онтоятке…

Король уже минуту как требовал прекратить проекцию, немедленно закончить. Клапауций наконец неохотно повиновался. Он выключил аппаратуру, ворча, что можно было бы обождать еще несколько пересуществлений, что в конце концов все это должно как-то отдистиллироваться, разъясниться, это они так, по неопытности, с непривычки, из-за спешки, но никто его не слушал. Король сунул скипетр в карман и чистил державу рукавом, а Трурль, став на четвереньки, с трех сторон осматривал ящик со вселенной, зажмурив то один, то другой глаз, заглядывал внутрь через щели, постукивал в дно, потом решительно поднялся и сказал, стряхивая колени: «Значит, так. Выбравшись из классической антиномии, уважаемый коллега влез в неклассическую». Пятидостойные выборы онтологии — не так ли? Смешно! Они же в этом ящике ничего не выбирают, а только скачут, как рыбы на сковородке, бедняжки. Открытие, несомненно, налицо: падучая многосущая, или ontolepsia progressiva — новый вид экзистенциальных страданий. Ведь

они тем только и заняты, что от холеры бегут к чуме, от чумы к проказе, и как можно при этом утверждать, что, убегая от одной заразы в другую, сотворенные таким образом приближаются к идеалу?

Тут Клапауций начал кричать и даже, забыв о королевском присутствии, топать на Трурля, который уселся на его мир и вызывающе болтал ногами. Дело могло дойти до оскорблений действием, если бы не вмешался Ипполип, напомнив, что это как-никак, а все же сотворение мира.

Едва остыв, Клапауций принялся бойко и научно объяснять, почему множество альтернатив бытия должно оказаться для сотворенных непредсказуемым: бытия не ботинки, чтобы их можно было примерить! Риск есть при каждом переходе, это накладные расходы прогресса. Но» в его, Клапауция, варианте расходы эти меньше, чем в классическом, и он готов доказать это расчетами. Примерка бытия невозможна еще и потому, что когда кто-нибудь переходит из одной онтики в другую, то он не только меняет все свое окружение на совершенно новое, но вместе с тем и собственную сущность подвергает непредсказуемому изменению. Риск здесь неизбежен,

а пробы требуют времени, но что такое десять минут лишних наблюдений в сравнении с целыми эпохами классического варианта? Идеальное состояние может наступить через час или через двести лет, это правда, но другого пути не существует… Так он продолжал, употребляя все более замысловатые термины, ссылаясь на топологию духа и геометрию осознаний и озарений, излагая элементы эндоскопической онтографии, климатизации эмоциональной жизни, ее уровней, экстремумов, подъемов, спадов, а также упадков духа, и болтал так долго, что охрип, а у короля разболелась голова. Тогда Трурль поднялся с мира, на котором сидел, и, вынув из-за пазухи небольшой клочок бумаги, сказал:

— И я тоже не тратил попусту эти последние дни, государь. Позвольте представить Вашему Величеству результаты моей работы.

— Подожди, — прервал его король. — Один из моих советников так мне вчера сказал: если мир выйдет у нас лучше, чем у Господа Бога, тогда он выиграл, потому что это значило бы, что он наделил нас, сотворенных, неограниченными творческими возможностями. Если же мир нам не удастся, то выходит, что он нам этого всемогущества не дал, потому что не захотел. Итак: если

выиграем, то проиграем, а если проиграем, то как раз и выиграем! Ведь выиграть мы можем только за его, за Божий счет, в то время как, проиграв, мы проявим немощность, которую он нам придал, и эту немощность ему возвратим с протестом, что мы жертвы дискриминации при сотворении мира! Что скажете?

— А! Софизмы! — Трурль сунул королю под нос свою бумажку и при этом забылся до такой степени, что, желая до конца унизить Клапауция в монарших глазах, потянул короля за обшитый горностаем рукав: — Вот, взгляни сюда, государь! Это проведенное мною формализованное, то есть окончательное доказательство *невозможности* сотворения мира!

— Да? Ну? — изумился монарх. — Что я слышу? Так ты действительно доказал, что нельзя?

— Да, государь. И без всяких натяжек. Нечего и стараться — вот расчеты.

Король вытаращил глаза.

— А как же, однако, все это? — развел он руками. — Мир-то существует…

— Что ж, — пожал плечами Трурль. — Таков уж этот мир… Я-то имел в виду совершенный…

# Воспитание Цифруши

Когда Клапауция назначили ректором университета, Трурль, который остался дома, поскольку терпеть не мог любой дисциплины, не исключая университетской, в приступе жестокого одиночества соорудил себе премилую цифровую машинку, до того смышленую, что втайне уже видел в ней своего наследника и продолжателя. Правда, всякое между ними бывало, и, в зависимости от расположения духа и успехов в учении, иной раз звал он ее Цифрунчиком, Цифрушей или Цифрушечкой, а иной раз — Цифруктом. Первое время игрывал он с нею в шахматы, пока она не начала ставить ему мат за матом; когда же на межгалактическом турнире она одолела сто гроссмейстеров сразу, то есть влепила им гектомат, Трурль убоялся последствий слишком уж однобокой специализации и, чтобы ум Цифруши раскрепостить, велел ему изучать в очередь химию с лирикой, а пополудни они вдвоем предавались невинным забавам, например, подыскивали рифмы на заданные слова. Именно этим и занимались они в один прекрасный день.

Солнышко пригревало, тихо было в лаборатории, только щебетали реле да на два голоса звучала рифмовка.

— Внемлите? — предложил Трурль.

— Литий.

— Взор?

— Раствор.

— Солнце?

— Стронций.

— Тюльпан?

— Пропан.

— Храм?

— Вольфрам.

— Уста?

— Кислота.

— Кой черт, сплошная химия! — не выдержал Трурль. — Ты что, не можешь другой извилиной пошевелить? Убит!

— Карбид.

— Хлебнуть?

— Ртуть.

— Акация?

— Полимеризация.

— Прадед?

— Радий.

— Силен?

— Этилен.

— Довольно химии! — разгневался Трурль, видя, что так можно продолжать без конца.

— Это почему же? — возразил Цифрунчик. — Такого запрета не было, а правила во время игры не меняют!

— Не умничай! Не тебе меня учить, что можно, а чего нельзя!

Между тем малыш преспокойно продолжал:

— Теперь ты. Магний?

Трурль не отзывался.

— Гафний? Цезий? Кобальт? Спасибо, я выиграл! — заключил Цифруша.

Трурль, тяжело дыша, начал было озираться в поисках гаечного ключа, но затем, овладев собою, сказал:

— Хватит на сегодня играть. Займемся-ка более высоким искусством, а именно философией, поскольку она — царица наук и как таковая касается абсолютно всего. Спроси меня о чем хочешь, а я отвечу тебе дважды, сперва по-простому, а после по-философски!

— Правда ли, что тепляк — это подогретый земляк? — спросила машинка.

Трурль откашлялся и произнес:

— Нет, ты не так меня понял, твой вопрос каса-

ется словаря…

— Но ты же сказал, что философия касается всего на свете! — настаивал Цифрунчик.

— Спрашивай про другое, раз я тебе говорю!

— Почему скверный делец не то же самое, что деловитый сквернавец?

— И откуда ты только берешь такие дурацкие вопросы?! — возмутился Трурль. — Ну, хорошо. Выучки тебе еще не хватает, это понятно. Знаешь ли ты, чего хочешь?

— Малость поинтегрировать.

— Да не в эту минуту, осел, а в жизни!

— Хочу превзойти тебя славой!

— Это желание суетное, не стоящее усилий и уж наверняка не достойное быть целью всей жизни!

— Тогда почему ты увешал стены грамотами да дипломами?

— Просто так! Это не имеет значения. И больше мне не мешай, а то я тебя вмиг перепрограммирую!

— Ты не можешь так поступить, ведь это противно этике.

— Хватит. Идем на чердак — я устрою тебе наглядную лекцию по философии, а ты слушай молча, учись и не встревай!

Пошли они на чердак, Трурль приставил лесенку к дымоходу, поднялся по ней, за ним взобрался Цифранчик, и вот уже они стояли на крыше, откуда вид открывался далеко-далеко.

— Взгляни-ка на лесенку, по которой мы поднялись, — благожелательно сказал Трурль. — Куплена она мною по случаю, однако оказалась длинновата, а укорачивать ее не хотелось, уж больно хорошее дерево; вот и проделал я в крыше дыру и в нее просунул излишек. Как видишь, теперь лесенка на два метра выше кровли. Если подниматься по ней, то поначалу каждый твой шаг имеет однозначный и ясный смысл. Но если, оставив внизу чердак, ты будешь взбираться и дальше, смысл, содержавшийся в предыдущих твоих шагах, улетучится на уровне гребня крыши и не останется никакого иного смысла, кроме того, который ты сам вложишь в свои начинания! Поэтому, будучи спрошен, зачем я ставлю ногу на нижние ступени, я вправе ответить: «Взбираюсь на крышу»; но этот ответ не годится, если взобраться на самый верх! Там, наверху, дорогой мой Цифруша, надобно уже самому выдумывать цели и смыслы. Такова in ovo [19] вся теория высших

**19 notes: 19**
в зародыше (лат.)

сущностей, то есть разума, который, высунувшись из болтанки и передряг материи, начинает дивиться как раз тому, что он разумен, и не знает, что ему делать с самим собой и что означают его сомнения! Запомни мои слова, Цифрунчик, ибо это чрезвычайно глубокая притча с философской подкладкой!

— Не значит ли это, что нас занесло чересчур высоко? — поинтересовался малыш.

— В известном смысле да, по инерции, ведь этот процесс уже не притормозить, если он набрал ходу. А теперь сосредоточься, потому что я буду говорить о различии между возможным и невозможным.

— Я сам слышал, как ты говорил дяде Клапауцию, что можешь все! — выпалил Цифруша.

— Ты замолчишь когда-нибудь или нет? Я говорил в другом смысле. Знание кладет конец удивлению, ведь того, кто все знает, ничто не в состоянии поразить! Поэтому меня ничто удивить не может, понятно?

— А если б случилось то, что кажется тебе невозможным, ты и тогда бы не удивился?

— Не мели чепуху. Невозможное не может случиться. Если б, к примеру, сейчас в наш садик упал метеорит…

Он не докончил — послышался пронзительный свист, дом задрожал, несколько черепиц соскочили с крыши, лесенка завибрировала, а в саду вырос столб пыли; и все кончилось так же внезапно, как началось.

— Что-то с неба упало! Должно быть, метеорит! Ты не удивился? — радостно запищала машинка.

— Ничуть, — соврал Трурль, который едва не слетел с гребня крыши. — Такое событие как нельзя более кстати для нашей лекции. Это был чистый случай, то есть совпадение независимых друг от друга событий. Статистика утверждает, что падение метеорита на мирные жилища возможно, хотя и случается крайне редко. Однако невозможно, чтобы сразу же после этого метеорита упал следующий, ибо…

Похоже, Цифруша слушал его не слишком внимательно: высунувшись за край крыши, он разглядывал крупную воронку, окруженную валом из остатков ограды и грядок клубники; на ее дне поблескивало что-то вроде стеклянной глыбы.

— Там что-то есть, — сказал он.

Тут снова завыло, загудело, загрохотало, возле воронки взметнулась пыль.

— Второй метеорит! Теперь-то уж ты наверняка

удивился! — восхищенно пищал Цифруша.

— Метеориты не падают дважды в одно и то же место, этого не бывает! — изрек Трурль, придя в себя. — Не исключено, что мы наблюдаем новый тип фата-морганы… Но если допустить, что это случилось в действительности, то следующее падение метеорита исключается на очень долгое время, поскольку статистическое распределение…

Грянул гром, и, взметнувши в воздух тучу обломков, между двумя воронками врезался какой-то блестящий предмет, да с такой мощью, что дом качнуло, как на волнах.

— Третий! — радостно взвизгнул Цифруша.

— Ложись! — перекрыл его голосом Трурль, падая с лесенки на чердак и увлекая за собой воспитанника.

Встав на ноги и слегка отряхнувшись, они уже безо всякого философствования побежали в сад. Трурль обошел вокруг трех больших воронок, тряся головой и тихонько вздыхая, а потом присел на корточках на краю самой маленькой из них.

— Удивляешься?! — торжествовал за его спиною малыш. — А я вот ни капельки не удивляюсь, потому что математика идет впереди твоей философии! Множество планет пересекается со

множеством метеоритов, образуя такое подмножество, в котором метеориты по меньшей мере единожды залетают в клубнику. В этом подмножестве должно находиться подподмножество планет, на которые метеориты падают дуплетом, а в нем, в свою очередь, — подподподмножество троекратных столкновений!

— Чушь, — ответил Трурль рассеянно, так как стряхивал песок и глину с загадочной глыбы на дне воронки. — Почему это должно было случиться именно с НАМИ?

— Потому что с кем-то должно было случиться, согласно нормальному распределению, — выпалил Цифрунчик.

— А в каком подмножестве находятся метеориты, начиненные музыкальными инструментами? — спросил Трурль, вставая, а Цифруша заглянул в воронку и издал удивленный писк.

Трурль подошел к сараю и позвал копальную машину, но та, поскольку была разумна, перепугалась грома с ясного неба и вся задрожала, забилась в угол и даже не думала выполнять приказание.

— Вот плоды автоматизации чересчур совершенной! — буркнул Трурль, видя, что рассчитывать не на кого.

В конце концов, орудуя киркой и лопатой, он выгреб из меньшей воронки кусок льда неправильной формы, запачканный землей и внутри мутноватый; однако там, в глубине, виднелась цилиндрическая тень, запеленутая матерчатой лентой. Принесенным из лаборатории молотком Трурль принялся откалывать лед, осторожно, чтобы не повредить вмерзший в глыбу предмет. Глыба наконец раскололась, и из нее выпал темно-красный цилиндр, обвитый златотканой тесьмою; ударившись о рукоять брошенной на землю лопаты, он звучно загудел.

— Барабан… — удивился Цифруша, подымая его с земли. Это и вправду был оркестровый барабан с подставкой, в превосходной сохранности, обшитый козлиной кожей. Цифруша немедленно попробовал выбить на нем мелкую дробь.

Тем временем Трурль без лишних слов принялся за вторую воронку, ибо и там застряла ледяная глыба, гораздо больше первой. Он методично бил молотком, пока из-под отскакивающих ледышек не показались два столбообразных кожаных футляра с молнией наверху, а дальше — еще пара столбиков, обернутых зеленой материей. Трурль работал без устали, и вскоре неведомый предмет лежал на траве, освобожденный от ле-

довых оков.

Покрывавший его материал, твердый словно стекло, был украшен рядом золотых пуговиц и заканчивался отложным воротником, из которого высовывался кругляк, прикрытый суконной нашлепкой; а с другого конца торчали столбы в футлярах.

— Ей-ей, Существо со Звезд! — возбужденно воскликнул Трурль. — Трубы у него на ногах зовутся сапогами — я видел такие в атласе древностей у моего наставника Кереброна! Это старинный робот, прямо-таки допотопный, смотри и учись! Да перестань же ты барабанить, а то у меня уши лопнут! Вот это — его узорный кафтан, это — шляпа, а что у него в руках? Палки? Они принадлежат к барабану, барабан к ним, из чего следует, что перед нами барабанщик! Поспеваешь ли ты за быстрым течением моих мыслей?

— Я даже опережаю его, — дерзко заявила машинка. — Если барабан с барабанщиком летели вместе, значит, у них была общая траектория, однако вмерзли они не в метеориты, ведь те не летают так кучно; следовательно, нашу клубнику погубила ледовая комета! А раз так, то это три фрагмента ее ядра. Я бы ничуточки не удивился, если в третьем окажется дирижер или виолон-

челист!

— Это еще почему, умник ты мой? — спросил сбитый с толку Трурль.

— Потому что комета, должно быть, задела хвостом целый оркестр! Во всяком случае, это вполне вероятно…

— Не трогай его! Ничего не трогай! Сиди смирно, пока я не скажу, понятно? — снова рассердился Трурль и, утвердившись тем самым в своем наставническом превосходстве, продолжил осмотр Существа.

— Эти сапоги — с пряжками, — назидательно сказал он. — Но почему материал окаменел? Ага, похоже, промерз насквозь, вместе с владельцем! Можно было бы исследовать его спектроскопом — ты понял? — беря небольшие пробы; но тогда мы узнаем лишь его химическое строение, а оно не скажет нам, как он очутился в ледовой гробнице! Засунем-ка мы его в воскресильню, так будет лучше всего!

Он сидел на корточках возле Существа со Звезд в глубоком раздумье.

— Если нам повезет, мы сможем его расспросить и узнаем много нового. Но какую матрицу воскрешения выбрать? Вот вопрос! Это не представитель класса Silicoidea, отряд Festinalentinae

[20], не киберак и тем более не киберыба…

— Обычный ударник, я же говорю! Лучше всего положить его на печку! — визжала свое машинка.

— Тихо у меня! Робот роботу не ровня… Положить на печку — дело нехитрое и не требующее моих незаурядных познаний! Тут легко и глупость сморозить! Возможно, барабан — всего лишь прикрытие, камуфляж, и тогда оживление крайне опасно: а ну как это смертоносное машинище, посланное каким-нибудь злобным конструктором в Космос за намеченной жертвой? Ведь и такое бывало! Но с другой стороны, предпринять воскрешенческие процедуры побуждает нас императив космической доброжелательности, соображаешь? Тем самым я ввел в наши рассуждения этику. Может, узнаем побольше, заглянув в третью яму?

Как он сказал, так и сделал на глазах у смекалистого Цифруши, который по-прежнему мешал ему дотошными вопросами, так что разгневанный Трурль молотил по льду все сильней и сильней. С ужасающим треском глыба распалась надвое, а вместе с ней — вмерзший в нее предмет. Трурль

---

**20 notes: 20**

Кремниевых, отряд Медленноспешащих (от латинского выражения «festina lente» — «поспешай медленно»)

на мгновение даже лишился речи.

— Это все ты! Чтоб тебя…

— А космическая доброжелательность? — прошептал Фрунчик, впрочем и сам порядком смутившийся.

Трурль не отрываясь смотрел на сверкающие туфли с застежками, на темно-синие носки в красную полоску и заледеневшие икры, что торчали, уже очищенные ото льда, из половины ледовой глыбы. Необычайная чистота всех этих предметов изумила его.

— Неужели это существо воздает почести нижним своим футлярам? — произнес он, размышляя вслух. — Странно! Не уверен, что попытка оживить разделенные половинки увенчается успехом… сперва надо бы снова соединить их!

Присев, он внимательнее всмотрелся в то, что содержалось в середке расколотого. Скол сиял ледяными кристалликами, являя взору беспорядочные завитушки внутренних органов. Трурль почесал голову.

— Неужто перед нами существо, построенное из клея, одно из тех, о которых писал древний кибермистик Клибабер? Неужто мы видим одного из пратуземцев Галактики, допотопного тленника, именуемого в легендах чиавеком? Столько миров

облетел я, столько систем посетил, но ни разу не случилось мне увидеть воочию Мыслящего Масляка! О, надобно приложить все силы, чтобы воскрешение удалось! Что за редкостная оказия потолковать на онтологические темы, не говоря уже о мине, которую состроит твой дядя Клапауций! Но до чего бестолково сконструирован этот расколотый! Бедный раскольник, поистине гордиево у тебя нутро, ни винтика тут не приладишь, ни скрепы, и неизвестно, что здесь к чему! Только общая ледоватость удерживает воедино все эти петливины и извилки!

— Папа, — сказала машинка, заглядывая Трурлю через плечо, — это не чиавек, не масляк и не тленник, а обыкновенный хандроид!

— А? Что? Не мешай! Ты о чем? Хандроид? Должно быть, андроид!

— Нет, именно хандроид, то есть андроид, которым овладела хандра! Как раз вчера я прочел о них в энциклопедии!

— Чепуха! Откуда тебе это знать?

— Да ведь у него в руках кубок.

— Кубок? Какой кубок? Вон там, во льду? Гм… действительно. Ну, и что же?

— В таких кубках обычно подносят цикуту; раз он хотел ее выпить, перед нами неудавшийся

самоубийца, а откуда у него суицидальные побуждения, если не от taedium vitae [21], то есть от хандры?

— Слишком рискованные силлогизмы! Ты рассуждаешь неверно! Не так я тебя учил! — поспешно выкрикивал Трурль, волоча ледяную глыбу с корпусом Хандроида. — Впрочем, сейчас не до рассуждений. Идем наверх!

— Ты его в печку? — спросила машинка, подпрыгивая на месте от возбуждения. — В печку, в печку!

— Не в печку, а на лежанку! — поправил Трурль.

Прежде чем положить Хандроида на печную лежанку, он занялся нелегкой молекулярной штопкой: подтягивал атом к атому костенеющими пальцами, ведь работать приходилось на искусственном морозе; вдобавок порою его одолевали сомнения, что к чему относится, — такой царил в Хандроиде кавардак. К счастью, он мог ориентироваться по поверхности, то есть по суконной одежде, так как обшитые кожей пуговицы ясно указывали, где зад, а где перед.

Положив наконец оба существа в тепле, он спу-

---

**21 notes: 21**
отвращение к жизни (лат.)

стился в лабораторию, чтобы на всякий случай перелистать «Введение в Воскресительство». Так он корпел над книгами, когда на втором этаже послышался какой-то шум.

— Сейчас! Сейчас! — крикнул Трурль и побежал наверх. Робот в сапогах сидел на лежанке, удивленно ощупывая себя, Хандроид же валялся на полу: попробовав встать, он потерял равновесие и упал.

— Почтенные пришельцы! — с порога обратился к ним Трурль. — Приветствую вас в моем доме! Заточенные в ледовые глыбы, вы упали в мой сад, загубив всю клубнику, за что я, впрочем, на вас не в обиде. Я выколотил вас изо льда и при помощи инкубационной термической реанимации, а также интенсивной демортизации привел в сознание, как сами видите! Не знаю, однако, откуда вы взялись в этом льду, и горю нестерпимым желанием узнать о ваших судьбах! Вы уж простите меня за дерзость; что же касается малыша, который подпрыгивает рядом со мной, так это мой несовершеннолетний потомок…

— А вы кто будете, ваша милость? — слабым голосом спросил Хандроид, который все еще сидел на полу и ощупывал весь свой корпус.

— Господа пришельцы — ты, в кожаных са-

погах, и ты, горячо и мокро уставившийся на меня, — знайте, что я всемогуторный конструктор по имени Трурль, весьма известный. Это место — моя лаборатория на Восьмой Планете Солнца, которого до недавнего времени не было, ибо мы с товарищем моим Клапауцием сконструировали его в порядке общественного почина из галактических отходов. С незапамятных времен я занимаюсь опытной онтологией, сочетая оную с оптималистикой применительно ко всем Разумам Универсума! Я понимаю, что внезапное перенесение на чужбину, да еще таким необычным образом, отчасти явилось потрясением для ваших естеств; однако же соберитесь с мыслями и поведайте, кто вы такие, ибо тем мы ускорим общее взаимопонимание!

— А с Болицией Гармонарха Збасителя ваша милость никаких не имеет связей? — спросил довольно слабым голосом барабанщик с лежанки.

— Об этом Монархе, а равно о его Полиции мне ничего не известно… да у вас, сударь, не насморк ли? Понятно — это от переохлаждения, любой простудился бы на таком холоде… липового чайку не желаете?

— Я не простужен, а только говорю на чужеземный манер, — пояснил робот в сапогах, с явным

облегчением разглядывая золотое шитье у себя на груди.

— Государь, от которого я в некотором роде бежал, действительно зовется Гармонархом, и не Державой он правит, а Держабой, но это история длинная…

— Ах, расскажите ее! Пожалуйста! — подпрыгивая, запищала машинка, но Трурль строгим взглядом заставил ее умолкнуть и сказал:

— Я бы не хотел никого торопить — будьте моими гостями, прошу вас. А вы, сударь, кто? Андроид или, быть может, Маслитель?

— У меня еще в голове шумит, — ответил тот, что сидел на полу. — Ледовый метеорит? Комета? Возможно! Вполне возможно! Комета, только не та! Должно быть, мою я прошляпил! Ох, что же со мной теперь будет!

— Так вы не Хандроид? — разочарованно спросил Цифруша.

— Хандроид? Не знаю, что это такое. Какой-то гул в голове.

— Не обращайте внимания на этого недоросля! — вмешался Трурль, испепеляя Цифрушу взглядом. — Как вижу, вы, господа, пережили тьму испытаний, а потому простите меня за несвоевременные призывы к скорейшему обо-

юдному знакомству; пожалуйте в покои, дабы себя в порядок привесть и несколько отдохнуть, а заодно подкрепиться немного!

После трапезы, прошедшей в молчании, Трурль показал необычайным гостям все свое хозяйство, включая лабораторию и библиотеку, а под конец привел их на чердак, где держал особенно любопытные экспонаты.

Чердак этот был устроен на манер музейного зала. На полках стояли экспонаты в масле, парафине и спирту, а с мощной потолочной балки свисал массивный автомат, черный как смоль и на первый взгляд мертвый. Однако он ожил, когда к нему подошли, и попробовал пнуть мнимого Хандроида.

— Прошу вас остерегаться, поскольку мои научные пособия — действующие!

— пояснил Трурль. — Автомат, который вы видите на этом стальном тросе, построил восемьсот лет назад прамастер древности, архидоктор Нингус. Он замыслил создать Мыслянта благочестивого и добросердечного, так называемого Сакробота, или Набожника. Осторожно, господин барабанщик, он не только пинается, но может и укусить.

— Пособи мне Господь сорваться, и ты увидишь,

что я могу! — проскрежетал заедающими шестеренками черный Сакробот.

— Как видите, господа, — продолжал с исследовательским увлечением Трурль, — он не только говорит, пинается и кусается, но также истово верует!

Тут, однако, механический фидеист поднял такой крик, что вся компания принуждена была возможно скорее покинуть чердак.

— Плоды веры непредсказуемы, — объяснял Трурль, пока они вместе спускались по лесенке.

Наконец они расположились в гостиной, где все уже было приготовлено — глубокие кресла, огонь в камине и клубничные электреты в ионозефирном соусе.

Обогревшись и подкрепившись, оба гостя все еще водили вокруг удивленными глазами, молча, поскольку Трурль не хотел торопить их вопросами, помня об испытаниях, выпавших на их долю. Но Цифруша вылез вперед и быстренько изложил им собственную версию случившегося, подкрепленную солидными вычислениями. Мол, ледовая комета, обращаясь в звездной системе, задевала хвостом планеты и смахивала тех туземцев, что попались ей на пути, а затем уносила их, замороженных намертво, в апогелий, где,

как известно, тела эти тащатся как улитки, пока наконец тысячелетья спустя неведомая пертурбация не столкнула комету с ее орбиты и бросила на Трурлеву обитель. Прежде чем Трурль успел его угомонить, Цифрунчик рассчитал примерные элементы кометной траектории и, наложив ее на карту звездной системы, которую знал на память, принял такие коэффициенты населенности планет, что у него получилось внушительное число: семь тысяч семьсот семьдесят три лица, которые должны еще находиться в кометном хвосте. Лица эти, захваченные в разное время и в разных местах, уже удалялись от сотрапезников со второй космической скоростью. Теперь падение двух гостей в двух метеоритах и барабана в третьем стало вполне заурядным физическим явлением, и Трурль даже начал жалеть всех неведомых пассажиров, вмерзших в кометный лед, которых он не воскресит, а значит, никогда не узнает лично. Хотя давно опустилась ночь, спать никому не хотелось; оно и понятно, если взять во внимание, сколь долго пребывали гости в ледовой летаргии и как не терпелось Трурлю вместе с Цифрунчиком узнать их судьбу. Итак, хозяин возобновил давешнее свое предложение — чтобы спасенные поведали историю своей

жизни, вплоть до кометного вознесения. Те же переглянулись и после недолгих споров из-за того, кому начинать, порешили, что порядок этот определил их спаситель очередностью воскрешения; так что первым повел речь робот в сапогах.

### Рассказ Первого Размороженца

В моей особе вы видите завзятого маэстро из симфонического оркестра; отсюда и беды мои. Еще мальцом непритертым выказывал я дарованье, барабаня на чем придется и изо всякой вещи ее самобытный тон извлекая. В нашем роду сыздавна так повелось. Владею ударом мягким и жестким, от грома раскатов до шороха песочных часов простирается мое мастерство. Уж если разбарабанюсь, ничего не вижу окрест. В свободные же минуты люблю тамбуринить и даже могу смастерить инструмент преизрядный, дайте мне только козу да трухлявый чурбан или ушат да клеенку. Но в одном оркестре долго усидеть не способен и странствую, чтобы испробовать все наилучшие на свете ансамбли. Слух же имею я абсолютный и без ума от игры громыханья. Сколько я звезд, планет, филармоний объездил! Уж где не бывал, где только не игрывал! Но вскоре палочки у меня из рук выпадали, и дальше пытливость

меня гнала. Давал я концерты сольные, на коих стон, плач, раж и смех; случалось, толпа меня на руках несла, а то и барабаны мои на реликвии разрывала. Не славы я домогался, жаждал не лавров, но в музыке раствориться великой, влекусь к оркестру, как река к океану, чтобы влиться в него и в безбрежности его затеряться. Ведь для меня сам я — ничто, а совершенная мелодия — все, ее-то я и искал, роясь день и ночь в партитурах. И вот на планетных выселках Алеоции впервой довелось мне услышать о державе Гафния. Это там, где спиральный рукавчик местной туманности загибается и переходит в манжетик со звездной подкладкой. Здесь-то и дошла до меня эта весть на погибель мою и душу мне распалила тоскованьем великим: дескать, держава та не простая, а филармоническая, и равнобежно ее границам тянется колоннада филармонии королевской. Говорили еще, будто всяк там играет, король же внимает, в надежде, что музыки храм дарует его народу Музыку Сфер! Пустился я с места в карьер галопом в те края, а по дороге кормился платой за свое ремесло, бравурной дробью разгоняя тревоги, воспламеняя старых и малых, и ловил каждый слух, желая дознаться, много ли правды в этой молве. Однако же, странное

дело, чем дальше окрестность от Гафния, тем больше хвалят обычаи его музыкальные, верят в Гармонию Сфер и в то, что стоит там жить, чтоб играть. Но чем ближе, тем чаще отвечают без особой охоты, а то и вовсе молчат, тряся головою либо даже постукивая по лбу. Пробовал я расспросами припирать туземцев к стене, но те отбрехивались. На Оберузии сказал мне один старик: играть там, знамо, играют, наяривают без устали, только музыки от такого игранья что кот наплакал, немузыкальная эта музыка ихняя, больше в ней другого чего. Как же так, дивуюсь, без музыки музыка? и что это такое «другое», позвольте узнать? Но он лишь рукой махнул — мол, не стоит и говорить. А прочие опять за свое, дескать, сам король Збаситель воздвиг Державный Его Величества Консерваториум, а там виртуозов тьма, и не какая-нибудь акробатика дутья да махания, да ушлость рук, да слепая сноровка, но вдохновение, врата в златострунный рай, затем что есть у них верный путь и ключ к Гармонии Сфер, той самой, что в Космосе беззвучно звучит! Я от старца не отступаю и снова спрашиваю, а тот отвечает: не говорю, что неправда, и не говорю, что правда. Что бы я тебе ни сказал, сказал бы не то. Иди сам, коли хочешь, и сам убедишься. В

талант свой я верил твердо, несокрушимо, ведь стоит мне, роботы-други, взять в руки палочки да припустить частой дробью по барабанной глади, так тут уж не треск, не рокот, не перегуд, не обычное трах-тарарах и тамбуринада, но такая влекущая и певучая песнь, что камень и тот бы не выдержал! Так что пошел я дальше, но, смекая, что невозможно ввалиться с бухты-барахты на филармонический двор с его этикетом придворным, выспрашивал всякого встречного о возвышенных гафнийских обычаях, а в ответ всего ничего или ничего вовсе, гримасы, да мины, да общее колыхание, чем у кого было — головой или иным чем-нибудь; так я ничего и не выведал. Однако, шествуя дальше средь звезд, встречаю ублюдище почернелое, и отводит оно меня в сторону: слушай, приятель, в Гафний путь держишь, о, сколь же ты счастлив, и счастлива эта минута, вот уж где вдосталь намузицируешься, Збаситель — добрый государь и могущественный, муз обожатель, он тебя златом осыплет! Что мне злато, отвечаю, как там с оркестром? А он усмехнулся, блажен, говорит, кто в нем играет, за место в этом оркестре я жизнь бы отдал! Как же так, говорю, что ж ты в обратную сторону поспешаешь? Ах, отвечает, я к тетке, а впрочем, иду далече, дабы

нести благую весть о Збасителе, пусть же отовсюду спешат музыканты, ибо открыта столбовая дорога к Гармонии Сфер! Да и к Гармонии Бытия, ведь это одно и то же! Как, говорю, и Симфония Бытия им известна?! Тогда дело стоит стараний! Но точно ли так? А он, тошняк (довольно-таки, правду сказать, сопрелый и вывалянный то ли в коксе, то ли в смоле, поди, пригорел, бедолага, обворонился, или что там еще), восклицает на это: Что ты! Да откудова ты столь темный, дремучий взялся? Так ты не знаешь, что Гафний — не простая держава или монархия, но Держава Нового Типа, или Держаба, а Збаситель не просто монарх, но Гармонарх! Династический разработал он план, чтобы все играли и оным игранном до блаженства бы доигрались; и не как попало, наобум да на ощупь, но манером академическим, теоретическим и классическим, для чего учредил он Консерваторственный Совет Министров и составил Гармонограмму Гармонии Сфер, которую того и гляди откроют и исполнят, если уже не исполнили, так что поторопись!

А что ж это за музыка гармонограммическо-гармоническая? — спрашиваю снова и слышу в ответ: Персону она сопрягает с Природой и претворяет Грез Рой в Рай Земной, так что беги, не

мешкай, ведь пособить в таком деле — галактическая заслуга!

Бегу, бегу — но, досточтимый тошняк, еще хотел бы я знать, каким это образом держава, то бишь Держаба Гафния заполучила партитуру Сфер и гармонию оных, откуда она у них завелась? Ба! — ответствует мне тошняга, есть у них обычаи древние, указания верные, ведь играть-то они завсегда играли, только не так, не на том и не тем манером, каким надлежит, но теперь они в курсе, и от музыки ихней грудь спирает, дух замирает, очи внутрь, а уши вширь, так спеши же, мой колотун, а тоне поспеешь на репетицию!

Позволь, позволь, говорю, я тебе не колотун какой-то, а первой гильдии маэстро из симфонического оркестра, но расскажи, ради Бога, еще хоть малость о гафнийских обычаях, чтобы мне там в грязь лицом не ударить!

Ох, некогда мне, отвечает, ступай, да живее, и, право, будешь мне благодарен по гроб!

Пустился я в путь, и вот, когда уже обозначились очертанья планета (ибо Держаба — не какая-нибудь женская, простая планета, но мужской, хоть и крохотный, сугубо мужской планет) и показалась Ограда Громадная Мраморная, на которой горела золотом надпись: «КОРОННЫЙ

КОНСЕРВАТОРИУМ», — неподалеку заприметил я деревянную, маслом покрашенную повозку, а на ней — крайне утомленного робота; он искался — страдая, по дряхлости лет, от опилок, вгрызавшихся во все его шестеренки; я помог ему очистить суставы и сочленения, а он между тем что-то тихонько мурлыкал. Я спросил — что, он ответил: Масличную песнь! Не знал я такую. Стал я выспрашивать о Гафнии, он же был глуховат и велел повторять каждое слово четырежды, а потом говорит мне: Ударник! Ты молод, проворен, дюж и ногаст, ты выдержишь многое! Не буду тебя отговаривать от посещения Гафния, но уговаривать тоже не буду. Как решишь, так и сделаешь. — Верно ли, что там играют? — А как же, с ночи до утра и с утра до ночи, однако во всякой стране особый обычай, и вот тебе мой совет: молчи. Что бы ты ни узрел — ни слова. Что бы тебе ни казалось — ни звука. Ни гугу! Воды в рот, язык на замок, немотою запечатай уста, тогда, может статься, расскажешь когда-нибудь, что там увидел, во что там играл! И сколь ни просил я его, сколь ни молил, сколь ни увещевал, он уже ни слова не проронил.

Что ж, вот тут-то я загорелся, и лютое одолело меня любопытство, хотя не скажу, чтобы в

золотые ворота Гафния я стучал совершенно спокойный, ибо чувствовал кожей: скрыта за ними бездонная некая тайна! Все-таки принялся я колотить колотушкой из чистого золота, звон же ее был чуден и бодрил дух, и стража весьма охотно меня впустила и приветливо молвила: Видишь дверь? вали туда смело. А уже и сени тут были дивные — уже стоял я в густоколонной громаде, сокровищами сверкающей; не сени, а храм, и кругом золотые инструменты висят! Я в дверь; вхожу — и глаза зажмурил, такой ослепил меня блеск — от алебастра, и оникса, и серебра; вокруг колонн чащоба, я на дне амфитеатра стою, о Боже, да это пропасть, бездна, знать, веками сверлили они свой планет и в середке устроили Филармонию! Нету здесь мест для публики, только для оркестрантов, кому кресла, кому табуреты, дамастом в серебряный горошек застеленные и рубином присыпанные, и для нот стояки изящные, и плевательницы среброкованые для духанщиков, как-то: трубодеров, трубодувов и фанфаронов, а потолочье брильянтит пауками-подсвечниками, каждый радужно люстрится, и в холодном блеске огней

— ничего, ни зала, ни галереи, только в стене напротив оркестра во всю ширину — ложа од-

на-одинешенька: красное дерево, с тисненьем материя, амуры в раковины дуют, бордюры да кисти, а ложа закрыта портьерой парчовой, а шитье на ней виольное да бемольное, и месяц новый, и гирьки свинцовые, и пальмы в кадках величиной с дом, а за портьерою, верно, трон, только задернута она, и ничего не видать. Но я-то мигом смекнул, что это и есть королевская ложа! И еще вижу на дне амфитеатра дирижерский пюпитр, да не простой, а под балдахином хрустальным, ну прямо алтарь, а над ним надпись неоном: CAPELLOMAYSTERI UM BONISSIMUS ORBIS TOTIUS!

То есть, значит, лучший на свете капельмейстер, или бригадир оркестра. Музыкантов тьма, но на меня никакого вниманья, одеты как-то чудно, с пестротою ливрейной и либеральной; у одного икры обтянуты белыми чулками в сплошных фа и соль, но заштопанными; у другого туфли с золотой пряжкой в виде нижнего до, но каблук стесался; у третьего колпак с плюмажем, но перья трачены молью; и не вижу ни одного, кто бы прямо держался, так их тянут вперед ордена, сукном подложенные, верно, чтобы бряканье не портило музыки! Обо всем позаботились тут! Знать, доброй души монарх, меломан щедрый, и сыплются градом награды на господ музыкан-

тов! Протискиваюсь несмело в толкучке и вижу — перерыв в репетиции, все разом галдят, а капельмейстер в пенсне золотом поучает из-под своего балдахина алтарно-хрустального. И не палочка в перчатчатом его кулаке — скорее уж палица; что ж, не мне махать, а ему, умахается — его забота. Зал громадный и исключительно, должно полагать, акустичный! Играть разбирает охота… а капельмейстер, застопорив на мне быстролетный взор, молвит приветно издали: а, новичок? Хорошо! Что умеешь — арфач? Что, ударник? Тогда садись вон там, как раз выбыл у нас ударник, посмотрим, справишься ли! — Садитесь же, сударь! — Господин виолончелист, не толкайтесь! — И вижу: беззастенчивая виолончель что-то дирижеру в лапу сует — какой-то пухлый конверт — письмо концертное ему написал, или как? — Впрочем, ведь я ничего не знаю еще… сажусь. А капельмейстер говорит сотне сразу: — Кларнет! Не дыдурыду-выду-дыдудым, а дидуриду-виду-бидупиим! Это вам не завитушки кремовые на торте, сударь, это виваче, но не МОЛЬТО виваче — или уши у вас дубовые?! А дальше трилли-трулли-фрулли-фрам, и это не фиоритура, здесь надобно вступать *мягше*, ради Бога, мягонечко, и веди ровно, но не верхами,

тут мягонько, а там как сталь! И трилли-рида-падабраббам! А вы, медные, тихо, не заглушайте мне пикколо в шестнадцатых, ведь гробите лейтмотив! не глушите, говорю; так что вижу я, что манеры здесь самые обыкновенные и разговоры в точности те же, что во всех филармониях Универсума.

Сижу я так посреди шума-гомона и осматриваюсь. Сперва глянул на барабан: больно уж странен! Не простой, а капитально усиленный, бока могучие, круглые, тугие, выпуклые, ну прямо бесстыдно-бабские, лазоревые, со шнурами, обшитыми золотым дубовым листом, а уж пленка натянута без изъяна, звончатая, перепончатая, ох, и гулким, поди, перегудом гудит!!

Смотрю, а тут и партитуру несут, не обычную, но сущий фолиант, книжищу, в рысью шкуру оправленную, а на конце хвоста — кисть, а к кисти платочек привязан, для отирания обильного пота после финала! Обо всем тут, видать, подумали! И куда ни глянь, алебастры, гербы, грифоны, грудастые музы, кариатиды, фавны, венеры, бомбоньеры, тритоны, бом-брам-стеньги, гроты, прианы, стаксели, брамсели, бизань-мачты, бейдевинды, швартовы — плыви, плыви, музыка! А над королевской ложею герб государства

— державный коготь в венце червонного золота, и колыхнулась портьера ложи, словно сидит уже там Гармонарх, да прячется. От нас?.. Но уже Капельмейстер в пенсне, гибкий, юркий, спешный и вездесущий, внимание! кричит, по местам! И: начинаем! за дело! Все помчались, бегут, бренчливо инструменты настраивают, я — за палочки, а это не палочки, но сущие обухи-дроболомы! Колья гремучие! Прилаживаю ноты, поплевываю в кулак и на партитуру смотрю, как баран на новые ворота, капельмейстер «уно, дуо, тре» кричит, и постукивает, и золотым пенсне посверкивает на нас, и вдруг вступают скрибки… но что это? Хотя и дирижирует капельмейстер, ничего не слыхать, кроме наждачного какого-то скреба… ох, и скребят же эти скрибки… струны, что ли, запакостились? А вот и мой черед, и опускаю я руки, чтобы бабахнуть, и ударяю вовсю, а слышу только «тсстук, тсстук», как будто бы в дверь, смотрю, а барабан хоть бы дрогнул, поверхность какая-то жесткая, гладкая, как пруд замерзший, как торт, ничего не пойму, и снова «стук! стук!», немного будет от этого толку, думаю, а тут оркестр вступает, дребезжит, верезжит, дудонит, долбахает, и вижу — вот те на! — тромбонист тромбону помогает губами «бу-бу-бу», а скребачи

губки бантиком и: «титити», сами напевают, немым инструментам спешат на подмогу, ну и игра! а капельмейстер вслушивается, и вдруг по пюпитру бац! и молвит: Нет. Ах, не так! Плохо. Da саро [22]. Ну, мы опять, а он из-за пюпитра выходит, и вступает меж нас, и прохаживается, ухом ловит скрип и скреб, а после подходит — улыбаясь, но криво — и валторниста за щеку, словно клещами, ой, так скрутил-закрутил, что игрец дыханья лишился; идет и ухо гобою обрывает походя, и тут же палкой бац! вторую скрибку по голове, зашатался скребач, и платок у него из-под подбородка вылетел, и вызвонил он зубами туш, а капельмейстер тромбонам и прочим шепчет из-под пенсне: олухи! Что за бедлам! И это называется музыка?! Играть, играть у меня, не то Гармонарх проснется, и тогда уж мы запоем! И говорит: как Капельмейстер Дирижериссимус требую! Напоминаю и повторяю: сыграем Увертюрную Симфонию Тишины! Продолжайте силентиссимо, аллегро виваче, кон брио, но и пьяно, пьяниссимо, потому что chi va piano, va sano [23]. А, понимаю, шутка! Шутит с нами, ибо Душою Добр! Говорит: Госпо-

---

**22 notes: 22**
сначала (ит.)

**23 notes: 23**
тише едешь — дальше будешь (ит.)

да! Валторнист, Арфач, Тромбон и ты, Кларнет Эдакой! И вы, Клавикорды-Милорды, больше старания! Медные, плавно! Внимательней, Пикколо, а вы. Виола с Виолончелью, нежнее! А ты, фортепьяно, то бишь Громкотих, следи за сурдиной! Подходит к пюпитру и снова стучит: под Управлением Нашим, по Команде Моей, к Гармонии Сфер, за мною — *играть*! Играем. Однако ж по-прежнему ничего не слыхать кроме стука, скреба и хряпа, ничегохонько! И отправляется дирижер в оркестр, улыбаясь, и мятные леденцы раздает, но кому леденец, тому и палкой немедля по лбу. Головы гудом гудят! С лицом озабоченным бьет и понять нам дает, и точно, мы понимаем, что не своею волею лупит, но чтобы не было ущерба Величеству, бьет от Имени, дабы не допустить какофонии до гармонаршего уха, а лупимый съеживается и капельмейстеру отвечает улыбкой умильной и кроткой, тот же, с равносильной улыбкой, угощает и бац! ибо не от себя дубасит, но дабы не допустить, уберечь, а может, чтобы худшей трепки, Настоящего Кнута избежать… Знаю, потому что в перерыве судачат игрецы меж собой, друг дружке пластыри прилепляя подле моего барабана: он добрый, наш Капельмейстер, ведь написано ясно: Bonissimus, но

вынужден так, чтобы Гармонарх не разгневался, и вправду, вижу я надпись «Capellenmaysterium bonissimum», ей-ей, славный, говорят, дирижер, и сердце у него золотое, но должен охаживать, чтобы нам. Кто другой не заехал по лбу! Кто, кто такой? — любопытствую; не отвечает никто. Что до битья, это я понял, однако же с музыкой не могу разобраться, кругом только лязг, и бряк, и дребезг невыносимый, а мы играем себе. Пенсне блистает, бегает, бацает, и, хотя трещат наши лбы, понимаем, что так и должно быть; но тут шевельнулась Портьера Ложи и оттуда выглядывает Пятка Большая, Босая и некоторым образом Голая, но не какая-нибудь уличная, рядовая, а Помазанная, в Коронной Пижаме, из штанины Тронной торчащая, и поворачивается она, и раздвигаются складки портьеры, а за нею храп, и не трон, но ложе в золоте и розанчиках, с отливом дамассе пододеяльник, а на златой простыне Гармонарх, симфонически утомленный, спит, в думку бархатную уткнувшись, — спит, и более ничего, а мы под Пятою пьяно, пьяниссимо, чтобы не разбудить. Понарошку?.. Ага, понимаю, понарошечная репетиция! Хорошо, но битье-то не понарошечное? И отчего волоса нет на смычках, а барабан мой вроде старой доски?

И еще замечаю: в самом темном углу зала — шкаф, величиною с целый орган, черный, огромный, затворенный, а в нем окошечко зарешеченное, и, если случается фальшь позаметнее, мелькает там глаз, мокрый и жгучий, ужасно противный, и спрашиваю я тромбониста, кто там? А тот молчит. Я к контрабасу — молчит. Виолончель — молчит. Треугольник — молчит. А флейта-пикколо пнула меня в лодыжку. Вспомнил я о совете старца и молча уже играю, то есть стучу. Вдруг скрип нестерпимый: отворяется Шкаф в Углу, и вылазит оттуда Некто Пятиэтажный, Черный как ночь, с глазищами что мельничные жернова, и между колоннами плюхается не примеряясь, будто в лесу, и, сидя, разглядывает нас мокро и жгуче. О мраморный зад музы спиной волосатой скребет, другая муза у него под локтем, ну и жуткий же этот углан, как глянешь, так по спине мурашки! Вот тогда-то и стала совсем пропадать у меня охота музицировать в Филармонии Гафния, потому что Углан как начал свой зев разевать, так все раскрывал его и распахивал, а по причине общей громадности и габаритов шло это дольше, чем мне того бы хотелось, в середке же было мерзко до ужаса — и клыки были мерзкие, и язык за ними еще

мерзейший, вертляво-слюнявый, и всадил себе палец в морду Углан Шкафач, и ну ковыряться там, без спешки, однако с усердием. Оглядываюсь — близ меня контрабас и труба, и тоже рот разеваю, чтобы спросить, кто, мол, сие чудовище, откуда и почему, а также зачем, и вообще — с каким смыслом? Но тут припомнились увещания старца, в голове зазвучало: «Что бы ты ни увидел ужасного — ни слова, ни звука, ни гугу», а потому, одумавшись, дальше играю, а поджилки трясутся, слабеют коленки. Различаю ноты, тараща глаза, но неотчетливо как-то, словно мухи наделали, не понять, где квинта, где кварта, пятнышки, кляксы, все расплывается, как сто чертей, — верно, черти и принесли эти ноты, думаю, и тишина воцаряется тактов на восемь, а в ней ах до чего отвратительный звук: едкий, сгущенный, муторный, зубодерный и глоточный сип раздается, Углан зевнул, зубами щелкнул, потягивается, хребет щетинистый трет о задок музы, выглянул из своего угла, принюхался, пыхом пыхнул, а потом и жрыкнул, да, да, жрыкнулось ему, в сей храмовой тишине, филармонически сосредоточенной, ужасно гадостный Жрык, но никто не видит ничего и не слышит! Сидят как ни в чем не бывало! А пополудни празднественный концерт,

и Государь Гармонарх восседает в ложе, окруженный вельможами звездоносными, и что-то в перстах оперстененных вертит, и сам себе в ухо изволит втыкать, напрягаю взор, а там золотая тарелка, Гармонарх шарики из ваты сворачивает, в маслах освященных смачивает и в уши сует! Совсем ничего не понимаю уже. А мы между тем в фортиссимо так пиловато пилим и так яровито наяриваем, что в окошке с решеткой блеснула как бы слеза, а Гармонарх велит портьеру задернуть, ибо пора ему за дела державные браться. Что же дальше? Господа игрецы! — говорит капельмейстер пенсноватый и бледный, надобно нам посовещаться, покритиковаться взаимно, поскольку это не то, а то не этак, побойтесь Бога — где вы, а где Гармония Сфер? вы же Гармонарха в ипохондрию приведете такой игрой! Совещание объявляю открытым! И в то время как я, не разобрав, что и как, все на шкаф зыркаю на всякий случай, они берут слово по очереди и встают, и начинаются длинные прения и дебаты, искрятся от жаркого пыла глаза, критикуется исполнение, смычки, инструменты, трубодеры не то и не так, пальцы неверно поставлены, выучки маловато, недостаточно репетиций, гимнастики не хватает, не усердствуем, коллеги, как надо бы, душу не

вкладываем; каждый сам к себе крайне суров, а уж к прочим не дай Боже, нитки сухой друг на друге не оставляют, — все, окромя тромбониста, треугольника и валторны, уж не ведаю отчего. И спорят над каждой нотой, как выжать из нее звучный сок; цель у них общая, я с восхищением слушаю, теорию всякий знает здесь досконально, словно по нотам идет совещание; я все слушаю и смотрю, но тень какая-то пала на нас, шкаф внезапно раскрылся, а там ОНО, черномшистое вшивое брюхо почесывает, палец запускает в пупок — не пупок, а Мальстрема воронка черная! И так вот, сопя, икая, почесываясь, сидит, колупает в носу — с аппетитом, расстановкой и сатисфакцией, озабоченно и сосредоточенно. И вдруг тишина наступает страшная, затем что встает коротышка, приставленный к колокольчикам, и заявляет по пункту повестки «разное»: Господин капельмейстер и вы, Коллеги! Инструменты НЕПРИГОДНЫ, следовательно, ничего получиться не может! Не спорю, с виду красивые, золоченые, однако беззвучные, для того что дефектные; гробы повапленные, да и только. Поэтому вотирую вотум, чтоб дали нам Настоящие, а эти в музей или куда-нибудь там в переплавку. И сел. — *Чта-а-а*? Чта-а-а?! Чта-а-а!!!??? — кричит

наш добряк в пенсне, лучший на свете. — Инструменты ПЛОХИЕ?! Не годятся? Не нравятся?.. На Объективные Трудности сваливаешь немощь и недотепистость собственную? Ах ты балбес-лоботряс, общего Дела предатель! Что за гнусное Диверсантство! Мерзавец такой-сякой, Подосланец-Поганец, и откуда ты такой взялся?! Откуда, как? Кто подсунул тебе Преступную Мысль? А может, у тебя заединщики есть? Кто еще мыслит так же? Тишина гробовая, а тут подлетает ливрейный Лакей-лизоблюдок и записочку ему вручает, и читает он, отодвинув листочек от глаз (поскольку в пенсне своем дальнозорок, дабы всех нас держать на виду), и говорит: Значит, так. Объявляю Перерыв, ибо вот мне Повестка ко Двору, на Министерский Совет. Как только вернусь, устрою вам Подведенье Итогов! А покамест труби отбой! Сидим мы и ведем разговоры, мол, скажите на милость, Ваша Смазливость… дело, вишь, тонкое… я, мол, в сторонке… и тому подобные замечания всю ночь напролет. Поутру являются трубачи-фанфаристы и зачитывают Гармонарший Манифест и Указ об имеющем быть специальном Научном Симпозиуме, на коем подвергнутся Комплексному изучению все препонствия на пути к Гармонии Сфер (Га.Сф.).

Тотчас нагрянула тьма меломанов, меловедов, мелодистов, звуколюбов и звучителей с высшей полифонической выучкой, сплошные проф. филар. конц., д-ра тих. муз., действительные академики звука и члены-корреспонденты, и все они шлют куда надо корреспонденцию с надлежащими записями. Сперва записали нашу игру на шестистах аппаратах, рассовав по инструментам микромикрофончики, а мне в барабан даже целый макрофон запихнули, опечатали ленты зеленым воском и красным сургучом, взяли пробы вибрирующего воздуха, осмотрели сквозь лупу нас и каждый угол, а после совещались семь дней и еще месяц. Точность анализов неописуемая! Еще не случалось мне видеть такое нагроможденье науки в одном месте! Все до деталей освещено и согласовано с надлежащих методологических позиций. Его Величество всемилостивейше взяло на себя Высочайшее Шефство над совещаниями, но лично в них не участвовало, а замещал его Вице-Министр Обоих Ушей. В последний же день осьмнадцать Деканных Ректоров хором зачитали Экспертолизу, составленную коллективно с полным исследовательским единомыслием: Комиссия, пишут, выявила отдельные Недостатки. Инструментарий не вполне Полноценен.

Там-сям, того-сего недостает, а кой-где еще — еще кой-чего не хватает; там заковырки, сям растопырки. Тут, в виоле, струны отчасти гипсовые, а там, в контрабасе, полно отрубей. Не так, безусловно, должно было быть, но так оно вроде бы есть. Тут тромбон заткнут, затем что попали туда чьи-то штрипки из пятидесятипроцентного хлопка с добавкой нейлона, второго сорта, а может, иные какие штряпки, короче, рекомендуем прочистку тромбона, а равно почитаем необходимым иметь возле тромбониста трубочистную щетку, дабы последний играл совершенно чисто. Клавимбалы же нашли мы в Целом Пустыми: в середке нет ничего, за вычетом Экс-Птичника для Гусей. Гусли: вместо гуслей обнаружены нами Гуси низкояйцеудойные, подвергнутые Пирометрическому, или Перомерному, анализу, поскольку Оперение затрудняет Гусям бряцание, в силу чего неспособны Гуси чистого звука иметь. Ergo, следует ЛИБО осуществить деперьезацию таковых, ЛИБО, учинив расход из королевской казны, гусельный инвентарь приобресть и гусляром оный укомплектовать, в рассуждении того, что нынешний гусляр по профессии индюкатор, или индюшник. Что же до Громкотихого Фортепьяно, то в нем две меры мышей хвостиками к

молоточкам привязаны, в силу чего оно Очень Тихо Поет, особенно ежели взять в расчет, что кормовой фонд Мышеводом растратно истрачен. Ежели не воспоследует Гармонаршего Снисхождения, в кандалы его. Что же до Треугольника, то должно быть ему Металлическим, а не Бубличным, хотя бы и на дрожжах. Теперь Контра-Басы. Главный Контра-Бас кувыркается при Пассажах, имея заместо Шпоры Шипастой Колечко, и, отъезжая на нем, увлекает, силой инерции, Контра-Басиста, который при каждом Бассо Дольче Профондо вынужден лететь вверх тормашками. И предлагает Комиссия: либо веревкой его, либо вырубить ямку, либо ремешком, либо заклинить, либо, наконец, произвести раскольцовку (расколечивание). Смычкам не помешал бы волос, вместо которого Экспертивные Знатели констатировали лишь Атмо-Сферу, т.е. смесь азота, кислорода и двуокиси углерода, со следовыми количествами благородных газов, как-то: ксенона, аргона и криптона, а также капелькой водяного пара. А равно чуточку Жидкой Взвеси, которая есть не что иное, как Отходная Производная Обкашливания и Заплевывания Игрецами Мундштуковин трубодувно-тромбонских. Тем не менее волос Комиссия полагает более пригодным

для играния, нежели воздух, в особенности же хорошо подходящим для Потирально-Трясушного ерзания по струнам. Таким вот манером тянется экспертиза на тысячу восемьсот страниц, и о барабане там тоже написано, а как же, не обошли вниманием мой барабан: доска размалеванная, колесом сучковатым подпертая; хоть и в золоте, да не барабан. И триста восемьдесят одно предложение разосланы в компетентные органы; в Министерство Труб, Тромбонов и заготовок Трень-Бреня, в Ведомство Сфер, Колоколен и Питейной Гармонополии, Вице-Премьеру по вопросам Безнадежного Положения, а также в Верховную Трубодерную Палату. Сам Лорд-Хранитель Басового Ключа рекомендации печатью скрепил. Как повскакали тут с мест оркестранты да как раскричались, раздискутировались!

Верно! Святая Правда! Не барабан, а обруч старый, пень корявый, навозом набитый; смрадом шибало, а все по причине то ли неведения, то ли нарочитого укрывательства! Флейты, альты, кларнеты, гобои, трубы закупорило, дрянь и хлам, прочь, долой, хотим развернуть извлечение звуков, о дайте, дайте же нам получше что-нибудь, и мы обязуемся заиграть! Тут тряпицей заткнуто, вот, посмотрите, тут мундштук страдает

непроходимостью, а тарелки из цементо-бетона, станиолью только обернутые, ну как этим будешь играть? Смотрю: я ли, они ли спятили, ведь с первого раза все было видно, и откуда горячность такая внезапная, ломаю голову и все не пойму, а в них пылает к музыке страсть и непритворная одержимость. И встает пианист, и, окинувши взором зал, говорит: Вот, пожалуйста, докладная записка, мною в прошлом году составленная, да недосуг было по почте послать; и читает: «Руководствуясь своим суверенным мнением, ради блага Га.Сф. решительно требую вместо Гипсо-Цемента внедрить Дерево, листовую Медь и Латунь, а также Струны звучно-кишечные! Вот что нам надобно, а от той дряни, что мы ныне имеем, не жди ничего, кроме чада!» Садится, чрезвычайно собою довольный, и во Круг, на коллег, торжествующе смотрит, а те шумят-гомонят: Точно! и я, и я, о, мы давно уж приметили, что опилки, и мыши, и цемент, и просто навоз, как и откуда во храме Муз, неизвестно, доложить собирались, усовершенствовать, да вот у меня болела нога, у меня были судороги, я охрип, я точь-в-точь то же самое написал, что пьянофортист, только листок задевался куда-то, а я еще рельефнее выразился, но из-за болезни ТЕТКИ… и все в таком роде,

наперебой, однако же вижу, Углан сидит себе в открытом шкафу на корточках, икает и чешется, трет ножищу о ножищу когтистую, ну прямо натуральный Гориллий; тогда я тыкаю коллег в бока, и показываю, и подмигиваю, вон, туда, мол, туда посмотрите, но те, разошедшись, ни малейшего не обращают внимания, в лестной надежде на лучший звук и жребий. И впрямь появляются четверками музицейские, галунами обшитые, кушаками белыми подпоясанные, и новые, дивные несут инструменты, теперь-то уж мы заиграем! Радость неимоверная! И новый пред нами предстает Капельмейстер, в очках роговых, ибо тот, пенсноватый, отправлен на Пенсию ради Выслуги Лет, и толкуют уже, что ему-де Перепонок Барабанных недоставало, так что ничего он не слышал. Отвинчивают прежнюю надпись и новую золотыми гвоздочками приколачивают: CAPPELMISTERIUM OPTISSIMUM [24], и снова за дело! Сперва, однако, Роговик сообщает: Прогрессивных держусь я принципов. Объявляю Дискуссию. Пусть каждый поведает о сокровеннейших думах, о том, что звучит у него на душе. Пусть откроется! Можете говорить без

---

**24 notes: 24**
лучший капельмейстер (лат.)

опаски, Дражайшие, никто у вас волоса не тронет на голове, никто не обидит, не надорвет ни раковины ушной, ни связки, ибо я не таков! В чем торжественнейше клянусь, и на Га.Сф. присягаю, и сказанное скрепляю Дирижерской Печатью под Управлением Его Всемилостивейшего Збасительного Величества!!!

И ну все сызнова взахлеб изливаться! Льется патокой красноречие, риторики мед — смычковцы, валторна, скребачи, трубодеры, да так смело, аж дух спирает; сообщают, что кто кому с кем и как, что творилось при пенснеце-дирижере; ох, и плохо же, слышу, о нем отзываются, никогда не пришло бы мне в голову, что они не любили его как родного, ведь сами же бесперечь перед ним в любви изъяснялись и чувства предлагали нежнейшие, — а те тугие конверты, не иначе как письма любовные, что совали в его перчатчатую ладонь? Сыновней нежностью дарили его и с носами расквашенными умилялись: он наш голубчик, наш батюшка, по заслугам колотит он нас, и на тебе, память его вовсю загрязняют, глухде как пень, а Контра-Басисты — что-де ручищи у него параличом искорежены и одно лишь умел он: лупить по глазам, а глаз-де имел он дурной, монструозный, и взглядом дырки выжигал в

барабане, что присутствующий здесь ударник милостиво подтвердить соизволит, — а я, в замешательстве страшном, под нос себе мямлю и бормочу, ведь зазорно так лгать, но вижу, что лгут они от чистого сердца, из чистого энтузиазма врут с три короба, и не могу надивиться, каким это образом непритворное благонравие, добрая воля и влечение к Лучшему могут марать себя такой обовранью, и лжепыханством, и выплевом слюнно-язычным? Ведь они уверяют, будто и порчу он наводил, и у мышей молоко из-за него пропадало, что был он косой, легавый, горбоносненедомерок, да еще плоскостопый, а как, мол, с Плоскостопием шествовать к Га.Сф.?!

А Роговик записывает, подпевает, вторит, однако вскоре затем, по возобновлении репетиции, вижу, Что-то к нам шлепает не торопясь, мы в мелодию пробуем спрятаться, но нависла от Лапы тень, и вот уже того Коротышку при колокольчиках, что первый начал, Цап за штаны, а другой лапой Контра-Басиста, что столько на пенснеца наохальничал, Хап за полу, и обоих, ногами болтающих, уносит Оно и в шкафу затворяется, и слышу я сквозь наше Анданте Маэстозо: Хруп-Хруп, Ням-Ням! Только мы их обоих и видели.

Играем, но разлезается играние наше, затем что

темень в глазах! Da capo al fine! [25] — кричит Роговик. Плохо, еще раз! Играем, вступает оркестр, по спине мурашки, полный звук и полный тон, но среди этих мурашек другие какие-то, немузыкальные, чувствую да вдобавок путаю ноты, а причиной тому глазотряс от беспрестанного зырканья в угол. Пошло форте, гремят медные, но словно бы пробирает их дрожь, а Гориллище шкаф отворяет, принюхивается, на пороге садится, зычно рыгает, знать, отрыгнулось ему Колокольником, о Боже правый, о Гармония Сфер! А от рыгания — от чего же еще? — съехали в фальшь смычки, а пианист как забарабанит по клавишам, вкривь, вкось, в тряс, в дрожь! Морщится роговой Капельмейстер, словно лягушку проглотил, ох, плохо, такие инструменты, а запороты, скверно, мерзопакость, не музыка, и не совестно вам, лоботрясы, лодыри! еще раз! И раздает нам руководящие исходящие из-за пюпитра, и витамины, и смеси питательные, и приносят заграничный канифолий в бочонках, нарочно выписанный, не жалеет расходов Его Величество Гармонарх, но снова фальшь вкривь-вкось, и вот уже Непременную Ученую Комиссию учреждают.

---

**25 notes: 25**
с начала до конца! (ит.)

Заседает Комиссия, и что порешит, то мигом и исполняется. Входят четверками музицейские в позументах, становятся справа и слева от нас, и кто сфальшивит на фа-диез — премию прочь, а кто на бемоль — вычет из жалованья. И играем мы форте, но фальшь, и по шее трахают нас музицейские, ибо каждый снабжен метрономом и акустрофоном, и от всеобщего траха слабеет симфония, и слышно скорее трах-тампамтрах, чем тирлим-пампам; вижу, в лютую я попал переделку из-за тяги к Гармонии Сфер — вся голова в шишках…

Мало музицейских! Подтягивают резервы, нотоведов-счетоводов несчетные полчища, ко всякому игрецу приставляют поверщика, чтоб за чистотою звука следил; сверяют они тональности, приход и расход и баланс мелодий, строчат, и от скрипа перьев музыки меньше, чем котенок наплакал. О, что-то не так! — говорит роговик-капельмейстер, — не так! И колокольчиков нет. Где Колокольник, куда подевался? Те, что подальше, в смех, а ближние на корточки и бормочут: а ведь нету, действительно нету, испарился он, что ли, а? Может, упорхнул на мелодии? Что скажет начальство? Скверно, понимаем, что скверно! Злобарь, густобрех, балабон, ящереныш, стрека-

нул, ренегад, собака, стреньбрендил, и прочее.

И устраивает нам дирижер совещание с практическими занятиями. Нужно до самых корней дрожальной фальши добраться! И все вокруг признают: Что-то и вправду нам как будто препятствует. Что-то, мол, портит обедню. И что это, дескать, за фантазмы-миазмы мешают нам и с пути к Га.Сф. сбивают? Контра-Басист говорит: Быть может, воздушной вентиляции не хватает? Виолист на это: Полагаю, напротив, что слишком сильный сквозняк. Или, может, уж очень я виолу свою завиолил, оттого она и виляет? Моя вина! А другие бормочут: Возможно, как знать, проверим весь зал, все углы и все эркеры, может, мыши завелись, может, их-то и боится интуитивно подсознание наше? И начинаем искать сквозняки, вентилюфты, затыкаем всякую щель, и мышей тоже ищем, с лупами, на четвереньках, и наконец сыскали трех тараканов, одного паука, шесть блох да вшей пару дюжин; ободренные этой находкой, протокол составляем и давай искать дальше, теперь уже с фонариками электрическими, под эстрадой и во всех закутках, но замечаю, никто не придвигается к Шкафу ближе, как на шесть шагов, я тоже на корточках лазаю, углы обнюхиваю и словно бы ненароком направляю

толкучку, себя вместе с прочими к Шкафу подпихиваю, а там словно бы электрошок, дальше ни на вершок, все единым трясом назад, как черт от ладана, приборматывая: Ага, стена. Известное дело, стена, самая что ни на есть стеночная, в такой, окромя кирпича да песка, штукатурки да извести, нечему быть! А когда я попробовал, приналегши, подтолкнуть их, кто-то, чую, меня отпихивает, а кто-то и в зад укусил. И вот уже откатились мы на более спокойное место. Да еще при откате кто-то всадил мне в глаз палец. Стал я смекать, что они, превосходно все замечая, не замечают вообще ничего, видя все ясно, ничего не видят, и, весьма удивленный такими порядками, удалился на четвереньках.

Играем, а Гориллий хозяйничает. Раз того, раз этого Цап, ну, думаю, не много будет тут музыки, а скрибка рыдает «ах траляля», да и как не рыдать, коль в любую минуту тебя может зев поглотить зловонный? Мы пианюсенько-пианиссимо, и глаза уже застилает туман, а тут смрадный дых «пых-пых» за спиной, ноздри над нами сопят — что Оно, в музыку внюхивается, по варварской натуре своей и общей неудобопонятливости? или как? И что с того, что звучны инструменты, ежели Гориллище нас дегустирует да пробует на

зубок? а Гармонарх является в ложу и говорит: Ну, хорошо. Мелодия, в целом, вполне мелодична, и довольно-таки гармонична гармония, но духа в ней еще не хватает. Без Веры Играют, наперебой, нет тут ни ладу ни складу, Не Убеждает ваша игра! И к тому же какая-то дрожь поросячья. Это что за озноб трясучий в музыке вашей засел, изнутри симфонию портит? А ну-ка, вытребовать мне Искусных, а прочих вон со двора, и вообще, живей у меня — гитарить, здрунить, скрибеть, мандолинить, тромбонить, но в такт и в тон, а не то Гармонарх осерчает! Набрался я тогда смелости и в перерыве между Анданте и Аллегро Вивaче говорю Басисту, что рядом сидел, и крупный его инструмент обоих нас загораживал: Послушайте, Ваша Честь. А он мне: Что? Я: Зрите ли нечто в том углу, близ Гармонаршей Ложи? Он — ни звука. Я: Ужели Углана не примечаете? Не может такого быть! Видится мне Гориллище вылитое! Ведь это от него на нас смрадом разит! Вот и опять икает! А тот — ни звука, но вижу: словно бы расплывается фигура его перед моими глазами. Я говорю: Ведь вы, ваша честь, ни бельмом, ни двойной катарактой не покалечены, и имей вы даже застарелые мозолины на глазах, довольно было бы потянуть носом и собственно-

му нюху довериться, чтоб зловонье почуять. Ведь над нами не купола тень, но Носа Гориллиева, а это не столб, но клык, и всех нас оно пожрет одного за другим! Тот — ни звука, только перед моими глазами весь расплывается, и вижу, что это Дрожь его одолела. Страшливость трясет его и колотит горячечно, однако он отвечает: По чести, вы играли изрядно, однако когда я дохожу до Трели-мели-дири-будидам, вы должны не Дуда-дадапам, но Бум-дум-бадам! Однако, слыша эти его слова, одновременно слышу я и другие: Бога ради, молчите, сударь! И если одно говорит он устами, то другое словно бы низом, примерно от пояса, и вижу, что это он, значит, брюховещает! А теперь, молвит он верхом, хватит лясы точить, пора за работу…

Присматриваюсь получше и вижу, что всякий здесь так: кругом всеобщее брюховещание процветает, а я-то думал, что это урчанье-бурчанье со страху! Стал я все ниже и ниже вслушиваться, и на уровне живота слышимость много лучше. И говорят животы: Ох, долюшка-доля, была б наша воля! Эх, давно бы все по кустам разбежались от этой Гармонии! И шепчут животы: Онучи Збасителевы черти похитили, пусть себе портки обмочит, не сыграть нам, как он хочет. А также:

Тише, тише, ваша честь, Кто-то Страшный ходит здесь, фигли-мигли-шмогли-швах, только хрупнешь на зубах. И судачат промеж собой животы: Что за чудная игра идет здесь на нервах наших! А один живот говорит, авось мы ему приедимся, или, может, со временем перейдет Оно на вегетарианство, мол, время смягчает нравы, но прочие животы тотчас же на него разбурчались. И одновременно восклицают верхами: Что ж, недурно, почти что дивно сегодня, только бы поскорее до Га.Сф., только бы поскорее… пусть смычковые от темпа не отстают! Или плохо нам тут, ламца-дрица?! И вижу еще, что у всех какие-то занятия на стороне, один на гребенке премило дудит, другой на травяном стебельке комплименты насвистывает, тромбон собирает марки и слезы оными утирает, кто вышивает монограммы, кто языки изучает, как вдруг шлеп-шлеп, и идет Гориллище, страх смертный, но Оно только травку, гребенку, марки забрало и в шкафу Хруп и Ням-Ням. При оказии тромбон получил тычка, примочкой свинцовой и творогом глаз подбитый обкладывает, и вольно же было ему, говорят животы, об онучах этих мычать, лучше б за место свое покрепче держался, чем животом хорохориться! Тише, тише… И впрямь

так тихо шепчут, что не знаю, чье это брюхо вещает, валторнист продает таблетки от нервов и головной боли. Басист ловит моль, что завелась в барабане, треугольник учит, как чесаться между лопаток и ниже, тогда-де мурашки не столь докучают, иные друг на друга доносят, мол, в нотах фа, а он фа-диез, капельмейстер требует чистоты лейтмотива, бемоль, дуралей, «бе-е-емоль», или партитуры не видишь? — подымается пыль, это смычковые перелягались из-за бутылки для играния частным образом, на стороне; мелодия замирает, как писк мышиный, а может, и вправду мыши, иначе откуда здесь пикий диск, то бишь дикий писк? О да: фальшь сплошь, так и идет, от скуки до дрожи и от скулежного хныка до тряса, с утра инструменты драим тряпицами, канифоль в ход, замшей барабан до полного блеска, и вот прибегает лакейчик и Роговатому записку сует, а тот: Ага, говорит, вызван я на Министерский Совет в связи с Главнейшим Руководящим Мотивом, поскольку нечисто играете; репетиции откладываю до вечера! фагот, который как раз ему конверт подавал — уж такой тут обычай, — как будто раздумал: прячет конверт в карман и спешит обратно. И новый пришел дирижер, востроглазый такой, без очков, и при нем дозна-

лись комиссии, что тромбон припрятывал звук подобротнее и не расходовал по надлежащей статье, за что и был переведен в Ложу и назначен Вице-Министром Считанья Ворон, у арфиста же выявили сухорукость, и оказалось к тому же, что нот он не знает, а потому перебросили его на фортепьяно, чтоб не слишком переживал. Снова явилось Гориллище на инспекцию, я смешался и как бабахну фортиссимо, не по барабану, а по мозоли мизиночной, о Боже, Боже, рябь в глазах, ноги врозь, пятки вкось, а все оттого, что слышу Шлеп-Шлеп, Хруп, Ням, зыркаю глазом — нет уже, нету флейтиста! И слопало Оно его посредине Гала-Концерта, пред Гармонаршим Величеством, в алмазном сиянии люстристом, и Августейший Збаситель не в пижаме, но в Горностае сидел, как же так, себе думаю, прямо на глазах Гармонарших смеет нас уплетать, ну, теперь-то уж быть не может, чтобы не заголосили они, чтобы хором не завопили, может, падут на колени, может, кинутся вроссыпь, может, всем скопом на Чудище, но чтобы совсем ничего — никогда не поверю. Но то-то и есть, что ничего! С этого все и пошло, потому что так приуныл я, что больше по коленкам и по мозолям своим лупил, нежели по барабану, и от такого битья начала во мне закипать великая

злость, чувствую, еще одна капля, и не стерплю с таким капельмейстером, право слово, все одно пропадать, разрази меня ржа, мало того, что жизнь веду без надежды и милосердия, так еще и без музыки, ну какая же музыка с Гориллищем над душой. Струны бы перерезать этим смычковым, и динамиту в трубы, в валторны пороха и фитилей, да где там, пилим до самого вечера.

Но снова Придворный Концерт, Оркестр жарит и шпарит, а Гориллище, присевши на корточки, ищется у всех на глазах, в бездонной морде своей ковыряет пальчищами, и если сморкнется, так сморкота дождем на нас, и темень, как в майский ливень, а коли кашлянет, так словно гром громыхает, оркестр перекрывая в форте, а те все играют. Скрипка стенает, изнемогает валторна, тромбоны дудли-дудли на бадудли, ан прямо передо мною лапища волосатая Цап, и нету Басиста, хоть и берегся он, и стерегся, так что же это за музыка, ежели все мы — Миска с Закусками? а Гармонарх в ложе сидит, веерами обмахиваемый, венками венчаемый, глубоко почитаемый, и говорит он сквозь зубы: Не та еще музыка, что должна быть. Нет еще Веры, Правды, Надежды, Любви, нет Гармоничной Темы Истории! Выше, смелее, вперед, почему Капель-Мейстер так мерзко размахи-

вает, хотя Без Очков он и Востроглаз?! Быстрее! Лучше, резвее, ибо Гармонарх недоволен, маловеры проклятые! Как смеете вы сомневаться в Га.Сф.?! А? Или, может, поглубже копнем? Что? Пусть всякий смело, напрямик, без боязни и без Опаски откроется Нам, ибо Мы Всемилостивейшее Величество, Веры и Доверия Августейший Сосуд, пусть же встанет и сбрешет собака этакая, этакой сын, с какою он целью Совершенство подтачивает да подкапывает? Мы ему ничего на это, мы его уговорчиками-ликерчиками, мы ему добром растолкуем, где раки зимуют! Тишина, как в могиле, замерли все, только Гориллище вдруг ХАБДЗИХ И ХАБАБДЗИХДЗИХДЗИХ!!! Зал задрожал, и стон испустили колонны мраморные, и эхо в моем барабане отозвалось, и даже упала щепотка известки на Высочайшую главу Гармонарха Збасителя, и пылью припорошило царственный лоб. Но король словно бы ничего не заметил. Не слышал, не шевельнулся даже. Игрецы вколенились коленками в грудь при громовом громыханье этого Чиха, а король хоть бы что. И думаю я: О, страшная это, похоже, афера! Не может Сам Гармонарх Угланского не видеть Гориллища, однако ж не видит. Не мог он на собственном царственном лбу не почувствовать

Извести Штукатурной, однако ничего ровным счетом не чувствует. Так что ж это значит? Кто хозяин, кто слуга? Неужто Гориллище — Клыкастый Капельмейстер Збасителя? и на закуску его оставляет, приберегает на сладкое? Или же оба тайным альянсом связаны против нас? Ничего не пойму, одно только знаю: дать бы Драпа, да поскорее, но как?

После второго отделения, в перерыве, выходит Гориллище из Шкафа и между нами прохаживается. Скука, что ли, его одолела? Открывают совещание, и пошли игрецы балаболить, требуют слова, принципиальную наводят критику, а Гориллище у одного обнюхало уши, другому галстук поправило, у третьего слопало текст доклада и тотчас, сконфузившись, присело на корточки, а на ходу сплевывало в плевательницы серебряные и наплевало — может, и по ошибке — в тромбон. А балабольные златоусты по-прежнему мелют о Га.Сф., даже пот струится со лба, играть — увольте, играть не могут они, зато сколь чудно, с каким вдохновеньем и верой в Га.Сф. способны о совершенстве игры толковать! Когда же мне балабольство ихнее и хожденье, сопенье, почесыванье Гориллиево под последнее саданули ребро, случилась со мною одышка, и мрак в

глазах, и попросил я слова: а Гармонаршье Величество из ложи приглядывалось ко мне, затем что курировало Совещанье и лично оное почтить Соизволило Высочайшим Присутствием. Встал я с такою сентенцией, что, ежели б описания музыки имели свойство звучать, непременно распростерлась бы в Гафнии воплощенная Сфер Гармония; и чую отчаянность в себе небывалую, и во всеобщем Silentium [26] говорю громко: А что это за чудище-ублюдище шастает и слоняется здесь на каблукастых ножищах, и шлендает, и топочет, и тошноту наводит одним только видом? А по какому такому праву сей Шкафный Углан беспрестанно в музыке нашей шарит и оную сквернит своею сквернотиной, а также обжорством? А слыханное ли дело, музыкантов почтенных сырыми жрать, да так, что уши чешуйчатые трясутся, а кадык ходуном ходит? А где это видано, чтобы были Комиссии и полные доктора тих. муз., ученые экспертизы, и ревизоры, и контрревизоры, и микроскопов скопища, и никто ничего, ни гугу, все на корточки да на корточки? А раз так — я, тут и теперь, заявляю: Veto [27], Государь Гармонарх, и

---

**26 notes: 26**
молчании (лат.)

**27 notes: 27**
запрещаю (лат.)

Veto, государи-собратья, и Veto еще раз, нету согласия моего на тебя, Гориллище Гнусное, и пока ты здесь, дерьмо у нас будет, а не Гармония Сфер!!!

Что тут было, милостивые государи! Одни силились влезть в инструменты свои и там укрыться, но вам понятно, я полагаю, что если это еще входило в расчет в случае контрабаса или пьянофорто, то о флейте нечего и говорить, а уж треугольщик, вконец ошалев, пролез в треугольник, и тот висел на нем, словно ошейник, позванивая от зубов его щелканья. Другие же залезали под стулья или царапали пол, чтобы вырыть хоть ямку, но при дубовом паркете какая может быть ямка для страусиной политики! Медник-тарельник, зад заслонивши тарелками, бумкал в мой барабан головой, так его в середку тянуло, однако же импортная добротная перепонка выдержала. Капельмейстер, чтобы меня перекрыть, лупил во всю мочь по дирижерскому пульту, с поросячьим взвизгом «анданте анте ранте адаман-те таяте», ибо все уже у него смешалось, а Его Величество Гармонарх из Ложи своей, почитаемый великим почетом, зашептал что-то быстро лакеям и челяди, и давай они портьеру задергивать, дабы та парчою, Дамаском, тисненьем гербовым отгородила от нас короля, а Гориллище

сперва хоть бы что, трескает только да чавкает, жрыкая, — все ему арфистом отжрыкивалось, который был жирен и тучен весьма, — а потом, приподнявшись, как забасит, хрипло, мерзко и рыковато:

— Ка-блу-ка-стый? Это кто же? Мо-я-свет-лость?! Ах?! Мне ли тут по-о-хо-хо-хо (заплакал) зор учиняют? Меня ли тут в чем-то ду-у-ху ху-ху (заплакал) рном обвиняют? И никто меня ни сло-о-хо-хо (заплакал) овом единым не защитит? Проклятье! Спасите меня, детинушку-сиротинушку, меня тут шельмуют, мне тут афронт, мне тут обида, мне тут поношение, худо мне тут, я к мамочке, к нянюшке хочу! О-хо-хо-хо! У-ху-ху-ху! (рыдал уже грозовым водопадом) — ты мерзкий вшивец-паршивец! Би-ток не-куль-тур-ный! Баклуш-ник! О-хо-хо! Не любишь меня! А я-то думал, что все меня тут, все до единого любят.

Сначала я было речи лишился от удивления, но после собрался с духом и говорю: Сударь Гориллий! Поистине, трудно любить того, кто Угланом Шкафонским из укромного Шкафа то и дело жутко вылазит и рыскает, словно рысь меж овец, кости ломает, тромбонистов жрет, флейтистами закусывает, а потому невдомек мне, как это ты не видишь каннибально-музыкального

своего лиходейства? А вы, — говорю, — господа грамотеи, фрачистые, табачистые, бородатистые, и ты, черно-смокинговый доктор тих. муз. с трубкой, — не научная ваша наука ученая! Метрономов тут понаставили, резонаторов, абракадабр и альфацентавр, муку рассыпали в воздухе, чтоб зависала, летая, и Стоячих Волн выявляла узлы! Экспертолизы строите, тон и такт метром меряете, а Гориллища не видите! А Его Величество Гармонарх пусть изволит занавесь свою отзанавесить и некоторым образом растолковать, на каком таком основании допускается здесь сыроядение на месте, а также на вынос в Шкаф?! Ибо вошел я в азарт и мне уже все едино. Ученые, вижу, достают тюбики с синдетиконом и пробуют Специальными Словами отделаться, как-то: Delirium Tramtadremens, или Бред Колотунский, Psychopathium Musicales cum Hypnagogica Confusione Debilitatissima [28], но Гориллище как зарычит! Слезы горючие льет, и ручьями текут они по ступеням амфитеатра; а потом как махнет одним махом горилльским к Збасительской Ложе, как на шнурах повиснет да как вцепится в дамассковую парчу, — тут уж

**28 notes: 28**

Музыкальная Психопатия с Наводящей Сон Путаницей Глупейшей (лат.)

сам Гармонарх изрядную Конфузию выказал, в углу на корточках съежился и чрезвычайную ведет консультацию с Советом Министров, а Гориллище морду в Ложу сует и: спасите, В.Величество! — восклицает, — спасите меня, горемыку ославленного, а не то я пойду и уже не вернусь!

Вскочил Гармонарх при этих словах и криком вскричал: Только не это, ах, не это, Надежа ты Наша, Опора, Дружок Любезный, Только не ЭТО! Сделай же сам, сам знаешь что, изволь понять, Милостивец, что Нам сказать такое в Мягкосердии Нашем, Многажды Царственном, не пристало, а тебе ничего не стоит. — А вот нет же! — Гориллище отвечает, носом жутким пошмыгивая, так что сопли текут по страховитым щекам, — вот нет же! То, что делал я, — делал на службе В.Величества, согласно персональному списку. Нарочным из Ложи доставленному через Окошечко Шкафное, выхватывал я строго по предписанию и согласованно потреблял, однако Весьма Неохотно, затем что я Игрунишками Брезгую и, жизнью клянусь, ни единого в рот бы не взял! Всех до последнего ел с отвращеньем, наперекор своему Естеству, себе вопреки, единственно ради Трона, Отечества и Высших каких-то Сфер, ибо я Углан неученый и на знаю, как их там звать, и желудка, здоровья,

печени своей не щадил, хотя от провизии этой прогорклой желчь запеклась, и расстройство случилось, и жжет беспрестанно изжога, однако же я беззаветно стоял на посту и поэтому требую, чтобы оный Облыжник со своею Гремучкой за шельмование Персоны моей, по природе добропочтенной, добродушной и преданной, немедля был В.Величеством собственноручно по заслугам наказан, а не то я пойду себе прочь, и увидите, В.Величество, что останется от Музыки Вашей!

И ну Гармонарх умолять да упрашивать, гладя преподобными своими Руками Чудище по мохнатому лбу, а Углан Шкафарь, на портьере повиснув (которую оборвал он вместе с частью деревянной обшивки), — отказываться, да препираться, да пикироваться, усиленно акцентируя ранимую деликатность своей души, так что я от изумленья опешил. А Гармонарх шепчет: Знаешь что, Любезный Оплот Наш, Верно Нам Преданный? Мы пока временно Облыжника этого, вместе с поклепищами его, всемилостивейше помилуем, и Мы ему Crimen Laesae Gorillionis [29] на время простим, имея в виду, что он немедля и безусловно свои клеветушные враки обратно врыгнет, признает

---

**29 notes: 29**
нарушение закона об оскорблении Гориллия (лат.)

свое негодяйство и собравшимся разъяснит, что действовал в качестве Диверсионария, подстрекаемого иззарубежно, за серебреники Иудины, и заданье имел Мелодию Обляпать, а Гармонию Сфер облевать и через то уничтожить! Говорит, а сам Шкафону вовсю подмигивает, и смекаю я с лету, что такое прощенство не более чем отсрочка казни, и восклицаю, барабаня в цезурах: Чудовище собою чудовищно! Чудовищности полно, как вошь меда, и смердит к тому же, как Сто Чертей! И даже если б никого не жрало, а только икало да в углу угольно угланилось, от одной лишь вони Игре Труба! Так говорю и ничего не врыгну, разрази меня Барабан!

Полный тупик.

Оркестр вылезает из контрабасов, тромбонов, фортепьян, из-под диванов, одни еще уши по инерции затыкают, другие уже подымают головы, а животы их, будучи посмелее, хотя и лежат плашмя, отзываются: Это факт, жрал, жрет и, кто знает, может и дальше будет нас жрать! И в самом деле, такое пошло, что Господь сохрани! А Гориллище, как сапог тупое, не поняло хитрости, укрытой в речи Збасителевой, и говорит: Ах, ох, мне тут обиды чинят, я тут полжизни убил на таком горболомстве и вот что получаю в награду,

хватит с меня шельмования, иду себе прочь и дальше, куда глаза глядят!

Позеленел на это король. — Ради Бога, — восклицает в крайнем отчаянии, — а что же будет с Га.Сф.?! Не забывай, Любезный, о Гармонии Сфер, ведь мы к ней всем миром, плечо к плечу, а Ты соль движения этого…

— Э, там, — отвечает Гориллище темное, — я свое сказал, а теперь пусть Ваше Величество грызется само с музыкантами!

И прямо к дверям выходным разворачивается. Гармонарх при этих словах сам мартышкой сползает в партер по портьере и вприпрыжку за ним, плачась в плащ и жилетку. — Единственный, милый мой, верный! — кричит. — Не покидай Нас! В распыл Колотушника пустим, только вернись и прости!

Гориллище туда, Гармонарх сюда, и пока они так меж колоннами кризис правительственный исполняют, пока Министерский Совет за ними гоняется, а над Обер-Порученцем для Интересных Положений оборвался шнур золотой с кистями и по голове его шмякнул, каковую гармономедикам пришлось немедля сшивать, словом, когда такой учинился гвалт, я вдоль стенки к алебардистам, а те, заглядевшись на притопы королевско-углан-

ские, ничего не видят вокруг, я за ручку дверную, и в сени стремглав, и, мимо инструментов чудесных, к внешним отворенным воротам, а из оных выбежав, государи-братья, такую Тягу почуял, что без форсажа, больше скажу — вообще без ракеты взял и взлетел, только меня и видели, однако ж по курсу не смог удержаться, так меня колотило, и врезался в какое-то Облако, крайне холодное, и сделалось мне даже приятно, разгоряченному; потом зазнобило изрядно, но с разгону свернуть я уже не мог и вмерз в охвостье оной кометы, леденея и всякое теряя сознание. А что было дальше, до самого пробуждения, ей-ей, не ведаю!

Закончив, барабанщик прижал к груди милый ему барабан и как будто лишь для себя самого да еще для муз тихонько пробарабанил экзотический, унывный мотив. Слушатели зашевелились, и наконец Трурль сказал:

— Необычайная это была история, и я рад, что волею случая удалось мне такого артиста вызволить из ледовой тюрьмы! Я знал, о, я был уверен, что мы проведем время с немалой обоюдною пользой, поскольку каждый из нас, будучи родом из разных краев, может наставить и позабавить других по-иному — ведь наставленье с забавою нераздельны! Но теперь твой черед, почтенный

Андроид, так что изволь рассказать нам, какими судьбами попал ты на скромную нашу планету…

Андроид не стал отказываться, а только заметил, что его история не может сравниться с историей барабанщика, ибо он не артист. Тут барабанщик, Трурль и машиненок принялись его уверять, что достоинство различных жребиев не поддается сравнению, так что гость, поупиравшись немного ради приличия, отхлебнул из бурдюка, откашлялся и начал рассказывать.

### Рассказ Второго Размороженца

С радостью предстаем мы в собрании столь благородном, дабы поведать нашу историю, хотя она и является государственной тайной. Мы откроем ее, движимые благодарностью, которая выше соображений государственной пользы. Эта полная замерзшей цикуты чаша, которую добросердечный Трурль вылущил из нашей окостеневшей десницы, должна была лишить жизни не одно существо, но целые миллионы. Ибо мы не тот, за кого вы нас принимаете. Мы ни робот, ни хандроид, что легкомысленно прибег к яду, ни, наконец, простейший, именуемый чиавеком, хотя с виду и впрямь на него похожи. Но это лишь видимость. И мы говорим о себе

во множественном числе не из-за претензий на Pluralis Majestatius [30], но по грамматической исторической необходимости, которую вы уясните себе к концу нашей истории.

Началась она на блаженных побережьях планеты ЖИВЛЯ, прежней отчизны нашей, прозванной так по причине своей живоплодности. Там-то мы и возникли, способом, о котором не стоит особенно распространяться, ибо Природа употребляет его повсеместно, питая извечную склонность к автоплагиату. Из моря ил, из ила плесень — известная песня, из плесени рыбки, что повылезали на сушу, когда стало им тесно в воде; испробовав тьму всяких штучек, где-то по дороге они озверели, и возникшие таким способом ПЕРВОЗВЕРИ доковыляли до прямохождения, а затем, отравляя друг другу жизнь, до разума, ибо разум заводится от забот, как чесотка от зуда. Иные из первозверей позалезали потом на деревья, когда же деревья высохли, пришлось им в немалом горе слезать обратно, и от этого горя они еще поумнели — увы, на вероломный манер.

Не стало древес и постной пищи, и вышли они на охоту; и как-то один из них, грызя окорок,

---

**30 notes: 30**
обращение во множественном числе к августейшим особам (лат.)

заметил, что у него лишь голая кость, а у другого есть еще мясо, и заехал он тому костью по лбу, и мясо забрал. То был изобретатель дубинки.

Через неизвестное время после того появился Завет. О его происхождении живлянская мысль выдвинула восемьсот различных гипотез. Мы же считаем, что Завет появился, чтобы несносное житье сделать сносным. Скверно жилось нашим праотцам, и были они на это в обиде — но можно ли быть в обиде на Никого? а значит, в каком-то, чрезвычайно тонком смысле, Религию породила у нас грамматика, подкрепленная воображением. Если здесь нехорошо — хорошо где-то там, подальше. Если такого места найти нельзя — стало быть, оно там, куда не дойти ногами. Ergo, могила — это копилка. Положив в нее праведные кости, на том свете за воздержанность получишь с лихвой — в вечностной валюте с Господним обеспечением. Однако втихую праотцы наши нарушали этот Завет, полагая не вполне справедливым, что самое лучшее зарезервировано для покойников. Теологи опровергли эти сомнения тремястами способами, о коих мы умолчим, а то нам и тыщи ночей не хватило бы.

Предки наши облегчали свой тяжкий труд всяческими штуками и махинациями, от которых

пошли махины, махавшие за них цепами, ну, а где цепы, там и колеса, а где колеса, там и биты — я упрощаю, конечно, но иначе нельзя. Смягчая так мало-помалу свои невзгоды, они попутно узнали, что Живля шаровидна, что звезды суть узелки, на коих закреплен небосвод, что пульсар — икающая звезда, а живлян породил ил (это удалось даже воспроизвести в особливых выводильнях через каких-нибудь тридцать тысяч лет от высечения огня).

Итак, телесный труд был отдан на откуп всяческим самодвигам, которые при случае годились и против соседей; однако еще оставалась тяжкая умственная работа, а потому измыслили мы мыслящие из нас механизмы, как-то: мыслемолки и мысльницы, перемалывающие мир в цифры, а потом отделяющие зерна от плевел. Сперва строили эти машины из бронзы, но за ними приходилось приглядывать, что также утомляет; поэтому вывели мы из обычных зверушек цифроядных мыслюшек, что жили-поживали себе у желоба, предаваясь запрограммированным компьютациям и медитациям. Так доработались мы до первой в нашей истории безработицы.

Освободившись от тяжких трудов, имея множество времени на размышления, приметили мы,

что не все идет так, как должно бы: ведь отсутствие нужды — еще не блаженство; и принялись мы практиковать Завет наизнанку, вкушая каждый из помянутых в нем смертных грехов уже не с трепетом и не втайне, как встарь, но вызывающе, явно и с возрастающим аппетитом. Опыты показали, что большая часть оных не особенно привлекательна, так что на заре Новой эры мы всецело переключились на грех, обещавший больше всего, а именно грех Облапизма, или Ложства, с такими его разрядами, как Чужеложство, Многоложство, Самоложство и прочие. Этот довольно-таки убогий репертуар мы обогатили рационализаторскими идеями; так появились облапоны, любвеобильные суперлюбы, половицы — пока наконец каждый живлянин не обзавелся в своем содомике полным комплектом блудных машин. Церкви, отнюдь не одобряя происходящего, закрывали на это глаза, ибо на крестовых походах давно был поставлен крест. По части прогресса лидировала первая держава Живли, Лизанция, которая крылатого хищника в своем гербе заменила, путем плебисцита, Порноптериксом, или Блудоптахой. Лизанцы, купаясь в благоденствии по уши, распускали все, что еще не было совершенно распущенным, а

остальные живляне тянулись за ними по мере местных возможностей. Девизом Лизанции было: OMNE PERMITTENDUM [31], ибо всехотящая вседозволенность лежала в основе ее политики. Только живлянский медиевежда, что перелопатил наши средневековые хроники, сумел бы понять всю неистовость сокрушения прежних запретов: то был реактивный выброс в направлении, обратном стародавней аскезе и набожности. Однако же мало кто замечал, что живляне по-прежнему следуют букве Завета, хотя и навыворот.

Писатели прямо из кожи лезли, основывая грехопечатни, дабы наверстать многовековую отсталость, и печалились только о том, что никто уже не преследует их за смелость. Гимн молодежи, шествующей в первых рядах радикалов, звучал, сколько мне помнится, так:

*Кирпично-медным*
*Сияя лбом,*
*Мы маму – в яму*
*И кол вобьем.*

*Потом на папу*
*Наложим лапу,*

---

**31 notes: 31**
все дозволено (лат.)

*Сдадим на слом.*

*Сдохни, мать!*
*Папаша, сгинь!*
*Папе с мамою Аминь!*

Умственная жизнь процветала. Из забвения были извлечены труды некоего маркиза Де Зада; они стоят особого разговора, поскольку повлияли на дальнейший ход нашей истории. Двумя веками ранее палач изгнал Де Зада как мерзавтора-писсуариста; его писания предали огню — к счастью, предусмотрительный маркиз заранее заготовил копии. Этот мученик и предвестник Грядущего провозглашал Сладость Гадости и Святость Греха, и притом отнюдь не из эгоистических, но из принципиальных соображений. Грех, писал он, бывает приятен, но грешить надлежит потому, что это запрещено, а не потому, что приятно. Ежели есть Бог, следует поступать назло Ему, если же Его нет — назло себе: в обоих случаях мы выказываем всю полноту свободы. Поэтому в романе «Кошмарианна» он выхвалял копролатрию, то есть культ дерьма, освящаемого на золоте под звуки благодарственных песнопений, ведь если бы его не было, объяснял он, следовало бы его непременно выдумать! Несколько меньшей

заслугой представлялось ему почитание прочих отбросов. В вопросах семьи он был человек принципов: семью надлежало извести под корень, а еще лучше — склонить ее к тому, чтобы она сама себя извела. Эта доктрина, извлеченная из глубины веков, была встречена с восхищением и почтением. Лишь простаки цеплялись к словам, утверждая, что Де Зад ПРЕДПОЧИТАЛ помянутую субстанцию родным и близким, но как быть, если кому-то милее все же семья?

Лицемерие этих критиков изобличили задисты, ученики и душеприказчики маркиза, опираясь на теорию доцента Врейда. Сей душевед доказал, что сознание есть зловонное скопление лжи на поверхности души — из страха перед тем, что в середке («Мыслю, следовательно, лгу»). Однако же Врейд рекомендовал лечение, вытеснение и окончательное прекращение, тогда как задисты призывали к демерзификации путем наслаждения до пресыщения, а потому учреждали выгребные салоны и тошнительные музеи, дабы там потрафлять себе и своим ближним; помня же о заветах Де Зада, особенно культивировали эту последнюю часть тела. Как говаривал видный активист движения, доцент Инцестин Шортик, кто задов не знает, тому и наука не впрок, а жив-

лянин-де задним умом крепок. Поскольку тогда уже много шумели об охране среды, задисты загрязняли ее сколько было мочи. Кроме копрософии волновала умы футуромантия. Пессимизм, столь модный в конце прошлого века, ныне высмеивался, ведь на одно рабочее место, теряемое вследствие роботизации, приходилось двадцать новых. Появились неизвестные прежде профессии, к примеру, оргианист, стомордолог (умел мордовать на сто ладов), триматург (драматизировал по заказу семейную жизнь, выстраивая супружеский треугольник), экстерьер и секстерьер (первый был просто экс-собакой, а второй занимался содо-мистикой, разновидностью автомистики, то есть составления священных обетов, исполняющихся автоматически). Даже физики, уступая моде, снабжали свои аппараты порноприставками.

За этой Реформацией в скором времени последовала Контрреформация, поборники которой обвиняли эпоху во всех грехах и совершали налеты на банки спермы и непристойной ферритовой памяти. Кроме этих взрывальцев были еще анахореты — глашатаи Возврата в Пещеры, в частности, Вшавел и Ржавел, которые проповедовали грязнолюбие и сквернодействие, коль

скоро вокруг все такое стерильное и лакомое. Что же до прекрасного пола, то он взбунтовался тотально. В качестве идеалов женственности передовички движения предложили блудонну и свинкса, трактуя древние мифы на эмансипаторский лад. Все это вело к нарастанию хаоса, однако живляне в своем большинстве продолжали верить в науку, которая бестрепетно исследовала любое явление, — хотя бы оргианистику, которая стала формализованной дисциплиной благодаря введению единиц, именуемых оргами (а в случае некрофилии — моргами), и изучению тонких различий между бабистом, бабителем и бабашником, а также брехопроводом и грехопроводом; итак, наука все подвергала классификации и ничему не дивилась.

Впрочем, на ее счету было немало славных свершений. Именно в это столетие на выручку обычной инженерии пришла генженерия.

Начала она с создания диковинных гибридов (к примеру, дамы и самоката, в результате чего возник Дамокат), а затем принялась и за самих живлян. Дальше — больше, и вскоре разразилась Телесная Вольность: в генженерных бюро принимались заказы на тело любой формы и назначения. Поэтому некоторые историографы

делят всеобщую историю Живли на эру идеальных воин, в которых бились за идеалы, и соматических войн, в которых сражались за единственно верный телесный стандарт. Впрочем, учение маркиза Де Зада плодоносило по-прежнему. Новейшая космогония утверждала, что другие космические цивилизации не обнаружены доселе единственно из-за гнета ханжеских представлений: считалось, будто такие цивилизации заняты выдаиванием солнц, расходуя звезды с бережливостью лавочника. Что за чушь! Первобытному человеку свойственно копаться не в звездах, но в кротовых норах — на большее он не способен. Чтобы транжирить богатство и мощь, надобно сперва иметь то и другое. Звезда — не заначка накопителя, солнце — не грош на черный день, астротехник — не скряга. Сколько бы ни потреблять солнц, всегда останется невостребованная безмерность, своей огромностью глумящаяся над любым счетоводством; следственно, бросить Космосу вызов может лишь абсолютное бескорыстие. Слепому хаосу звездных огней должно противопоставить сознательную волю к вселенскому пепелищу. Впрочем, мы уже вступили на этот путь — разве мы не сокрушаем атомы вдребезги? Ножки протягивают по одежке,

а значит, ветротехника высших цивилизаций должна быть оргией метких ударов, кладущих конец идиотскому вращению небесных тел, и притом ради чистого удовольствия, а не ради корысти. Небосводы полны галактик, пускаемых в распыл, что, кстати сказать, объясняет всеприсутствие космической пыли. Поэтому братский разум узнается на астрономическом расстоянии по небывалой мощи пинков, наносимых зданию Вселенной, — именно так заявляет он о своем разумном присутствии в ней. Пока еще любая комета запросто смахнет нас хвостом с родимой Живли, любое мигание Солнца грозит нам гибелью, но со временем возрастает *наша* мощь, а не Космоса, и настанет блаженный день, когда мы сбросим оковы и покажем братьям по разуму, что не святые горшки обжигают, а то и где раки зимуют!

Итак, Космос не разбухает и не разваливается сам по себе, но разлетается у нас на глазах от взбучки, которую задают ему высшие астрократии.

Эти ученые споры потонули в канонаде очередной мировой войны, в которой телесные ретрограды сразились с альянсом соматической вольности. На счастье, обошлось без крупных по-

терь, поскольку порубанные вражьи тела воссоединялись прямо на поле брани в лазаретницах, или полевых воскрешальнях, а главнокомандующий здесь же, на месте, посвящал в рыцари самых лихих рубак; в народе их прозвали отрубными баронами. Лагерь старотелов потерпел поражение, что рикошетом ударило по живлянским церквям, взявшим сторону консерваторов. Локальные заварухи, такие как бюстобунт или поясничнохребетный мятеж, случались и позже, но все они были подавлены, и после установления суровой биттатуры наступил (ненадолго) мир.

Это следует пояснить. Уже на пороге телотворительной эры каждый живлянин вел двойную жизнь, одну обычную, другую — моделируемую цифровым методом в центре персонального счета (хотя многих коробил этот незримый надзор, прозванный цифрократией). Но иначе было уже нельзя: никто не мог удержать в голове экономическую и прочую жизненно необходимую цифирь, а если б и мог, все равно бы не захотел. Поэтому порядок сохранялся благодаря информанкам и моделякам, что наблюдали за всею Живлей через оптику спутников, которые в народе окрестили Верхоглядами.

В эту эпоху всевольностей лишь добродетель

стыдилась показаться при свете дня. По понятным причинам проституция давно захирела, а ее заменители — девствухи и любодевы — не имели успеха: всякий знал, что истинная невинность не торчит на углу улицы, а если торчит, значит, тут что-то не то. В тайных клубах целомудры целибатничали с целомудрицами, сидя на хлебе и воде. Именно в этой среде информанки персонмоделирования особенно рьяно проповедовали разврат. Впоследствии в этом была усмотрена злонамеренная подготовка к битовороту. Однако о мыслемолках никто не заботился — те росли себе сами; когда же численность живлян перевалила за миллиард, обнаружилась нехватка места в цифровейниках, хотя каждый электрон тащил на себе целую охапку битов. Началась экспансия цифровой индустрии в глубь планеты; геологические слои один за другим преобразовывались в битические, и наконец раскаленное ядро Живли превратилось в Мудро, о чем, впрочем, мало кто знал, так как внимание граждан занимали новые виды спорта (в частности, случной и многоложный), новые музыкальные жанры (концерты для блудофона) и т.д.

Правда, случались недомогания моделирования, именовавшиеся цифрозом; в таком

случае гражданин в мгновение ока лишался недвижимости, банковского счета и полностью обезличивался, но это, по общему мнению, было в порядке вещей.

Пораженный цифрозом (безличник) не имел ничего и не мог никого призвать в свидетели, ведь ни родителей, ни детей, ни супругов давным-давно и в помине не было, а лица, с которыми занимаешься блудыжничеством, впиянством и прочими формами увеселительного сквернавства, в свидетели не годились. Коль скоро каждый сквернился с каждым, никто, кроме компьютеров, не знал никого хорошенько, и персональная судьба, запечатленная в Мудре, висела на тоненькой ниточке ферритовой памяти, на глубине в тысячу миль под ногами у каждого живлянина. Порою из-за короткого замыкания судьбы двух лиц сливались в одну, или же расщеплялись данные одного индивида, — последствия были равно плачевны. Безличников преследовала навязчивая идея несуществования. Этот социальный недуг (нетчество) чаще всего проявлялся в виде синдрома Нетуса. Будучи всем сыт по горло, не зная, кто он, собственно, такой, говоря «нет» всему окружающему, безличник рыл где попало яму, чтобы исчезнуть в ней. Встречались

любители интимных утех как раз с анонимными ямниками, которых выискивали особливые доезжачие со сворой экстерьеров, насобачившихся в отыскании нетческих ям. Отсюда видно, сколь усложнилась жизнь в ту эпоху.

Центры персон-моделирования работали в телотворительную эпоху с перегрузкой, ибо граждане двоились и троились на глазах, множа себе тела на любые оказии. Не было недостатка в миллионерах-коллекционерах; не желая ни с кем делиться радостями плоти, они размножались, разврата ради, почкованием. Персональное моделирование подобных субъектов, которые одной головой командовали целым полком тел, было нешуточной математической проблемой; в народе таких главарей прозвали телоначальниками. Они ли довели Мудро до коллапса, или, напротив, само оно довело народные массы до скоростной эротации — неизвестно и ныне. Так или иначе, Мудро объявило военное положение и провозгласило себя верховным правителем Живли под именем Мудриссимуса.

Отрезвленные столь внезапно и столь жестоко, живляне выказали прежнее мужество и сметливость в беде, ибо, как глубокомысленно рассуждали потом, беда породила их и лишь в ней

они чувствовали себя как рыба в воде. Мировая война с раскинувшимся под Живлей самозванцем ничуть не напоминала прежних войн. Обе стороны, имея возможность уничтожить друг друга за доли секунды, как раз поэтому ни разу не соприкоснулись физически, но сражались информационным оружием. Речь шла о том, кто кого заморочит лгашишем подтасованных битов, оглоушит брехном по черепу, кто ворвется, как в крепость, в чужие мысли и переставляет штабные молекулы неприятеля наоборот, чтобы его разбил информатический навралич. Стратегический перевес сразу же получило Мудро: будучи Главным Счетоводом планеты, оно подсовывало живлянам ложные сведения о дислокации войск, военных запасов, ракет, кораблей, таблеток от головной боли и даже переиначивало количество гвоздиков в подошвах сапог на складах обмундирования, дабы океанским избытком лжи пресечь всякую контратаку в зародыше; и единственной серьезной информацией, посланной на поверхность Живли, был адресованный фабричным и арсенальным компьютерам приказ немедленно стереть свою память — что и случилось. И, словно этого было еще недостаточно, в завершение штурма на глобальном фронте Муд-

ро перевернуло вверх дном картотеки личного состава противника, от главнокомандующего до последнего киберобозника. Положение казалось безвыходным, и, хотя на передовую выкатывали последние не заклепанные еще вражьими враками лгаубицы, устремляя их жерла вниз, штабисты понимали, что это напрасно; и все же требовали открыть брехометный огонь, чтобы ложь брехней обложить: мол, если и гибнуть на поле врани, то хотя бы с необолганной честью. Главнокомандующий, однако, знал, что ни один его залп узурпатора не потревожит, ведь тому было проще простого прибегнуть к полной блокаде, то есть отключить связь, не принимая к сведению вообще ничего! И в эту трагическую минуту он решился на самоубийственный фортель: велел бомбардировать Мудро содержимым всех штабных архивов и картотек, то есть чистейшей правдой; в первую голову в недра Живли обрушили груды военных тайн и планов, до того засекреченных, что один лишь намек на них означал государственную измену!

Мудро не устояло перед искушением и принялось жадно поглощать бесценные сведения, которые, казалось бы, свидетельствовали о самоубийственном помешательстве неприятеля. Меж

тем к сверхсекретной информации примешивали все большие порции не столь существенных данных, но Мудро, из любопытства и по привычке, ни от чего не отказывалось, заглатывая все новые лавины битов. Когда истощились уже запасы тайных трактатов, шпионских донесений, мобилизационных и стратегических планов, открыли шлюзы битохранилищ, в которых покоились старинные мифы, саги, предания, прачиавеческие легенды и сказки, священные книги, апокрифы, энциклики и жития святых. Их экстрагировали из пергаментных фолиантов и закачивали под давлением в недра Живли, а цифрократ-самозванец по причине инерционности и самовлюбленности, тупого упорства и рутинерства поглощал все, жадный и ненасытный безмерно, хотя и давился уже избытком битов; и наконец они застряли у него электрической костью в горле: не содержание, но количество данных оказалось убийственным. Чистейшая правда, спрессованная в мощный информ-заряд, саданула Мудро под каждый его транзисторный бок, сожгла его пробки, затопила его казематы, полные еще не выстреленных вракет, и разорвала его изнутри, так что с многомильных битопроводов, искусной сетью заткавших пла-

нетный череп, потекла медь — и снова, как в прадавнюю эру, кружила Живля вокруг Солнца, заполненная огненным жидким металлом… Как в тишине началось, так в тишине и кончилось первое в истории информатическое сражение. И все вроде бы пошло по-старому, но еще четверть века приходилось распутывать, атом за атомом, хаос первой минуты схватки. Прежних высот живлянская цивилизация достигла лишь спустя сорок лет.

Эта война неизгладимо запечатлелась в духовной жизни. Среди гражданских и военных историков вспыхнули жаркие споры. Одни полагали, что не количество одолело качество, но истина — ложь, ибо дезинформация спасовала перед добросовестной информацией.

Сходных воззрений держалась официальная церковная историография, которая спасение Живли объясняла вмешательством Провидения в облике Высшей Истины.

Школа рационалистов утверждала, что как раз наоборот: логическую натуру Мудра разорвало несчетное множество кричащих противоречий, которыми кишат богословские труды, — а именно ими начиняли последние боезаряды. Поэтому, хотя Живля и обязана своим спасеньем религии,

но на иной манер, нежели того хотелось бы ее ревнителям.

Нашлись антропософы, заявлявшие, что ни то, ни другое, ни третье: мол, измена изменой аукнулась, сперва Мудро нас, а после мы его одурачили, в чем видим постоянство чиавеческой природы, ведь сражались мы, в сущности, с ее зеркальным, только увеличенным, отражением. Бунт Мудра есть повторение пещерной сцены, когда один прачиавек оглоушил другого обгрызен-) ной костью. Споры эти пошли на пользу гуманитарным наукам, ибо в ряды дискутантов призвали резервистов-магистров, спешно производимых в полные доктора. Историческая победа стала благодарной темой и для изящных искусств. О ней было написано много правды и еще больше вымыслов, включая классическую легенду, что-де последней каплей, переполнившей чашу терпения самозванца, оказалась детская сказочка «Код Ученый», — но это слишком красиво, чтобы быть правдой; как кто-то заметил. Ученый Код изящно врет.

Демобилизованные вояки, возвращавшиеся в родные пенаты, не спешили доставать из домашних хранилищ запыленных кибергурий и купидам, брошенных в годину войны. Уж

больно по-штатски выглядели учения с ними, а между тем боевой дух прямо-таки кипел, ведь, правду сказать, мало кто успел досыта навоеваться. Бизнесмены поняли вмиг, что прежние любисторы и любоны изжили себя. Настроение царило повсюду романтическое и патриотическое, невостребованное мужество следовало на что-то употребить; однако при всеобщей жажде ратного подвига было не с кем сражаться. Коль скоро врага уже нет, сказали себе акулы большого бизнеса, надобно его выдумать, тем более что технические средства имеются. Так появились врагобойни. В комплект врагобойни входила модель омерзительного оккупанта, личностные характеристики которого въячивались в программу путем опускания в заднюю прорезь специального въявчика величиною с монету. Въявчиков предлагалось навалом — каждый с иным типом вражьего «Я», то коварно-жестоким, то агрессивно-нахрапистым, однако всегда низменным. Въячив личность врага по своему вкусу и раскусив его гнусные происки, клиент выступал на бой в защиту отчизны, которая, заметим, отнюдь не была абстракцией. Изготовители предусмотрели заранее, что если полем сражения будет жилище, то и отчизна, защища-

емая собственной грудью, должна уместиться в нем, и в комплект входила ее аллегория — с развевающимися волосами, лавровым венком в руках, в одеянии, трепещущем, словно знамя (в цоколе имелось для этого поддувало). Обратив на клиента нежно-доверчивый взор, отчизна молила его о спасении, а после венчала победителя лаврами. Исход сражения гарантировался особыми рычажками на щите управления; впрочем, победу можно было одержать, не вставая с кровати, купив недорогой удлинитель к истязатору. Уничтожить врага можно было сразу или с оттяжкой, приберегая недобитыша на потом, — смотря по темпераменту и убеждениям. Сторонников суровости, строго дозированной во времени, не тревожили вопли истязуемого врага — на этот случай имелся превосходный глушитель.

Ретрограды, которых всегда предостаточно, тотчас подняли шум: пытаясь очернить программу боенизации, они утверждали, что врагобой — вовсе не тренажер патриотизма и не школа беззаветной любви к отчизне, как уверяет реклама, но цифровое палачество, достойное маркиза Де Зада, благословение которого, безусловно, почиет на изобретателях.

Врагобой, заявляли они, эксплуатирует самые

низменные инстинкты, учит измываться над беззащитной жертвой, а сказочка о защите отчизны не более чем жалкий предлог. Почему, скажите на милость, отчизна — не степенная дама в годах, не матрона, не респектабельная и живая старушка, но монументальная девица? И почему ее пеплум снабжен замком-молнией? Врагозащитники вышли на улицы, демонстративно круша врагобойни и разбивая отчизны, чем, однако, навлекли на себя всеобщее негодование, умело подогреваемое врагобойной индустрией, которая обвинила их в публичном оскорблении патриотических чувств. Начались бесконечные судебные разбирательства, патриоты, распаленные только что одержанным домашним триумфом, со свежими лавровыми венками на головах бежали громить врагофилов, а тем временем ассортимент въявчиков пополнился совершенно новыми образцами. Теперь уже можно было, наряду с агрессорами, моделировать личности, во всех отношениях позитивные. Духотеки предлагали широкий выбор как вымышленных, так и реальных лиц, что, впрочем, повлекло за собой процессы о дистанционном нарушении личной неприкосновенности; дело в том, что многие заказывали себе знакомых, родственников и начальников,

чтобы дать волю чувствам, которые прежде подавлялись, порождая неврозы и прочие осложнения. После длительных прений лизанский Верховный Суд постановил: публичные действия в отношении моделируемого лица, которые, будь они совершены в отношении физического лица, предусмотрены в уголовном кодексе, могут служить основанием для вчинения дистанционно потерпевшим иска об оскорблении личности. Но те же действия, совершенные частным образом и без свидетелей, не составляют события преступления. Разумеется, противники духовок (именно так назывались отныне врагобойни) снова подняли крик, доказывая, что пользование духовками, будь то публичным или частным образом, абсолютно безнравственно, а все утверждения рекламных агентств (дескать, духовки восполняют дефицит дружелюбия, искреннего участия и нежности, ударяющий по широким массам, и с моделируемым лицом возможны лишь идеальные духовные отношения) — сплошная ложь. Будь это правдой, изготовители убрали бы истязаторные рычажки, тогда как на новой модели их больше, чем имелось на старой. Изготовители отвечали, что только выродок способен сделать что-либо дурное с родственной цифровой

душой, обожаемым начальником или достойной супругой дружественного Лизанции монарха, но между нашими клиентами выродков, безусловно, нет. Впрочем, это личное дело покупателя, что ему делать с покупкой, — в полном согласии с конституцией и постановлением Верховного Суда.

Крики оппозиции не помогли — спрос на духовки был огромный. Правда, процессы об оскорблении личности продолжались, правоведы не покладали рук, неясно было, например, наказуемо ли публичное самохвальство деяниями, совершенными частным образом в отношении главы соседнего государства или, скажем, умершей сестры соседа. Что это: crimen laesae majestatis [32] или некрофилия, а может, только пустая видимость — все равно что рассказывать сны, за которые никого не потянешь в суд? Эти споры оживили законотворчество и расширили границы гражданских свобод. Владелец духовки мог делать с въяченными духами что угодно, лишь бы не нарушался покой соседей. Публично духобойничать запрещалось, однако же в частных клубах духоббисты оспаривали

---

**32 notes: 32**
нарушение закона об оскорблении величества (лат.)

пальму первенства, приканчивая рекордное число самых что ни есть железных характеров в один вечер. Что любопытно, усилился спрос на ученых; правда, благотворных плодов общения со столь просвещенными духами как-то не замечалось; поговаривали, что чем больший дурень клиент, тем более охоч он до мудрецов — видать, не ради уроков и поучений, потому что не умнеет ничуть, хотя то и дело бежит в духотеку за новой пачкой въявчиков. Те, кому не хватало фантазии, в пособии по душеложству могли почерпнуть широкую гамму комбинаций. Появились также духовки с временной лупой, замедлявшей и укрупнявшей процесс истязательства. Духозащитники в своих писаниях заявляли, что стоит только историческим обстоятельствам возвысить уровень общественной нравственности, как торгаши тут же стаскивают ее в канаву; именно это случилось после информатической войны, когда патриотический подъем был обращен в источник наживы. Эти нотации не нашли отзыва в обществе, впрочем, они приутихли, когда начала развиваться астронавтика. Дело в том, что на пути освоения космического пространства появилось препятствие, интересное уже тем, что его не предвидел ни один из футуро-

гностиков и прогнозеров, которых в одной лишь Лизанции насчитывалось девяносто тысяч. Они разводили рацеи о безграничных перспективах покоренья планет, предсказывали темпы их колонизации, с невиданной точностью подсчитывали тоннаж ценных руд, минералов и прочих сокровищ, которые Живля будет привозить со всей Солнечной системы, и все это, несомненно, сбылось бы до мельчайших подробностей, если бы не одна мелочь. А именно: когда уже можно было покорять планеты и луны, благоустраивать девственные материки, разворачивая на них героическую и животворящую деятельность, короче, выказать первопроходческий дух в борениях с, трудностями, — никто почему-то не рвался в первопроходцы. Желающих не было! Поэтому власти порешили начать все сначала — дать как бы задний ход и после возвращения на исходные рубежи сыграть на другой струне. Коль скоро колонизация планет в качестве приключения века, высочайшего отличия и исторической миссии не вызывает энтузиазма, надо переименовать планеты в кутузки, а посылку героев — в ссылку преступников. Тем самым можно будет прикончить двух зайцев сразу: управиться со всякими крикунами, смутьянами, баламутами

и заодно — с перенаселением, а то становилось уже тесновато.

Эта политика проводилась сто с лишним лет, после чего пришлось с огромным сожалением от нее отказаться. Хотя экспорт новейших технологий на штрафные планеты и был запрещен, ссыльнопоселенцы, среди которых преобладал народ даровитый и образованный, сами додумались до не положенных им технологий, создали свой ракетный флот, учредили трехпланетный союз и, обобществив ископаемые вместе с промышленностью, стали хозяйствовать по своему усмотрению. Вряд ли можно было в этих условиях продолжать политику ссылок, равнозначную отныне посылке подкреплений для космически разросшейся оппозиции. Живля перешла к полной изоляции от населенных планет; этим и кончилась программа покорения околоживного пространства.

Все проходит, так что со временем и духобойство приелось и вышло из обихода, вытесненное новыми веяниями, а давка все нарастала: количество живлян удваивалось уже каждые шесть лет. Правда, мастурбанисты по-прежнему возводили просторные самотни для миллиардеров с нарциссистскими вкусами, но позволить себе

такое могли только крезы. Заурядному миллионеру приходилось довольствоваться членством в закрытом клубе, например роялистском, где практиковали роялизм как ирреализм, то есть без королевства, располагая лишь тренировочным скоросборным троном — трескотроном; для самых занятых, тех, кто хотел поцарствовать, не отрываясь от рабочего стола, имелся телетрон. Но уже не во всякую пору можно было выйти из дому, столь плотной массой текли по улицам толпы. Демографы принимали резолюцию за резолюцией, каждое государство призывало соседей одуматься, а те то же самое, только наоборот. «Убеждение, одно лишь убеждение! — заявляли правительства. — Для того и трудились наши предки до кровавых мозолей, чтобы уже никто никогда никому не мог ничего запретить!»

Церковь поддерживала противников регулирования рождаемости: дескать, давка — трудность лишь временная, за гробом будет очень даже просторно. Между тем все больше наблюдалось странных явлений, прежде неведомых, например, жутеоров и фата-мордан; особенную же тревогу вызывали похищения. В средневековье разбойники похищали богачей ради выкупа; время от времени это случалось и позже, но все-

гда для предъявления каких-либо требований. Теперь же почти никто не требовал выкупа, а главное, похищенные исчезали бесследно. На смену простецкому похищению ракет и авиалайнеров пришли операции более сложные. Появились спецы, похищавшие похитителей вместе с похищенными, — так называемые похищаки; а тех, в свою очередь, запихивали в мешок похищенцы, которые свои операции планировали методом динамического программирования, чтобы снизить производственные издержки. А похитисты были теоретиками движения и прогнозировали постхитителей, которые должны были появиться к концу столетия и похищать в энной степени при помощи телекинеза, или духоловства. Что же касается самохищенцев, то они, по крайней мере, легко поддавались психиатрической классификации — как экстраполяция самоблудников. Врейдисты усматривали во всем этом новое воплощение задизма, но антиврейдисты лучше объяснили загадку: ни инстинкт смерти, ни агрессивность, ни деньги, ни подавленные детские комплексы тут ни при чем, речь шла просто об избавлении от ужасной давки, а так как в ней всегда виноваты другие, то этих других и брали за шкирку, чтобы запихнуть куда

ни попадя. Специалисты по коллективным психозам назвали новое социальное заболевание похищенским запиханством.

В этом почти безвыходном положении (похищенческий позыв проявлялся в еле заметном перебирании ногами на месте, и ногами сучили уже самые высшие офицеры полиции) на помощь живлянам снова пришла наука, как всегда, безотказная. Началось повсеместное внедрение технетики, то есть синтетической этики, искусственно разводимой, штампуемой и монтируемой как проводным, так и беспроводным манером. Малышей спасали от давки в пустышечных резерватах, где места было навалом. Кроме того, уже в пеленки им вкладывали напоминайки, внедрявшие в умы уважение к ближним. Если бы и нашелся кто-нибудь, кто захотел бы обидеть ближнего хотя бы по переписке, укорялка тут же принялась бы его отговаривать, а подушечка-думка — нашептывать сквозь сон, чтобы он это дело бросил. Если же он, допустим, упорно стоял на своем, затыкал себе уши, обычные дидакторы разбивал, а бронированные обкладывал войлоком и домашними туфлями, то защиту неприкосновенности брали на себя фильтры агрессивных намерений. Напишет он,

например, анонимку, а чернила разольются, почтовый ящик порвет письмо, в крайнем же случае предохранитель последней линии добросердечия заботливо разобьет адресату очки. Упрямец взбеленится, попробует нанести телефонное оскорбление, а телефон все ругательства отфильтрует; и если даже в припадке бешенства он погонится за ближним с палкой, та, имея в структуре своей добротизатор, сломается еще до удара!

Похищения как рукой сняло, правда, не потому, что все как один смягчились душою, просто было не до того: каждый с утра до ночи ломал себе голову, как бы околпачить фильтрацию и сделать ближнему то, что ему немило, ради чистого удовольствия. Вырос спрос на динамит и кумулятивные бомбы, а производство воска и войлока подскочило на восемьсот процентов. Это привело к эскалации социотехнических методов: бомбы взрывались бомбоньерками и благовонными букетами, а втолковники и укорилки гремели, как иерихонские трубы. Когда же самолеты начали выписывать в небесах назидательные сентенции, население бросилось раскупать картузы с длинным козырьком и темные очки. Безумное наступило время. Воскрешальни трудились без

передышки, особенно в обеденную пору; дело в том, что если затевающий что-то недоброе садился за стол, а макароны в тарелке складывались в назидательную надпись, то нередко он вместо супа проглатывал ложку, чтобы покончить с собой, раз уж не может Покончить с ближним.

В конце концов борьба технетики с населением стала азартной игрой, а тем самым частью массовой культуры — в виде тотализатора-морализатора (сокращенно — тотомор). Главный выигрыш доставался тому, кто первый оставит с носом новый добротизатор. Терроризм пошел на убыль, поскольку не все противодобротные средства допускались в игре, а за нарушение правил грозила дисквалификация. С помощью материальных стимулов удалось устранить в зародыше приватные атомные конфликты, ареной которых раньше других стала Лизанция, держава, передовая во всех отношениях. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не тотомор; ведь достаточно было слуха, будто боевики-телобитники завалили штаб-квартиру аморализаторов письмами (которые, дескать, пропитаны солями урана и, слившись в критическую массу, поднимут на воздух полгорода), чтобы разразилась страшная паника. Мильоны беженцев забили дороги, а

сверху на них обрушился град орнитоптеров, налетавших друг на друга в воздушных пробках. Радиус возникшей при этом гробосферы (или же давкострады) достигал двухсот миль. На счастье, подобные катастрофы более не повторялись. Упомянутое нами движение телобитников возникло в связи с упадком телотворения. Многотельству (которое осуждали за расточительство) положило конец обстоятельство совершенно банальное и, как обычно, непредвиденное — дефицит прядильно-ткацких бромидов; а без них нельзя синтезировать телеуправляемых вирусных хромопрядов. И вот, когда сырье для изготовления хромопрядов подорожало двухсоткратно, а пять крупнейших телотворительных консорциумов вылетели в трубу, лизанская молодежь создала субкультуру телобитников, требуя тел возможно более дешевых, экономичных, удобных и скромных. Что же касается аморализаторов, то они предложили в конгрессе закон о пожизненном заключении за повреждение добротизаторов деморалками (разновидность злобоголовок, самонаводящихся на все добродетельное). Но вам, надеюсь, понятно, что в такие детали нашей истории мы не можем вдаваться.

Борьба механизированной любви к ближнему

с террористами и ревнителями личной свободы была, разумеется, лишь эпизодом на фоне по-настоящему серьезных событий. На планете шла куда более грандиозная, хотя и бескровная схватка — с демографическим потопом.

Надо отдать должное технике — она делала что могла, дабы облегчить все более тяжкую участь граждан. Так называемой циклической снедью, или же пищей многоразового пользования (она проходила через организм в неизменившемся состоянии), питались самые бедные. А чтобы напрасно не раздражать их, были устроены секреторaны — конспиративные заведения, в которых клиенты со средствами могли объедаться как прежде. Чудеса кулинарного искусства кромсали здесь втемную, видя их лишь на экранах нoктовизоров, зато не соблазняя зевак. Урбанисты могли за каких-то три дня возвести миллионный город из тесноскребов, и эти быстрограды заполняли остатки незастроенного пространства; в сущности, вся Лизанция была уже одной сплошною столицей. Одновременно развернулась лихорадочная миниатюризация всего, что только можно было уменьшить, от книг и газет до железных дорог. На смену метро пришло дециметре, а потом и сантиметре. Однако работу

редукционной промышленности затрудняли неизменившиеся размеры самих живлян. Снова раздались голоса ярых антинаталистов, которые миниатюризацию объявили тупиковым путем и домогались регулирования рождаемости; но о таком грубейшем посягательстве на основные права живлян никто не желал и слышать. Лишь господствующим настроением умов можно объяснить легкость, с которой парламенты одобрили генженерный проект, известный под названием сокращенческого закона. Он предусматривал редукцию стандартного гражданина в масштабе 1:10. Разумеется, имелось в виду следующее поколение живлян. Чтобы сохранить свободу деторождения, постановлялось, что тот, и только тот, кто подвергнется генной перестройке, вправе произвести на свет любое количество потомков. Это было хитро задумано, поскольку устраняло принудительную микрогенизацию: тот, кто не шел на нее, умирал без потомства, так что следующее поколение состояло из одних лишь микромалюток; когда же их родители вымерли, планетную экономику спешно редуцировали в том же масштабе. Всеобщий комфорт не потерпел никакого ущерба, ведь все уменьшилось в равной пропорции. Церкви выбрали меньшее зло и дали

согласие на этот маневр. Впервые с незапамятных времен все наслаждались блаженным простором, а вдобавок ощущали необычайную легкость — ведь самые упитанные толстяки весили двести граммов; но скептики и пессимисты пророчили, что от таких облегчений жди новых мучений.

И точно, катастрофическая давка возобновилась через каких-нибудь десять лет. Хотя главные генженеры-сократители понимали, что дальнейшая микроминиатюризация — лишь временный выход, ибо ей положит конец несжимаемая структура материи, они тем не менее были вынуждены решиться на шаг столь же радикальный, сколь и отчаянный, то есть на вторую редукцию в том же масштабе (1:10). Следующее поколение живлян без пожарных лестниц не могло уже взобраться на дедовскую пепельницу, выставленную в историческом музее. Теперь наконец можно было вздохнуть полной грудью. Каждая грядка стала садом, клумба — девственной пущей. На микроживлян обрушились поочередно три мировые войны — с мухами, комарами и муравьями. Даже самые древние старики не могли припомнить таких поражений, тем более что во время массированных комариных налетов с тыла ударили тараканы, выбравшиеся из городских подземе-

лий. Их черный панцирь поначалу не брали танковые орудия, что нетрудно понять, приняв во внимание, что средний танк весил тогда пять граммов. Кошмарные комары, размах крыльев которых превышал размах рук взрослого живлянина, пикировали на прохожих и высасывали из них кровь, оставляя на тротуарах скорченные трупы; мухи пожирали свои жертвы мерзкими клеистыми хоботками; и хотя с помощью кумулятивных снарядов и термитных гранат в конце концов удалось одолеть даже самый толстый хитиновый панцирь, хотя враг устилал своими трупами землю, хотя трофеи были огромны — из павших жуков делали ванны, а перепончатокрылые годились на планеры, — истребить неприятеля без остатка не удалось; поэтому были мобилизованы все техсредства, чтобы спешно накрыть города насекомостойкими куполами из стекловидной массы. Как пишут хронисты, тем самым на смену открытой миниатерре пришла замкнутая. Впрочем, тараканы по-прежнему устраивали партизанские набеги; но теперь армию заменила полиция, а главные оборонительные функции взяли на себя автоматические ловушки и роботы, вооруженные лазерным оружием. Лишь немногие поселения под открытым

небом просуществовали до конца столетия, да и то благодаря противокомарной артиллерии и ракетам с самонаводящимися на звуки жужжания боеголовками. Попытки одомашнивания некоторых насекомых (ос, например, объезжали) не оправдали надежд; одни лишь сороконожки какое-то время использовались в качестве пони в детских садах. Не стоят упоминания такие побочные выгоды всеобщий минимализации, как охота на специально для этого разводимых гигантских мышей, весом чуть ли не в пятьдесят граммов; трудно также понять восторги приверженцев нового восхожденческого спорта — древизма. Вершины деревьев, росших за городскими куполами, привлекали немногих смельчаков, ведь смертельной опасностью грозила не только непостижимая громадность любой березы, но и любой майский дождик, который мог смыть восходителей каплями размером в человеческую голову. Впрочем, даже если бы удалось истребить всех насекомых (что было мечтой генеральных штабов), это не изменило бы печального обстоятельства, на которое большинство закрывало глаза, — а именно, что живляне в своем нынешнем облике не способны жить на открытой поверхности; легчайший зе-

фир валил их с ног, дождик затапливал, пташка могла заклевать на месте. А между тем появились грозные симптомы перенаселения, уже хорошо известные: повсюду опять была давка, к отчаянье охватило умы. Разумеется, о регулировании рождаемости не приходилось и заикаться; раз уж ради спасения основного права живлянина было принесено столько — и каких еще! — жертв, это означало бы позорную капитуляцию, и уже по соображениям престижа любой иной выход казался предпочтительнее. Такой выход предложила лизанская Академия Наук и Художеств — в виде федеративного проекта. Составленный Академией манифест распространили все агентства печати. Проект предусматривал такую переделку наследственности, чтобы все следующее поколение смогло соединиться в гигантское гармоничное целое, неотличимое от прачиавека — того великана, легендарные, чуть ли не двухсотсантиметровые размеры которого просто трудно вообразить. «Решившись на этот шаг, мы потеряем немного, — гласил манифест, — в сущности, ничего; разве мы не стали уже узниками собственных городов? Ведь мы не можем противостоять ни мухе, ни ветерку! Мы живем, безнадежно и навсегда отрезанные от природы,

и вынуждены заменять ее пушинками и травкой искусственных садиков, испытывая ужас пополам с восхищением при виде любой кротовой норы; нам не дано охватить взглядом так называемые горы, о которых мы можем только читать в древних книгах, унаследованных от наших дедов-гигантов. Но именно такую монументальную фигуру и воскресит федеративный проект; а притом из слияния восьми миллиардов живлян возникнет не просто прачиавек, но невиданное прежде создание, двуногие соединенные штаты клеток, истинный градозавр, державоход, перед которым откроются все просторы планеты. В ее безмерности он не почувствует себя одиноким, ибо в дикую пущу вступит не одиночка, но многомиллиардное общество».

Мысль, брошенная лизанскими академиками, зажгла сердца и умы и была одобрена во всеживлянском плебисците. Однако всеобщая история — не идиллия; начались непредвиденные конфликты, а потом и последняя уже мировая война, которая вспыхнула из-за того, что каждая церковь претендовала на свою особую конгрегацию и свой голос в будущем державоходе, то есть на собственное ротовое отверстие, состоящее из верующих и клира; но это было никак невоз-

можно: при стольких отверстиях получился бы дырчатый сырганизм. Услышав этот вердикт, непокорное духовенство развернуло подрывную работу. Появились пасквили, в которых будущий державоход именовался чудовищной ходячей тюрьмой, порабощагой, двуногой галерой, отданной на произвол мозговой элиты, которая совершенно буквально будет кормиться кровью миллионов сограждан. Распространялись клеветнические наветы, будто в центрах восприятия наслаждения все места уже втихую поделены между конструкторами и их начальством. Эти подстрекательские потуги, безусловно, встретили бы достойный отпор, тем более что ботаникам удалось вывести сорт цветов, пахучие субстанции коих обладали этифицирующими свойствами; будучи выброшен на рынок, благодетельный цветок успокаивал взволнованные умы, словно елей, льющийся на грозные волны; но тут, на беду, в печать просочились тайные документы проекта. То были протоколы совещаний, на которых компетентные эксперты признавали, что не все живляне в равной мере способны заполнить различные ячейки державохода. Некоторые провинции, особенно нижне-задние, намечалось заселить колонистами из недоразвитых обществ,

а центральный нервный аппарат укомплектовать состоятельными лизанскими гражданами, поднаторевшими в спекулятивном мышлении.

Начертав на своих знаменах антидержавоходные лозунги и восклицая, что лучше погибнуть, нежели идти перетеляться в голень или же брюхо великораба и там надрываться впотьмах до истощения сил, — мятежники ринулись в бой. Голос партии «третьего пути» в надвигавшемся хаосе не был услышан. Я имею в виду возможников, или эвентуалистов. Они требовали превращения гениталиев в эвентуалии, в нормальных условиях бесплодные и обретающие способность к оплодотворению лишь в случае эвентуальной нужды, когда главный половой диспетчер вырубит импотенциометр на пульте планетной совокупильни. Потеря, впрочем, была невелика — их проект все равно не прошел бы.

Война, точнее, ряд локальных, но ожесточенных конфликтов, продолжалась недолго. Имея в виду всеобщее благо и ощущая ответственность за будущее Живли, державохожденцы атаковали мятежников этифицирующими газами. Штабквартиру повстанцев заняли без пролития крови, засыпав ее с воздуха охапками этифицирующих роз и фиалок; по словам очевидцев, картина

была потрясающая. Когда подготовка к слиянию уже началась, разгорелся новый конфликт, на этот раз среди самих генженеров, — по поводу плана коренной реорганизации проектных бюро. Предполагалось создать два самостоятельных комплекса: Автономную Державу Анонимных Мужей (сокращенно АДАМ) и Единоутробную Воспроизводственную Ассоциацию (сокращенно ЕВА). Что же касается сырья, то оба комплекса поделились бы населением Живли поровну. Любой другой выход, утверждалось в проекте, не убережет державоход от некой постыдной привычки, порочащей наши знамена. Если же АДАМ заключит с ЕВОЙ пакт о дружбе и ненападении, после чего обе стороны будут углублять сотрудничество на базе баланса сил и невмешательства в интимные дела друг друга, — со временем возможно установление прямых контактов, живительное влияние которых, крайне благоприятное для обеих высоких сторон, проникнет во все их закутки. Простой человек сможет участвовать в этих необычайно привлекательных сношениях в ходе своих повседневных торговых, полицейских и административных занятий благодаря тесному сотрудничеству компетентных державных органов. Этот план немедленно подвергся нападкам

со стороны церквей, увидевших в нем угрозу, хотя и косвенную, целибату клира, не говоря уж о том, что не будет ни одного священнослужителя, который мог бы узаконить этот союз. «Любые международные пакты, а также соглашения на уровне министерств и прочих органов тут ни при чем, — гласило заявление совета церквей, — поскольку в свете канонического права ратификация межгосударственных соглашений не тождественна таинству брака, то есть речь идет о склонении государств к развратным действиям, против чего мы решительно протестуем». Но чашу весов перевесил не этот довод, а совсем другое соображение. Решившись повторить Сотворение, мы начали бы опять от Адама и Евы и самое большее через несколько тысяч лет снова пришли бы к кошмарной давке, вызванной перенаселением Живли — теперь уже множеством державоходов. Поэтому по завершении следующего исторического цикла нас ждет очередное слияние, что попахивает уже цивилизационным безумием, ведь державоход грядущей эпохи сам состоял бы из клеточек-государств. Подобная перспектива заставила содрогнуться даже авторов проекта, и они сняли его с обсуждения.

В связи со спором о поле будущего государства

некий мыслитель выдвинул оригинальную космогоническую гипотезу. Вызванное перенаселением производство державоходов из граждан, утверждал он, и притом как раз по двуполым проектам, несомненно, является космической постоянной. На это указывает само строение Вселенной, построенной из положительных и отрицательных частиц, из материи, которой соответствует антиматерия, и так далее. Таким образом, державы возникают как самцы и самки, размножаются, а их потомство учреждает государственные федерации следующего уровня. Этот процесс идет непрерывно, охватывая мало-помалу весь Универсум, так что на вопрос, из чего, собственно, состоит материя, следует ответить: из чистого субстрата государственности, полученного в результате многовекового сжатия государств, содержавшихся в государствах. И хотя, коллапсируя, они утрачивают прежние черты, все же их пол установить можно, как уже говорилось выше, а что до дальнейших подробностей, то ими должны заняться физики. Быть может, стоит добавить, что этот мыслитель был превосходным правоведом и юристом-цивилистом. Его концепция вовсе не столь несообразна, как кажется. Говоря, что атомы состоят из госу-

дарств, а государства из атомов, он, должно быть, имел в виду, что материя, существуя как де-юре, так и де-факто, абсолютно легитимна, что она представляет собой как terminus a quo, так и ad quem [33], то есть материя и право, в сущности, одно и то же, а потому вопрос, что было раньше, право или Вселенная, беспредметен постольку, поскольку вы понимаете, что мы имеем в виду. Впрочем, об этой гипотезе мы упомянули лишь мимоходом, ибо она оказалась последним плодом несконфедерированной живлянской мысли.

Итак, ограничились одним государственным организмом, и после законотворческой стадии наступила телотворительная. Прикомандирование в тот или иной орган определялось жеребьевкой, ведь каждый хотел пролезть в особо престижные органы, используя всевозможные связи и протекции. Время от времени случались скандалы по делам о коррупции. Раскрытие одной из крупнейших афер, поднебной, повлекло за собой принудительную ссылку виновных в прихребетную зону, где ощущался недостаток в поселенцах-добровольцах и вакансий было не счесть. Державоустроительной работе пре-

---

**33 notes: 33**
здесь: начальный, конечный пункт (лат.)

пятствовали постоянные волнения: кого влекло ближе к духу, кого

— ближе к брюху, и, если бы себялюбию дали поблажку, вместо жизнеспособного державохода получилась бы огромная голова на толстом животе, со ртом от уха до уха. Наконец наступил торжественный миг разрезания ленточки, опоясывающей нашу державу. Мы разрезали ее сами, поскольку кроме нас на Живле никого уже не было, и восстали из окружавших нас строительных лесов во всю свою высоту, в том облике, который вы сейчас видите. Не будучи в состоянии провести вас по всему государству в качестве своих дорогих гостей, мы сделаем это — вкратце — хотя бы в рассказе.

Вот в этом поворачивающемся здании, увенчанном романским куполом, размещается наш Парламент с двумя палатами, правой и левой, которые с исполнительными органами связаны довольно-таки нервной административной системой. В нижних туловищных провинциях расположены Министерство Внешнего Газообмена и Главное Управление Ирригации, объединенное, ради экономии полезной площади, с Управлением Любви к Ближнему. Посредине державы размещаются многочисленные Промсиндикаты

— сахарный, продовольственный, химического синтеза и так далее. Шестьсот миллиардов полицейских патрулей, не зная ни сна ни отдыха, охраняют все рубежи и закоулки державохода. Неплохо звучит, не так ли? Не будем, однако, скрывать от вас, что не все прекрасно в живлянской державе. Главнейшая наша особенность, а вместе с тем и забота, заключается в том, что каждый наш гражданин обладает сознанием, и в этом мизинце разума больше, нежели во многих университетах. Увы, весь наш разум не может подать голос одновременно, поэтому лишь дипломатические вокальные группы, аккредитованные в ротовом отверстии, шлют вам, по поручению парламентской комиссии по делам речи, уверения в нашей сердечной дружбе и завершают отчет о нашей истории братским приветом от имени широких масс, что трудятся на органической ниве. Вы спросите, отчего же пал духом державоход, как могло случиться, что верховная власть поручила снабженческим органам доставить чашу с цикутой? Ответим искренне: по обстоятельствам как внешним, так и внутренним, ибо те и другие сделались невыносимы. Известно ли вам, до чего мы дошли после пятнадцати тысяч лет славного цивилизационного строительства?

Располагая вот этой единственной парой рук — пусть даже на службе в них состоят миллиарды граждан, — мы были вынуждены кочевать под открытым небом и питаться кореньями, допекаемые торжествующими комарами, пока наконец не перешли в позорное отступление, чтобы очутиться в склизкой пещере, возможно, той самой, которую целые эпохи назад покинул наш предок-троглодит. А все потому, что проектировщикам державоход представлялся такой монументальной громадой, просто безмерно могущественной, что они приготовили для него лишь горсточку орудий да рейтузы (впрочем, как показала примерка, чересчур узкие из-за ошибок планирования): они полагали, что такой поликан сам, с величайшей легкостью, устроится на планете. Впрочем, разве не унаследовали мы от них всю живлянскую экономику? Ну да, только какая нам польза от городов, на улицах которых мы не можем даже поставить пятку, или от роботов, которые меньше опилок? В конце концов мы, стиснув зубы, справились бы с внешними трудностями, когда бы не плачевное внутреннее состояние государства. Никто никогда не доволен у нас местом, на которое он поставлен! Хапать, прятаться, хныкать, требовать невозможного

— вот их девиз! Как может парламент решать неотложные государственные дела, если колени требуют собственных глаз, нижние полушария угрожают блокировать транспортную систему, потому что им, видите ли, жестко и зябко; а известно ли вам, что такое государственный кишковорот? Впрочем, мы бы справились с безответственными требованиями и подавили неумеренные аппетиты, когда бы не подстрекатели, укрытые в палатах парламента, врейдисты, подрывающие державное наше сознание. Можете ли вы представить себе, чего домогается эта нелегальная оппозиция днем, а особенно ночью? Захвата соседней державы другого пола — вторжения в ее рубежи без какого-либо обмена нотами, насильственно! То обстоятельство, что никакой соседней державы нет и быть не может, ничуть не умеряет этих завзятых заговорщиков! Видя, что любые переговоры и разговоры с ними напрасны, что они коррумпируют наше правительство, подкупая его картинами оккупации, помрачающей чувства, и тщатся хотя бы воображаемым блудом наш державоход ублажить, если уж реальным нельзя, — узнали мы в этих призывах голос проклятого суверена блуда, маркиза похоти, издревле подрывающего наши основы, а

так как сей теломор, не уморившийся, несмотря на свои и наши старания, по-прежнему пытается завладеть нами, внедряясь уже в верховную власть, решили мы покончить с ним и с собою. И вот после внутренних долгих дебатов отправились мы в пустынное плоскогорье, наполнили соком буяники микроживлянскую цистерну, найденную под кустом, и приложили к губам, не слушая визга внутреннего сводника, что, дескать, от неутоленного вожделения наше державоубийство, а вовсе не ради державных принципов! Правда, цистерна с цикутой дрогнула в нашей руке, но, клянемся, мы б осушили ее до дна, когда бы не цепенящий вихрь, что обрушился вдруг с высоты, ударил, и наша держава погрузилась в ледовый сон, дабы лишь тут, в вашем братском кругу, отворить очи…